

# НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

# THE NEW REVIEW

## Новый Журнал

---

*Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942*  
*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*  
*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*  
*С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль*  
*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)*  
*Г. Андреев, Л. Ржевский*  
*1976 – 1981 редактор Роман Гуль*  
*1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Е. Магеровский*  
*1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Ю. Кашкарров, Е. Магеровский*  
*1986 – 1990 Редакционная коллегия*  
*1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров*  
*1994 – 2005 редактор Вадим Крейд*

Восемьдесят второй год издания

**Главный редактор – Марина Адамович**

*Редакционная коллегия:*

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,  
Александра Смит

*Ответственный секретарь – Наталья Бернадская*

*Редакция:* Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневиц

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd;  
G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina,  
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 314, март 2024

© 2024 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly  
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.  
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.  
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,  
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Владимир Гржонко</i> – Дом. Главы из романа .....	5
<i>Кира Османова</i> – Стихи .....	32
<i>Екатерина Карелина</i> – Ночь в Готико. Рассказ .....	37
<i>Надя Делаланд</i> – Стихи .....	42
<i>Игорь Метельский</i> – В миг очередного рождения. Стихи .....	46
<i>Анна Трубачева</i> – Дань превращению. Повесть .....	50
<i>Сергей Золотарев</i> – [НРЗБ]. Стихи .....	74
<i>Валерий Сосновский</i> – Мгновенье времени. Стихи .....	79
<i>Камилла Вали</i> – Стихи .....	83
<i>Евгений Шкловский</i> – Место для отца. Рассказ .....	87
<i>Николай Тюрин</i> – Истории села Караваино. Рассказы .....	96
<i>Зоя Яценко</i> – Стихи .....	106
<i>Виталий Амурский</i> – Стихи .....	113
<i>Эмиль Дрейцер</i> – Свист абрикосовой косточки. Повесть .....	115
<i>Михаил Рабинович</i> – Стихи .....	135
<i>Марина Гершенович</i> – Стихи .....	138
<i>Владимир Яськов</i> – Отголосок. Стихи .....	142

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Геннадий Аляев</i> – «Война есть физическое проявление духовной болезни». Жизнь и война Василия Франка .....	147
<i>Николай Франк-Львовский</i> – Мой отец Василий Семенович Франк в эпоху Второй мировой войны .....	168
Из переписки Василия Франка. 1938–1944 (Публ. – <i>Н. Франк-Львовский, Г. Аляев</i> ) .....	170
Три письма князя Д.П. Святополка-Мирского (Публ. – <i>Ж. Шерон</i> ) .....	198
<i>Максим Макаров</i> – «Русский холм». La Favière Глава 2. Фавьерское «рабство» Георгия Гребенщикова ....	203
<i>Борис Чичибабин</i> – «Связать начала и концы». Из писем к Полине Брейтер 1977–1986 годов (Публ. – <i>П. Брейтер</i> ) ....	265

## КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

<i>Сергей Коневский</i> – «Лермонтов по-французски». О забытом поэте и переводчице Ольге Гутвейн .....	294
<i>Марианна Тайманова</i> – Как я переводила Милана Кундеру .....	321

## КНИГА И СУДЬБА

*Ирина Муравьева* – Треск хвороста. Размышления над книгой *Франсин дю Плесси Грей*. Они. Воспоминания о родителях (*Francine Du Plessix Gray. Them. A Memoir Of Parents*) ..... 336

## ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Иоффе Генрих Зиновьевич. 1928–2024 ..... 370

# ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Гржонко

## Дом

*Главы из романа\**

### Часть третья. САМОЗВАНЕЦ

В официальных списках жильцов Дома Маша не числилась. Потому что жила в подвале, куда заселилась самовольно, по слухам, дав кому нужно «на лапу». Жильцы знали ее как Машу-из-подвала, которую за небольшие деньги приглашали помочь с уборкой и стиркой. Была Маша девушкой юной, энергичной и, кажется, неглупой, а квартиры жильцов убирала только по причине трудной жизненной ситуации. Но в чем именно состояла трудность, она поначалу не рассказывала. И хотя ходили слухи, что подрабатывает Маша не только стиркой да уборкой, на самом деле никто ее на этом не ловил, а потому и говорить тут было не о чем.

А потом в Доме произошло сразу несколько событий. Сначала появился у Маши жених. Ну не то чтобы жених, а просто однажды увидели соседи, как жилец из двадцать четвертой квартиры Свинцов Савелий Венедиктович провожал Машу до самой ее подвальной каморки и при этом поддерживал за локоток, гордо глядя по сторонам. Маша вид имела смущенный и не знала, куда девать тут же во дворе подаренный ей Савелием Венедиктовичем букет цветов. Впрочем, букет довольно скромный.

Тогда, в первый раз, соседи только покачали головами. Мало ли почему сильно немолодой уже Савелий Венедиктович мог подарить Маше цветы. Может, у нее день рождения. Да и, проводив Машу до дверей в подвал, Савелий Венедиктович отправился к себе и в тот день более ничем ее не скомпрометировал.

Но когда в последовавшее затем воскресенье Савелий Венедиктович на глазах у всех пригласил Машу в кино, соседи заволновались. Заволновались, потому что всем было понятно: выйди Маша замуж – и всё, ищи-свищи тогда другую такую недорогую и аккуратную помощницу. Тем более что Савелий Венедиктович среди соседей слыл человеком неприятным и к тому же служил в милиции. То есть, как уточняли наиболее осведомленные жильцы, не в самой

\* Продолжение. Начало см.: «Новый Журнал», № 313, 2023.

милиции, а только в паспортном столе. Во всяком случае, все в Доме, за исключением, пожалуй, Иеронима Петровича да Матрены Сысоевны, относились к нему с опаской и недоверием.

И вот надо же было такому случиться, что именно Савелий Венедиктович начал откровенно ухаживать за Машей-из-подвала. Трудно сказать, что двигало этим суровым и прагматичным человеком. Возможно, соображение, что он уже немолод, да и не очень здоров, и преданная, обязанная ему всем жена оказалась бы очень кстати. Не какая-нибудь бойкая профурсетка из образованных, которых Савелий Венедиктович уже навиделся, а именно такая, как Маша, – хоть и толковая, но простая и беззащитная. Однако нельзя исключить и того, что Савелий Венедиктович просто влюбился.

Хотя всем было заметно, что ухаживания Маша принимала вяло и как бы нехотя, всё же она несколько раз сходила с Савелием Венедиктовичем в кино. А однажды видели соседи, как Маша прогуливалась с ним по бульвару. Причем вид у Савелия Венедиктовича был победительный. А в руках он нес большую, редкую по тем временам коробку конфет «Ассорти» и бутылку «Советского шампанского».

– Да не кислятину какую-нибудь, а дорогое, полусладкое, – доверительно сообщил соседям вездесущий дядя Гоша. – Это не просто так, уж поверьте мне, старому бойцу любовного фронта.

А потом Маша познакомилась с только что поселившимся в квартире сорок четыре Соломоном Ивановичем Козликом. Молодой и одинокий Соломон Иванович пригласил Машу помочь с уборкой. Она пришла. И тут сердце ее предательски дрогнуло.

Была Маша девушкой разумной, пробивавшей себе дорогу в жизни самостоятельно. И хотя, как я уже сказал, кое-кто нашептывал за ее спиной всякое, хотела она, чтобы всё было по-честному.

Она и уехала-то из своей деревни в город именно для того, чтобы всё у нее было как у людей. Потому что в деревне не получалось. Был там один... грузин заезжий. Шалвой звали. Тоже, кстати, смешное имя – Шалва. Как халва. Но богатый, сволочь. На собственной «Волге» к ним в колхоз прикатил. Вел он с председателем какие-то свои темные делишки. А был этот Шалва весь из себя страшный, как черт. Волосатый, шерстью покрыт, носище торчит, морда вся синяя – то ли спяну, то ли от небритости. Прямо дрожь берет, как вспомнишь.

Так вот, приходит как-то вечером к Машиным родителям Иваныч, председатель колхозный, и говорит, что, мол, так и так, Шалва Георгиевич ее к себе зовет. Говорит, а сам глаза отводит. Ну, тут всё понятно. Маша уж знала, зачем к Шалве по вечерам девок зовут. Правда, что есть, то есть – потом Шалва всех их одаривал. Лидке, дочке Сапроники, даже телевизор купил, не пожадился. Единственный телевизор на всю деревню, между прочим. Радиоприемники еще кое

у кого имелись, а вот телевизор... С таким приданным любой замуж возьмет, не посмотрит, что после Шалвы. Да и с Иванычем никому в колхозе отношения портить не хотелось. Так что девки, да и родители их, обычно были не против.

Но Маша не хотела ни телевизора, ни золотого колечка с цветным камушком, ни новых туфель-лодочек. Противный был этот Шалва. А если совсем честно, то даже и не в том дело. Шалва любил, чтобы девка совсем нетронутая была.

А у Маши к тому моменту уже случился грех. Дура, что и говорить. Одноклассник Ромка уломал, подлец. Отец Машин, Егор Фомич, если бы узнал, убил бы. Тем более, что Шалва теперь за нее и копейки не дал бы. Вот и вынуждена была Маша в тот же вечер тайком сбежать в город. Сначала на вокзале ночевала, оголодала совсем. Поневоле пришлось с милиционером вокзальным путаться. Прямо в опорном пункте милиции, на лавке. Потом, правда, нашелся бывалый человек, рассказал ей про Дом.

Впрочем, кому теперь дело до Машиного прошлого? Было и было. Никого это не касается. Только вот не складывалось у Маши так, как мечталось. Савелий же Венедиктович своей настойчивостью напоминал Маше того вокзального милиционера, с которым хочешь не хочешь, а приходилось иметь дело.

А вот с Соломоном Ивановичем всё случилось иначе. Была ли это любовь с первого взгляда? Этого Маша не знала. Она вообще плохо разбиралась в таких вещах. Ей, как я уже говорил, выживать нужно было. Но сердце ее дрогнуло. То есть, дрогнуть-то оно дрогнуло, но разбрасываться собой Маша тоже не желала. Кроме того, был же еще и Савелий Венедиктович. И его пока что тоже не следовало сбрасывать со счетов. Но своим обостренным в житейских передрагах женским чутьем поняла Маша, что и сама произвела впечатление на Соломона Ивановича. Вон как смотрит, аж щекотно!

Справедливости ради следует сказать, что Маша-из-подвала действительно была хороша. Нежные, не нуждающиеся в помаде губы, высокая грудь, которую не портил даже мерзкий советский бюстгальтер, тонкая талия и длинные ножки с маленькими изящными ступнями... Да только ли это! Было в Маше еще что-то такое, от чего у Соломона Ивановича во рту сразу стало сухо, а руки, наоборот, сделались предательски влажными.

Такое с Соломоном Ивановичем случилось впервые. Он смутился. Хотя не смущался даже нелепому несоответствию своего имени и отчества, из-за которого косились на него люди, перешептываясь за спиной о том, что Иваныч-то он Иваныч, да вот, поди ж ты, Соломон. Это как же понимать прикажете? Да еще и Козлик по фамилии. Но Соломон Иванович терпеливо объяснял, что покойный дед его, Давид Самуилович, назвал сына Иваном в нелепой надежде спрятаться от



судьбы. Да куда ж от нее спрячешься? Особенно с фамилией Козлик... И сам же хохотал во весь голос.

В общем, дослужился Соломон Иванович до должности заместителя начальника довольно большого отдела в каком-то страшно секретном научно-исследовательском институте. Был он хорош собой и пользовался благосклонностью женщин. Что скрывать, умел Соломон Иванович произвести на них впечатление.

И даже имелось у него излюбленное местечко, рангом чуть пониже ресторана, но повыше обычной забегаловки. Именно туда водил обычно Соломон Иванович своих пассий. Наливая им крепленого вина, он так широко улыбался, был так неотразим, что казался всем – и умньким коллегам по работе, и простодушным продавщицам из местного универмага, и просто подхваченным на улице хорошеньким девицам – особым, не таким, как все стальные мужчины... Чувствуя это, он и сам начинал верить в свою исключительность.

А потом Соломон Иванович случайно обнаружил, что как две капли воды похож на древнеримского императора Марка Аврелия Севера Антонина. И в профиль похож, и анфас. Это смешное, в общем-то, сходство настолько потрясло Соломона Ивановича, что пусть и не сразу, но зародилась в его голове странная, просто фантастическая идея. Разумеется, проверить свою догадку он никак не мог.

И хотя генетика в ту пору уже перестала считаться лженаукой и продажной девкой, исследования, которые подтвердили бы предположения Соломона Ивановича, далеко выходили за пределы его возможностей. Ну нельзя же, в самом деле, строить строгую научную теорию только на сходстве, пусть даже и абсолютном, да еще на том, что в студенчестве ему так легко давалась латынь. Та самая вульгарная латынь, на которой, если верить книгам, говорили древние римские граждане.

Только и оставалось Соломону Ивановичу, что рассматривать свой профиль, для удобства приставив бритвенное зеркальце к большому зеркалу в дверце шкафа. И сравнивать с фотографией бюста Марка Аврелия Севера Антонина, найденной в учебнике по древнеримской истории.

Разумеется, о своей теории Соломон Иванович никому не рассказывал, понимая, что выставит себя на посмешище. Да и вообще для советского человека и научного работника такие предположения были по меньшей мере неуместны.

Увидев Машу, Соломон Иванович не только смутился, но и вдруг почувствовал, что у него, как у мальчишки, немного кружится голова. Он представил себе, что вот сейчас захлопнется дверь, и эта удивительная девушка исчезнет. Может быть, навсегда. Мысль о том, что живет Маша в подвале, в трех шагах от него, в тот момент как-то не пришла ему в голову. Сам не понимая, что делает, Соломон Иванович шагнул вперед и хрипло спросил:

– Скажите, Маша, вы умеете хранить тайны?

Удивленная его тоном, Маша кивнула. Соломон Иванович неверным шагом двинулся к книжной полке и достал учебник по истории Древнего Рима.

– Тогда смотрите – и смотрите внимательно.

Маша склонилась над учебником. Дрожащим от волнения пальцем Соломон Иванович указывал на бюст Марка Аврелия Севера Антонина. Маша послушно посмотрела на картинку. Сходство действительно было поразительным. Ну просто как будто с Соломона Ивановича этот памятник делали. Это надо же...

– Как вы думаете, – продолжил Соломон Иванович, проникновенно глядя Маше в глаза, – о чем свидетельствует этот бюст?

Маша покраснела. Слово «бюст» она понимала только в одном смысле и немного смутилась. Уж не предлагает ли он ей чего такого? Сначала-то бюст, а потом... Мало ли что это памятник из музея. Видела она, какие в музеях картинки висят.

И пока она решала, как быть, Соломон Иванович вдруг оживился. Набравшись смелости, он стал выкладывать Маше свою теорию, согласно которой был он не просто сыном перебравшегося из еврейского местечка в город плотника и внуком балагулы. То есть, конечно, всё именно так. Но...

– Вы понимаете? – с сюрпризом в голосе сказал Соломон Иванович. – Скажете, случайное совпадение? Да не может быть таких совпадений! Кроме того...

Соломон Иванович понизил голос до шепота и, бесстрашно приблизив свое лицо к Машину, рассказал, что это только лишнее подтверждение... Ведь, согласно семейной легенде, еще его прапрадед жил между Велебитом и Цетиной. Где это, он и сам толком не знает, но знает точно, что где-то недалеко от Италии. То есть на территории бывшей Римской империи. И вот теперь он думает, что его настоящие предки – римские патриции, принявшие иудаизм, бывший тогда среди свободных и широко мыслящих римлян очень модной религией.

– Это уж потом, – Соломон Иванович скривил губы, – потом она стала настолько немодной, что... Ну, вы понимаете. А тогда... О, тогда всё было по-другому!

Тут сердце Маши опять отчего-то всколыхнулось и заметалось, как будто предвещая то ли беду, то ли, наоборот, долгожданное счастье. Но, пометавшись, все-таки успокоилось. Да и то, что ей сердце слушать, она ж не доктор в поликлинике. Ей жизнь устраивать нужно. В общем, ушла Маша в тот день от Соломона Ивановича. Ушла, но пообещала свято хранить его тайну.

Кто знает путь ветра, кто может постичь, как образуется плод

любви, кто скажет, как поведет себя сердце девы? То самое, не пойми отчего всколыхнувшееся...

А только пополз по Дому нелепейший слух. Любопытное эхо, стараясь ничего не упустить, с настойчивостью мухи кружило вокруг шушукавшихся во дворе сплетников.

Эхо ли в том виновато или кто другой, но в результате история получалась совсем уж несуразная и даже политически вредная. Болтали теперь в Доме, будто является Соломон Иванович родной кровью страшно даже сказать кому. А то, что записан он, извините, евреем, так это еще доказать нужно. Никто с ним в баню не ходил. Может, просто подбросили его к евреям в младенчестве. Отсюда и отчество русское. С намеком. Дескать, чтобы не забывали, от кого он на самом деле произошел... И ахали, удивляясь, как же раньше-то сами обо всем не догадались.

В общем, нелепый этот слух со скоростью лесного пожара пронесся по Дому. Однажды вечером Соломон Иванович столкнулся у фонтана с решительной Фирузой Махмудовной из двенадцатой квартиры, которая, хоть и шепотом, но напрямую спросила, правда ли, что он родственник того... ну, самого...

В этом месте решимость оставила бедную Фирузу Махмудовну. Она только многозначительно задрала усеянный черными волосками подбородок и выпучила и без того огромные черные глаза.

Соломон Иванович понял, что проболталась-таки Маша, и смутился. Его тайное, выстраданное и интимное оказалось у всех на виду. Он был к этому совсем не готов. Но по опыту знал, что в таких случаях лучше всего всё рассказать самому. Кроме того, безграничное благожелательное любопытство, ясно читавшееся на лице Фирузы Махмудовны, придало ему смелости, и Соломон Иванович заговорил.

Фируза Махмудовна жадно слушала, цокала языком, изумленно поднимала вверх окрашенные хной ладони и качала головой. И поскольку добрая, но, увы, малообразованная Фируза Махмудовна мало что поняла из путаного рассказа о предполагаемом родстве Соломона Ивановича с римским императором Марком Аврелием Севером Антонином, а также об иудеях-патрициях, то в результате этого разговора слух разросся и пополнился новыми убедительными и животрепещущими деталями.

Самым пикантным в этой нелепой сплетне было то, что, с одной стороны, получалось, будто бы был Соломон Иванович прямым наследником последнего российского императора Николая Романова, впоследствии жестоко расстрелянного большевиками вместе с семьей. А с другой, наоборот, оказывался он внуком самого главного большевика, Владимира Ильича Ленина!

Нет, конечно же, никто из серьезных людей не поверил, что такое может быть. Романовых всех извели под корень еще в восемнадцатом,

а у Ленина, как известно, детей не было вовсе. Так что говорили об этом скорее как об анекдоте, посмеиваясь и многозначительно подмигивая. Дескать, придумают же такое. И смех и грех! Но слишком уж долго держался этот слух, слишком уж старательно смеялись над ним самые рассудительные жильцы Дома.

Опять-таки, всё это пустая болтовня, прислушиваться к которой разумному человеку глупо, чтобы не сказать больше. Но, чисто теоретически, ведь могло же быть... Тем более что некоторые наиболее изощренные фантазеры с пеной у рта доказывали, что на самом-то деле сын Ленина от мorganатического брака работал в Екатеринбургском ЧК и что именно он спас одну из княжон, дочерей Николая, а потом, с ведома Владимира Ильича, женился на ней... Дескать, это было политически мудрое решение коммунистического вождя, закрепившее за ним власть в Империи кровью. Причем, не только той, пролитой в боях за свободу, но и голубой кровью царской семьи. Вот только потом Сталин всё сделал по-своему. Ну а теперь, когда Сталина из Мавзолея вынесли, всё может повернуться так, как задумал великий Ильич.

Трудно сказать, куда бы могли завести такие разговоры в другие времена. Но было уже начало шестидесятых, и *там, где нужно*, наверное, только посмеялись над этой наивной выдумкой. Посмеяться-то посмеялись, но тем не менее всё же предприняли кое-какие меры: во дворе Дома появился неприметный улыбчивый молодой человек, ходил по соседям, поспрашивал, покивал головой, да и исчез.

Что в результате полученных им сведений решили *там, где нужно*, – неизвестно. Зато точно известно, что, как это ни парадоксально, но после его визита слухам о непростом происхождении Соломона Ивановича поверили даже самые скептически настроенные жильцы. Ведь не станут же *те* просто так посылать человека. Ведь всем известно, что у *них*, еще со времен Феликса Эдмундовича, и сердце горячее, и голова холодная, и руки помытые. Как после уборной...

В общем, отношение Дома к Соломону Ивановичу стало меняться. Нет, внешне оно вроде бы оставалось прежним: всё так же кивали ему при встрече во дворе соседи, всё так же на ходу спрашивали, как дела, всё так же качали головой вслед. Но всё же что-то изменилось. И даже бесцеремонный дядя Гоша уже не отваживался, как раньше, хлопать Соломона Ивановича по плечу и спрашивать, когда же, наконец, приведет он в дом хозяйку.

А потом произошла еще одна странная и даже неприличная сцена, свидетелем которой стал весь Дом.

Устроила ее Дуня – та самая, которая когда-то пригласила в Дом бандита, убившего Льва Моисеевича и ягненка. Встретив Соломона Ивановича во дворе, где, пользуясь теплой погодой, жильцы выбивали половики и сушили на лавочках пуховые подушки, Дуня, вдруг зарыдав, бухнулась перед ним на колени.

– Господи, – причитала она, стараясь поймать ладонь Соломона Ивановича своими трясушимися руками. – Значит, не всех сгубили, природы! Уберег Бог невинную кровь, уберег! Ведь и мечтать не мечтала, чтобы вот так... А вот же, сподобилась! Господи, счастье-то какое!

И, поймав-таки руку растерявшегося Соломона Ивановича, приникла к ней мокрыми расплывшимися губами. Эхо, тут же проснувшись, понесло по двору звук поцелуев, отчего-то больше похожий на звук выстрелов. И само испугавшись сделанного, как всегда, спряталось в самом дальнем углу. А всем присутствовавшим отчего-то стало не по себе.

Но самое сильное впечатление произвела эта сцена на самого Соломона Ивановича. Сначала он, конечно же, страшно смутился. Но неведомое раньше чувство вдруг поднялось откуда-то из глубины его души. Поднялось и разлилось в груди, щекоча и пьяня, как шампанское. И кровь, благородная кровь римских патрициев, короткими ударами билась в его висок.

Взгляд, который бросил Соломон Иванович на замерших от удивления жильцов, был полон какой-то внутренней боли и одновременно радостного понимания своего превосходства над всеми присутствующими. Но не того, свойственного мелким советским чиновникам и богатым спекулянтам, унижающего превосходства, а совсем другого. Кое-кому из впечатлительных соседей даже показалось, что, оторвавшись от земли, взлетел Соломон Иванович – и парил прямо над фонтаном. Глядя на него снизу вверх, соседи вдруг почувствовали, что невольно прикоснулись к чему-то большому и нездешнему.

Слушая дворовые разговоры, Маша поначалу только посмеивалась. Сама она при сцене с Дуней не присутствовала, но своим практическим умом прикидывала, куда теперь могут завести ее зарождавшиеся с Соломоном Ивановичем отношения. Приподнятое Машино настроение испортил Савелий Венедиктович.

– Что же это вы, Мария Егоровна, в такие странные слухи верите? – укоризненно спросил он во время их очередного романтического свидания на бульваре, под липами. – Нехорошо это. Ох как нехорошо.

И, откинувшись на спинку скамейки, Савелий Венедиктович стал объяснять, что дело-то непростое, и еще никто не знает, как к этому вдруг объявившемуся наследнику отнесутся *там, где нужно*. Ведь человек-то от *них* уже приходил!

– Думаете, этим всё закончится? – Савелий Венедиктович многозначительно покачал головой и поднял палец. – С гражданином Козликом еще будут разбираться.

Конечно, нисколько не заботился Савелий Венедиктович о судьбе Соломона Ивановича. Более того, сам же и довел до сведения *тех*, что вот, мол, так и так, некто Козлик Соломон Иванович, беспартийный, еврей по национальности, вдруг ни с того ни с сего возомнил

себя черт знает кем. И что надо бы принять меры против этой вредной и заведомо ложной клеветы...

Маше стало страшно. Увлечшись своими практическими жизненными расчетами, она как-то не подумала об этой стороне дела. Ведь, действительно, кто его знает, как теперь к этому относятся? А вдруг еще и ее привлекут, не дай бог. Как сообщницу. Не отмоешься потом.

Вконец запутавшись, Маша быстро ушла домой, оставив Савелия Венедиктовича на скамейке в полном расстройстве.

Нет, он, конечно, догадывался, что этот проклятый еврейчик, будучи молодым и с лица симпатичным, представляет для него некоторую опасность. Но, являясь начальником паспортного стола, Савелий Венедиктович был уверен, что власть, которой он обладал, перевешивала все мужские достоинства предполагаемого соперника. А теперь изощренный в кабинетных интригах Савелий Венедиктович вдруг подумал, что, оповестив *тех*, переусердствовал. И при изменившихся обстоятельствах неизвестно, как всё обернется. Может так, а может и эдак...

И еще вынужден был признаться себе Савелий Венедиктович, что глупейший и вреднейший слух этот и на него, человека трезвого и умного, всё же произвел впечатление. И впечатление самое неприятное. В том смысле, что, повернись всё в дурную сторону, может зацепить и его. Через Машу. Ведь все знают, что этот Соломон Иванович тоже положил на нее глаз. А так ли это на самом деле? Может, эта интрижка – только прикрытие антисоветской деятельности? Ерунда, конечно, но если начнут грести, кто *там* будет разбираться...

Такой поворот событий Савелий Венедиктович, как работник органов внутренних дел, должен был предвидеть. И отчасти порадовался он, что осторожничал, что дальше невинных свиданий в отношениях с Машей всё же не заходил. Но и отдавать вот так, ни за что ни про что, то, что уже считал своим, ему не хотелось. И теперь противоречия раздирали мнительного Савелия Венедиктовича на части.

А тем временем Соломон Иванович тоже не находил себе места. Он готовился к решительному разговору с Машей.

– Да! – восклицал он, шагая из конца в конец своей однокомнатной квартирki. – Да, я прекрасно понимаю, что со стороны выгляжу глупо, наверное, даже очень глупо! Более того, я готов признать, что эта моя уверенность в родстве с римским императором – не более чем следствие моей социальной инфантильности...

Тут Соломон Иванович перебивал сам себя, понимая, что с Машей следует выражаться попроще.

– ...Следствие того, что я так и не вырос. Мне уже почти тридцать три года, а я... Ну какой взрослый человек может всерьез поверить в такое...

Да что же это? Соломон Иванович тер пальцами висок, подыскивая убедительное возражение самому себе.

– Да, я не вырос. Более того, я трагически не вырос! Но это не означает, что моя теория – пустой детский лепет.

Тут Соломон Иванович пугался, что Маша может именно так и подумать.

– Давайте, Маша, исходить от обратного, – обрадовавшись новой мысли и вытирая наворачнувшиеся слезы, восклицал Соломон Иванович. – Ведь, согласитесь, никто не может доказать, что мое родство с древними римлянами невозможно! Да, конечно, с научной точки зрения, учитывая количество прошедших поколений, трудно что-то утверждать. В конечном итоге, все со всеми состоят в каком-нибудь бесконечно далеком родстве. Но я... я же просто одно лицо с императором Марком Аврелием Севером Антонином! Вы же, Маша, сами в этом убедились. А что это означает с практической точки зрения, спросите вы?

В этом месте Соломон Иванович каждый раз сбивался. Он не знал, как объяснить Маше, что для него означает это сходство. И даже если сходство мнимое, оно всё равно важное. Потому что, мысленно связав себя с давно канувшим в Лету римским императором, он неожиданно почувствовал внутри стержень, о котором никогда и не подозревал.

От духоты и напряженной работы мысли у Соломона Ивановича разболелась голова. Чтобы развеяться, он решил прогуляться и, стараясь не встретиться во дворе с соседями, выскочил на улицу.

Проходя мимо кинотеатра «Родина», не очень-то любивший кино Соломон Иванович случайно бросил взгляд на афишу и застыл в изумлении. В «Родине» шел американский фильм «Римские каникулы». У кассы вилась очередь за билетами. Это показалось Соломону Ивановичу знаком судьбы. Он встал в очередь и, безропотно отстояв более часа, купил два билета на самый последний сеанс.

Маша очень удивилась, когда Соломон Иванович пригласил ее в кино. Если бы он сделал это немного раньше, то Маша, наверное, пошла. Как я уже говорил, понравился ей Соломон Иванович. Да и как-то забуксовали их с Савелием Венедиктовичем отношения. К себе он Машу не звал, а только заставлял уныло прогуливаться по бульвару. К тому же из уклончивых речей Савелия Венедиктовича поняла Маша, что осторожничает он и прописывать ее на своей жилплощади пока не собирается.

Такой ход, как свидание с Соломоном Ивановичем, мог бы эти отношения немного подстегнуть. Но теперь, после разъяснений Савелия Венедиктовича, Маше показалось, что идти в кино с Соломоном Ивановичем даже и опасно, и нужно хотя бы подождать, пока ситуация окончательно разъяснится. В общем, отказалась Маша.

От огорчения Соломон Иванович сначала хотел билеты порвать и выбросить. Но потом передумал и пошел в кино один. Слово «римские» в названии фильма притягивало его как магнит. И вот, сидя в заднем ряду среди увлеченно целующихся парочек, увидел Соломон Иванович Одри Хепбёрн. И хотя ничего общего с Машей, девушкой хоть и милой, но приземленной, у этой небесной красавицы не было, временами в задорном взгляде и в улыбке героини мерещилось ему что-то знакомое, Машино.

А еще через пару минут, когда действие фильма переместилось на римские улицы, Соломон Иванович забыл и об актрисе, и о Маше. Он вдруг узнал Рим! Вернее, даже не узнал, а внутренним чутьем понял, что вот это – Колизей, а это – Испанская лестница. И фонтан де Треви, и мост через Тибр, и замок Святого Ангела. А вон там, на другом конце площади, – глыба Пантеона. И если пройти чуть дальше, в переулок, то выйдешь на пьядца Навона. А там вдали, на холме – величественный небесный собор...

Да и вообще абсолютно всё в Риме показалось Соломону Ивановичу знакомым до болезненной дрожи. Он был уверен, что когда-то жил в вечном городе. В этом не могло быть никаких сомнений!

Как добрался он в тот вечер домой, Соломон Иванович не помнил. Город, в котором он прожил всю свою жизнь, впервые показался ему незнакомым. Соломону Ивановичу остро хотелось в Рим.

Понимая всю несбыточность своего желания, он заторопился и вошел во двор Дома как раз в тот самый момент, когда там разворачивалась другая драма.

Несмотря на позднее время, прямо у фонтана шло объяснение Маши с Савелием Венедиктовичем. Учитывая сложившиеся обстоятельства с Соломоном Ивановичем и то, что еще неизвестно, как оно всё повернется, решила Маша на откровенный разговор.

– Вы, Савелий Венедиктович, конечно, человек хороший, серьезный, – проговорила Маша, опустив руку в фонтан и глядя, как в мутной зеленой воде дробится отражение выплывшей из-за тучи луны, – но, знаете, я ведь тоже девушка серьезная. А вы... если просто так со мной гуляете, то зря только на конфеты тратитесь.

Маша взглянула на насупившегося Савелия Венедиктовича и заторопилась с объяснениями.

– Вы вот не доверяете мне, прописать боитесь, – напрямую выложила она, – а другие хоть что сделают, только бы я ихняя была. Как же можно без прописки? То есть без доверия? Так что давайте прям тут решать, а то от людей стыдно!

– Мария Егоровна, – сдавленно отвечал Савелий Венедиктович, – вы меня просто не так понимаете. Да разве в прописке дело? Я пропишу, я же, если что, и выпишу. И вообще... Тут не в этом дело. А в том дело, что...



Словно наткнувшись на стену, Савелий Венедиктович замолчал. На лице его, освещенном так некстати выглянувшей луной, отразились душевные муки человека, до сей поры о существовании души не подозревавшего.

И вот как раз в этот момент у фонтана появился Соломон Иванович. При взгляде на него слова у Савелия Венедиктовича вдруг нашлись. Всегда предельно осторожный, тут он сорвался. Уж больно обидные вещи наговорила ему Маша.

– Ты, – прорычал Савелий Венедиктович, и эхо пугливо заметалось по темному двору. – Ты тут воду мутишь! И сам тоже мутный, мы про тебя все знаем! И там, где нужно, тоже все знают. Выискался тоже, наследничек!

Интонация его не обещала ничего хорошего, и эхо от греха подалее отбежало в самый дальний конец двора.

По давно укоренившейся интеллигентской привычке Соломон Иванович виновато втянул было голову в плечи. Но, наполненный новым острым ощущением избранности, он вдруг неожиданно для себя гордо выпрямился.

– Да, – твердо произнес Соломон Иванович, и на его изменившийся голос подобострастно откликнулось эхо, – да, наследник! А вы, позвольте спросить, кто такой?

– Я? – растерялся от такой наглости Савелий Венедиктович. – Я кто такой?

– Да понятно кто, плебей вы! – продолжил Соломон Иванович и так повернул голову, так гордо приподнял подбородок, так решительного прищурил глаза, что показался оторопевшей Маше ожившим памятником. Тем самым, из книжки.

И, видно, не ей одной показался. Потому что Савелий Венедиктович окончательно растерялся. Слова «плебей» он, конечно, не знал, но от этого ему почему-то стало еще больше не по себе.

И вдруг не к месту вспомнил Савелий Венедиктович, что происходит он из семьи мелких лавочников и что покойный родитель его был никакой не Венедикт. Это уж потом, после революции взял он себе такое имя – для пущей красоты. А при крещении записан был папаша Африканом. А еще вспомнил Савелий Венедиктович, как под хмельком, по большому секрету рассказывал ему папаша, что однажды сподобился увидеть самого Государя Императора. Того самого, оказавшегося впоследствии кровавым.

– Вот прям как тебя видел, сукин ты сын, Савка, – дыша водкой и луком, говорил папаша и тыкал жестким корявым пальцем в грудь молодому Савелию Венедиктовичу, – рукой дотронуться мог, ей-богу! Да не посмел только...

По словам папаша, царь неторопливо проезжал по улицам, стоя в открытой коляске, улыбался и махал рукой толпе. Самого Государя

видел папаша смутно, будто бы в сияющем облаке. Поэтому в памяти у него остались только синие прозрачные, блестящие не хуже начищенных пуговиц на мундире, царские глаза. И глаза эти на секунду остановились на нем, голодранце.

Навсегда запомнил папаша свой восторг от прикосновения к чему-то настолько далекому от него, ничтожного приказчика в отцовской лавке, что и выразить невозможно.

В этом месте своего рассказа папаша тяжело вздыхал и пускал слезу. И не мог понять Савелий Венедиктович, то ли врет папаша по пьяни, то ли всё так и было в действительности.

А сам Савелий Венедиктович давно еще, сразу после войны, делегирован был от их конторы в Москву, на Первомайскую демонстрацию. И там видел он Вождя – отца и учителя. Правда, не так близко, как папаша царя, но всё равно с каких-то ста метров лицезрел его стоящим на Мавзолее, кричал со всеми «ура» и так надсаживался, что идущий рядом комсорг Курицын на всякий случай ткнул Савелия Венедиктовича локтем в бок.

Показалось тогда Савелию Венедиктовичу, что стоит вождь в сияющем облаке и рукой машет, как бы это облако от себя отгоняя. И еще показалось, что, хоть и было между ними расстояние, поглядел Вождь Савелию Венедиктовичу прямо в глаза. Да что в глаза! Глубже, до самых печенок взглядом проник. Савелий Венедиктович тогда чуть шею себе не свернул, стараясь не упустить этот удивительный взгляд. Часто потом снилось ему, что стоят они с Вождем вдвоем на пустой Красной площади и Вождь так же на него смотрит. Просыпался Савелий Венедиктович от странного восторга, исходящего откуда-то из переполненного мочевого пузыря. И от этого восторга не всегда успевал добежать до уборной...

И вот теперь трудно было сказать, что случилось с Савелием Венедиктовичем. Он и сам потом не мог объяснить, как так вышло, что вскочил он с бортика фонтана, на котором сидел перед появлением Соломона Ивановича, – вскочил и постыдно вытянулся во фронт. Как будто перед ним был не этот еврейчик, а какой-то большой начальник. И что самое обидное, почувствовал Савелий Венедиктович, как откуда-то изнутри поднимается в нем тот самый ночной восторг, справиться с которым не было у него никаких сил.

Потому что в подлую ту минуту истово поверил Савелий Венедиктович, что не врет сплетня, и перед ним сейчас в самом деле наследник тех двоих... И вроде бы даже сияние имеется. Или это просто луна вышла из-за туч?

А Маша ничего не понимала и, открыв рот, переводила взгляд с одного на другого, стараясь сообразить, что же это происходит.

Пауза затянулась, и Соломон Иванович решил, что пора уходить. Уходя, он услышал, как за его спиной Савелий Венедиктович бор-

мотал что-то неразборчивое – не то обидное, не то подобострастное.

Придя домой, измученный всеми событиями этого вечера Соломон Иванович сразу лег спать. Снилось ему Испанская лестница, но не такая, какой он увидел ее в кино, а еще более широкая и верхом касавшаяся самого неба. И странный народ сновал по ней вверх и вниз. А потом появился Некто, чьего лица Соломон Иванович не разглядел, и, обращаясь к нему, проговорил странное: *«Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему...»*

Наутро Соломон Иванович проснулся с головной болью. Своего сна он не запомнил, от него осталось лишь предвкушение какого-то важного события. Только вот непонятно какого. Эта непонятность тревожила и мешала сосредоточиться.

И простой девушке Маше тоже стали сниться непростые сны. Видела она себя не скромной женой Савелия Венедиктовича, проживавшей в двух его совмещенных комнатах с санузлом, а даже и сама не знала кем. Только мерещились ей во снах бесконечные залы, наполненные не по-здешнему одетыми людьми, которые при виде Маши низко кланялись и что-то говорили на непонятном языке.

И удивлялась крепко спящая у себя в подвальной каморке Маша, когда во сне ей навстречу выходил Соломон Иванович, заматанный вроде как в простыню, но было это не смешно, а красиво. И всё вокруг было красиво. Так красиво, что сердце Маши наполнялось никогда прежде не испытанной радостью. И еще гордостью, тоже до сей поры ей неведомой.

Потом сон менялся, и уже не было в нем никаких зал, а бежали они с Соломоном Ивановичем от погони по бесконечным темным переулкам. И знала Маша, что если догонят, то не избежать им страшной расправы. Теперь Соломон Иванович был одет в черный плащ с капюшоном. Оборачиваясь к ней на бегу, он протяжно кричал: «Маша-а-а!» – как будто прощался. И тогда плакала она внутренними жгущими душу слезами и просыпалась.

Но чаще всего видела она себя в каком-то винограднике, и радовалась спелому винограду, и только собиралась сорвать тяжелую нагретую солнцем гроздь, как откуда-то появлялся Соломон Иванович и протягивал к ней руки...

И еще раз повторю, что была Маша девушкой практичной, на всякие мелочи внимания не обращала, а просто пыталась выжить. Но сладко-тревожные сны измучили ее настолько, что даже сбегала она к матери-одиночке Ленке Сафоновой из сорок второй квартиры, про которую говорили, что она вроде из оседлых цыган, а потому умеет хорошо разгадывать сны. Да и вообще может погадать при случае.

Ленка сочувственно покивала головой и сказала, что сны эти

действительно вещи, но для толкования трудные. С одной стороны, обещают они Маше скорое торжество и удачу, но с другой... Поглядев на Машу со значением, Ленка замолчала. А потом шепотом сообщила, что, поскольку речь идет о Соломоне Ивановиче, то надо понимать: опасность над ним висит. Серьезная опасность.

– Но ты не бойся, дорогая! – Ленка ухватила Машину руку своей горячей ладонью и зачестила на цыганский манер. – Ты, Машка, всего не знаешь. И я не знаю. Тайна тут большая, глубокая, в ней маленьким людям и утонуть недолго. Но он, Соломон твой, человек большой, ему эта тайна – всё равно как лужа на тротуаре.

От того, что назвала Ленка Соломона Ивановича «ее Соломоном», у Маши сладко и тревожно жжалось сердце. Как тогда, при первой с ним встрече. Неожиданно для себя поняла Маша, что всё ж таки не в прописке дело. И даже не в жилплощади. Просто вдруг увидела она себя со стороны – маленькую деревенскую девушку, живущую на птичьих правах в подвальной каморке. Если повезет, то переберется она в апартаменты старого и скучного Савелия Венедиктовича. А ведь она не чурка какая-нибудь, и если чего не понимает, то всё чувствует!

Маша ушла от Ленки совершенно потерянная. И на сунувшегося было к ней Савелия Венедиктовича неосмотрительно накричала.

И еще всякого обидного наговорила, забыв, видимо, что это именно он, Савелий Венедиктович, до поры до времени закрывал глаза на ее нелегальное проживание в подвале Дома. Что, между прочим, способствует распространению крыс и мышей, не говоря уже о нарушении правил пожарной безопасности.

Остолбенело глядя на захлопнувшуюся перед его носом дверь подвальной каморки, на глазах всего Дома громко пообещал Савелий Венедиктович так этого не оставлять. Жильцы качали головами, а эхо даже не отозвалось на его крики, словно почувствовало, что в воздухе повисло что-то нехорошее.

И это нехорошее не замедлило проявиться самым недвусмысленным образом. По крайней мере, так об этом рассказывали некоторые особенно осведомленные жильцы, в числе которых был, конечно же, и дядя Гоша.

Как и следовало ожидать, слухи о Наследнике выплеснулись за пределы Дома. В учреждениях, в забегаловках, в магазинах, в трамваях зашептались о Соломоне Ивановиче. Город словно охватила эпидемия.

Но самое любопытное, что, пробравшись на улицы, слухи снова изменились до полной неузнаваемости, и теперь горожане шептались чуть ли не о Втором пришествии.

Правда, времена тогда опять наступили тревожные. Совсем недавно были в стране перебои с хлебом, а кое-где, поговаривали, даже стреляли по толпе рабочих. А вот теперь Советский Союз ока-

зывал помощь пролетариям братской Кубы, что очень не нравилось американским капиталистам. И хотя советские люди были как никогда уверены в своем светлом будущем, страшная опасность всё же нависла над миром. Не исключено, что именно это оказало влияние на неокрепшие души городских обывателей.

И будто бы даже в трех уцелевших городских церквях, двух мечетях и одной полуподпольной синагоге служители культов разъяряли старичкам-прихожанам, что всё это глупые враки. Да только привыкшие к уловкам советской пропаганды граждане после таких объяснений еще больше укрепились во мнении, что не врут слухи, а всё так и есть. Что Он в самом деле пришел...

– И главное, – значительно говорил мне дядя Гоша, – по слухам, *наверху* тоже этим делом заинтересовались. Сами-то они, конечно, ни на секунду не поверили в то, что наш Соломон Иванович действительно, как бы это сказать... Но и личность его была подходящая, и момент был нужный, чтобы скинуть Никиту-кукурузника.

Поняли *там*, что народ поддержал бы такое решение. И не с липовым энтузиазмом, а по-настоящему. Не говоря уже про за границу. Капиталисты от радости даже на советские ракеты на Кубе глаза бы закрыли, а вместо этого открыли бы нам кредиты без счета. И даже сама английская королева такому развитию событий очень обрадовалась бы. А что, ведь Романовы ей, как-никак, родней приходились...

Сам Соломон Иванович, конечно, уже знал, какие глупости о нем болтают в Доме, но большого значения им не придавал. Он был убежден, что нелепее сплетен может быть только попытка их опровергнуть. О том же, что о нем говорят в городе, Соломон Иванович не догадывался. Ловил иногда на себе странные взгляды на работе или на улице. Но в те дни Соломон Иванович был с головой погружен в свои собственные мысли и переживания и внимания на такие взгляды не обращал.

Всё чаще стал он думать о себе как будто о другом человеке. И, приглядываясь к нему, этому другому человеку, понимал, что сильно изменился. Что, оставаясь внешне тем, кем он был всегда, внутренне стал он чище и тверже. И проснувшееся при встрече с Савелием Венедиктовичем чувство собственного достоинства окончательно поселилось в его душе. Но ощущение незавершенности, отсутствие какой-то важной детали, мешавшей до конца понять суть происходивших с ним перемен, всё время беспокоило Соломона Ивановича и не давало сосредоточиться. Он стал удивительно, до нелепости рассеянным.

Только рассеянностью и можно объяснить сделанную им тогда смешную ошибку. Дело в том, что небезызвестная Фируза Махмудовна после долгих лет прискорбного одиночества и случайных романов, на склоне лет неожиданно обрела личное счастье. Явилось

оно к ней в лице некоего Григория Фаддеича Галейкина, много лет вдового пожилого бухгалтера.

Как и полагается, они расписались, и их счастья оказалось так много, что немолодые молодожены решили поделиться им с соседями, закатив во дворе настоящий свадебный пир.

Ну а поскольку времена тогда были трудными, и жили все небогато, то этот праздник любви устраивался жильцами в складчину. И вот выбранный всем Домом свадебный комитет поручил Соломону Ивановичу купить и принести ящик лимонада «Буратино». Это и был его вклад в организацию свадебного пира.

– Для запивки лимонад – первое дело, – многозначительно пояснил мне дядя Гоша, – а уж запивать там было что – водку-то я лично закупал...

Погруженный в свои переживания, Соломон Иванович отправился в магазин и, обливаясь потом, еле дотащил оттуда тяжеленный ящик с бутылками. Тут же и обнаружилась его занятная ошибка: вместо невинного детского напитка купил Соломон Иванович ящик дешевого, но вполне приличного портвейна.

По словам дяди Гоши, эта ничем не примечательная свадьба запомнилась всем именно благодаря Соломону Ивановичу. И долго еще при упоминании о том застолье жильцы улыбались и качали головами. Торжество получилось очень веселым. Ведь не пропадать же было целому ящику портвейна...

А тем временем Савелий Венедиктович копил в своем разбитом сердце самую черную злобу. От вспыхнувшего было нежного чувства не осталось и следа. И хотя иногда Маша казалась ему просто несчастной жертвой коварного Соломона Ивановича, всё чаще Савелий Венедиктович думал о ней, как о подлой и бессердечной развратнице.

Поначалу он хотел было просто выселить Машу из подвала вон, благо, возможности для этого у него имелись. Но потом, поразмыслив, решил, что такого простого наказания ей будет недостаточно. С такими-то способностями она быстро найдет себе хахалю с жилплощадью! И над ним же еще посмеется, тварь! Нет, нужно было придумать что-то такое, что до конца утолило бы поселившуюся в сердце Савелия Венедиктовича жажду мести.

Думал он об этом постоянно. Даже ночью. Так что и сны ему стали сниться странные. В них и не подозревавший о существовании шекспировского Отелло Савелий Венедиктович видел себя во дворе стоявшим прямо у фонтана и неумолимо сжимающим обеими руками нежную Машину шею. И всё это, несмотря на присутствие свидетеля – того самого проклятого еврейчика.

Идти в тюрьму Савелию Венедиктовичу совсем не хотелось, тем более что за преднамеренное убийство могли дать и смертную казнь.

Но даже понимая это, не мог он остановиться – душил и душил проклятую изменницу, всё сильнее сжимая пальцы, хотя Маша уже начала хрипеть. А тот еврейчик, мстительно посмеиваясь, бежал вызывать милицию... От ужаса Савелий Венедиктович просыпался в холодном поту.

И вот однажды среди ночи понял Савелий Венедиктович, что нужно сделать, чтобы и жестоко наказать мерзавку, и самому остаться, как говорится, не при делах. Вспомнил Савелий Венедиктович их разговор о том, как Маша попала в город. Ведь и о грузине Шалве она ему тоже рассказывала, дурочка. Что будто бы теперь ищет ее этот Шалва повсюду, потому что, сбежав, оскорбила Маша его мужскую честь и достоинство кавказца. Да и просто так, по-человечески, обидела.

Тогда Савелий Венедиктович значения этому ее рассказу не придал. Подумал, что просто набивает себе девка цену. Вот, дескать, какая она: даже грузин, да еще такой богатый, ночей не спит, за ней охотится. И вот теперь, вспомнив о нем, понял Савелий Венедиктович, как ему поступить.

И так обрадовался, что спать той ночью больше не ложился, а до утра взволнованно пил чай на своей кухоньке, фальшиво напевая себе под нос: «...И за борт ее бросает в набежавшую волну».

Чуть свет вышел Савелий Венедиктович из Дома. О том, куда именно он направился и что делал, никому достоверно не известно. Может, вообще просто от огорчения пошел на работу пораньше. Или еще куда. Всякое потом болтали.

Но как бы там ни было, а уже вечером того же дня во дворе появился гражданин, в котором легко было узнать *лицо кавказской национальности*, как потом стали писать в милицейских протоколах. По словам всеведущего дяди Гоши, лицо это против ожиданий было щупленьким и невысоким, в большой черной кепке, из-под козырька которой высовывался огромный крючковатый нос.

– Э-э, – неуверенно сказала лицо в пространство, – где здесь эта... Машка где живет, а? Ну, дэвушка такой.

И тоскливо добавил: «Блонды-ынка».

Заинтересованные жильцы – из тех, кто оказался в тот час во дворе – пододвинулись поближе.

Назвался пришелец Шалвой Гогоберидзе и доверительно сообщил, что ищет Машу не просто так, а по очень важной причине.

Нужно сказать, что об истории Машиного бегства из родной деревни знал не только Савелий Венедиктович. Многие были в курсе. То есть, честно говоря, просто весь Дом. И поэтому появление этого самого Шалвы вызвало у соседей горячий интерес.

А Шалва – по словам дяди Гоши, – грустно оглядев собравшихся, рассказал свою историю. И получалось так, что сбежала Маша вовсе не от покушения на ее девичью честь, а наоборот, уже будучи

его, Шалвы Георгиевича Гогоберидзе, законной супругой. И он готов всем предъявить свой честный советский паспорт, где, фиолетовым по белому, стоит штамп о регистрации брака.

И вот сразу же после свадьбы, даже не дожидаясь первой брачной ночи, Маша сбежала в неизвестном до недавнего времени направлении, покрыв его, Шалвы, голову несмываемым позором.

– Хорошо еще родственники в Кутаиси нэ знают. Пока нэ знают... – убитым голосом добавил Шалва. И под его большим носом предательски повисла скупая мужская сопля.

– Зачем бэжать? Королева была... Всё у нее было, всё!

Далее Шалва обстоятельно перечислил длинный список подарков, сделанных им невесте, куда входили и телевизор, и замечательное золотое колечко с рубином, и туфли-лодочки, и импортная жакетка... И это еще не считая всякой мелочи!

Окончательно потеряв самообладание и растерянно вертя головой во все стороны, Шалва тоненьким голоском закричал: «Маша-а-а, где ты? Выходи, пыжалста!» И постыдно заплакал. А ему сочувственно вторило сбитое с толку эхо.

Тут настроение окруживших Шалву жильцов начало резко меняться. А некоторые из наиболее решительных мужчин, вроде Васьки из четвертой квартиры, готовых было, учитывая скромные габариты пришельца, решительно выставить его со двора, призадумались. Вместо коварного искусителя перед ними стоял бедный обманутый муж. Причем мужская половина жильцов думала в этот момент плохо про всех женщин сразу, а женская – про одну только Машу.

Превратившись из чернавки в капризную богачку, Маша вызывала у них праведный гнев. Гнев изрядно подогретый, если честно, загоревшейся в глубине души самой черной завистью. Им-то никто туфель-лодочек не дарил, не говоря уже о колечках с рубином. И вот эта сучка теперь еще ломается. Такого мужика ни за что ни про что обидела! Вот же мразь!

Как-то так само собой получилось, что объединенная гневом кучка жильцов вдруг стала грозной толпой, и толпа эта неумолимо двинулась к Машиной каморке. И тут же подобранный чьей-то рукой камень полетел в единственное ее оконце. Выскочив на звук бьющегося стекла и увидев у своего порога возмущенных соседей, Маша застыла в недоумении.

Еще раз повторяю, историю эту я знаю со слов дяди Гоши. Поэтому за достоверность ручаться не могу. Кроме того, некоторые другие жильцы, ставшие свидетелями тех давних событий, на мои прямые вопросы отвечали весьма уклончиво. По словам дяди Гоши, им просто не хотелось выносить сор из избы. Да и признаваться в участии в таком некрасивом деле тоже было совестно.



В общем, в самый последний момент, когда подзуживаемые завистью разъяренные жильцы готовы были устроить Маше настоящую расправу, и камни, правда, брошенные неумелыми руками, уже градом полетели – да не в окошко, а в саму Машу, – во дворе появился возвращавшийся с работы Соломон Иванович. Увидев начавшийся самосуд, Соломон Иванович мгновенно вынырнул из задумчивости и кинулся вперед.

– Опомнитесь! – закричал он. – Что вы такое делаете?! Сами вы что ли идеальные? Не стыдно вам?!

Поднятые было руки опустились, лица вытянулись, и объединенная гневом толпа тут же распалась на просто соседей-жильцов. И вот тогда никогда не читавший Евангелия Соломон Иванович вдруг понял, что, защитив Машу, то есть сделав то, что на его месте сделал бы любой другой нормальный человек, невольно перешагнул какую-то невидимую черту.

И отчего-то обрадовался Соломон Иванович. И испугался. Как будто предстояло ему, и уже совсем скоро, нечто великое и ужасное одновременно. Хотя он и сам не мог бы толком сказать, что именно.

– Всё, как говорится, встало на свои места, – поучительно заявил мне дядя Гоша и сощурился, закуривая беломорину. – А ты что думал? Тут ведь знаешь как? Тут это... кто умножает знания, умножает и скорбь! То есть, попросту говоря, за всё хорошее рано или поздно приходится платить, понимаешь, нет?

Следует добавить, что никто так и не узнал, был ли этот Шалва нанятой на рынке мстительным Савелием Венедиктовичем подставной фигурой – или же действительно легкомысленная Маша сбежала от него сразу после венца. Всяко могло быть. Известно только, что никогда более он в Доме не появлялся. Может, с горя уехал к родственникам в Кутаиси...

Тут я должен рассказать об еще одном жильце Дома – Иване Захаровиче Гаврилове, сыгравшем важную роль в том, что произошло дальше. Поселился Иван Захарович в Доме только в конце пятидесятых. Про него говорили, что совсем еще молодым человеком, почувствовав призвание, постригся Иван Захарович в монахи, долго жил отшельником далеко на Севере – там, где чуть позже возникли гулаговские лагеря. Говорили даже, что среди местных, а потом и среди эзков считался он чуть ли не святым: исцелял больных наложением рук и однажды будто бы вылечил от последствий инсульта одного лагерного чекиста-кума, известного садиста и убийцу.

За это невиданное дело ээки решили поставить Ивана Захаровича на перо, то есть, попросту зарезать, да вылечившийся кум помог – спрятал его у себя в лагере. В отдельном бараке для блатных. Но случилось так, что вскорости после этого, во время вос-

стания, кума убили, а так как никаких бумаг на Ивана Захаровича не было, то и остался он сидеть как обычный зэк. Кто их там считал?

Но даже в лагерях, в нечеловеческих условиях, Иван Захарович будто бы разительно отличался от обычных зэков. Кроме умения лечить руками, обладал он необычайной физической выносливостью и нечувствительностью к холоду. Более того, говорили, будто бы во время коротких перекуров на лесоповале таял под ним смерзшийся на лютом морозе снег. И даже у вконец озверевших зэков Иван Захарович стал пользоваться удивительным авторитетом.

А еще среди наиболее просвещенных жильцов Дома ходили слухи, что будто бы был Иван Захарович не то учеником Рериха, не то, что и вовсе невероятно, самим Николаем Константиновичем, явившимся обратно в мир, чтобы поведать о Шамбале. Ну это уж, конечно, совсем ерунда, верить в которую отказывался даже дядя Гоша. Хотя он говорил, что якобы видел на руке у Ивана Захаровича странную наколку в виде трех кружков, составленных треугольником.

Я лично ничего определенного по этому поводу сказать не могу, потому что был в ту пору еще слишком мал, а Иван Захарович после описываемых событий бесследно исчез.

Ну а тогда, в середине пятидесятых, вышел Иван Захарович на волю и работал в школе учителем истории. И жил у нас в Доме в пятнадцатой квартире.

Ничем особенным он среди других жильцов не выделялся, но ходили слухи, что и теперь Иван Захарович мог творить чудеса. Сам он от такой славы отказывался. Врут всё люди, говорил, что с них взять. Ну, или преувеличивают. И улыбался светлой улыбкой. Редко кто у нас так улыбался.

И вот в тот день, когда приходил Шалва, но только значительно позже, почти ночью, Иван Захарович встретился у фонтана с Соломоном Ивановичем.

– Боюсь, вы не до конца понимаете, что происходит вокруг вас, – сказал ему Иван Захарович с таким участием, что Соломон Иванович невольно проникся доверием к этому, в общем-то малознакомому, человеку.

– Я уж давно живу на свете и многое видел. И в последнее время задаю себе банальный вопрос: а так ли я жил?

Иван Захарович покачал головой.

– Наверное, это старческое, но, оглядываясь назад, хочется думать, что жизнь прожита мудро и не зря, а главное, что не совершал я больших и непоправимых ошибок. И, знаете, часто мне удается себя в этом убедить. Вот только...

Иван Захарович печально поглядел на Соломона Ивановича и перевел взгляд на козлоногую фигурку посреди фонтана. Соломон Иванович тоже посмотрел на нее, и показалось ему вдруг, что мра-

морный Пан внимательно наблюдает за ним своими позеленевшими от старости глазами.

– О двух вещах я жалею более всего. Первая, не поверите, связана с девочкой, с которой встретился на детском императорском балу. Она улыбалась мне и, очевидно, хотела, чтобы я пригласил ее на первый танец. А я отчего-то вдруг страшно застеснялся и ее взгляда, и платья, в котором она показалась мне слишком взрослой... В общем, почувствовал себя маленьким, сник и убежал, дурачок. Было это в Москве, в девятьсот двенадцатом...

Иван Захарович замолчал. Потом вдруг улыбнулся.

– Вы скажете, что это ерунда, пустое. Мало ли потом было в моей жизни встреч, которые просто стерлись из памяти, – жизнь-то долгая... Но ведь запомнил эту самую девочку, виденную давным-давно, мельком. Почему? Думаю, память избирательна, мы помним только самое главное, даже если сами не понимаем этого. Отчего-то мне кажется, что вся жизнь могла бы пойти по-другому, окажись у меня достаточно смелости пригласить ее на танец. И, кто знает, может быть, не только моя жизнь...

Соломон Иванович уже открыл было рот, но Иван Захарович его опередил.

– Видите ли, то была Великая княжна. Та самая, которая потом трагически погибла вместе со всей семьей... Тогда я был мальчишкой и не догадывался, что могу что-то изменить. Я и сейчас, если честно, не до конца понимаю, как это происходит... Как связаны мученическая смерть одной девочки – и великие бедствия половины мира. Но точно знаю: спаси я ее тогда, и проиграла бы большевики, и не было бы ни большого террора, ни голодомора, ни Гулага. Ни Первой мировой, ни Второй...

Иван Захарович замолчал, а Соломон Иванович вдруг почувствовал: не врут слухи, Иван Захарович – человек действительно необычный. То, о чем он говорил, было настолько невероятным, что просто невозможно было не поверить. А еще исходила от Ивана Захаровича какая-то похожая на поток теплой воды энергия, от которой звенело в ушах и покалывало под языком.

– А вторая вещь? – неожиданно для себя спросил Соломон Иванович. – Ну, та, о которой вы до сих пор жалеете.

– Вторая... – Иван Захарович чуть прищурился, словно вглядываясь в прошлое.

На секунду Соломону Ивановичу даже почудилось, что исчез Иван Захарович, перестал быть одушевленным. Что будто бы стал мраморным, как старый Пан в фонтане... Но странное это ощущение тут же исчезло.

– Вы только поглядите, – вдруг сказал Иван Захарович, – ночь-то какая... воробьяная!

И действительно, сильный ветер гнал по небу серую муть, которую то и дело прорезали зарницы. Сухая, горько пахнувшая тополиным листом пыль вихрем носилась по двору, а на веревках гулко хлопало забытое кем-то из жильцов белье. Временами всё стихало, и тогда казалось, что ничего особенного не происходит. Но тут же ветер поднимался вновь, и в его повадке явственно проступала угроза. Отчего-то она не испугала Соломона Ивановича, а даже наоборот, порадовала. Да, ночь обещала быть бурной. И это почему-то было хорошо.

– Видите, как получилось? – Иван Захарович покачал головой. – Ни с того ни с сего попали вы в историю. И кончиться она может или плохо, или хорошо. А вот никак, увы, закончиться не может...

– Простите, – с недоумением спросил Соломон Иванович, – какая история? О чем вы?

– Э-эх, – вздохнул Иван Захарович, и пробившаяся через муть зарница осветила его лицо. – Как бы вам это объяснить? Вы вот, я знаю, считаете, что мраморный бюст, с которым вы так похожи, это портрет давным-давно забытого древнеримского императора. Да полно, так ли это? Ну что мы с вами знаем об интригах Ватикана и его многочисленных переписываниях истории? Нет, поверьте, это портрет совсем другой, куда более значимой личности...

Соломон Иванович недоверчиво улыбнулся, но, взглянув в лицо собеседника, тут же согнал улыбку с лица. Откуда-то вдруг пришло к нему понимание, что встреча их не случайна, что за ней последуют уже совершенно невероятные события.

– Да я-то что, – смущенно пробормотал Соломон Иванович, – я такой же, как все. Ну мало ли кто на кого похож. Да и ничего такого я не сделал.

Тут он лукавил. Ему очень хотелось услышать, что всё не просто так, что ждет его великое, просто фантастическое будущее. Соломон Иванович с надеждой взглянул на Ивана Захаровича и в неверном свете молний увидел на его лице незнакомое выражение – странное и грозное.

– А вам и не нужно было делать ничего особенного, – тихо произнес Иван Захарович.

Помедлил и, предвосхищая вопрос, добавил, что не знает, почему именно Соломону Ивановичу выпал этот жребий. Не знает. Но знает, что он, жребий, всегда выбирает разных, на первый взгляд, случайных людей. Только вот потом происходит с ними одно и то же. Почти всегда...

Однажды в лагере встретил Иван Захарович молодого доходягу-интеллекта из команды вновь прибывших по этапу эзков. Был он неоднократно бит и едва держался на ногах от истощения. Кроме того, уголовники отняли у него одежду – всё сколько-нибудь теплое. Почувствовав к этому несчастному приязнь, позаботился о нем Иван

Захарович и пристроил парня в хозблок. А чуть позже выяснилось, что был он сыном какого-то большого кремлевского начальника. самого-то начальника и его жену давно расстреляли. А вот сынок каким-то чудом остался жив, получив, как ЧСИР, то есть родственник изменника родины, семь лет лагерей и поражение в правах.

Странный оказался паренек. Выросший в атмосфере кремлевской спецжизни, учась в спецшколах и отдыхая в спецсанаториях, окруженный спецдрузьями и топтунами из отцовской охраны, он вырос при настоящем коммунизме и потому верил, что все люди добры, справедливы и готовы к подвигу на благо Отчизны. И раз лагеря для того и существуют, чтобы перековывать оступившихся осужденных в настоящих строителей коммунизма, то его долг – всемерно помогать в этом деле родной Советской власти. Он искренне считал, что именно для этого его и посадили. И что он предал бы своего геройского отца, если бы усомнился и повел себя в час испытаний как какой-нибудь беспартийный обыватель.

Ну и, понятно, чуть позже он погиб. Его не могли не убить. И смерть его была страшной. История грустная, да. Но ничего необычного в ней не было. Кроме, разве что, того, что разозленные «проповедящие» *этого исусика*, зэки приколотили паренька к стенке барака. Просто так, ни за что, в общем-то. Исусикам в бараках не место.

– А я, – сказал изменившийся Иван Захарович, отирая с высокого лба первые крупные капли дождя, – не захотел этому помешать. Хотя мог бы... И это вторая вещь, о которой я теперь жалею. Дело в том, что тогда я еще не понимал, как следовало поступить: попытаться переубедить человека, уверовавшего в свою миссию, или позволить ему идти до конца. Думал, так нужно, хоть и было ужасно жаль этого несчастного. Теперь-то я знаю, как правильно.

И, помолчав, добавил:

– Ведь и с Ним всё было совсем не так, как об этом рассказывают...

Тут первый мощный раскат грома прокатился над двором, молния кошачьими когтями раскроила небо, и окончания фразы Соломон Иванович не расслышал. Почудилось ему, будто бы сказал Иван Захарович, что Церковь мог основать только Он сам, а не Его ученик. Ставший, конечно, камнем в постройке, но камень на то и камень – он только и может, что служить опорой, основанием. А еще рядом с Ним была женщина...

– Потому что, – уже перекрикивая вой ветра, снова заговорил Иван Захарович, – есть еще и любовь. *Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее...*

А чуть позже той же ночью, когда уже всю хлестал дождь и так грохотал гром, что не слышно было даже эха, к Соломону

Ивановичу пришла Маша. И это было настоящим чудом. Таким огромным, что оно проникло сквозь стены и взволновало давно спящих глубоким сном соседей, а кое-кого из них даже разбудило. Но подумали проснувшиеся, что виной тому гром и бьющие в окна струи дождя. И постарались заснуть снова. А воробьиная ночь всё не кончалась и не кончалась...

Маша и сама не могла понять, что с ней происходило. Ведь хотелось ей, чтобы всё было правильно, как у людей. А оно вон как получилось... И теперь пыталась Маша собрать остатки здравого смысла и объяснить хотя бы самой себе, хочет ли она создать с Соломоном Ивановичем крепкую советскую семью с пропиской – или же любит его просто так, нипочему...

И вот тогда, в самый-самый момент, к Маше вдруг само собой пришло понимание – да не такое, чтобы словами, а другое, возникшее откуда-то из самой ее, Машиной, серединки. Обжигающе горячее, оно словно разделило ее пополам.

И стало как будто две Маши. Одна, которая когда-то давным-давно хитрила, пытаясь прописаться к Савелию Венедиктовичу, врала, да и много чего другого делала нехорошего, оправдываясь желанием жить по-человечески. И другая, новая. Эта новая Маша оказалась такая, что даже страшно стало, и голова окончательно пошла кругом. И еще поняла она, что не соврала цыганка Ленка Сафонова про ее Соломона.

– *Своего виноградника не берегла...* – почему-то мелькнуло у нее в голове.

Мелькнуло и исчезло. И еще теснее прижалась новая Маша к своему Соломону, а из груди ее вырвался крик. Крик восторга или страха, она и сама не знала.

Несмотря на гром и ливень, этот протяжный крик проник во двор, и спрятавшееся было от дождя эхо восторженно понесло его из конца в конец Дома, стучась в каждую дверь.

Теперь уж проснулись все соседи. Но света отчего-то зажигать не стали, а прокравшись босиком по холодному полу, приникли лбами к выходящим во двор окнам и тревожно вглядывались в густую, обильно политую дождем темноту...

– Теперь, – спросил Машу Соломон Иванович, – веришь мне?

– Да, – преданно ответила Маша, хотя и не понимала, о чем именно он ее спрашивает. – Верю, конечно.

– А знаешь, чем кончится эта ночь?

– Нет, не знаю. Утром, наверное.

– Мне вот напророчили, что всё может кончиться плохо.

– А я не боюсь. Хватит, уж набоялась...

– Тогда всё будет хорошо.

Они тоже стояли у окна и, обнявшись, смотрели в темноту...

– Было это, – буднично объяснял мне невозмутимый дядя Гоша, – акkurat в ту ночь, когда закончился Карибский кризис. Разошлись мы тогда с американцами только-только – бортами, что называется. Потому что еще бы немного – и все, третья мировая, ядерная...

А наутро за Соломоном Ивановичем пришли.

Любопытно, что вплоть до самого последнего времени, когда и про Сталина многие уже не помнили твердо, кто это такой, не говоря уже о Берии или Ежове, жители Советского Союза прекрасно знали, что означает фраза «за ним пришли». И все – от ветеранов Великого Октября до малышей-октябрят – понимали, кто пришел и зачем.

По словам дяди Гоши получалось, что пришли за Соломоном Ивановичем, чтобы везти его в Кремль. А может и просто арестовать, кто теперь скажет? Потому что рвавшийся тогда к власти Бровастый конкурентов, конечно, не потерпел бы. И плевать ему было на английскую королеву. А кредиты у капиталистов получал, обменивая буржуйское зерно на советских евреев. Это ж всем известно.

Но интересно другое. Пришедшие за Соломоном Ивановичем его не нашли. Взятый в качестве понятого и всё еще пылавший жаждой мести Савелий Венедиктович посоветовал поискать у Маши, в подвальном закутке.

Во время тщательного обследования крохотного Машиного жилья обнаружилось, что оклеенный обоями кусок фанеры, которым Маша отгородилась от остального подвала, валяется на полу. За ним открывалась кирпичной кладки арка, а уж за ней – анфилада уходящих во тьму бесконечных подвальных помещений.

Разумеется, подвал обыскали – и обыскали тщательно. Но и тут ни Соломона Ивановича, ни Маши не нашли. Амбарные замки, на которые были заперты несколько выходов на улицу, оставались нетронутыми. И это можно утверждать со всей уверенностью, поскольку осматривали их настоящие специалисты.

Чуть позже обнаружилось, что пропал и Иван Захарович Гаврилов. Тут всё сходилось одно к одному. Дядя Гоша говорил, что старый зэк Иван Захарович почуял, что вот-вот придут за Соломоном Ивановичем, и увел той ночью из Дома и его, и Машу. А что выломали они перегородку в подвале, так это хитрый зэковский прием, чтобы обмануть погоню.

Но как бы там ни было, среди жильцов ходили слухи, что подвал наш на самом-то деле простирается гораздо дальше Дома, и что якобы есть там ходы, выводящие к заброшенным каменоломням. А уж оттуда можно пробраться за город, в степь. Правда, некоторые утверждали, что не всё так просто с этим подвалом и что зная секрет, будто бы можно выбраться из него не только в далекие от нашего города места, но даже и в другие времена.

Разумеется, наиболее рационально мыслящие жильцы говорили, что всё это ерунда, что Соломон Иванович с Машей под покровом ночи просто вышли из Дома и скрылась. А другие рассказывали, будто бы много лет спустя видели где-то в Крыму сильно постаревшую Машу, продававшую на пляже вареную кукурузу. А рядом изрядно сдавший Соломон Иванович в грязном белом фартуке жарил на продажу шашлыки. Да только все врал, конечно.

О том же, куда делся Иван Захарович, никто догадок не строил, поскольку человек он был пришлый: как приехал, так и уехал. А куда – никому не интересно. Своих проблем хватает. Но так или иначе, из Дома все трое исчезли бесследно.

Слухи о Втором пришествии постепенно затихали, а потом, как и положено слухам, сошли на нет. Хотя говорят, что еще не раз приходил в Дом улыбочивый молодой человек *оттуда*, и то с одним, то с другим жильцом приватно беседовал. Дескать, не связывались ли с ними беглецы, не писали ли писем? Но все обитатели Дома, преданно глядя ему в глаза, только руками разводили. Да и видно было, что спрашивает он без настоящего интереса, а так только, по обязанности. Тем дело и кончилось.

Спустя много лет я, гражданин уже совсем другой страны, оказался с женой в Риме. В тот день нам немного не повезло с погодой. Начиналась настоящая воробьиная ночь. Было довольно тепло, но по небу угрожающе носились низкие тучи, время от времени сверкали молнии, вот-вот должен был пойти дождь.

Торопясь спрятаться под навес одного из ресторанчиков на пьядца Навона, я случайно толкнул плечом невысокого мужчину, на потеху туристам торговавшего с лотка какой-то мелочью. Обернувшись, я замер: на секунду мне показалось, что передо мной стоит оживший римский император Марк Аврелий Север Антонин.

– *Omnes viae Romam ducunt\**, – в ответ на мои извинения с расстановкой произнес торговец и, дружески подмигнув, мгновенно растворился в толпе.

*Нью-Йорк*

---

\* Все дороги ведут в Рим. (*лат.*)



## Кира Османова

\* \* \*

обнаруживает себя, случается,  
копошением в кроне куста,  
голосом птицы, слетевшей на поперечье креста,  
и молчанием тех, кто не дожил – а мог бы – до ста;

это долгое горе, паче чаянья,  
не избудешь его никогда –  
горе, разлитое в каждом дне, неживая вода,  
посторонние звуки, бежать от которых – куда?

это горе: в тебе – как будто выемка,  
углубляется, ноет, и вот  
трудно становится словом выразить времени ход,  
и зажить бы давно, а действительно – не заживет;

ничего не поделатъ – только вытерпеть...  
обучаться опять языку,  
к холмику всё прибиваться скорбному, что к островку;  
эта птица никак не уймется – «ку-ку» да «ку-ку»...

\* \* \*

Не радостью, не радостью одной...  
Ты двуединство объясняешь просто:  
Широкое морское полотно  
И зыбкой суши узкая полоска.

Стоишь на берегу, и только здесь  
От ветра не скрываешься сырого.  
«Горюющий» – такое слово есть.  
«Отгоревавший» – нет такого слова.

Ждешь, вопреки всему, благих вестей,  
И кажется: вода звучит так нежно,  
Как скорбь, что разливается везде, –  
И в радости. И в радости, конечно.

\* \* \*

Здесь строже строгого режим –  
он учит многому.  
Здесь ты окажешься расшит –  
и сшит по-новому.

Вот так, в печальнейшем из мест,  
в момент несуетный,  
ты ощущаешь, наконец,  
Его присутствие –

того, кто точно знает, как  
управить трудное.  
Иголки, марлевая ткань,  
пакеты с трубками:

ничем таким и всем таким –  
единовременно.  
Путь избывания тоски –  
довольно древний он.

От бесконечных «псевдо-», «лже-»  
не помнишь, где же ты, –  
и угасешь, и уже  
подобен нежити.

Себя за свой недужный вид  
съедаешь поездом.  
Но кто-то скажет вдруг: «Живи!»  
Ты знаешь – кто это.

\* \* \*

Не выучила до сих пор,  
как называется  
птица маленькая,  
что прилетает ко мне на веранду  
каждое лето,  
вьет гнездо  
над сундуком.

Только привыкнешь к писку птенцов,  
выйдешь однажды завтракать –  
а на веранде тихо.

Сундук усыпан  
листьями, ветками.  
Пустое гнездо на полу.

Говорят, к соседям никто не прилетает:  
веранды у них опрятные;  
и нет нужды вспоминать  
слова  
из орнитологии.

\* \* \*

Но даже и летом – кто бы от долгой жары не устал.  
Однажды в обычной полдень сад засыпает почти:  
стоишь, собираешь ягоды (в чашку – с густого куста) –  
и в это же самое время... снег начинает идти.

Вот это и есть любовь: изумление, верная смерть  
и нежность (и в чашке она – зернистая мякоть на дне).  
И если возможно думать о чем-то в подобный момент,  
то: «Только бы не прекратилось!» – думаешь. Только бы – не.

#### ДВА ПОРТРЕТА

Графиня Амалия фон Кайзерлинг  
нарисовала портрет  
учителя своих детей,  
Иммануила Канта,  
где Кант  
так похож на Амалию,  
что ее автопортрет  
кажется одним из вариантов  
изображения учителя.

Верно,  
человек придает  
черты себя самого  
тем, кого любит;  
как верно и то, что  
человек обретает  
черты любимых.

К тому же есть версия,  
что оба портрета  
выполнены  
рукой  
Канта.

\* \* \*

Спишь, и – поди же ты! –  
снится, как прежде:  
ты, простудившийся,  
на побережье.

Буны из лиственниц –  
скользкие, в тине.  
Будто и злиться – не  
результативно.

Будто и плакаться –  
малопрстойно.  
Делай без пафоса  
дело простое –

сам себе скажешь, а  
птица поддакнет.  
Спросится с каждого.  
Здесь и подавно.

Где это, где это  
спрашивать будут?  
Что она делает –  
птица над буной?

Счастье ли, горе ли,  
море ли, суша...  
Фантазмагория.  
Временный ужас.

Птица сипатая  
крику прибавит.  
Ну просыпайся же.  
Баюшки-баю.

\* \* \*

Души беспокойной какая-то часть  
Не может себе ответить:  
Где именно ты пребываешь сейчас –  
На том или этом свете.

Ты утром читаешь и пишешь, а днем  
На берег спуститься вправо,

Где ты – сомневающийся – упразднен  
И морю масштабом равен.

Кто дюну насыпал – был жестокосерд:  
Мучительна вверх дорога.  
Но вечером в кирхе – органнй концерт,  
Скорее всего – барокко.

Такой распорядок, где лишнего нет,  
Теперь для тебя обыден.  
Как будто бы вечность. И главное в ней –  
Размеренный ход событий.

И небо в последний период зимы –  
Как вогнутый лист металла.  
И берега многометровый размыв –  
Метафора из метафор.

\* \* \*

Von Gott will ich nicht laßen  
Denn er läßt nicht von mir...

*Dieterich Buxtehude, BuxWV 220*

Человек обрел свободу,  
Чтобы впредь себе не лгать.  
Он приходит на работу  
И садится за орган.

Он играет Букстехуде,  
Незнакомый текст – с листа,  
Чтобы больше ни секунды  
Не потратить просто так.

Беспощадна звука глыба,  
Но искуплена вина.  
«Не оставлю Бога, ибо  
Не оставит Он меня».

Тщетна вечная проверка:  
Одолеет кто кого.  
Смерть сильнее человека –  
Но не музыки его.

*Санкт-Петербург*

Екатерина Карелина

## Ночь в Готико

Я застрял здесь в самый пустой день года. Некуда было ехать, не с кем разговаривать и не к кому спешить. Хотелось только одного: побыстрее пережить эти праздники, как и любые другие, так что я всеми душевными силами торопил время и часто смотрел на часы. По причине болезненного одиночества, с которым всё чаще удавалось свыкнуться, я ждал, когда можно будет спрятаться, чтобы не так остро чувствовать ту колоссальную пустоту, что образовал вокруг в течение бессмысленно прожитого года, не отдавая отчета. Много лет назад домашнее Рождество обернулось ослепительным взрывом, но громкий уход отца из семьи и слезы матери размыто отпечатались в неокрепшей памяти. Помню лишь расширяющееся чувство неверия и невозможности поверить в то, что в такую ночь могло произойти столь жестокое и непоправимое для детского сердца. Много раз во взрослой жизни я замечал, с каким осторожным сочувствием, а порой и с недоверием, смотрели на меня те, с кем в разговорах я осмеливался упоминать об этом убийственно карикатурном эпизоде.

Занимался Сочельник. Клонившийся к вечеру день стал медленно наливаться синью, но людей на улицах не убавлялось. Туристы и местные стекались к ледяному блюдцу катка на площади Каталонии. Свернув от сверкающей плазы на пешеходный проспект Портал-дел'Анжель, я спустился до Собора Святого Креста и Святой Евлалии, куда уже подходили прихожане – на главную литургию года, торжественную Missa del Gall. Пошел крупный сырой снег – редкость в этих краях, повод для выпуска новостей, внезапный подарок туристам, фотографирующим пальмы в огнях, белый штрих-пунктир на морском пейзаже. Обогнув апсиду кафедрала и вынырнув из-под моста Бисбе – минутный полет в Венецию, каменный кружевной ронте, злбноротые горгульи в нижней части балкончика, затейливые шпиль пинаклей и дрожащая тень Яго, – я оказался на площади Иакова, набитой этим вечером антиквариатом всех эпох и прочей разномастной всячиной, особенно милой глазу в конце декабря. Расчерченная в будние дни на строгие серые квадраты – именно на ней когда-то пересекались главные дороги поселения Барсино, – площадь сегодня переливалась разноцветным кипучим стеклом елочных

огней. Сверкающие, прозрачные, текучие, неуловимые, просачивающиеся сквозь глаза и пальцы, они отражали, дробили, множили и славили неотвратимо опускающуюся на город благостную ночь, Nit de Nadal.

Отель остался где-то далеко позади, в районе Диагонали, увенчанной уродливым огурцом неоновой башни. Было уже темно. Двери и ставни старого Готиго закрывались, стоило к ним приблизиться, владельцы кафе и магазинов захлопывали двери и сворачивали полосатые маркизы, послужившие раз в год импровизированной защитой от снега. Спасителя рядом не оказалось... Всё было как полагается: непогода, одинокий путник, обеспредметившаяся предметность, опустевший разом город. Наклонившись, я успел зайти в какой-то открытый подвал, едва не поскользнувшись. Скромный колокольчик за тяжелой мокрой дверью, вероятно, оповестил хозяев, но никакого приветствия не последовало. Глаза, привыкая к темноте и теплу, постепенно различали толстоногую мебель, низко расположенные балки в странном по форме полуподвальном трактире – на несколько переходящих один в другой закутков со столами и разномастными старыми креслами приходилось единственное окно. Обрамленное витражной рамой, оно сияло темно-синим полукругом среди каменных стен, на которых висели грубые подсвечники и гобелены, изображавшие стада крупных ослов с добродушными домашними мордами и не падающими ушами. Пройдя вглубь зала, я заметил нескольких посетителей возле окна и, по-видимому, хозяйку заведения, Сеньору, которая убирала посуду за стойкой. Странно представить здесь в такой вечер наемного работника, промелькнуло в голове. Она медленно расставляла матовые бутылки без этикеток, широко вскидывая руки, двигаясь с достоинством и уверенностью, напоминая дирижера под водой. За круглым столом возле стойки сидели трое молодых парней. Их темная кожа, блестящие глаза, вымокшие яркие куртки и негромкие интонации нездешнего, не угадываемого наречия моментально подсказали – заблудившиеся туристы. Скорее всего, студенты, из тех, что не отправились на семейные праздники домой, а приехали сюда поболтаться несколько блаженных дней солнечной зимы. В комнате было непривычно тихо по сравнению с шумным днем, проведенным на улицах, слышны были только редкие звуки захлопывающихся дверей, трещали камин да рассыпавший пол, ель в углу темнела без единой блестящей, хозяйка побрякивала посудой. Не заметив возражений со стороны Сеньоры, я расположился на диване. На пианино пламенел хребет толстых свечей.

Возле окна я увидел пару посетителей, которая явно находилась здесь дольше иностранных парней. Высокий худой мужчина средних лет, одетый в черное, молча сидел в кресле перед стаканом мадеры. С

ним была молодая женщина, лица которой я не рассмотрел. Она сидела на шкарах, выстилавших неоштукатуренный каменный подоконник перед витражом. Я не сразу заметил крошечный сверток на локте, который она еле заметно покачивала, укрыв шарфом. На фоне огромного окна фигура была словно обведена еле заметным золотом, всё ясельное тепло помещения, весь свет оказались сконцентрированы вокруг этой пары. Снег за окном не прекращал умеренного *allegro*. Метель и не думала останавливаться. Не издавая ни звука, фигура женщины в окне была спокойным сосредоточением всей жизни, которую только можно было отыскать на опустевших улицах. Она покачивала, поглаживала младенца короткими движениями, почти незаметно, как кукла с крошечным потайным заводом. Мерцание воздуха вокруг, картинная выверенность чернильного окна, теплые отсветы на лбу и скулах, ароматы ели, камина и воска сгустили картинку до декабрьской открытки, плотной ребристой карточки, которую хочется только мягко поглаживать пальцем, наклонишь – улыбка дрогнет и исчезнет, не разберешь.

Сидя нечаянным зрителем, в темноте, я чувствовал, как вокруг происходило то, чего нельзя было увидеть. Происходило Рождество. Плотный воздух, запах и треск камина, обрывки голосов – передо мной проплывали волшебные картины. Подобно тому, как скульпторы Кватроченто уплотняли не фигуры, но воздух между ними, я силенлся продлить эту тягучую благодать, усилием глаза удерживая ломкую прелесть слюдяной открытки. Мысли путались, над головой что-то тихо звякало; мне и не хотелось ничего, только отдаться этой наваливающейся тяжести, в которой совсем не было тоски. Каждый из нас в какой-то момент начинает истово верить в то, что совпадений не существует. Каждый из нас, я уверен, познал череду случайностей, которой придал особый неопровержимый смысл, а себя назначил единственным, кто способен этот шифр разгадать. Есть ли предел у этой распоротой наверху перины? Небо белело с каждой минутой, снег шел всё сильнее. Почему именно сегодня? Свет камина, отблески на потолке, раскаленные рыдающие канделябры на столах и окнах, звуки, тени и запахи слились в гудение первобытного аккорда – так вот где оказался твой потерянный праздник, от которого ты так маялся, крошечный живой *belen*, ясли, что рассыпаны на здешних уличных рынках, *mercadillos navideños*, смотри, теперь и здесь, для тебя, под синим небом, деревянные игрушки на елочной площади ожили, робкие овечки на морозе, волхвы, звездочеты и мудрецы, *и звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними...* Всё слилось в единственно верном высверке судьбы, призрачной истории, в которую мне так хотелось поверить: случайный подвал, молчаливая женщина с младенцем, экзотическая речь чужестранцев, диковинные песни, что пела немолодая хозяйка, присев за пианино. Она пела



одна. Запрокидывая голову, с явным наслаждением задерживая голос на бархатных фиоритурах, повторяя и повторяя музыкальные мотивы то тише, то громче, на манер колыбельной, она смотрела в окно, «...мы не знаем, пели ли ангелы-вестники». Не помню, что именно она пела и как закончила, я никогда не был знаком с праздничными гимнами, но пение ее обволакивало, затягивая в дурман ширящихся сновидений, в которых слышались отзвуки гитар, ручных барабанов и бубнов.

Может быть, вся эта сцена и была сном, населенным причудливыми ломкими призраками, который мне суждено было не забывать, механической игрой тайного театрального гения. Непонятно, сколько еще пела хозяйка – несколько минут или они показались мне часами? Я смотрел на ее гостей, смотрел, стараясь оставить их след на сетчатке мокрого глаза. Сеньора замолчала, опустила крышку пианино и принялась плавно обходить комнату, задувая свечи. Повисла плотная тишина, убаюкивающая сильнее колыбельной. Сеньора гасила свечи одну за другой, то быстро задувая огонек, то прихлопывая фитиль, как мотылька, голыми пальцами, то накрывая пламя металлическим почерневшим колпачком с длинной витой ручкой. Сколько прошло времени? Уже утро? Пока я соображал, как поднять налившееся свинцом тело, подвал растворился. Очнувшись, я оказался на улице, совершенно не отдавая себе отчета, не помня, как одевался, выходил или разговаривал на прощание с кем-либо из посетителей. Возможно, это была всего лишь мягкая муть, превосходно подделанный бред воображения, размякшего от вина и усталости. Так выходят в собственную жизнь из театра, уже на ступеньках сомневаясь в реальности только что увиденного.

Снаружи было холодно. Снег почти прекратился, переплавившись во взвесь средиземноморского дождя. Глубоко вдохнув сырого воздуха, силясь то ли успокоиться, то ли стряхнуть туман видения, то ли, наоборот, запомнить как можно яснее ускользающее чувство радости, я повернул по узкой calle, как мне просчиталось, в обратном направлении. Где-то здесь квартал должен заканчиваться. Кажется, я шел вниз и свернул от церкви Ла-Мерсе, Базилики Богоматери Милосердной... Камни под ногами блестели от воды. Едва ли я найду тот подвал, впрочем, искать его завтра, как и потом, совершенно ни к чему. Всмотрелся в тусклые таблички на домах – это же carrer de Marquet, я иду совсем в другую сторону.

За очередным углом блеснуло ониксовое море. Готический квартал закончился, я вышел к набережной Старого порта. С уколом в сердце подумал о том, насколько быстро – с рассветом! – забудутся чувства, переполнявшие весь вечер, странная компания пилигримов, переживавших снег, волшебный город, превратившийся в вертеп, дыхание младенца, золотой свет и напевы каталонской певицы. Как

тесно сплелись неисповедимые узоры судьбы в ночь, изначально сулившую отчаяние, но с этой осязаемой плотной темноты начнется новый счет жизни, и тени станут короче, покуда холодная земля существует под звездами. Причудливым образом я оказался соглядатаем Рождества. Я отвернулся от города. Через несколько часов море станет ярким, и всё вокруг растворится в синеве следующего дня, но сейчас над ним лежит небо, которое только что родилось.

*Барселона, 2023*

## Надя Делаланд

\* \* \*

моя жизнь – не ошибка  
мы стали большими  
мы как эти вершины  
мы – эти вершины  
нас дышали любили и виолончели  
нас летали качели  
и пели качели  
я себя вспоминаю и запоминаю  
в каждой точке паденья и взлета иная  
траектория смысла его приращенье  
как потом понимаешь – прощенье

### ПЕРВЫЙ СНЕГ

1.

Кажется, этой ночью пойдет снег.  
Пахнет грядущим снегом из всех расщелин.  
Мертвая муха летит, и летит с ней  
в медленном сне снег, в легком сне смертном.  
Прямо над лесом лысым мертв самолет,  
ветки, его касаясь, зудят уныло  
и оставляют в небе дрожащий след,  
белый, как снег, во сне разноцветно быстром,  
лиственном сне, весь воздух вобравшем в рот,  
хватит смеяться, ты кашляешь и надрывно  
смотришь на всё, что больше здесь не живет,  
нет, не живет, достало уже, обрыдло.  
У Персефоны в пальцах растет трава,  
бабочки бьются, солнечный луч мерцает,  
лифт опускается ниже, едва-едва  
видно лицо, подземное царство – царство  
мертвых и мух отражается на лице,  
ужас застыл в губах. Закрывай скорее  
белым. Конечно, вовсе не в этом цель,  
просто так будет легче.

2.

Персефона цепляется за поверхность глинистой почвы,  
пальцы ее соскальзывают с влажной прохладой,  
чтоб под ногтями остались для судмедэксперта

неоспоримые факты, и солнце снова  
начинает сиять, наполняя огромный воздух  
ликованьем праздным, никем не заслуженным счастьем.  
Смеющийся Гадес в оперном гриме и тонких лосинах  
жадно хватает ослабевшую Персефону, утаскивает под землю.  
Рядом с ним танцующий Тодес под руководством  
Аллы Духовой наклоняет головы, вытягивает руки.  
Персефона как бы борется, вздымает деревья и травы,  
воет так, что темнеет воздух, но на вдохе светает.  
Она опускает ветки, Гадес уносит ее направо,  
Тодес бежит налево большими батманами с новой такой ужимкой.  
Персефона – дерево и немного озеро, облако, башня,  
и она сама исчезает из своего сознания,  
в темноте поцелуев ей душно и страшно,  
ад в нее проникает, ей нужно знаменье –  
небольшая вспышка мицелия где-то над головой,  
всполохи у корней, что свисают сверху.  
Вот тогда она снова почувствует себя живой  
и очнется от смерти.

\* \* \*

Со скоростью тьмы, пульсирующей в деревьях,  
сад засыпает в обморок голосов.  
Мама на кухне хлопочет, смеется, стареет.  
Свежевыжатый сон.  
Чашка моя прозрачная из отсюда  
там почему-то.  
Квантовая запутанность,  
невозможная странность  
и правота.  
Это всё объясняет, а та –  
та атата.  
Я разделяюсь и связываюсь с собою  
азбукой Морзе, пульсом иных частот.  
Главное, о Высокородный, не бойся, –  
думает Тот,  
а говорит с усилием и нажимом,  
ртами таксиста, токсичной тетки, еще кого-то:  
ты внутри жизни, помни о жизни,  
идиот.

\* \* \*

я хотела бы жить в Италии или Франции  
быть иностранкой  
легализовать свою странность  
ведь нет ничего странного  
в странности иностранца  
но я живу в своей стране  
и становлюсь всё страннее и страннее  
страньше и страньше  
какая она странная  
шепчут мне вслед  
ломаю линейку  
сгибая транспортир  
вонзая циркуль в парту  
сверкая глазами

\* \* \*

В любой непонятной ситуации переводи  
«Бабочку» Луизы Глюк.  
Это поможет понять логику  
любви и смерти.  
И помни, что ты сейчас не  
женщина и не мужчина,  
а бабочка, на которой  
хотят погадать, как на цветке.  
Погадать о любви на смерти.

\* \* \*

листопалый в расплывчатой пантомиме  
как стекло ощупал лицо застыл  
трепеща вцеловывается в настил  
из неровных линий  
пустотой танцую во всем и в нем  
замирая всплеском и оседая  
мир прижмется маленький мой рыдая  
всем своим дождем  
до чего же голодно до чего  
невозможно вытерпеть и не сдаться  
говорю что думаю милый здравствуй  
мир живой  
он растет и вспыхивает и длит  
многорукой песенкой тонкий воздух  
пахнет солнцем храмом горячим воском  
камень плит

у окурка нежный горит подтек  
одинок тянет свой рот дрожащий  
замереть продвинуться и разжаться  
как цветок  
и трепещут ноздри велосипеда  
и летит с холма и глаза закрыв  
поднимает небо прозрачных крыл  
в голубое небо

### ПЯТЬ СПОСОБОВ УВИДЕТЬ

1.

Всматриваешься вдаль, щуришься, напрягаешь диафрагму,  
заставляешь вытягиваться щупальцы зрения,  
утыкаешься в собственную рассеянность,  
в бесконечность нехватки, плоскость картинки,  
глубину воображения.

2.

Закрываешь глаза, успокаиваешь дыхание,  
погружаешься в пульсирующую тьму,  
разрешаешь следить и не вмешиваться,  
наблюдать и запоминать.

3.

Полная темнота с небольшими всполохами запаха липы,  
соловьиных трелей, похожих на дождь в фонарном свете,  
всплеск голосов далеких прохожих, смех,  
тишина. Голос.

4.

Голос света, теплый на ощупь.  
Трогаю без рук, солнечным сплетением,  
губами, обратной стороной лба.  
Вижу.

5.

Открываю рот, ложечка со Святыми дарами  
делает меня младенцем. Руки, сложенные на плечах,  
помогают воскреснуть из мертвых  
каждый раз, когда  
Ты меня видишь.  
Мою мерцающую и быстро гаснущую фигурку,  
выходящую из храма.  
Видишь, не видишь,  
всматриваешься, щуришься, ждешь, любишь.

## Игорь Метельский

# В миг очередного рождения

ИСХОД НОЯБРЯ '23

то – запомни а это – забудь  
гений жизни умом исковеркан  
в распыленную времени ртуть  
приглушенные снов фейерверки

я московский неоновый пар  
рассовав нараспев по карманам  
принимаю живительный дар  
погулять постсоветским брахманом  
сохранив как умею секрет  
приоткрытый любовью однажды

по бульварам вальсируют свет  
новогодний и пепел сограждан.

\* \* \*

туловище женщины  
без ног  
на подносе с колесами

если бы  
если б я мог  
не красками слезными –  
девственно –  
изобразить перспективу подвальную  
правдоподобно то есть документально:

долгий тоннель  
ряд безделушечный  
запах то плесневелый то булочный  
вроде бы людный аквариум светлый  
но неприятно и склепно

в центре слякотно-стылого полотна –  
она

(медлит строка но произнесу я)  
невозмутимого вида полугаргуля  
(это молчание как бы сливается с речью)  
и поворот головы как бы вдавленной в плечи  
плавно ее огибают прохожие звуки  
сложены длинные руки

вдоль подземельной стены ежедневно дежурит  
вот она мелочь любовно считает и медленно курит  
бережно собирает пожитки-ошметки  
и уплывает куда-то на вёсельной лодке

но для чего же  
я ее вижу  
снова и снова  
спускаясь в бездонную нишу  
чтобы свободу высвечивать шага простого?

я для того этот образ по капле впитал  
чтобы выращивать внутренний черный кристалл?

Господи это какое-то варварство

примите пожалуйста гонорар  
за соавторство.

\* \* \*

*Родителям*

звук худой  
узором вышит  
снег ночной  
идет и дышит  
задыхается собой  
чтобы вдруг в разгар парада  
вся машина снегопада  
под собачий дружный вой  
опрокинулась волной  
ой

кто там блещет на вершине  
облаченный в звездный иней  
очень крупный человек



рядом воткнута лопата  
на могиле снегопада  
Пастернак сидит горой  
и качает головой  
а поодаль в готтентотском  
весь смеется Заболоцкий:  
по следам идущий снег  
это братец прошлый век  
эх

ну и пусть! – метет лихая  
звук худой не затихает  
по слогам свое берет  
речь крупинка наживная  
погремушка слюдяная  
ждет.

\* \* \*

в миг очередного рождения  
самое время поклониться  
тишине западающей клавиши  
сырости долгой половицы  
теплоте забитого зольника  
черноте печной паутины  
намотанной на веник.

САД

ветхий снег  
кристальный слой  
воздуха ума  
полуспит объем немой  
утра полутьма

там изломанный ютится  
контур яблони нагой  
и летит на ветке птица  
и поет покой.

\* \* \*

вместе со светом  
скользить по стенам  
взлетать на фонарные мачты  
задерживая дыхание

балансировать  
на провисающих проводах  
или  
заглядывать в лица  
старых локомотивов  
покосившихся сараев  
перебирать  
пальцами годовые кольца  
на потемневших спицах  
разбрасываясь  
ломкими именами  
хрустящими на зубах.

\* \* \*

пожалуйста поверь  
мы всё же были  
комочками слепыми  
звездной пыли  
мы плыли  
мы барахтались в прохладном  
собрании темнот крупномасштабном

пожалуйста поверь  
мы всё же пели  
куплеты бесконечной колыбельной  
и красным карликам и голубым гигантам  
и квантам  
измученного вещества на самом деле  
мы всю дорогу только и умели  
упрямо заговаривать пространство  
вспоминанием покуда не погасло.

\* \* \*

*Владимиру Гандельсману*

как бы непреднамеренно  
проходя мимо куста или дерева  
руку вытянуть и прикоснуться  
провести ладонью – веточки гнутся  
обнажая сквозное явление –  
дружелюбное сопротивление  
и потайную пружинистость  
в ней – мимолетную жизненность

коснулся – идешь себе дальше  
но уже не как раньше.

Анна Трубачева

## Дань превращению\*

Проснувшись однажды среди ночи, Франц увидел страшное насекомое: панцирнотвердая спина, коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот и многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки – даже сквозь полуночный мрак его близорукие глаза на удивление отчетливо различали малейшие зазубринки и шероховатости движущихся конечностей; и именно эта подчеркнутая фактурность покровов туловища насекомого, эта чрезмерно ощутимая близость к нему, и, наконец, известная возможность спросонья в кровати обнаружить вместо себя насекомое – всё это позволило Францу еще секунду считать происходящее сновидением, секретией литературной любвеобильности, отрывкой юношеского книжного обжорства... Впрочем, он не сразу вспомнил, при каких обстоятельствах узнал о подобных превращениях, и на всякий случай решил рассмотреть себя: не без усилия Франц оторвал от кровати тяжелые руки (одна всё же приятно затекла в кисти), поднял их в воздух и зачем-то развернул ладонями вверх. Убедившись в их бесспорной принадлежности человеческому телу, почувствовал огромное облегчение – показалось, привиделось, игра теней, не более.

Но был звук колокольчика: прямо перед пробуждением Франц ясно услышал тихий звон! Медленно, всё еще полагаясь на милосердие сна, он повернулся на бок, чтобы принять то же самое положение, в котором открыл глаза, – вдруг удастся вспомнить, при чем тут колокольчик, – и к своему ужасу обнаружил, что действие продолжается и, что самое страшное, наяву. Всё это время его кошмар осторожно наблюдал за ним, но, учув мягкотелость Франца, его податливость сну, решительно двинулся вперед: огромный тропический таракан величиной с ладонь, бряцающая броней и звеня шпорами, шагал по своим делам – он очевидно пышал здоровьем, сверкал глазом и пел гимн о молодости, бравости и, как показалось Францу, о сыре...

Мерно выступая и словно пританцовывая на ходу, чудовище вошло мужчине в лоб. Окончательно проснувшись, он осознал, что

---

\* Лауреат Премии имени Марка Алданова, 2023.

насекомое двигалось не на него, а за ним – по металлической рейке изголовья кровати. Ощущая его затылком, Франц осторожно приподнялся, и лежа на боку, опершись на руку, стал разглядывать непрошенного гостя. Мог ли тот, приземляясь, слету, издать крыльями звук, похожий на звон колокольчика? Наверяд ли. Такого размера летающий объект, садясь, скорее, звучал бы, как сбитый «мессершмитт», и тем более невероятно, что из всех доступных для прогулок мест насекомое выбрало именно этот участок квартиры, эти пять сантиметров кроватного изголовья стали вдруг самыми привлекательными – и ровно в ту секунду, когда Франц открыл глаза.

«Что со мной случилось, – подумал он. – Может, я сошел с ума? Неудивительно – все эти переживания и хлопоты... Где кошка, когда она так нужна, – они же вроде ловят тараканов? Когда меня оставят в покое? Сейчас я закрою глаза, и это гадство исчезнет.»

Франц опустил веки и, казалось, тут же задремал, но на самом деле он обдумывал, какой вариант был бы для него предпочтительнее: открыть глаза, не обнаружить перед собой насекомое, осознать эпизод галлюцинации – как опасное развитие его затянувшейся депрессии и, в итоге, принять не раз предлагаемую медицинскую помощь, сеансы психотерапевтических бесед, ударную дозу магния и комплекс витамина В, пилатес в радушной группе по воскресеньям и, в качестве элемента чуда, забытое желание жить; или открыть глаза, обнаружить у себя на кровати гигантского таракана (что уверит в собственной нормальности) и далее остаток ночи гоняться за ним в попытках изловить и выпроводить из квартиры.

Боже, как я устал... Полагаясь на волю судьбы, Франц равнодушно открыл глаза. Таракан сидел на том же месте и пытливо поводил усами. Сожалел о неверности принятого решения (а точнее, о непринятом вовсе), Франц, всё так же полулежа, стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, как бы убаюкивая себя. «Я здоров, и это действительно моя комната», – он обвел взглядом знакомое жилище: ночью комната всегда казалась ему теснее и уже, чем была на самом деле, но, как ни странно, такой она ему нравилась значительно больше, – привычный уют страдающего бессонницей. К тому же по ночам, когда стены подступали плотнее, он был ближе к ее портретам: один – в огромной резной эдвардианской раме (на нем она сидит очень прямо и смотрит, не улыбаясь, повернувшись в три четверти – дива времен старого Голливуда), и еще два у окна, на письменном столе – слишком красива и добра, чтобы выносить этот мир, как говорил о ней Франц. Не справившись с инсультом, она оставила ему двоих сыновей и житье-бытье в старинной манхэттенской квартире – длинной, похожей на вагон с чередой комнат-купе.

«Как же я устал», – повторил Франц, закрыл глаза и уложил лицо

в ладонь. Таракану тем временем надоело наблюдать жалеющего себя и к тому же беспрестанно раскачивающегося мужчину: он двинулся вперед, но тут же соскользнул с металлической рейки – раздраженно жужжа, треща крыльями, монстр нехотя взлетел, попытался присесть на шар изголовья кровати, не удержался на нем и, очевидно выйдя из себя, с рокотом поднялся под самый потолок, ударился об него, спикировал вниз и, конечно же, рухнул на Франца; – ругаясь и матерясь, Франц вскопчил с кровати.

На шум прибежали сонные дети и застали взбудораженного отца за странным занятием: озираясь по сторонам, повторяя «не хочу» и «утром разберемся», он спешно выносил из спальни одеяло, покрывало и подушки, после чего, плотно закрыв двери, застелил диван в гостиной. Мальчики потребовали объяснений и, услышав историю, наотрез отказались спать в детской: перетаскивая свои одеяла и подушки, они предчувствовали приключение и долгий захватывающий разговор о чудищах. Укладывая детей на надувном матрасе рядом с собой, Франц предчувствовал остаток бессонной ночи и долгий изматывающий день впереди.

\* \* \*

Он проснулся позднее обычного, с ощущением крайней разбитости. Уставившись в серое окно невидящим взглядом, Франц наблюдал, как дремлющий будильник бьется за его душу с унылой погодой: ночное похолодание сковало мир мигренью. «Дурацкая моя голова теперь как бетономешалка, полная зачем-то манной каши», – подумал Франц. Голова-бетономешалка вяло крутилась, наматывая остаток его сил на ось невыносимо повторяющегося метущего звука – гудела, подвывала, и стоило ему закрыть глаза, он сам оказывался на том вертеле, приправленный таблетками и обрывками дремоты, осязанием несбыточности планов на день. Франц ухватился за кусок бетонной шероховатости неба в окне, и мучительное вращение приостановилось, но ненадолго: по негибкой серости осеннего света поплыли клубы белого дыма из каминной трубы соседей – прочность комнатного мира стремительно унеслась в открытый океан. Удар корабельного колокола – и лучше бы бедняге умереть, чем услышать его еще раз.

Пасмурная погода и мигрень привели его в состояние полной нежизнеспособности. Взглянув на будильник, он нехотя приподнялся, укутался в плед и остался сидеть на диване. Привычным жестом подпер подбородок рукой, закрыл рот ладонью и уставился в пол, но успокаивающее привычное положение показалось вдруг неудобным. Ощупывая свое лицо, мужчина не без удивления обнаружил еще одну причину дикой головной боли: его нижняя челюсть заметно вытянулась вперед, а зубы были сжаты настолько сильно, что разжать

их оказалось непростой и даже замысловатой задачей – читая позднее об этом неврологическом расстройстве, а также пробуя упражнения для расслабления мышц, Франц порадовался тому, как умело и грамотно он самостоятельно справился с зажимом: массируя нижнюю часть лица, он нашел особенно болезненные ямки возле ушей – надавливание в самых болезненных местах в некоторых случаях приводит к облегчению боли.

– Папа, что ты делаешь? – спросил старший сын, который, проснувшись, минут десять тихо наблюдал за разевающим рот отцом. – Мы пойдем ловить того таракана, что теперь живет в твоей спальне?

Франц застонал и, сославшись на мигрень, а также на поздний для выхода в школу час, пообещал ребенку выловить незваного жильца вечером: давай, когда я вернусь с работы, а? Сейчас уже некогда.

Приоткрыв дверь в спальню, он внимательно осмотрел потолок, стены и только после шагнул внутрь – шагнул довольно уверенно: это просто насекомое, – но тут же, почуяв, как что-то пробежало по его стопе, резко кинулся к костюмной вешалке, ухватил с нее первый попавшийся и, выскочив из комнаты, плотно закрыл за собой дверь. Потом, после работы, вечером...

Он быстро накормил и собрал детей. В жизни родителя приступы утренней беспросветной апатии имеют право на существование только в случае неуклонного компромисса с его обязанностями, и тут на помощь приходят хитрости самого разного толка. Хозяйственные, например: замочить крупу с вечера, чтобы утром, доведя до кипения оставшуюся в ней воду, приготовить здоровый завтрак за две минуты; или разложить на видном месте детскую одежду перед сном, и на следующий день избежать лишних вопросов о местонахождении носков и маек (в особенности, если физически уже не раскрыть рта) – но это и не трюк никакой, и после смерти жены Франц понял особенно ясно, что мужчина, независимо от возраста, склонен задаваться неразрешимыми, казалось бы, вопросами, как то: где его носки, майка, на какой полке стоит молоко и как ему вбить гвоздь, но просит он отнюдь не носки или совет, а бесценные десять секунд, и, не услышав ответ, он всё сделает и найдет сам.

Кроме хозяйственных заготовок были у отца и психологические, и в ответ на долгие, безусловно, увлекательные рассказы детей об устройстве галактик, размышлений на темы микробиологии и астрофизики, Франц участливо кивал и выдавал заготовленные удивления: «невероятно», «вот это да!» и «потрясающе», – в то время как порою не слушал детских лекций вовсе: во-первых, дети росли, следили за продвинутыми научными каналами и публикациями, их

лекции становились всё сложнее и точнее, цифры расстояний между звездами-карликами или способы измерения скорости их вращения звучали всё более устрашающе, и порой он ловил себя на том, что не понимает ни слова из того, что говорят его сыновья; во-вторых, за годы работы журналистом в самых разных редакциях, где в условиях ежедневного конца света нужно было писать статьи и заметки, он научился выключать часть слухового восприятия информации, а с рождением и взрослением детей – и вовсе любого шума. Но он любил детей, любил в них свою любовь к ней, и ради мальчиков позаимствовал все лучшие, присущие ей женские качества (он так боялся, что без матери им будет недоставать именно нежности и ласки, что отчасти сам стал «мамой» – мягкотелой, эмоциональной, впечатлительной и даже мнительной). Франц научился выражению участия и понимания на лице – он искренне надеялся продлить предельно долго эту игру в доверие и внимание друг к другу: верьте, пожалуйста, верьте, мне действительно чертовски интересно всё, что вы рассказываете, я здесь, с вами, хоть и кажусь, возможно, отстраненным, – я стараюсь, мне дико интересно... Если бы мне не было дико интересно увидеть, что будет дальше, я бы уже давно...

А потом он вел их в школу и по дороге продолжал узнавать необходимые сведения о том, как сделать Венеру пригодной для существования человека или наверняка выяснить, из чего состоит темная материя, но если в обозримом будущем это всё окажется невыполнимым, то можно хотя бы клонировать динозавров или животных, находящихся на грани вымирания. «Знаешь, папа, прекрасные и ужасные события в сумме дают ноль, – подытоживал старший, – а ноль не пишут негативным, значит, на одно позитивное число всегда больше.»

– Ты очень прав, мой хороший. Прав. Всегда прав. – Франц глядел им вслед, чтобы они безопасно перешли последний до школы перекресток и, убедившись, что дойдут, быстро шагнул в сторону метро.

Он подрабатывал из дома, редактируя чужие сценарии, писал рекламу на заказ, но квартира с ежегодным продлением контракта становилась неприлично дорога – не съехать и не расплатиться с единственного заработка. На смену ковиду пришла эпидемия роста цен в Нью-Йорке, проявившаяся повышенной температурой дискуссий на тему жестокости и бескомпромиссности домовладельцев, которые, в свою очередь, перестали реагировать на неприемлемые ранее явления: хлынувшая в Манхэттен молодежь была готова платить вскладчину, живя по несколько человек к «однушке», что некогда считалось даже не совсем незаконным; к прочим симптомам относился зуд и агрессивное настроение стоявших в двухчасовых очередях, чтобы посмотреть свободную студию по ковидной цене на Парк-авеню. Не съехать и не расплатиться...

Франц спешил на очередное интервью, но не верил в его успех. Известный до эмиграции журналист, перебравшись в США, он освоил два десятка профессий никак не связанных с творчеством: убирал гостиницы, подавал еду в ресторанах, был кассиром в гастрономах и даже торговал духами, мужской обувью, а после – антикварными афганскими коврами. Найти работу всегда было ужасно трудно: американские издания решительно не интересовались его многостраничным журналистским резюме, потому что в нем не было местного портфолио; на «черновые работы» не брали, объясняя отказ его чрезмерной квалификацией. Со временем Франц научился скрывать свою прежнюю профессию и, устраиваясь на должность охранника в магазин или посудомойщика, одевался на собеседование нарочито просто, бедно и небрежно, но его лицо всегда выдавало образованного и скучающего человека, который при первой возможности снимет передник кухонного работника. Тысяча триста анкет за два года – Франц ехал на интервью в редакцию некоего славянского радио и не верил в успех, несмотря на то, что был рекомендован им как опытный редактор.

\* \* \*

Я как чертова нью-йоркская крыса: живу в метро, питаюсь, благодаря ему, – три часа в день в поездах. Чувствуя приближение состава, перепрыгиваю платформы и группируюсь между рельсов – в экспресс-коробках; борюсь с теоретически возможным Альцгеймером и побеждаю, вручаю себе приз за знание схемы метро и расписания маршрутов: десять минут сэкономленного времени (роскошь для Нью-Йорка), и вот я могу, наконец, спокойно рассмотреть обертку от бургера, лежащую между шпал. Но, несмотря на это знание, любовь и преданность, метро живет своей жизнью, и сумасбродные поезда ходят, как хотят, останавливаются между станциями на 10, 15, 20 минут, проверяя тем самым нервы пассажиров на прочность. Сцены в вагонах – отдельное шоу: сумасшедшие шарят глазами, чтобы свериться с собственным уставом безопасности; дивы и бомжи с одинаковым рвением переодеваются у тебя на глазах или рассказывают вслух услышанные в детстве сказки; песни и танцы, проза, которую только что написал бродяга, и вот он просит у тебя денег за нее, чтобы «пожрать или вмазаться – не всё ли тебе равно?» Экзальтированные девицы и их бескрайне пустопорожные истории... Спящие!.. Франц обожал незаметно фотографировать спящих – в каких странных нечеловеческих позах он находил их! И особенно милы были те, кто во сне доверчиво пытался прилечь на плечо соседу; он обожал тайком читать чужие телефонные переписки – ну как не прочесть, когда они так близко? Шоу людей, разбирающихся со своими тревогами, со страхами – как дурноголосое караоке, –



страхи, впрочем, оправданы и объективны. Люди смеются в голос, разговаривают сами с собой, не замечают странностей друг друга – сколько раз он ездил пьяным в метро и вел себя ничуть не особеннее прочих (пел или спал в забытьи как обычные трудяги) – всем насрать, каким и кем бы ты ни был, – но не насрать, когда ты плачешь, и однажды отчаявшемуся Францу оставили в руке записку со словами поддержки.

За годы работ и их поиска он полюбил повсеместность и логичность нью-йоркского метро, его трогательность и искренность, театр в нем и чувство дома, его тепло зимой и прохладу летом (не выбирайте зеленый 6-train в жару – переполненный, душный: испытание покруче «спасибо за ваше терпение, мы двинемся как только...», когда без интернета бедняги вдруг осознают, где находятся, и общий психоз прошибает даже самых стойких); любил экспресс-пути, которые мчат мимо платформ черепаших маршрутов и то, как скоростные ждут подошедший медленный local, чтобы пассажиры пересели из вагона в вагон; а еще ту станцию, проезжая мимо которой Франц всегда испытывал сентиментальный трепет, ту стенку, к которой *она* прижималась, а он целовал ее прилюдно, в шесть вечера, в час пик, в центре города...

Как давно это было, может, и не было вовсе, – проезжая мимо той станции, он почувствовал лишь невыносимый зуд в большом пальце ноги: так тело отгоняет паралич депрессии. Франц подавил зевок, вдохнув глубоко одними ноздрями, и, глянув по сторонам (не заметил ли кто), перехватил чужой выразительный зевок во весь разинутый рот – учись, дурак! Оскорбленный, он отвернулся, но тут же утешился видом монументального подтека на стене: заливаемая годами потемневшая мозаика идеально проявила тот самый знаменитый образ New York Skyline – гряды небоскребов города. Спасибо тебе: ты по-прежнему добр ко мне – видишь, ты снова дал мне работу.

\* \* \*

Приехав незадолго до окончания учебного дня, насвистывающий Франц направился напрямик в офис школы, чтобы подписать бумагу, позволяющую младшему сыну возвращаться домой самостоятельно: один квартал пешком и пятый класс предполагали такую безопасную возможность. Старший сын заканчивал на десять минут позднее, и уже три года возвращался домой сам.

Директор школы ответила категорическим отказом: постковидные нормы, вы же понимаете. Нет, Франц упорно не понимал и сделал глубокий вдох. Быть родителем-одиночкой непросто: я не могу нанять няню и не могу забирать детей сам. До работы ехать полтора часа в одну сторону – я не волшебник, чтобы оказаться здесь в два

часа дня... Мой старший сын в этой школе и с вашего же разрешения ходил в пятом классе домой сам. Что изменилось? Причем тут ковид? И если даже ковид при чем-то, отчего мой младший не может постоять с охранником – старший заберет его через десять минут, это же легко решаемо!

Франц начинал заводиться и, чтобы не сорваться, привел, как ему подумалось, вполне здравый аргумент: если бы он не работал, он с радостью забирал бы детей сам; нанимать же няню, чтобы отдавать ей всю свою зарплату – сущая глупость; да, он предпочел бы остаться без денег, но вместе с детьми... Я вынужден, понимаете? Они вполне самостоятельны и по закону, насколько я знаю, в Нью-Йорке могут добираться домой сами. Директор выразила полное согласие, что сущей глупостью было поселиться в дорогом районе, а после не иметь возможности соответствовать статусной планке, – торжествуя, она, наконец, озвучила многолетнюю претензию: семья Грегорóвских из года в год не делает добровольных пожертвований государственной школе в установленном размере минимум три тысячи в год на ребенка. Это возмутительно, и о том, чтобы школьник ходил домой сам, не может быть речи! «Наймите няню или договоритесь с другими родителями, раз ваши дела настолько плохи, – заплатите их няне хотя бы за час. А вообще, вам стоит подумать о переезде в более дешевый район: здесь не принято не справляться.» Как вариант решения проблемы директор предложила не слишком дорогие для района программы продленного дня.

Но нам не нужен продленный день! Десять минут, только десять минут... Сидя на лестнице школы, Франц впервые за долгое время плакал. До этого он даже кричал и грозил кому-то кулаком, но вскоре утихомирился, перешел на шепот и принялся клятвенно обещать всем свидетелям свыше так этого не оставить. Нельзя, решительно нельзя упустить возможность работы, и если они хотят воевать, дети завтра официально заболеют и станут учиться из дома.

Вокруг стали собираться няни, и он утер лицо. «Улыбайтесь! Что же вы не улыбаетесь?» – спросила у него иссиня-черная толстушка, и он насилу сдержал особенно крепкое ругательство. Отвернулся, огляделся – а ведь действительно, детей забирают сплошь няни! Ему вспомнился занятный случай: однажды преподавателя старшего сына подменял другой учитель и, отпуская ребенка, он смерил Франца недоумевающим и даже подозрительным взглядом: белый мужчина, сам забирает студента из школы в Верхнем Восточном Манхэттене – невероятно! «А вы, должно быть... дядя ему, так?» – учитель спросил нарочито дружелюбно: преступник может выглядеть как угодно респектабельно, этот к тому же странный и угрюмый... «Нет-нет, я – отец.» – «Не может быть!» – воскликнул учитель и принялся восхвалять небывалые родительские качества мужчины.

«Улыбайтесь!» – не отставала толстуха. Глядя ей в глаза, Франц коротко выругался, но тут же сильно разозлился на свою несдержанность: он поспешил отвернуться и отойти шагов на десять в сторону – ему стоило успокоиться, а заодно не пропустить выход детей.

– Милые мои, я получил работу – это прекрасные новости! Пока неясно, разрешат ли вам самим ходить домой, но мы что-то придумаем, – сказал отец и принялся слушать о том, что Проксима Центавра не всегда была ближайшей к нам звездой – не считая Солнца, конечно.

Дома дети снова спросили о возможности охоты на затаившегося в спальне таракана, но Франц был твердо намерен сразиться в первую очередь с руководством школы. Для начала он воззвал к родителям в чате класса – единственная мать, которая откликнулась и согласилась доплатить няне за прогулку в один квартал с чужим ребенком, тут же отписалась ему с извинениями: де, она поговорила с учительницей, и та убедила ее не рисковать. Тогда он принялся изучать законодательство и положения Департамента образования. Не найдя в документах невозможного, Франц отправил их копии директору. Завтра он выходит на работу, он должен.

Вконец вымотавшись, отец попросил детей поужинать остатками вчерашнего супа, а сам направился в парк – пройтись и успокоиться: мы обязательно поймем этого таракана, просто не выпускайте его пока из спальни – позднее, позднее разберемся.

\* \* \*

Королевство, сумеречное, призрачное королевство – мой зыбкий мир, не сломать бы в восхищении хрустальные замерзшие кисти рук: пустой в дождь Верхний город – словно сценография мистического леса в закрытом до утра театре: на тонкой ткани изображений проявляются диковинные существа; город как исчезнувшая цивилизация – в колыхании затопившей ее воды плавно движутся статуи швейцаров; город как спящий любимый человек, которого можно медленно разглядеть, притронуться, слегка прикоснуться запятыми желаний – сложить черты лица воедино, удивиться тому, как несовместимые, казалось, формы и росчерки воплощаются в любимый образ, насмотреться вдоволь, пока не проснулся, пока не наступило собственное похмелье, пока люди и идеи не унесли его душу прочь, пока он мирно спит и позволяет узнать о нем то, что в иное время ни за что не выдал бы. Неповторимый, любимый город...

Выскакивая из дома, Франц забыл зонт – ну и черт с ним, за телефоном тоже не вернулся бы – значит, без него: активный залог неповторимой прогулки. Безветрие позволило расправить спину: ровная, она накунула росту несколько сантиметров, обнаружила дополнительный объем в легких, добавила пару километров

видимости горизонта, а может, и пару лет жизни – кто мог подумать, что я доживу до сорока лет?!

Капли дождя легли в стекающие по лицу ручьи: одни очерчивали контур губ и предполагаемые линии висячих усов, другие копились, но прорвав плотину бровей, наполняли глаза, заставляли улыбаться – светлые слезы. Твердо чеканя шаг, Франц ступал по размытой водой грунтовой дороге парка: лужи, месиво грязи – похожее видишь в сценах затишья после средневекового побоища, и рыцарь в латах, сняв шлем, выходит с поля брани. Всё же он победил сегодня, хотя бы в битве с отчаянием и невезением, – он получил работу: куплю себе пива в кои-то веки. На выходе из парка, поднимаясь к западной 91-й, Франц был вынужден замедлиться и следовать за подтягивающим ногу молодым человеком; когда появилась возможность обогнать прохожего, он припустил было, но, поравнявшись, почувствовал, как его схватили за рукав. «Эй, прости, что я такой медлительный – я задержал тебя, наверное.» – «Нет-нет, о чем речь!» И оба дружелюбно помахали друг другу на прощанье. Однажды мы оба заживем, оба исцелимся, подумал Франц.

Купив пива и продуктов, он направился через парк на восток. В нетерпении открыл бутылку о низкий заборчик клумбы. О, эти пленительные хмельные прогулки в морось! Сделав нескольких крупных глотков, Франц почувствовал себя бодро, словно очнулся от долгой болезни, – он был полон сил и решимости, как если делал бы свои первые самостоятельные шаги после долгого курса физиореабилитации, будто в затяжной депрессии вспомнил младенческие минуты комфорта и радости или стал хотя бы на двадцать лет моложе, на прошлую жизнь счастливее...

Сумеречный свет пал под напором электричества, и близорукий Франц принялся шуриться, вытягивая сплюснутый и скошенный свет фонарей в долгую, яркую, причудливо изогнутую линию. У одного из столбов перед стойкой для селфи он застал раздетого франта в плаще, шляпе и кашне – мужчина с вызовом посмотрел на прохожего, на бутылку пива в его руках и громко хмыкнул. Жаль, подумал Франц, я мог бы хорошо поснимать его, если бы попросил. Какая-то женщина улыбнулась ему, и он ответил ей улыбкой, но уже после того, как они разминулись. Как хорошо она улыбнулась, а я вот совсем разучился. Ну а что я, один что ли? Этот город полон людей, которые, как и восточноевропейцы, смотрят словно сквозь тебя, с единственной разницей в том, что там все поражены стыдом, а тут люди как будто высокомерно избегают друг друга, прячутся – впрочем, возможно, им так же стыдно за что-то. Разновекторный исторический стыд империй и постсоветских стран... Он очень обрадовался, что ему удалось ответить на улыбку пожилого джентльмена: ты – молодец, пропел старик в унисон хмельному

настроению; и ты – бодрячком, состарюсь следом за тобой, – согласился Франц.

Он шел и грезил о той уединенной лавочке, близ которой когда-то по утрам его тело противостояло гимнастическому самоистязанию – небольшая, скрытая от глаз поляна парка, – именно там он с наслаждением прикончит бутылку пива. Добравшись до места, он жутко расстроился, осознав одно важное упущение (знал же, знал заранее, видел тысячи раз, но не воспринимал эту деталь как сверхурочную досаду): нет, это, конечно, занятно, мило и очень бодрит, но отчего же их вдруг так много, вот прямо целой стаей?! Толпа обезумевших от жизнерадостности, верещащих собачников буйствовала на его любимой поляне – причем даже собаки не выдавали такого энтузиазма, как их владельцы: галдящие, скандирующие всю радость, на которую способен род человеческий, всё это американское громкоголосье – бедным собакам ничего не оставалось, как раззадориться... Налетели вдруг со всех сторон непримиримым своим собачьим счастьем, разогнали тонкий меланхоличный туман, который так бережно нес в себе Франц. Это убийственное «I know, right?» в истеричной тональности. А я вот НЕ ЗНАЮ, и это бесит меня больше всего. Он кричал в поляну, но, согласно местному этикету, на него не обращали внимания. Я не знаю, я уже ничего не знаю! Франц двинулся прочь в сторону Пятой авеню и восточнее – бутылка пива подошла к концу и совсем не так, как он планировал. Я ничего не знаю. Верю во всякое, но больше ничего не знаю. Вот как быть? Похоже, никак: отправиться домой укладывать детей и готовить им заранее завтрак, обед и ужин. Завтра на работу.

У Метрополитена, при выходе из парка, Франц столкнулся с бегуном и был как-то особенно нездорово обруган: я-то всего лишь плачу внутри, а вы орете, – вы, бегущие от всего на свете, бегущие на износ, чтобы врезаться в выпившего прохожего, – какая нелепая ирония! Франц уже знал, что зайдет за второй бутылкой пива, что после нее будет третья (или что-то покрепче), а между ними – пьяная пачка сигарет.

\* \* \*

Невидимая, ненасильственная цветная революция (он отметил про себя удачность каламбура): живу в Верхнем Восточном Манхэттене, ежедневно гуляю по нему, но едва ли замечаю белых обитателей этого района, той его части, что близ парка: да-да, от Пятой и до Лексингтон авеню я вижу сплошь латино- и афроамериканцев, которые входят в эти роскошные дома и выходят из них; швейцары, конечно, белые, но, вот послушайте, иногда мне кажется, что все эти доставщики еды и продуктов, чистой одежды и цветов, эти няни и те, кто выгуливает собак, ремонтники и мойщики окон, уборщицы и

работники кейтеринга – все эти люди каким-то негласным образом захватили здания и стали в них жить вместо состоятельных белых, которые, как мы все знаем, в ковид съехали на дачи и в южные имения. Тихая цветная революция. Впрочем, навряд ли прислуга решилась бы на такое, даже заручившись поддержкой швейцара: нет-нет, со швейцаром они не стали бы связываться – он им потом покажет, глупости какие! И словно в подтверждение мысли Франца, идущая впереди него черная няня с невидимым ребенком в коляске (а был ли там ребенок вообще?), разговаривая с кем-то через наушники, очень ощутимо постучала себе кулаком по лбу. Глупости какие!

Но в глупостях есть некоторое удобство: вот, например, я могу в голос разговаривать сам с собой, делая вид, что общаюсь с кем-то через наушники – как угодно громко кричать и жестикулировать. Хотя в этом городе полоумных уже давно никого ничем не удивить.

Никто и не удивился, когда двумя часами позднее, выпив третью бутылку пива, Франц стоял посреди людного перекрестка и, заломив запястье с незажженной сигаретой меж пальцев, прикрыв второй рукой рот, подперев ею подбородок, молчаливо, но с вызовом пытался прикурить. До этого он танцевал на небольшом газончике вокруг дерева – его привлекла особенная мягкость, правдоподобная травянистость и буйная зеленость искусственного коврика, положенного поверх чернозема, – выбираясь оттуда, перелезая через невысокую, в общем-то, оградку, он упал и крепко разодрал ладонь. Но ни мученическая стигмата, ни вызывающая поза, ни очевидное требование огня, ни демонстрация сигареты, бросающей прохожим «ты», – ничего не срабатывало: какие все здоровые!

Прикурив в киоске с хотдогами, Франц почувствовал, как первая после длительного перерыва затяжка потянула его к земле и усадила ровно у колеса сосисочного вагончика.

К нему подошла вырвавшаяся вперед от родителей девочка лет шести: «Ты так играешь?» – спросила она, но тут же была лихорадочно поднята на руки и унесена прочь. Прости, твоя мать напугала тебя, но я-то не страшный, я так играю, да. Мимо прошли друг за другом пять волочащихся по земле нарядов: мужчина в арабском платье, а следом, на приличном расстоянии, три его взрослые дочери, и замыкала эту унылую гирлянду немолодая мать – замыкала и мыкалась, подумал Франц, заглянув ей в низко опущенное лицо.

Сидя на земле, ему было удобно рассматривать шагающие мимо ноги: перекаченные женские икры, собачьи лапы в специальных носочках, стоптанные угги и торчащие из них голени, кроссовки вечерних бегунов – бегут, все бегут, несутся, спешат: домой, к семье, на свидание, на работу; а я сижу на земле – хотя мне надо к детям. Франц прикурил следующую сигарету от догоравшей и принялся

изучать ее бурые вены, ползущие от огня к фильтру, ширящиеся с каждой новой затяжкой. «Эй, бро, тут нельзя курить», – работник сосисочной отчего-то проникся к нему состраданием, но увидев, что горемыка закурил вторую, решил всё же вежливо прогнать его. Да, пора домой, к детям. Насилу встал с асфальта, покачнулся, удержался – черт, с руки течет, конечно... Быть собой, в усталости и опустошенности – всё вздор, нельзя, нельзя сдаваться и раскисать, нельзя разочаровывать любимых, становиться ленивым и глупым для своих детей, нельзя – они, дорогие и близкие, ведомые и верящие, первые позабудут и оставят. Пора домой. Но как она всё же улыбнулась мне сегодня – как хорошо... Франс шел и вглядывался в лица встречных прохожих: смог бы я дотронуться до ее лица? Погладить ее по волосам? Поцеловать ее в шею? Смогу ли я полюбить кого-то снова?

На подходе к дому он взял в лавке еще одно пиво и пол-литра виски. «Очевидно лишнее», – подумал торговец. «Очевидно, я еще не готов домой», – подумал Франц и, несмотря на нестерпимое желание спустить всё содержимое мочевого пузыря, минул свой этаж и пошел выше, в сторону крыши. Он обнаружил ее совсем недавно (вернее, ее доступность и необустроенность), но с тех пор не случалось дня без вылазки в это дивное пространство с невероятным видом – с прикосновениями к старинным каминным трубам дома, в долгом разглядывании зеленого оловянного шпилья церкви, соседствующей с домом Франца, в возможности иногда и тайком от детей выкурить сигарету или просто посидеть в одиночестве. Крыша была открыта и, первым делом, он упоительно помочился – момент любования собственной мощью, решимостью и жизненной силой был удачно обставлен нарастающим дождем. «А теперь сяду курить прямо в лужу, промокну насквозь, потому что мне всё равно, слышите? Мне похуй! Что вы мне сделаете, когда я устал без *нее*? Я просто хочу, чтобы *она* была рядом...»

Спускаясь на свой этаж, Франц шел, держась рукой за стену: как моя прабабка, дряхлую старость которой я пародировал ребенком к великой потехе родственников; как моя мать, выдумавшая себе генетическое заболевание (разучилась ходить и сгинула от него в шестьдесят лет) – нет-нет, я не болен, не собираюсь сдаваться, жалеть себя или умирать. Не сейчас, по крайней мере...

\* \* \*

И всё же хорошо, что детей больше впечатлило то, насколько отец успел пропитаться дождем, нежели алкоголем. Вернувшись домой, под предлогом малой нужды и необходимости скорее переодеться, он быстро проскочил в ванную, где, стоя на дне ванны, еще раз помочился, но зачем-то не снимая штанов, затем разделся

догола, скинув с себя гору мокрого тряпья, и тщательно почистил зубы мятной пастой. Переоделся в сухое. Далее, дурачась и пританцовывая, надеясь на то, что никто не поймет истинной природы дурачества («я всё же получил сегодня работу»), он стал готовить ребят ко сну: накормить, отправить в душ, постелить, уложить. Франц вспомнил, что ничего не ел за весь день и, веселя детей, вступил с ними в битву за каждый третий ломтик картошки.

«Папа, а где мы сегодня будем спать?» Франц планировал уложить детей и лечь самому как можно скорее. «Миленький, да, я помню, что в спальне таракан, но давай не сегодня разбираться с ним – я очень устал: просто ляжем, как вчера, в гостиной.» Но только они улеглись и были уже готовы потушить свет, как под потолок взвился вчерашний непрошенный гость. Пролез ли он как-то под дверью, или нашел другие ходы, однако не было сомнений, что это был тот же самый таракан: огромный, грузный, неуклюжий и шумный, один из тех, что живут в подземках, ливневых стоках и канализациях – в дома они забредают не так часто, тем более на верхние этажи. Дети, завизжав, кинулись из комнаты в прихожую. Отец спешно кидал им одеяла и подушки, гадливо удерживая насекомое в поле своего зрения. Огляделся: ухватив последним живым кадром очаровательное убранство их гостиной (обставленной *ею* гостиной!), он потушил свет и плотно закрыл за собой дверь. Поспим на вашей половине сегодня, хорошо?

Ребята легли в дальней комнате, в кровати старшего, а отец постелил себе в проходной – на раскладном диванчике младшего. Сон не шел, несмотря на изрядное опьянение: Франц не мог уснуть и, в то же время, не чувствовал сил, чтобы встать и выключить лава-лампу, зияющую со шкафа адским переливом, или отыскать чертового, до нервного тика приветливого китайского котика, ритмично отсчитывающего секунды лапкой – в мучительном полубабытти Франц снова и снова впускал в себя шум льющейся аквариумной воды, и руки профессора Мориарти снова и снова швыряли его в пропасть Рейхенбахского водопада. Раздосадованный, он встал, закрутился в одеяло, вышел в кухню, сел на пол и решил допить припрятанный от детей остаток алкоголя. Пивом запил обезболивающее и снотворное – минут через сорок должно подействовать.

Коротая время, он захотел вдруг обнять себя всего: сидя под одеялом, уткнувшись носом в несвежую подмышку, он стал медленно двигать рукой, вспомнил, как начинали резко пахнуть *ее* подмышки, когда она возбуждалась; как он входил в *нее*, осторожно, и какой ненасытной она бывала... Рука двигалась всё быстрее – да, так!.. Предчувствуя момент наслаждения, Франц закинул голову назад, но вдруг ощутил резкую боль: притупленная алкоголем,



напомнила о себе глубокая рана ладони. Раздосадованный, перепачканный в крови, он дотянулся до рулона с бумажным полотенцем, замотал руку и принялся раскачиваться... Он не спал еще какое-то время – так и сидел у кухонного шкафа, укутавшись в одеяло. Вскоре он уснул, склонившись на пол кухни.

\* \* \*

Франц проснулся под утро, растирая здоровой рукой колени. Он и до пробуждения растирал их. Во сне они ныли и не слушались: старчески худые, бессильные, словно прозрачные, хрупкие, просвечивающие узкие узловатые сосудики, проявляющие синячки и рябые пятнышки – птичьи лапки, аккуратно ступающие в некрутую в общем-то горку. Еле поднялся: сел на возвышении, долго растирал суставы. Нет-нет, это никак не связано с пристрастием к выпивке, подумал Франц (я пью не так уж и часто), либо это старые травмы, и последствия необратимы.

Надо встать, пока дети не нашли меня на полу. Господи, зачем я столько выпил вчера? Что и кому я говорил, не писал ли сообщений? С предчувствием непоправимой катастрофы он схватился за телефон и обнаружил, что всё же писал: он отправил ей аудиосообщение, полное стонов и частого дыхания, похотливых признаний и даже слез (не от отчаяния, а в приступе боли: рука, ты поранил ее вчера, помнишь?); он отправил эту запись в их некогда активный чат – последнее сообщение датировалось годичной давностью... «Я устал без тебя. Ты не представляешь, как мне непросто! Я забыл, что такое хотеть жить, хотеть делать то, что я умею лучше всего, хотеть прилично выглядеть и улыбаться.» – ох, тут бы захотеть умыться... Франц сунул руку с прилипшим к ней бумажным полотенцем в кухонную резиновую перчатку, обмотал ее на запястье скотчем и прошаркал в ванную. Перекидывая на крышку унитаза кучу вчерашней мокрой и пахнувшей мочой одежды, он заметил комок темных длинных волос, собравшийся на сетке слива, – чьи это? У детей волосы светлые, мои не такие длинные – что за ерунда? Ладно, может, нацеплял в очереди в гастрономе... Но я не включал воду, просто снял мокрую одежду, – как они могли собраться в сливе?

Не имея никаких сил думать об этом, Франц спешно выбросил странную находку в мусорное ведро, включил воду и встал под душ. Волосы... У Мюнхгаузена почти не осталось волос, за которые он мог бы себя вытащить, но тем интереснее будет рассказ. Мюнхгаузен, Мюнхгаузен... Ах да, у барона «по расписанию сегодня – война», и дети остаются дома «больными». Он же едет на работу. Полтора часа в одну сторону, три часа в транспорте ежедневно – ничего-ничего: в пути можно редактировать чей-то очередной убогий сценарий. Черт, кошка: у кошки операция на сегодня... Господь, дай мне сил!

Дети очень обрадовались «войне».

«Папа, что у тебя с рукой?» – и пока старший клеил отцу пластырь (наверное, мыл посуду, поранился и не заметил), Франц бодрился и, несмотря на ужасное самочувствие, как-то особенно тепло и жизнерадостно улыбался детям. Они не должны видеть, что мне плохо в похмелье. Ох, еще и кошка. Да-да, вы сегодня дома, ребята, но я попрошу вас свозить Лазанью на операцию – не ожидал, что получу работу настолько внезапно, а запись с прошлой недели, да и кошке уже больно... Ты же помнишь, это не дальше, чем ты ездил на шахматы, но только не в Асторию, а на север от нас. Я буду с вами на телефоне всё время, просто не успею к четверем в клинику.

Они справятся, и кошка справится: страдая онкологией, она уже перенесла одну операцию сразу после смерти жены, но за год, бедная, вырастила на себе еще две крупные опухоли. Врач просто волшебник – он поможет ей, и кошка выдержит, не старая вовсе. Это *она* взяла ее из приюта, *она* пошла навстречу детям и принесла в дом животное – Франц не хотел питомцев. Но он не мог предать детей, не мог предать *ее* любовь – не предал и в прошлый раз, когда, вытащив из закровов все сбереженные деньги, бедную Лазанью везли через город на операцию, выхаживали после, радовались каждому проявлению жизни. Франц и сейчас не мог предать детей – пообещать, успокоить и не сделать: в порыве заботы и любви они оказались предельно уязвимы, и, признаться честно, во время ухода за кошкой что-то изменилось в нем самом – он полюбил ее. Перебинтовывал, давал разбавленное молоко с медом, лекарства, гладил потихоньку зарастающее шерстью брюшко... Тогда она быстро оправилась, а Франц и дети еще долго ходили, раненные в самые сердца, не способные уложить в себе эту любовь, не зная, с какого края начать складывать этот огромный шелковый парашют, не понимая, как переварить зачем-то проглоченное целиком гигантское облако сахарной ваты – приятное, волнительное, трогательное и очень сильное чувство. Самые неожиданно потраченные деньги, самая удачная операция, самая сердечная история доверия друг другу. Он не смог спасти *ее*, но обязан спасти кошку.

Познакомив детей с содержимым холодильника («Пудинг, это – Алиса. Алиса, это – Пудинг» и то, как его разогреть), Франц чмокнул смеющихся ребят и поспешил на работу. До метро идти ровно квартал, но плотный людской поток постоянно тормозился чудаками, должно быть, «прибывшими из Британии», – ни за что не обогнать! Как бы я хотел, чтобы люди в толпе держались правой стороны и тем не раздражали меня, потому как это именно то, чего я настойчиво требую от своих детей. Или вот собачье говно, размазанное по тротуару... Да, кстати, мне снилось сегодня какое-то особенно жирное

дерьмо, но это не к деньгам, как предрекают сонники, а к очередному утру в Манхэттене, где, стоит тебе выйти из дома, ты вечно обходишь раздавленные зеленые мешочки: зачем его укладывать в пакеты, если всё равно оно окажется на тротуаре?! Ладно, сам хорош – так напиться и распахать руку... Как бы я хотел быть настолько уверенным в себе, в верности своих поступков, в правильности проб и ошибок, чтобы, например, нести на школьный утренник к общему столу безынтересные, пресные, полусырые печеньки с волосом внутри; или вот стать бы одержимым идеей здоровья применительно к чему-нибудь в своей жизни – бегать по утрам, как прежде, хотя бы, чтобы загладить вину за вчерашнюю выпивку. Как бы я хотел, чтобы с молодым красивым бездомным у метро случилось то чудо, о котором он просит на картонке в ногах, или, по меньшей мере, чтобы он нашел работу или время на ее поиски. Ну почему я не предложил начать работу с понедельника? Ведь помнил же об операции кошки, но, не думая, ответил, что «могу выйти завтра». Когда же я научусь ценить и уважать себя? Когда перестану бояться бедности? Впрочем, не сильно далеко убежал от нее, чтобы не бояться...

На платформе за колонной стояло ведро, в которое капала вода с протекающего потолка, и, улучив момент, Франц скудно стошнил в него – так и не поел ничего с утра, кроме таблеток: душевная боль хорошо снимается обычными сильными обезболивающими, а то, что они сажают печень, ну, так и вино ей не помогает! К слову, от работников ликерок он слышал, что основной бизнес делается на «мерзавчиках»: маленьких бутылочках с крепким алкоголем, которые клерки берут до работы и в течение дня постоянно добавляют в свой кофе.

В вагоне по полу каталась пустая бутылка от пива, и, не выдержав, Франц вынес ее на платформу одной из станций. Успокоившись, уняв в пальцах дрожь, он принялся переводить в телефоне текст, взятый в качестве подработки, но вошла семья с беспрестанно орущим ребенком. Практикуя ожесточенное спокойствие, Франц устался в окно. Поезд въехал в тоннель, и почерневшее стекло отразило лицо мужчины – как же плохо я выгляжу... Старый, опухший, несчастливый человек – противно. Но если закрыть глаза, можно не беспокоиться о своем внешнем виде; помогает также гладить большим пальцем другой большой палец – это просто ужасное освещение, однако с самооценкой действительно есть проблема. Таракан этот опять же: почему мы ютимся в маленьких комнатках, когда в большей половине квартиры живет насекомое – ну что за бред?! Надо будет сегодня обязательно с ним разобраться.

\* \* \*

Что значит в вагон вбежала полиция? Какого преступника?

Двери поезда еще открыты? Так, аккуратно встаньте и, не привлекая к себе внимания, выйдите из вагона. Там еще больше полицейских и не выпускают никого на улицу? Хорошо. Поезд еще стоит? Отлично. Спокойно, садитесь обратно. Не привлекайте внимания, не смотрите полицейским в глаза – смотрите друг на друга, разговаривайте, и главное, ничего не бойтесь. Вы достаточно взрослые, чтобы быть в метро без старших. Если что... если начнут стрелять, срочно прячьтесь под сидения.

Сохраняя спокойствие в голосе, Франц в ужасе ходил по коридору радиостанции: да, теоретически они могут сами быть в метро, и нет на то возрастного запрета, но зато у города есть «рекомендации родителям», и вот тут могут быть вопросы. Черт, дети одни, и этот гребаный преступник в поезде – на днях какой-то урод в Квинсе расстрелял полвагона... Ну почему это всё сегодня? Операция, первый день работы, полиция в метро, дети с кошкой, мигрень и похмелье.

Что происходит? Много? Не смотрите им в глаза. Взгляд – это общение. Вы ничего не нарушаете, вам не нужна помощь, вам ничего не нужно, у вас всё в порядке. Делайте вид, что вы говорите друг с другом, будто вам не страшно. Уходят? Хорошо. Двери закрылись? Хорошо. Сын, звони мне с каждой следующей станции, обещаешь? Всё будет хорошо: с вами и с Лазаньей.

\* \* \*

Он выбежал с работы как раз, когда дети садились в поезд с очнувшейся от наркоза кошкой. Операцию перенесла прекрасно. Обезболивающее и антибиотики из пипетки два раза в день в течение недели. Справится. Созваниваясь на каждой остановке, Франц «вел» детей домой: он думал о том, что неплохо бы забежать в магазин и купить пиццу, коробку мороженого, а после, обнимаясь, вместе посмотреть какой-нибудь добрый фильм – дети натерпелись сегодня.

Поезд въехал на мост, и Франц набрал сына. Не снимает. Вместо этого пришло сообщение «Умерла». Он задохнулся вдруг на минуту. Набрал номер снова. Заплаканный, не способный сказать и двух слов, ребенок выл и стонал. «Тихо, тихо, миленький, – Франц гладил себя по колену. – Вы уже дома? Главное, ничего не делайте, никуда не ходите. Я уже выезжаю в Манхэттен и совсем скоро буду. Не трогайте ее, никуда не ходите, просто ждите меня – посмотрите что-то... Я понимаю, мой хороший, что ты не можешь, я понимаю... Ай, какое горе. Я сейчас пропаду, сейчас въеду в тоннель, но я буду звонить тебе с каждой станции. Сейчас будет Канал. Я позвоню тебе оттуда. Обязательно сними трубку, хорошо, не то я сойду с ума...»

Франц опомнился в дальней части вагона: разговаривая с ребенком, он принялся ходить вперед и назад, кинув свой рюкзак там,

где сидел ранее, но стоило ему повесить трубку, как у него подкосились ноги. Удержавшись за поручень, он свалился на ближайшее сиденье. Тряслись руки. Кто-то принес и положил рядом его рюкзак. Как же? Она выжила, проснулась, доехала домой... И даже не в кошке было дело (она мучилась, и ушла бы вскоре от спасительного укола, если бы не попытка помочь ей), Франц страшно боялся, что не справится, не найдет в себе сил «собрать» и поддержать детей. Ну как же теперь, всё повторял он, как же?

И только бы старший не вытворил чего... Дурашка, у него такое же хлипкое, огромное, бездонное сердце, как у меня, и он так же намучается тягаться с ним, выбирая здравый разум в судьбы. На Канале сын всё еще рыдал, но, когда Франц проезжал 34-ю, ему удалось разговорить его. «Я хочу к вам скорее, я уже рядом. Давай, вы выйдете из дома и встретите меня у турникетов, идет? Так мы быстрее будем вместе, и я скорее обниму вас.» 42-я, 57-я, 63-я, 72-я... Мальчики ждали его у эскалатора. Он прижал их к себе, а старшего буквально подхватил – парню было совсем плохо. Ну-ну, посмотри на меня, не уходи туда, слышишь, не надо – мы сейчас поднимемся домой и всё решим. Но сначала зайдем в лавку на углу: вам нужно будет сегодня поесть, но я знаю, что вы не сможете, поэтому мы купим мороженого, идет? Себе Франц взял две банки 12-градусного сезонного пива – самое крепкое, что можно было найти в табачной – он боялся, что не справится без алкоголя. Успокоить их, проститься с кошкой, похоронить ее – и всё в один вечер, за три часа. О, Бог, дай мне сил! И чтобы в парке нас не увидели, копающих могилу...

«Глаза открыты, но не двигается, – повторял старший. – Посмотри на ее глаза: они открыты, папа, но она не дышит.» Дети снова рыдали, оседали на пол, отворачивались и не хотели видеть умершую кошку. Отец обнимал их: я знаю, я знаю, мои хорошие, но нам надо помянуть ее, поблагодарить за всё. Идите к себе, я принесу Лазанью, и мы попрощаемся с ней. Мальчики взвыли, он же вышел в прихожую, где всё еще стояла коробка с кошкой. Поглядел на нее – глаза были открыты, но она не двигалась и не дышала, ступил в кухню, налил себе пива в чайную кружку и, выпив всю залпом, пошел в гостиную за свечами. Правда, тут же вспомнил, почему дверь в комнату закрыта, ругнулся, покачал головой, вернулся к коробке, аккуратно достал из нее кошку и понес в детскую.

Часом позднее, когда дети успокоились и каждый смог обнять, поблагодарить питомца за все прекрасные мгновения вместе, когда все признали, что Лазанья прожила очень счастливую жизнь среди любящих людей и что ей повезло быть взятой из приюта, а после спасенной первой операцией и освобожденной от боли второй; когда мальчики наконец прояснили и даже захотели поесть мороженого, они попросили немного времени до похорон, чтобы передохнуть и

посмотреть любимого Миядзаки. Добрый знак, подумал отец с плохо скрываемым облегчением и даже радостью: он был странным образом счастлив (если было уместно говорить о счастье), и равно так же, как ненавидел себя по дороге домой (не имея возможности быть рядом, чтобы утешить), сейчас он был опустошен, разобран на части, но счастлив – ему удалось помочь им отгоревать, он нашел правильные слова, он обнял и держал их так долго и крепко, чтобы до печальной, но всё же улыбки, до света и легкости в сердце.

Франц оставил ребят в детской, забрал кошку, но не вернул ее в коробку, а, закрылся с ней в ванной. Включил воду, открыл вторую банку пива и сел на пол. Год назад он похоронил жену, но когда месяц спустя умерла его мать, он не смог приехать на ее похороны – диссидент, он рисковал не вернуться назад к детям, а у них, в свою очередь, в США не было никого, кроме Франца. Об умершей матери они, словно по умолчанию, не говорили – отец не запрещал, но они тоже не хотели: вероятно, попытка спрятаться от факта ее смерти, отгородиться от него, убежать – прогоревали ли они по-настоящему, и что будет, когда эта рана внезапно раскроется? Спустя еще полгода умер его отец – и он вновь не полетел на похороны...

Франц сидел на полу, прижав окаменевающее тельце кошки к груди, сидел, пил и плакал обо всех, кого потерял за этот год, о тех, с кем не смог попрощаться, прижать к груди, сказать им всё доброе, что хотелось: жена, родители и трое друзей... Он целовал кошку, поверив вдруг, что является добрым волшебником, как его называли дети, приказывал ей, глядя в мутнеющие глаза, шептал в ушко, просил проснуться, – давай, ты сможешь – оживи! Один раз мы спасли тебя, продлили жизнь... Прости, я не смог спасти *ее*, и надеюсь, дети простили меня, но зато для них я спас однажды кошку. Первый питомец – милая, умная, добрая, тепленькая, чудесная Лазанья. Я сделаю для тебя всё, что не смог для родителей. Я сделаю всё, что не смог для *тебя*.

\* \* \*

Хоронить вышли после девяти вечера. Погода выдалась предельно пасмурная и ненастная: проливной дождь с холодным ветром в Нью-Йорке – то еще «удовольствие», и чем ближе семья подходила к парку, тем драматичнее расходилась стихия. Старший сын принял ненастье, как созвучное его горю, символичное подтверждение неизбежности потерь; Франц же рассказывал о том, что в некоторых культурах любая дорога или начинание в дождь – особое везение. Послушай, она прожила удивительную жизнь и будет похоронена в Центральном парке, как прах Джона Леннона, – нас с тобой навряд ли похоронят здесь. Даже маму не похоронили тут, а Лазанья удостоена особой чести, – Франц впервые за год упомянул о смерти их матери.

Место было выбрано заранее: за забором детской площадки, меж кустов форзиции, под вишневыми деревьями; весной эта скрытая от глаз полянка зацветала восхитительным ковром фиолетовых пролесок – идеальное пристанище. (Декабрьским поздним вечером эта прогалина не казалась такой уж уютной и прекрасной, но всё же она не была лишена красок: вероятно, с Пятой авеню, что за каменной оградой, выпивая на лавочке аллеи, кто-то швырял в парк кожуру от мандаринов, а после и сами мандарины; кинули туда же и целый ананас – было сложно предположить, что какая-то компания праздновала именно в этих кустах, праздновала, а после ритуально разносила остатки фруктов по поляне – просто кидали за ограду.) Дети копали яму суповыми ложками и металлической лопаткой для блинов – ни игрушечной, ни настоящей лопаты в доме почему-то не оказалось. Старший разрезал корни швейцарским ножом и выгребал землю голыми руками. Франц пил вино, купленное по дороге к парку, – мальчики попросили не помогать им. За полчаса могила была выкопана: небольшая, но глубокая настолько, чтобы в нее свободно вошла коробка из-под обуви – в ней лежало обмотанное полотенцем тельце кошки, ее любимые лакомства и игрушки, цветы и рукописные прощальные письма от каждого члена семьи. Дети снова плакали. Каждый сказал последнее слово, и далее вместе закопали могилу, закидали ее поверху пальмами листьями и ветками. Прощай, Лазанья!

На обратном пути старший рассказал, что чувствовал заранее – это случится сегодня. Знаешь, удивительно, сколько раз мы умираем от предательств или горя, как страдаем, переживая несправедливость и боль – даже чувство красоты и любви пронзительно такому сердцу, как твое, – но оно живучее и эластичное: одним утром оно снова засмеется, как умалишенное (каламбур был бы банальным); вдруг, после затяжной зимы, в него хлынет столько любви, что растеряешься – как вместить ее всю? Станешь расплескивать налету, отхлещешь неверующих по лицам, утопишь прочих в ее потоке – поплачь, любимый, пусть освободится место в сердце, поплачь, пожалуйста, а я буду обнимать тебя под этим дождем, на этом ветру сколько угодно долго, пока ты не поднимешь наконец заплаканное лицо, не помотришь в меня с особым теплом и благодарностью, с любовью, которой скоро снова будет через край.

Дома их ждали сплошь сюрпризы. Во-первых, в кухне прямо посреди стола сидела добротная мышь, которая при всей своей наглости еще и не сразу среагировала: включенный свет застал ее врасплох, и, ошалев, прежде, чем дать деру, она еще пару секунд разглядывала непрошенных существ – как показалось Францу, разглядывала осуждающе. Во-вторых, там же, на столе лежала

облизанная ложка, которой ели арахисовое масло. В семье все терпеть его не могли (в доме не было арахисового масла!), так что природа появления вымазанной в нем ложки была более чем таинственна. Третьим сюрпризом стала непредсказуемая ранее возможность маленькой комнатки старшего вместить трех жильцов: сын попросил отца поспать с ним, меньшему постелили на полу, так как он отказался спать один в своей, проходной. Усталые, грязные, убитые переживаниями дня, они наскоро вымыли руки, почистили зубы и повалились спать. У Франца снова не осталось сил разбираться с тараканом, как и обдумать, почему на сеточке слива ванной опять собрались темные длинные волосы. Отходя ко сну, он всё время тревожился, что ночью на меньшего с полок свалится какая-нибудь из бесчисленных штуквин – вдруг, ворочаясь, он заденет ногой шкаф и пошатнет его?

\* \* \*

Франц стоял на четвереньках над кратером алмазной шахты, что уходит вглубь на километры (хотя вход в нее умещался среди яблоневого корня дедовского сада), глядел, как маленькие грузовички по спирали спускались вниз, а другие, напротив, – тащились вверх, чтобы накормить его битым стеклом, которое он выплевывал в сторону, – во рту оставались только настоящие драгоценные камни; но тут же выяснилось, что это ему рвут зубы, притом совсем не больно. Франц встал и вышел из сада. Желая погладить собаку, он сразу отыскал будку, забрался в нее, но вместо дедова седого лохматого на четверть бобтейла нашел там кошку Лазанью, которая упрекнула его в забывчивости (позор: не поздравить ребенка с днем рождения!), и тут же сын нарисовал снег, который ровным мягким слоем укрыл сроки подачи заявлений на поступления детей в старшую и среднюю школы; под ним исчезли бланки анкет, груды отчетностей успеваемости, результаты школьных лотерей по районам, цифры рейтингов школ, разномастные требования к составлению портфолио, и Франц беззубо улыбался, глядя на то, как последний видимый уголок всей этой макулатуры покрылся серебристым невесомым ничем, и тут же его снова вырвало битым стеклом вперемешку с тараканами. Он спустил ноги с дивана в уютный мох и пошел к нему в сторону оставленной тропинки – она совсем рядом и приведет к рельсам, а за ними будет ручей и поляна, на которой стоит наш летний походный лагерь, палатка и теплый спальный мешок, комары, которые зазвенят арфами будильника, выставленного на 6.30.

Он тихо поднялся с постели, чтобы не разбудить старшего сына. Аккуратно, как цапля на длинных колченогих ногах, ступал, обходя младшего, – поднял его на руки и переложил на свое спальное место.



Третью ночь они спали в одной комнате. С момента похорон был еще один день работы и трехчасовых переездов в метро, а после – поездка в гости на всю субботу, – и всякий раз усталый Франц махал рукой на запертую дверь, за которой в двух огромных комнатах полноправно жил таракан. Было раннее воскресное утро, и, выпив кофе, Франц засобирался в прачечную и за продуктами. Он придет домой и во что бы то ни стало вернет себе свою спальню и гостиную.

Шагая сквозь туман, он думал об увиденном сне: какой странный! Хотя, вспоминая: вчера, помогая сыновьям справиться с очередным приступом тоски, я выстраивал какую-то сложную теорию о том, что драгоценный камень всегда тяжелее подделок. Франц не помнил, к чему привел свои сравнения и рассуждения, но про себя отметил, что мальчики пришли в себя и не горюют так сильно, как в первые дни. За это время, к слову, произошли и другие события, можно даже сказать странные вещи: волосы в ванне продолжали возникать из ниоткуда, ложки от арахисового масла, необъяснимые, пришлые обертки от конфет валялись чуть ли не на каждом шагу, и в добавок к ним мужчина нашел на полу кухни женскую резинку для волос – с теми же темными длинными волосами. Опросив детей (не притащил ли кто с улицы или из школы, когда они в нее ходили), Франц получил отрицательный ответ. Происходящее настораживало и пугало, но в вечной беготне и заботах, мужчина отгонял от себя раздумья, не связанные с ежедневными задачами и ответственностями. В раздумьях же на тему возникновения загадочных предметов можно было и вовсе тронуться умом – если уже не тронулся, и всё это ему просто казалось.

От гастронома шел по 72-й: мимо окон, где табличками манифестировали John Lennon's way, мимо кафе, в дверях которого всегда сидит равнодушный черный кот, мимо Дакоты – Франц ступил в парк и решил мимоходом навестить захоронение кошки, проверить, всё ли в порядке. Еще на подходе он заприметил, что птицы выели бок брошенному ананасу, но мандарины лежали нетронутыми. Это хорошо, здесь было отратно людям и птицам. Ох, не только им... Ну что же это такое?! Ослепительно белоснежное полотенце кое-как прикрывало развороченную могилу. Собаки, белки, еноты? Твари... Он подошел и поковырял яму носком ботинка: коробка была на месте. Не желая заглядывать в нее и всё так же, орудуя ногой, он уложил назад полотенце и забросал могилу землей. Постоял, помянул – хорошо, что я не пришел сюда с детьми. Отошел шага на три и вдруг увидел труп кошки, выеденный живот и откушенный, обглоданный наполовину хвост. Милая девочка моя... В порыве сердечной жалости к ней, Франц уже руками раскопал могилу, достал полотенце и поднял в нем кошку, обернул ее, прижал к себе, – ну что

же это такое? – аккуратно уложил ее в землю, укрыл с головой и старательно снова забросал землей. Нашел поблизости камень побольше, положил по центру холмика – покойся с миром. Мимо него, то ли играя, то ли в драке промчались два зверька – гребаные белки! – проскочили почти по ногам, и Франц запоздало пнул воздух ногами.

Он не пил уже третий день и, несмотря на пережитую сцену, воздержался купить себе чего-нибудь успокаивающего. Он вообще пил нечасто, но увы, начав, не мог остановиться, пока не впадал в забытье. Ты не любила, когда я выпивал, но пойми, мне очень непросто одному – я еле справляюсь... Я очень хочу стать легче, быть счастливым – разреши мне, помоги, наконец!..

Разговаривая с *ней*, он дошел до дома. Открыл дверь и оторопел: из гостиной доносился женский смех – словно говорили по телефону и, слушая чей-то увлекательный рассказ, смеялись ему в ответ. Никаких слов, только смех: негромкий, мурлыкающий, мягкий... Медленно, боясь упустить ощущение реальности, мужчина на цыпочках вошел в кухню, поставил на стол пакет с продуктами, обнаружил там же очередную грязную ложку, развернулся и резко зашагал через темную прихожую в сторону гостиной. Он толкнул дверь и на мгновение ослеп от яркого солнечного света...

*Нью-Йорк*

## Сергей Золотарев

### [НРЗБ]

\* \* \*

где ветер дул трамвайные сдувая  
звонки в контактных путаясь сетях  
сейчас идут бесшумные трамваи  
и парк троллейбусный – поверхности внатяг

и каплями людей завалены все лужи  
деревьев пузыри висят над головой  
поверхностный натяг здесь ничему не служит  
распушенность петли страшнее половой

но долго ли связать? изнаночные петли  
готовы от рожденья – лицевых  
достаточно набросить и немедля  
без памяти остаться но в живых

а если взять крючок и 3D-принтер  
то можно капли дождевым принтом  
как петли увязать в материю где принят  
закон о полном метре и пустом

пусть сыро зябко ветрено и серо  
но ветер снял на пленку и с креста  
листву – и это тоже полимеры  
их связанность понятна и проста

летят сухие листья а на снимке  
шуршат о том что места хватит всем  
вповалку спящим пляшущим в обнимку  
под субъективом Смены 8М

порыв не разрывает современных  
его тоске мошеннических схем  
но связан передачею ременной  
со временем и далее со всем

есть ветер капли листья и Белютин  
безумную коллекцию картин  
упрятавший от мира в чистой сути  
что мир изображаемый един

легко пустить на ветер состоянье  
и каплями лица изрыть стекло  
но город и в моменте и на плане  
отсутствует пока не рассвело

\* \* \*

жизнь закончится – мы останемся  
чем утешим себя тогда?  
осень михневская подстанция  
капли обняли провода

что гудят ибо ток наличествует  
а технический персонал  
как устроено электричество  
никогда до конца не знал

капли чуют а больше ведают  
как гуденье рождает свет  
как растет – через это – светлое  
чувство страха что смерти нет

там ежи продолжают двигаться  
по сердечнику в молоке  
изоляции перемигиваясь  
эх-хе-хе

капли знают что жизнь закончится  
как гудение в проводах  
на подстанции обесточенной  
что останется тогда?

из бетона столбы армированные  
да проброшенное поверх  
наблюдающих лиц надмирное  
напряжение линий всех

голубятня – над нею турманы  
сбрасывающие кувырком  
сеть пространства со всеми тюрмами  
оппадающими кругом

за стеклянной дверью  
поле лютиков  
very  
beautiful

\* \* \*

проводить параллели  
между светом и тьмой  
возвращаясь по темным аллеям  
домой

несмотря на свечение  
или тень на лице  
точка пересечения  
намечается в самом конце

там где все мы сойдемся  
за накрытым столом  
домочадцы питомцы  
взгляды наши под нужным углом

это рысканье в чаще  
это времени крен  
возрастающий всё в настоящем  
сводит будущих в городе N

мне же хочется (мне ли?)  
по дороге домой  
провести параллели  
между светом и тьмой

\* \* \*

словно отбросив опаску  
выстудить неба клочки,  
вынуты стекла на Пасху  
как из футляров очки

вынуты окна – футляры  
дышат своей духотой  
но и оркестр стеклянный  
полон отёчной водой

вынуты стекла – так сушат  
пух отсыревших перин  
мир одеял и подушек  
простыни мокрых витрин

словно объявлен субботник  
в каждом глазу – по бревну

ходит потерянный сотник  
ищет иголку одну

зимние рамы: в поддоне  
выжатые дожди  
сохнут на солнце – и в доме  
нашем шаром покати

так и откатят сегодня-  
завтра (не важно число)  
камень от Гроба Господня  
и поместят под стекло

\* \* \*

находящегося в полуобморочном  
состоянии но живым  
отливали водою с обручем  
подсознания огненным

неба колба – теперь разбитая –  
и осколки листовы – стекла,  
где растение ходит с битойю  
обнажившегося ствола

\* \* \*

близость называл переливанием  
крови – перекрестным как допрос  
опылением – опытом гальвани  
по олягушачиванью роз

но ложился спать на муравейник  
женщины и утром от него  
оставалось только откровенье  
ощущенье счастья одного

\* \* \*

мне нравится спокойная земная  
двойная жизнь а все-таки и в ней  
небытие определяет подсознание  
и чем необъяснимей тем сильней

я думал что сошел но я остался  
физалис как фонарик можно есть  
с горячим светом каждого каналца  
в котором и пульсирует невесть

что: коли мать – сыра-земля то как-то  
негоже в ее чреве хоронить  
как катышек какой-нибудь отката  
сухого человеческого брата  
ведь даже войлок – сваянная нить

и можно вытянуть до неба если постараться  
его захороненного – а, братцы?

кто обувь себе делает из яблок  
тому земля любая по ноге  
шнуровка гравитации ослабла  
и к тканям онемевшим хлынул свет

а желтые цветы не в силах без обмана  
расти когда питательной средой  
им нелюбовь героя из романа  
о сатане идущего за женщиной немолодой

и что там получается со снами  
не ведаю не знаю не скажу  
небытие определяет подсознание

\* \* \*

в темноте дрожит усталость  
жизнь пуста или страшна  
всё что умнику осталось  
это выпасть из окна

да на то земная лопасть  
так вращается что в шар  
превращается и пропасть  
под ногами – просто шаг

вот и крылышко стрекозье  
всю материю на жест  
переводит – с нею возле  
больше взмахов чем веществ

впрочем самое движение  
происходит по резьбе  
чтобы голову от шеи  
отвернуть и [нрзб]

Валерий Сосновский

## Мгновенье времени

\* \* \*

Нет, не влюблен – но возьми меня под руку,  
Тенькай, синичка, без пауз и продыху  
В сумеречной моей речи хмелеющей  
С набережной нашей речки мелеющей.

Даже не я – прощелыга напористый,  
Кто это, кто – рассуждения, горести,  
Памяти фантики, стеклышки тусклые –  
Держит фанфурик за горлышко узкое?

Так и останется это мгновение:  
Ты упорхнешь из него без сомнения,  
Я – погляжу, как развевает по площади  
Ветер обрывки прекрасного прошлого.

\* \* \*

Когда зима легла на плечи  
И загупилась в сердце боль,  
И от бесчувствия не лечит  
Ни сон, ни явь, ни алкоголь,

Лишь тонкий дым от сигареты,  
Что в пепельные облака  
Течет, течет, как струи Леты,  
Напоминает: жив пока, –

Идет второй, со старшим сердцем,  
С пригоршней вишни, тоже я,  
Держу ключи к забытым дверцам  
Во все пределы бытия.

\* \* \*

Промозглая весна. Холодные дожди.  
Старухой седой мне память ворожит.  
Я слышу голос твой: «Любимый, уходи,  
Забудь меня навек». Кто это говорит?



Кто это говорит: промозглая весна?  
 Кто это говорит: забудь меня навек?  
 Любимый, уходи. В округе тишина.  
 И падает с небес густой, протяжный снег.

\* \* \*

Старый еврей из Одессы – портной Либерман –  
 Сшил эту осень, как мягкий просторный пиджак.  
 Ладно сидит! – можно спрятать чекушку в карман  
 И на окраину города выбраться, так

Долго любясь невзрачностью северных рек:  
 Свалки, заборы, вороны, кусты да репей.  
 Листья летят, облака... Завтра выпадет снег,  
 Завтра умрет в одиночестве старый еврей.

\* \* \*

Нет, не с ума  
 Я схожу, но за лето устал.  
 Вот уж зима  
 Обнажает беззубый оскал.

Хочется петь  
 В беззаботном веселом раю.  
 Тетушка смерть,  
 Покачай колыбельку мою.

\* \* \*

Ты соскучилась.  
 Дождливим облакам  
 Шлешь приветы и не ждешь ответы.  
 Осень ссучилась, притырив по углам  
 Рыжие опавшие монеты.

Утром дворники шмонают сквер, века  
 Разметав. Спроси их, на хрена им.  
 Осень. Родина. Беспамятство. Тоска.  
 Постамент с чугунным вертухаем.

\* \* \*

*Ю. Казарину*

Охра ромашек на склоне  
Солнцем расплавлена.  
Ребенок раскрыл ладони  
В тени от яблони.

В сонном его сознании  
Птица качается,  
Тяжелое мироздание  
Мерно вращается.

Не испарится слезинка  
На коже яблока,  
Не шелохнется травинка  
На фоне облака,

Не перестанет длиться  
Мгновенье времени,  
Пока не коснется птица  
Ладоней перьями.

\* \* \*

Как в жизни падал, как вставал,  
Как вовсе умирал для света...

*К. Батюшков*

Желтую греет листву  
Пасмурный свет.  
Кажется мне, что живу  
Тысячу лет.

Горести, нищенский кров,  
Стужа, луна.  
Мало писал я стихов  
В те времена.

Помнится, падал, вставал,  
Прятался с глаз,  
Сам для себя умирал  
Тысячу раз.

Слезы мои – трын-трава  
Карандашу.  
Дешевы нынче слова –  
Вот и пишу.

\* \* \*

*Кириллу Азерному*

Путеводитель краткий  
Для тех, кто живет во сне.  
В реку входи украдкой,  
Тенью по черной стене.

Не примеряй корону –  
Холодно бремя ее;  
Не убивай ворону –  
Имя забудешь свое.

В пропасть, где нет надежды,  
Спустишь до самого дна.  
Побереги одежду:  
В складках двуличность видна.

Время водой зеркальной  
Взгляда левой твоего,  
Редко и беспечально,  
Безгрешно смотри в него.

Жди золотую птицу  
С глазами, как у змеи,  
Чтоб навсегда проститься  
С тяжелым дымом земли.

## Камилла Вали

\* \* \*

застывший сад и тишина кустов  
так лето зрит палящими глазами  
каление травы под небесами,  
сиесту звуков, замиранье слов

ну, здравствуй, грусть, ленивая качель  
в знакомом парке с призраками детства,  
скамейки полосатое соседство,  
где спит укрытый тенью книгочей

белеют на страницах паруса  
сквозь листья, раздуваемые светом,  
рассматриваешь сны свои, и ветер  
к закрытым прикасается глазам

всё успокоено. цветы и голоса  
высоких птиц и низких самолетов,  
и пчел жужжанье, и гортензий соты –  
всё поглощает летополоса

\* \* \*

день начался. но как-то без меня  
мне проворонила ворона просыпание,  
и, в ванную безвольно семеня,  
я начинаю слов пересыпание

из мысли, не сложившейся в итог,  
в песочные часы стихотворения  
уходит день. бежит в себя песок  
ворона чистит крыльев оперение

и улыбается – у врановых своя,  
особая над временем насмешка  
а я ищу тот день календаря,  
когда еще не зеленел орешник,

когда не пели песни соловьи  
и мудрецы не били слов баклуши,  
когда еще не встретились свои  
и не залили серебро мне в уши

## ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

птенец механической птицы  
как будто чего-то боится  
не бойся, не бойся... небось,  
протягивать крыльями руки  
и слушать сердечные стучи  
тебя научает любовь

мы дети, приемные дети  
кукушка поймала нас в сети,  
чтоб звонко выталкивать в мир,  
распахивать деревья дверцы,  
простукивать робкое сердце,  
прокукивать годы в эфир

а вечное между часами  
достанется папе и маме,  
ушедших под речитатив  
пластинок покоцанных. скрежет  
иглой круг виниловый режет  
немецкая кукла кричит

о чем она – даже не знаю  
зачем-то играет словами  
луны желторотый помет  
кукушка кукует часами,  
но стрелки вращаются сами  
и время мехами поет

\* \* \*

здесь облака спускаются с вершин  
и смотрятся в оконный объектив  
впускают луч, вдыхают пар лощин  
и выдыхают утренний мотив:

цикад не надоедливый припев,  
овечек колокольный перезвон  
рисует утро завтрак на траве  
подсолнухи распахивают зонт

сошедшая с альбомного листа,  
рассажена в обычное три дэ

природа, от травинки до куста,  
рисует перспективы деградации

бледнеет в отдаленной синеве,  
вплетается косичками дорог  
в ней воздухом припудренный Моне,  
в ней солнцем поцелованный Ван Гог

\* \* \*

как в воздухе рождаются слова?  
вот точка лета. поле. соловья  
лесное переменное звучание  
цветочный взрыв. пчела по умолчанию

и бабочки порхающей клише  
дорога на каком-то вираже  
уходит в небо. ей разрешены  
иллюзии оптической волны

дышите, ноздри. раскрывайся, ухо  
рождайся, словно августова муха  
жужжи в коробке спичечной, жучок  
отпарывай нашивки, звездочет,

и запускай их в тающее небо  
почти закат. геката прячет гебу  
от холода в лучистый капюшон  
быть может, день еще незавершен

\* \* \*

где глубокое дыхание?  
жара шар над головой  
выпестовывает пламя  
в гладиолусов огонь

где изысканные струны  
полутени паутин?  
заблестят золоторунно,  
чтоб исчезнуть из сети

как из рога изобилья,  
плодоносит август мой:

перелетные надкрылья,  
перекрестных маток рой

тяжелеют наливными  
яблоки боками. слив  
темно-синими глазками  
очарован объектив

где ты, серебристый гребень  
горной седины вершин?  
вьются белые, как снега,  
реки в рукавах лощин

\* \* \*

ты убежала. снова убежала  
водой из крана вытекла в трубу,  
пока подушка мято возлежала  
на одеяла скомканном горбу

пока сквозь рёбра деревянных шторок  
рентген лучей просвечивал углы  
и штриховал внутри гостиной штольни  
полосками диванные чехлы

ты утекла почти до середины,  
тоскуя на исходе сентября,  
пока в осенний звон не нарядилась  
листвою опалимая заря

пока твои листы прошелестели  
надеждой голубиной за окном...  
и лишь хвостом пернатая неделя  
моих ресниц коснулась, как крылом

Евгений Шкловский

## Место для отца

Когда живой – это одна история. А когда человека уже нет, не спросишь же его – хотя иногда и кажется, что он откуда-то из своего запределья, из царства небытия все-таки пришлет ответ. Это, конечно, фантазия, мистика, но со смертью всегда что-то такое связано.

Виктор (так его все называли, без отчества) сказал, что хочет лежать рядом с отцом, то есть с дедом Илюши. Правда.

Сын Виктора Илюша реально слышал, типа последняя воля. А если рядом с отцом Виктора, то есть с дедом Илюши (запомним имена), места нет – что тогда?

Но главное – почему?

Немного про Виктора.

Ему было всего четыре, когда его собственный отец ушел из семьи, так что он и не помнил его почти; потом, уже взрослым, встречался несколько раз, но отношений всё равно никаких. Тот большим начальником был, директором какого-то завода, поэтому во время войны оставался в Москве, а они с матерью эвакуировались в деревню под Оренбургом; мать учительницей работала, жили в комнатке при школе, еды хватало, родители учеников приносили кое-что, подкармливали – то яйца, то картошку и молоко, деревня все-таки. И потом, мать всегда рядом, до самого ее конца, отца тогда уже в живых не было, давно не было.

Про отца Виктор рассказывал, что тот пил сильно, поэтому, может, не сам ушел, а мать выгнала, сильная, решительная, не желала больше терпеть. У того после новая семья появилась, и тоже сын, вот с ними Виктор никогда не виделся, знал, что существуют, но охоты не было, да и зачем? А мать вообще о них не хотела ничего слышать – не то что обижена была, а просто такая вот принципиальная – отсекала и всё. С концами. Одна его воспитывала; только когда женился, стали жить отдельно, но он часто, чуть ли не через день, к ней приезжал и часто оставался ночевать, а снова вместе жить стали, когда разошелся с женой. Брак был недолгим, хотя жену его мать вроде приняла и даже часто становилась на ее сторону, когда между той и Виктором что-то не ладилось. А вообще на его женщин болезненно реагировала – похоже, ревновала. У нее даже голова начинала трястись, когда на горизонте появлялась какая-то новая пассия, с которой его могло что-



то связывать, за версту чувствовала, даже если он сам еще ни в чем не был уверен.

Да, иногда казалось, что мать, несмотря на их в общем добрые отношения, плохо к нему относится. Возможно, ждала от него чего-то большего: способный, но какой-то несобранный, мятущийся; диссертацию так и не защитил, всё растрачивался на какие-то проекты, из которых потом ничего путного не выходило, а если и выходило, то всё как-то не очень серьезно, хотя откуда ей было знать, если она совсем по другой части, не технической. Уважаемый педагог, общепризнанно хороший, много в него вложила, поэтому сын должен был идти непременно по восходящей. А он постоянно отвлекался на пустяки – то машину покупал развалюху и потом месяцами ремонтировал ее в гараже приятеля, а ездить почти не ездил. Мимолетные романы – с точки зрения матери совсем ни к чему... Даже бизнесом пытался заниматься – землю, когда стало можно, покупал, потом продавал, но всякий раз почему-то себе в убыток, и часто в долгах, которые не всегда вовремя отдавал, так что на этой почве с людьми бывали серьезные конфликты. Мать, конечно, переживала.

Виктора Илюша любил. И внешне именно на него был похож, такой же светловолосый, нос чуть задранный, однако по характеру другой, спокойный – не в отца. Тот нервный, дерганный, но Илюша, даже когда Виктор уже давно расстался с женой, старался отцу помогать, иногда деньгами его ссужал, уже зарабатывая прилично, хотя близки они всё равно не стали. Разговаривать трудно было, тот всё время провоцировал, вызывал на спор, поддразнивал. А если за политику заходило, то тут лучше было вообще не связываться. Отец с пол-оборота заводился, слюной брызгал, гримасничал и ничего не хотел слушать. Илюша промолчит, но отец сам за него скажет, приписав потом Илюше, что это его слова, и себе же отвечал, демонически хохоча якобы над наивностью сына. Если же тому не удавалось себя сдержать и он пытался что-нибудь возразить, то еще хуже, тут Виктор по-настоящему яриться начинал, тыкал пальцами то в Илюшу, то в телевизор, а главное, совсем уже ничего непонятно было, что к чему, – всё сплеталось в какой-то лохматый ком, который нарастал, как снежная лавина; он начинал фразу, бросал, не закончив, начинал другую, глотал от возбуждения слова, размахивал руками, багровел лицом и немного напомунал тронутого. Ему во что бы то ни стало надо было чувствовать себя правым, и он любыми способами пытался убедить собеседника в своей правоте. А может, себя самого?

Что делать, такой темперамент. Илюша это понимал и старался безропотно слушать, изображая на лице внимание.

– Нет, погоди! Неужели ты думаешь, что они не знают, что делают? Они просто боятся коммунистов... Нет, ты дослушай! – кричал отец, хотя Илюша ничего не говорил и даже не улыбался, потому

что ирония и насмешка – это была именно отцовская прерогатива. Тот любил сатирически всё изобразить, сам хохотал над своими гротесками и эскападами, даже юморески пописывал, в газеты посылал и журналы, где однажды его вроде даже напечатали, чем он очень гордился. Этого достаточно было, чтобы отец стал втайне считать себя непризнанным сатириком уровня Задорнова и Жванецкого. И считал, что отвергают потому, что слишком остро пишет.

Дедом Илюша не особенно интересовался, верней, совсем почти не интересовался, достаточно было и того, что рассказывал отец. Когда человека, пусть и родного, ни разу не видал, а от отца и бабушки мало что про него доходило, то и зачем? В жизни и так всего достаточно, на что времени не хватает. За дедом и другие предки маячили – интеллигенты, мещане, крестьяне... И что? Человеческий род велик и необъемлем. Можно рисовать генеалогические схемы, определять родственные связи, кто с кем и кто от кого, ну а дальше? Ничего к твоей личной жизни особенно не прибавляет.

Если ребенком посидеть у деда на коленях или сходить вместе на рыбалку, послушать сказку или какую-нибудь историю из жизни, тогда другое дело. Тогда дед – это уже звено, авторитет, сухая крепкая рука и умиленный взгляд, тогда это тыл, круговая оборона, благодарность и пожелание долгих лет жизни. Присутствие в твоей жизни – это мать, отец, бабушка, ты их знаешь, встречаешься, пирожки, байки, то-сё, думаешь о них, томогаешь по мере сил и возможностей, и они тебе помогают – даже просто своим присутствием, что по-настоящему начинаешь ценить, когда их уже нет. А они уходят – раньше или позже, таков удел человеческий.

Вот и Виктор ушел, заболел этим мерзким ковидом и в три дня не стало – удар для всех. Крепкий ведь был. Моложавый.

Успел, однако, сказать, чтобы похоронили на Троекуровском, рядом с отцом, а не с матерью на Хованском. И теперь ломай голову, как это сделать, если там нельзя. Нет места для гроба.

Илюша бродит по Троекуровскому, взгляд невольно останавливается на фамилиях... ага, кажется, это известный артист, земля еще свежая, букеты не совсем завяли. И вот эта фамилия тоже знакомая, но не артист, а, кажется, музыкант, тоже на слуху... Известные уходят, все уходят, даже самые-самые. Закон жизни, закон смерти.

Вот только когда ему привелось посетить могилу деда, раньше как-то даже и в мыслях не было. Да и некогда. Суета – работа, дети... не до того. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов... И отец, кажется, ни разу не был здесь, или, может, Илюше просто неизвестно, хотя к своей матери, то бишь к его бабушке, на Хованское отец не раз навещался, цветочки приносил или сажал – проведывал, короче. Разве это не говорило о его предпочтении?

Илюша сопровождал его несколько раз, знал, где могила бабушки, мог и сам найти, если нужно. Хотя отец говорил, что посещение кладбища – это, в общем, не обязательно, главное помнить, главное, чтобы в сердце. Илюша с этим согласен. И то, что это отец говорил, который сам не часто, но все-таки бывал, только укрепляло в этом убеждении. Да и вообще – что толку думать о смерти, когда и о жизни-то не успеваешь. То одно, то другое. Когда у тебя двое детей, с работой всё непросто, надо крутиться, тогда ни о чем больше не думаешь, кроме как заработать.

Однако совсем избавиться от мыслей о смерти не получается. О своей – да, не думаешь, а когда близкие уходят, тут уж поневоле. Но всё равно – это другая смерть, не твоя, неслучайно говорят, что смерть – всегда смерть других. Так и есть, потому что если твоя, то тебя уже нет. А пока ты есть, то и смерти нет. Мудрость. Как и то, что на всё воля Господня. Тетка жены, чуть что, сразу в церковь бежала, свечки ставила, записки молитвенные оставляла за упокой или за здравие... Можно, конечно, если твоей душе так легче и спокойней. У каждого свои средства для примирения с неизбежностью. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже, а у кого и вовсе никак. Ну и ладно.

А вот все-таки как быть с местом для отца?

Неисповедимо сводит людей жизнь. Если бы не воля отца, Илюша бы, наверно, и не познакомился никогда с родственником. И не просто родственник, а вроде как брат отца, пусть и сводный, то есть типа двоюродный или троюродный дядя Илюши. Седьмая вода на киселе.

Тоже загадка: и почему родственник? Если дед завел новую семью и родил там тоже сына, с которым ты ни разу не виделся, как бы не знал вовсе, вроде того и нет. А человек между тем существует и, как и отец, в преклонном возрасте. Однако пришлось-таки встретиться – поехал к нему в Люблино, чтобы поговорить о могиле, по телефону как-то неловко на такие темы.

В тесной квартирке, заставленной всякой ерундой, книгами, статуэтками (никак не мог вспомнить, кем же был этот человек), его встретил высокий худой старик, хотя был младше отца лет на пять-шесть. Да и похожи мало – лысый череп (у отца седая, хотя и сильно поредевшая шевелюра), тихий сильный голос. «Егор, – представился человек, слабо пожимая руку Илюше, – чаю?»

На такой же невнятной, как и комната, кухне с грудой немойтой посуды и полной окурков пепельницей сели пить чай. Егор внимательно выслушал Илюшу, покачал головой и сказал, что рад бы помочь, только вот всё это как-то не вовремя (а когда – вовремя?). И пояснил спокойно, закуривая новую сигарету: там только для него самого место, и это уже скоро, потому что он болен, совсем немного

осталось, прогноз, увы, неутешительный. Так что докуриваю последний табачок, указал жестом на пепельницу. Не обижайся, сказал, так уж выходит. Если бы твоего отца кремировали, тогда бы без проблем, но ведь он гроб предпочел. Урну бы прикопать можно где-нибудь сбоку. А так – извини!

Странный получился разговор, какой-то уж очень бытовой, приземленный, словно не о смерти и не о кладбище шла речь. И никаких воспоминаний. Никаких эмоций.

Отец действительно говорил, что не хочет кремации. Почему-то его это не устраивало.

Новая головоломка для Илюши: либо кремировать и тогда на Троекуровском, либо в гробу, но на Хованском.

Если честно, то Илюша предпочел бы Троекуровское. Не такое гигантское, как Хованское, с деревьями, более уютное, хотя о каком уюте речь? И тем не менее всё равно просилось именно это слово. А Хованское огромное, пустынное, сплошь надгробия и могильные плиты, растительности мало, можно идти, идти, идти... Царство мертвых. Туда и поехать лишний раз не захочется, и даже не лишний раз, а вообще. Но выбора теперь вроде как и не было, только Хованское, рядом с матерью отца, его, Илюши, бабушкой. В конце концов, отец не должен бы возражать: к матери – так к матери. Родная же кровь.

Можно сказать, в этом даже была некая высшая справедливость: именно мать для Виктора была главным человеком, а его желание лечь рядом с отцом на Троекуровском – странный каприз, может, уже из-за болезни, может, просто возрастное, что тоже своего рода болезнь, хотя стариком тот точно не был.

И все-таки почему? Не выходил этот вопрос у него из головы. То же касалось и отношения к отцу и к матери. Значит, отец все-таки важнее, если видеть в таком выборе нечто действительно сущностное.

Знал бы отец, что сейчас приходит Илюше в голову, вот уж повеселился бы. Говорил же, что к жизни надо проще относиться. А если, шутил, не можешь сказать что-то поистине существенное и по делу, маскируйся непонятными словами. Лицо отца всплыло перед глазами – насмешливая ухмылка, вздергивающая край губ в левую сторону, а он еще и шурился при этом, так что всё было легко прочесть. Илюшу это всегда страшно злило. При чем здесь слова?

Что отец умел, так это вывести из себя. Кого угодно. Может, потому и не защитил в свое время диссертации, что постоянно троллил всех своими выходками и полным неприятием чужого мнения, даже и собственного научного руководителя. Непонятно, как тот вообще мог согласиться на такое испытание.

Еще Илюша задавался странным запоздалым вопросом, боялся

ли отец жизни. Странным, потому что такой насмешник и, если честно, неудачник, не должен был ничего бояться. Ни жизни, ни смерти. Всё проиграно с самого начала, может, даже до так и незащищенной диссертации. Когда человеку нечего терять, ему и бояться, по сути, нечего. И тем не менее Илюше почему-то казалось, что это не совсем так. Когда началась эта катавасия с пандемией, отец сразу же самоизолировался в своей квартирке и вообще не выходил, заказывая продукты на дом. И говорил он только об этом треклятом вирусе, который, по его словам, только лишний раз доказал, что наука и медицина ничего не стоят. Только деньги качают, а в критической ситуации от них пользы – ноль. И вообще, они все оказались не готовы к такому развороту событий. Хорошо, мать, это он про бабушку, не дожидая: она свято верила в силу медицины.

Это было как отголосок давних споров, про которые Илюша знал и даже при некоторых присутствовал; они бывали яростными, и после них отец и бабушка подолгу не разговаривали и сторонились друг друга. Илюша только удивлялся, как они уживались вместе. Ну а куда отцу было податься? Денег на пусть маленькую, но отдельную квартиру у него всё равно не было, да и бабушка уже была в таком возрасте, когда лучше не оставлять одну. Как бы ни было, отец был неплохим сыном и, в общем-то, незлым человеком, несмотря на все их жесткие стычки.

Иногда, конечно, отец, раззадорившись, переходил грань, но и его можно понять: бабушка – кремь, умела наглядно продемонстрировать свое отношение к отцовским доводам – презрительно отворачивалась или просто делала вид, что отца не замечает, в то время как тот, весь красный от возбуждения, фыркал и кипятился.

Схватки, конечно, были те еще, потому что и бабушка могла высказаться так, что постороннему человеку стало бы не по себе от эдаких инвектив. Отца это еще больше бесило, потому что, с его точки зрения, это был уход от проблемы и неуважение к нему лично. То есть умаление его личности. То есть тоталитарный метод, как он выражался. Бабушку слово «тоталитарный» коробило, хотя бог его знает, как она его и сам отец понимали. Так или иначе, но раздрызг бывал мучительный.

Правда, и в этом у Илюши не было полной уверенности: не исключено, что отец и бабушка получали от этих разборок некое тайное удовольствие, сродни садо-мазохистскому, потому что схватки продолжались почти до самой кончины бабушки.

Однако смерть ее отец переживал очень тяжело, долго ходил потерянным, каким-то непривычно тихим, и даже в разговорах с Илюшей заводился гораздо реже.

Сколько бы Илюша ни взвешивал, сколько ни рассуждал, отчего

и почему, он всё равно оказывался в тупике. Когда он был совсем ребенком, его не раз спрашивали, кого он больше любит – папу или маму. И он либо не отвечал, глядя куда-то поверх плеча присевшего перед ним человека, либо говорил твердо и непреклонно: обоих.

Так и было: любил их обоих, отца и мать, но любил по-разному. Как по-разному, он тогда бы точно не ответил, просто так чувствовал. И если бы отдал кому-то предпочтение, то это было бы предательством с его стороны.

Разумеется, тогда он не знал этого угрюмого слова – предательство, просто почему-то становилось жалко папу-маму или маму-папу (некто единосушное, словно это был и вправду один человек), которых ему предлагалось разъединить и какую-то часть лишить своей любви, пусть и не совсем. А вот тот, кто задавал ему такой провокационный (тоже позднее возникшее слово) вопрос, тут же лишался его расположения и доверия, причем Илюша этого даже не скрывал. Лицо его дергалось, словно он собирался заплакать (возможно, так и было), в носу щекотало, губы кривились... Кого-то это, может, и забавляло, но сам он воспринимал всё очень драматично. Странно, что не все понимали.

Впрочем, этот вопрос мог наивно задать и ребенок, только с инверсией: папа, а ты кого больше любишь: меня или, скажем, Вову, ведь и его самого собственные дети так спрашивали, и у него с лицом снова что-то происходило, он наклонялся или присаживался на корточки, приобнимал нежно и говорил: а я вас всех одинаково сильно люблю, правда... Немного театрально, но что уж тут. Не надо таких вопросов. Потому что ведь невольно – думая, как ответить, – и себе задаешь. Ни к чему.

Куда-то Илюшу совсем не туда сносило. И вряд ли к отцу это имело какое-то отношение: любишь не любишь, кого больше, кого меньше... Зачем в это вникать? Мало ли что в последние дни жизни отцу померещилось. Может, ему Хованское, как и Илюше, не нравилось своей огромностью и пустынностью, так что даже близость к материнскому праху не искупала. Хотя неужто и об этом человек может думать: где ему лучше покоиться, выбирая, как отель в турпоездке? Тут ведь пойди пойми, что человеку не так, что ему мстится у самого – или пусть даже не у самого – предела.

Честно говоря, устал он от этих раздумий и сомнений. Но ведь всё равно ничего не мог сделать, да и времени на это не осталось. Уже завтра должно было состояться прощание. А он всё еще задавался, можно сказать, праздными вопросами. Ладно, ничего, простит отец. Илюша предпринял всё (или не всё?) возможное. Да, надо было успокоиться, вот и жена ему говорила: будешь слишком зацикливаться, ничего путного не выйдет. В конце концов, не где-нибудь за тридевять земель похоронят. В знакомом месте. В родственной могиле.

Илюша неожиданно вспомнил, что отец рассказывал про последний день бабушки. Она умерла, когда тот ненадолго вышел из квартиры в магазин и заодно прогуляться. Целую неделю почти безвылазно сидел дома, дежуря возле постели матери и даже ночуя в ее комнате, чтобы при необходимости помочь ей подняться или что-то подать. Воздух в комнате пропах лекарствами до тошноты. А в тот день ей как бы даже полегчало. Она вроде спала, и он решил выйти. И ходил ну час-полтора, не больше. А когда вернулся, она уже не дышала.

Отца это сильно зацепило, он всё спрашивал себя, случайно ли произошло именно во время его отсутствия. То ли она, щадя его, не хотела, чтобы видел ее последние минуты, – то ли таким образом наказала за отсутствие, за его слабость, а может, ответила на его задаваемый самому себе тайный вопрос: а надо ли человеку вот так мучиться и цепляться за жизнь? У одного знакомого в аналогичной ситуации мать просто повернулась к стенке и полностью отказалась от еды. Гуманно по отношению к близким. Или, наоборот, не гуманно – лишить родных возможности полностью выполнить свой долг милосердия?

Так Илюша и не узнал, решил ли отец для себя этот вопрос. Да и есть ли вообще ответ на него? Человек просто ушел, а оставшиеся всё продолжают выяснять.

Вот и свершилось...

Виктор похоронен рядом с его собственной матерью. Памятник с надписью снят и отодвинут в сторону, черная свежая земля небольшой горкой высилась над могилой, поверх живые цветы и венок с лентой. Еще Илюша думал поставить хотя бы временно деревянный крест, но потом отложил на будущее, когда окончательно решит, делать это или нет: все-таки отец не был верующим в полном смысле, во всяком случае, такой уверенности у Илюши не было. Может, того же надгробия с именем рядом с именем бабушки, то есть его матери, будет достаточно.

Он уже измучился вопросами и сомнениями, разрешить которые без подсказки с чьей-либо стороны или без чего-то высшего, что даже и подсказкой нельзя назвать, а скорей, указанием, перстом, провидением, волей Господней – короче, неким наитием, которое возжигается в тебе ярким пламенем, в зареве которого всё мгновенно проясняется.

Пламени не было, стояла сырая ветреная осенняя погода, совсем немного пришедших проводить покойного, что лишний раз подтвердило: отец был довольно одинок и близких друзей у него почти не осталось, кроме одного, который так и не смог прийти из-за самочувствия.

Когда Илюша позвонил ему и сообщил печальную новость, тот

долго не отвечал, а потом что-то такое промывчал – не разобрать. Но затем уже более внятно сказал, что из дома не выходит. На вопрос, не в курсе ли тот про волю отца похоронить его на Троекуровском, он опять долго молчал, как бы пытаясь припомнить, но так ничего и не ответил. А в конце неожиданно добавил, что отец все-таки был странным человеком. Услышать это было не особенно удивительно, так как и отец тоже считал приятеля странным, и сам Илюша считал их обоих таковыми, а впрочем, не странен кто ж?

Казалось бы, можно на этом завершить историю, оставив героя без ответа, – да и не сказать чтобы тот особенно по этому поводу сокрушался (других забот хватало). Всё кончается когда-то – и жизнь, увы, тоже. Но Илюша, надо отдать ему должное, хотел всё сделать хорошо, правильно, чтобы потом не испытывать угрызений совести. Он и сделал, а осадок всё равно оставался.

С этим осадком он и поехал спустя ровно год на Хованское – постоять возле могилы, вспомнить какие-то эпизоды из жизни, связанные с отцом, те же ожесточенные споры, которые отец вел с ним и с другими, его иронию и язвительные насмешки, его внезапную доброту, когда тот вдруг становился чуть ли не кротким и сочувствующим, когда увлеченно говорил о футболе или своих рационализаторских проектах, в которых разбирался только он, а Илюша – ну совершенно ничего не понимал и, если честно, совсем ему неинтересно было. К этому дню должны были поставить и надгробие с добавленным отцовским именем с датами рождения и смерти.

По Хованскому носился угрюмый ледяной ветер, крутивший в воздухе последние сухие осенние листья, памятник был на месте, имя отца тоже. Илюша сгреб в пластиковый мешок превратившиеся со дня похорон в тлен цветы, поставил в обрезанной пластиковой бутылке воду и туда – свежие гвоздики. Ну вот, подумалось, жизнь расставила всё по своим местам, всё распределила, невзирая на чьи-то желания и стремления. Они всё расставляют по своим местам – жизнь и смерть, жизнь-смерть, – а им дано делать только то, что они могут, не более того. И хорошо еще, если что-то удается.

Скучный и вполне предсказуемый финал.

*Москва*



Николай Тюрин

## Истории села Каравайно

### БОТИНКИ

Жили-были в одном тамбовском селе старик со старухой. Бедно жили. Старик хоть и работающий был в молодости, но всё его какие-то неудачи преследовали. То градом урожай в поле поубьет, то зимой пожар случится и вся скотина в огне погибнет, а то на самого болезнь навалится в самый разгар сезонных работ. А теперь, в старости, и силёнка уже не та. Домик маленький у стариков, низенький, в три оконца с ситцевыми занавесочками. В доме стол, лавки да сундук с нехитрыми пожитками. Печь русская посреди избы с полатями. Там на овчинах старики и коротали ночи. За печкой кровать деревянная, еще от родителей старика осталась. На ней молодые грелись: сын единственный со снохой. Сноха тоже не из богатых будет, поэтому напасти безропотно сносила. По привычке, что ли.

С одежкой и обувкой, конечно, большой вопрос был. Сыну получше, а сами как-нибудь. Дед зимой в валенках ходил с галошами. Валенки латанные раз сто уже, но как-то еще держались. Нахлопает дед в них по лужам в оттепель, а потом на печку положит сушиться. Так по всему дому такой прелый запах плывет, будто овца какая сдохла. Ничего, главное, что утром сухие будут. На печи-то долго не просидишь, надо еду да тепло добывать.

А вот когда снег сходил, совсем худо было. Старые сапоги давно не выручали. Дед в них с Германской войны пришел, и почитай двадцать лет в них оттопал. Сначала форсил, потом так носил, потом донашивал, а теперь от тех сапог одно название осталось. Голенища вроде целы, а обуешься – так пальцы наружу. Дед вновь лапти плести научился и в сухую погоду чинно в них расхаживал по селу, словно древний артефакт. Смеялись односельчане, но дед не обижался.

– Смейтесь-смейтесь. Я, брат, совсем не богат. Умылся росой, но хожу не босой. Лыко деру – на дело беру. Плету с шуткой, а сам с обувкой, – читал он нараспев, шуря добрые глаза с хитринкой.

– Дед, да купи ты себе тапки. Копейку стоят, – укоряли его односельчане.

– Я и так проживу. Чай, недолго осталось, – отвечал старик, нисколько не расстраиваясь печальной мысли.

Однако семью свою он жалел и для них находил средства – разутыми не ходили.

Однажды шел дед пешком из райцентра короткою дорогою. Дело поздней осенью было. Слякотно кругом, грязно. Видит старик, у ручья за переправой девушка сидит на бревне и плачет. Одна ножка у нее в сапожке, а другая – босая, и она ее под себя поджимает и в подол длинной юбки кутает озябшими ручонками.

– У, ты! Сырость развела, аж ручей из берегов вышел. О чем плачешь, дочка? – дед узнал молодницу из соседнего села. – Али обидел тебя кто?

– Нет, дедушка, не обидел, – ответила она дрожащим голоском. – Я через ручей шла и оступилась. А там глубоко. Я ногу выдернула, а сапожок в тине остался. Лазила я, лазила, да только напрасно. Не нашла и замерзла совсем. Как теперь домой идти...

– Экая беда, – махнул рукой старик. – Где, говоришь, потеряла-то?

– Там, – показала рукой девушка.

Попробовал старик нащупать сапожок, но ничего у него не вышло. Глубоко очень, а тины столько, что рука по плечо уходит. Да еще вода ледяная, что старому организму совсем ни к чему. Пошарил старик, да всё без толку.

– Нет, милая, не получится, – смирился старик. – Наверное, водяной утянул.

– Как же мне домой идти, дедушка? – всхлипнула нежданная попутчица.

– Подожди реветь. Замужем нареветься, – велел ей старик и, присев рядом, принялся стаскивать свой правый сапог.

– Ой, не надо, – догадалась девушка о его затее.

– На вот, надевай, – твердо сказал он. – Дойдем потихоньку. Сапог хоть и велик тебе, но лучше, чем босиком.

– А ты-то как, дедушка?

– Ничего. Я привычный. Тут всего версты две осталось. Дойду.

Дед онучею обмотал покрепче ногу, и они тронулись в путь. Скорым шагом, насколько позволял девушке сапог на шесть размеров больше, попутчики направились к селу. Всё бы ничего, но старик наступил на сучок и до крови поранил высунувшийся из онучи палец.

– От, зараза какая! – воскликнул дед, смешно прихрамывая. – Знать, нагрешил я сегодня.

Старик перетянул палец тряпочкой, и они продолжили путь.

– Видал я тебя на ярмарке. Как звать-то тебя, девица? – спросил старик.

– Лизой зовут, дедушка, – ответила она.

– Пойдем, Лиза, скорее, покуда не заболели с тобой, – поторопил ее старик.

В селе он сдал Лизу удивленным родителям, а сам поспешил домой, надев на болящую ногу освободившийся сапог.

Дома бабка заохала, оказывая старику первую помощь. Таз с теплой водой поставила и ловкую повязочку на ранку наложила.

– Не заболеть бы тебе, старый, – причитала она. – Выпей хоть чаю с липовым цветом. Поможет.

– Бог милостив, – старик перекрестился на иконку в переднем углу. – Не даст в обиду.

Рано утром маленькое оконце стариков зазвенело от стука.

– Заходи, – крикнула в открытую дверь хозяйка. На пороге в овчинном тулупчике, подпоясанном красным кушаком, появился отец вчерашней горемыки. Он остался стоять у порога в добротных яловых сапогах.

– Вот, Семен Лукич, пришел отблагодарить тебя, – пробасил мужик. – Ты уж не сердчай, вчера недосуг было.

– Да что ты, Макар, – запротестовал старик. – Помог дочурке твоей – и ладно. Спасибо на добром слове. Обойдусь.

– Нет, Семен Лукич, – настаивал на своем основательный Макар. – Ты дочь мою, можно сказать, спас. Сам рисковал здоровьем. Посему вот тебе моя благодарность.

Мужик вынул из холщовой сумки новые кожаные ботинки и поставил на пол.

– Тебе подойдет, – произнес он. – На продажу шил, а теперь тебе подарю. Носи на здоровье.

Поклонился мужик и вышел из избы, довольный своим поступком. Делать нечего, взял старик в руки ботинки и принялся разглядывать. И больно уж ему те ботиночки приглянулись. Сделаны ловко, добротно, да еще узор по бокам вышит. Померил Семен Лукич ботинки – будто по его ноге колодка сделана. Сели как влитые.

Притопнул старик об пол каблуками перед бабкой и пошутил:

– Замуж второй раз пойдешь?

– Ить, ошалел! – воскликнула бабка, улыбаясь. – Тебе теперь и помоложе кого можно.

Дед снял ботинки и бережно прибрал на полку за занавесочку у белёной печки.

– Эк, повезло мне, старая! – радовался он, сидя за столом и поглядывая на занавеску. – Не ходить, а бегать буду!

Но бегать Семену Лукичу не пришлось. На следующий день у старика поднялась температура, и начался жар. Видно, застудился он, шагая босиком по стылой земле. Час от часу ему становилось только хуже.

– Может, в больницу тебя? – спросила опечаленная жена, пытавшаяся лечить его отваром из гвоздики, василька и ромашки.

– Не надо, душенька. Чую, конец мой пришел. Отжил я свое, – ответил, тяжело и с присвистом дыша, лежащий на сундуке старик.

– Брось, Семен, – утирая слезы платком, запричитала старуха. – На кого ты меня оставишь?

– Подожди, – остановил ее старик, приподняв слабую руку. – Пообещай мне, Анюта, выполнить мою просьбу.

– Какую, Семен?

– Как умру я... Стой, не возражай. Как умру, ты эти ботинки со мной похорони. Может, хоть там похожу в них.

– Как скажешь, Семен Лукич, – ответила уважительно старуха.

Через день старик скончался. Старуха, сын со снохой, да еще человек пять-шесть проводили его маленький гробик на кладбище.

После скромных поминок, когда все разошлись, старуха достала из-за занавески ботинки и протянула сыну:

– На, носи, Ванятка. Отцу они там не понадобятся, а тебе жить надо.

– Как же так, мама? Батя ведь просил... – заморгал Иван, всегда слушавшийся отца.

– Бери. Чего добру пропадать? Хоть ты поносишь.

Взял Иван ботинки у матери, не захотел спорить. Да и ходить в чем-то надо. Не покупать же еще одни.

С этого дня старухе каждую ночь стал сниться муж. Он всё показывал на свои страшно распухшие ступни и просил:

– Ну, что же ты, Анюта, не выполнила обещание? Нехорошо. Принеси мне ботиночки. Холодно мне, Анюта.

Проснется старуха среди ночи и не спит до утра, всё Богу молится и на иконки крестится. А за окошками тени пляшут и чудится ей, что старик там стоит, с ноги на ногу переминается, замерзает.

– Свят, свят, свят, – шепчет старуха, стараясь не разбудить молодых.

И стала Анна день ото дня чахнуть. И есть – не ест, и спать – не спит. А чуть задремлет, сразу старик к ней является.

– Холодно. Неси ботинки.

Не прошло и двух месяцев, как вслед за мужем преставилась Анна Никитична. Вот и вторую домовину сын вытесал, теперь для матери. Сноха гроб красиво убрала. Благо, у старухи смертный узел давно приготовлен был. Ее маленькая пожелтевшая голова величественно возвышалась в гробу, словно окидывала комнату последним взглядом. Ночью, оставшись наедине со свекровью, сноха вдруг занервничала в бледном свете мерцающих свечей, заметалась по дому.

– Спросит, Семен Лукич. Ой, спросит, – приговаривала она. – Нельзя так-то...

Через два дня после похорон решил Ванятка в район пойти по делам хозяйственным. Полез он за занавеску, глядь – а мешка-то с ботинками нет на месте.

– Стеша, где ботинки мои подевала? Все полати обшарил. Нету, – позвал он жену.

Подошла Степанида к мужу, положила ему руки на широкую грудь, заглянула в глаза и произнесла:

– Ты, Ваня, не ругайся только. Мама всё рассказывала, как батя ее с ботинками к себе звал. Ослушалась она его, вот и ушла вослед. И решила я эти ботики ему с ней отправить. Пусть носит Семен Лукич и на нас не обижается.

– Что ж... Может, и права ты, – помедлив, произнес Иван, поглаживая жену по плечам. – Только вот незадача-то...

– Какая, Ваня? – встревожилась Степанида.

– Шнурки я из них вынул и наемдни постирал с мылом. Вон, на веревке в чулане висят.

– Ах ты, мать Божья! – обмерла Степанида, озаренная страшной догадкой.

*23.02.2021, поезд Москва–Мичуринск*

### БАБУШКИНЫ НОСКИ

Это событие произошло в январе тысяча девятьсот восемьдесят первого года. Мне исполнилось семь лет, и на мой день рождения родители впервые решили пригласить всю родню. Я хорошо запомнил те дни потому, что с таким размахом (по нашим скромным меркам) мы праздновали единственный раз. Ни до описываемых событий, ни после в нашей семье больших гуляний не случалось.

Так вот, родня моя по линии мамы вся жила рядом в селе Калугино, поэтому они с подарками явились пешком. Подарки я не помню, но это и не главное. А по линии отца родственники жили в соседнем селе Караваино, что от нашего дома находилось примерно в семи километрах. Зима того года выдалась очень снежная и пушистая. Сугробы у построек лежали такие, что в них мы, детвора, в рост рыли пещеры и целые комнаты для игр. Дороги сильно переметало, и добраться до нас можно было только на тракторе. Мой дядя Сергей работал в ту пору механизатором в Караваинском совхозе. Он зацепил за свой «Беларусь» большие тракторные сани на бревенчатых полозьях, посадил туда всю многочисленную родню, и погожим январским днем к моей бурной радости это великолепное такси с громким рыком подъехало к нашему дому.

– Мама, мама! Гости приехали! – весело закричал я и бросился к двери, на ходу надевая пальтишко.

– Шапку надень, оглашенный, – прикрикнула мать, хлопотавшая с угощениями у голландки, топившейся углем и дровами.

– И я хочу встречать, – пискнула моя младшая сестра Наташа, пытаюсь снять пальто с крючка на стене.

– Иди уж, только вот шарф повяжи, – согласилась мать и помогла ей одеться.

Через несколько секунд мы уже подпрыгивали от нетерпения на улице, дожидаясь гостей. Они с шутками и смехом дружно высыпали из высоких саней, застеленных толстым слоем соломы. Приехали дед мой Петр, бабушка по отцу Александра, дяди и тети со своими семьями. Детей у них было много, и все примерно нашего возраста, поэтому мы сразу бросились играть в снежные пещеры. Ох, и весело же было!

Саму гулянку я почти не помню. Взрослые долго сидели за столами, поднимали многочисленные тосты за мое здоровье, потом задорно отплясывали под гармошку так, что тряслись стены нашего старенького дома. А детвора, наскоро ухватив со стола что-нибудь вкусненькое, убежала на улицу, где мы по очереди катались с горки на санках.

Зимой темнеет рано; гости засобирались домой, что сильно меня огорчило.

В селах все семьи держат скотину, которая, как известно, тоже хочет кушать.

– Пора нам, Витя, – повязывая на голову пуховую шаль, сказала бабушка моему отцу, раскрасневшемуся от выпитого самогона и лихой пляски. – Спасибо за угощение. Поедем, а то там поросята все клетки разнесут.

– Еще побудьте. Успеете, – ненастойчиво предложила мама, которой и самой пора было доить корову, уже призывно мычавшую в сарае.

– Нет, поздно уже. Да и позёмка поднимается. Поедем, – распорядился дед Петр, натягивая на ноги валенки, которые себе и всей семье валял сам. Он и мне в подарок привез такие ловкие (это я помню), что я их тут же натянул к удовольствию деда и не хотел снимать, несмотря на жарко натопленную печь в избе.

Дядя Сережа уже завел трактор и ждал, когда веселый народ погрузится в сани. Отъезжающие долго прощались с хозяевами и приглашали к себе в гости.

– Валя, Витя, приезжайте на Пасху, – звала моих родителей бабушка Александра. – Ребятишек на кладбище сводим. Посидим. Колонька, иди прощаться!

Это она меня позвала, обводя взглядом вокруг себя в поисках внука. Я не отозвался, потому что в это время с двоюродными братьями и сёстрами уже забрался в сани, зарылся в солому и притих.

– Коля, Коля, – громко позвал меня отец. А потом уже нетерпеливо: – Колька! Где ты?

– Да тут он спрятался. С нами уехать хочет, – смеясь, откликнулась с саней тетя Нина.

Я, словно партизан, выбрался из вороха, но с саней не сошел, а вцепился в ограждение и принялся умолять родителей:

– Пустите меня к бабушке. Пожалуйста! В гости хочу.

Подвыпивший отец был не против, но мать стояла на своем:

– Слезай сейчас же! Нельзя тебе ехать.

На глаза мои от расстройтва навернулись слезинки, и я с отчаянием вновь попросил:

– Ну пожалуйста. Я хорошо буду себя вести.

– Пусть на неделю съездит к деду с бабкой. Мы и Сережу к себе возьмем, чтобы ему скучно не было, – пришла мне на помощь бабушка Шура.

– Валя, отпусти ты его, – попросил мою маму калугинский дедушка Василий. – Пусть поглядит на отцову родину.

Нехотя мать поддалась на уговоры.

– Ладно, поезжай. Только слушайся там. А не то больше никуда не отпущу, – строго сказала мать и зашла в дом собрать мне в дорогу узелок.

Через двадцать минут наш веселый поезд с песнями тронулся в путь. В первый раз я уезжал так далеко от дома, поэтому всё для меня было необычно и интересно.

По пути дядя Сережа остановился в Караваино и выгрузил там большую часть родственников. На Павловку, небольшую деревушку за болотистым пойменным леском, поехали только дед Петр, бабушка Шура, я и мой двоюродный брат Сережа, бывший на два года младше меня.

Дом деда в Павловке был деревянный, просторный, выкрашенный снаружи зеленой краской, а внутри его стояла большая русская печь, на которой мы с Сережкой сразу облюбовали место. Там приятно пахло расстеленными овечьими шкурами и теплым кирпичом. На печке вместе с кошкой мы и спали ночами, умаявшись за день от бесконечных мальчишеских затей. Впрочем, дня через два мы переиграли во все известные нам игры и немного заскучали.

Бабушка каждый день вязала носки, стараясь успеть к моему отъезду приготовить подарок, а дед, расположившись на лавочке у печки, валял валенки из шерсти собственных овец. Родни много, так что скучать некогда. У него было много разных деревянных колодок под любую ногу, в которые мы тоже успели поиграть.

– Идите на улицу. Не мешайте тут, – скомандовал нам дед на третий день, когда мы у него украдкой утащили инструмент. – Сегодня погода хорошая. На салазках покатайтесь.

А нас и уговаривать не нужно было. Пальто в охапку, шапки на голову и – вперед!

– Эй, торопыги, варежки возьмите, – вернула нас из сеней бабушка Шура. – Пальцы отморозите.

Погода стояла – что надо! Небольшой морозец легонько пощипывал щеки, ветра почти не было, а холодное зимнее солнышко сказочно серебрило внушительные сугробы снега. Рядом с домом был отличный пологий склон, с которого мы с визгом и криками принялись скатываться на деревянных санках.

Других ребят с нами не было. Да и не знал я здесь никого, чтобы позвать на совместную игру, поэтому где-то через час кататься нам наскучило.

– Пойдем домой на печку? – предложил Сережка, которого я на санках подвез к дому.

– Давай еще погуляем, – не согласился я. – Будем на дом нападать.

– Как это? – заинтересовался брат.

– Сейчас покажу.

Возле дедова жилого дома стоял еще один домик. Был он старый и нежилой, обмазанный глиной и крытый старым листовым железом. В нем дед хранил всякий сельскохозяйственный инвентарь. Подслеповатые окошки этой избенки уныло взирали с бугра на убеленную округу. Я взял у крыльца длинную палку, вторую дал брату и позвал его к домику.

– Там немцы засели, – показал я Сережке на маленькие стеклянные глазки. – Сейчас мы их с тобой будем бить.

Я подошел к окну и с размаха треснул палкой по стеклу. Оно звонко лопнуло и осколками брызнуло на снег, чуть не задев меня. Я весело отпрыгнул и крикнул в окно:

– Попались, гады! Сейчас мы вас! Бей, Сережа!

Сережка в то время старшего брата слушался. Ишь, какую увлекательную игру придумал! Он подбежал к следующему окну, и осколки со звоном посыпались вновь.

– Получайте! – тонким голосом приговаривал Сережа, тыкая по очереди в каждый глазок окна.

В общем, мы довольно быстро управились и с немцами, и с окнами, оставив дом зиять унылыми оконными дырами.

Дед вышел на улицу, когда всё уже было кончено.

– Ах, мать-перемать! – неистово закричал дед, не заботясь о педагогическом воспитании внуков. – Что же вы, паршивцы, натворили?! Я вам сейчас...

Мы не стали дожидаться, что же с нами сделает распалившийся дед, и бросились, напуганные, в дом под защиту бабушки. Дед, прихрамывая, влетел в дом за нами, а мы уже дрожали на печке.

– Что случилось, Петр? – остановила его бабушка, возившаяся с чугунами у печи.

– Давай, мать, ремень, пороть их буду. Все стёкла, стервецы, в старом доме перебили.



– Ох, горе какое! – всплеснула руками баба Шура. – Стекло-то ныне дорогое. Ишь, чего натворили! Ты, дед иди, я сама с ними разберусь.

– Бабушка, мы больше не будем, – пискнул я с печки, осознавая свою ошибку.

– Не будем, – подхватил за мной Сережка.

– А будете еще хулиганить, я вас в темный погреб без света посажу. Пусть вас крысы там покусуют, – пострашал нас дед и ушел на улицу заделывать досками оконные проемы. Конечно, пороть нас он не стал бы, всё же гости мы, но грозный вид его внушал уважение. Бабушка на нас незлобиво, больше для порядка, поругалась и велела впредь без взрослых из дома не выходить.

Меж тем до моего отъезда оставался всего день, а уезжать мне не хотелось. Весело было в гостях, так как из Каравайно каждый день по тропинке приходили родственники, и дом наполнялся шутками и гоном. Тогда бабушка откладывала вязание, доставала колоду карт и взрослые рассаживались кружком для игры в «хвалёного». Иногда бабушка гадала на разные события, если ее кто-то просил. Я, замороженный, верил ее предсказаниям, с большим интересом наблюдая, как она раскладывает очередной пасьянс.

– Завтра за Колей придут. Как раз к отъезду носки ему довяжу. С подарками поедет. То-то ножкам тепло будет, – сказала днем бабушка гостям.

Я рядом играл с котенком клубочком пряжи. В углу в клетке грелся маленький, недавно отелившийся бычок и изредка негромко мычал, прося молоко.

И тут меня озарила гениальная мысль:

– Если завтра бабушка не довяжет носки, то мой отъезд на какое-то время отложится, а мы с Серегой здесь еще поиграем.

Вечером, приказав нам не безобразничать, бабушка и дед вышли во двор убирать и кормить скотину. Этого-то мне и нужно было! Я схватил большие ножницы и от недовязанного носка отстриг половину. Потом я откромсал кусок и от второго носка, а огрызки бросил в печку. Шерсть весело вспыхнула и сразу сгорела.

– Заругают тебя, Колька, – предостерег меня брат, боясь наказания.

– Ничего. Ты молчи. Зато еще поиграем с тобой, – я положил ножницы на место, и мы забралась на палаты и спрятались там за занавеской.

Управившись с делами на улице, бабушка и дед вошли в избу, принеся с собой свежий морозный воздух.

– Что-то палёным у нас пахнет, – принялся дед, снимая тяжелый овчинный тулуп. – Опять чего-то натворили.

– Что притихли? – заподозрила неладное бабушка.

– Мы ничего. Играем, – ответили мы, но с полатей не слезли.

– Слезайте, есть будем, – позвал дед, помыв руки в рукомойнике, стоявшем за печкой в углу.

Бабушка покормила нас на ужин вкусной вареной картошкой с бараниной, а потом угостила тыквой, запеченной в русской печи. Такого особенного вкуса нет ни у одного блюда в мире! Пальчики оближешь!

– Ну, пойду Колюньке носок довяжу, – убрав со стола, сказала бабушка деду, курившему у печки самокрутку с ядрёным самосадом.

Мы вновь ловко забрались на печь и ждали развязки моей проделки.

– Ой! Дед, смотри, что эти окаянные натворили! Носки порезали, паразиты. Подарок мой испортили, – запрчитала бабушка Шура, вертя в руках обрубки носков.

– Колька, опять ты набедокурил? – ругнулся дед. – Нет, надо было тебя в погреб посадить. Зачем носки порезал?

– Он уезжать не хочет, – первым отозвался Сережка.

– Я думал, что бабушка довязать не успеет, и тогда я у вас еще поживу, – дрожащим голосом произнес я из своего убежища.

– Думал он, луковая голова, – строго произнес дед, пряча в густой бороде улыбку.

– Ах ты, бедокур маленький, – вздохнула бабушка. – Теперь всю ночь вязать придется. Пospеть бы.

Я помню, как, уже засыпая, с печки видел бабушку, которая, изредка чему-то улыбаясь, ловко орудовала спицами. Назавтра за мной на тракторе приехал отец, а бабушка, щуря уставшие глаза, вручила мне новенькие носки из овечьей шерсти.

*Нью-Йорк*

## Зоя Ященко

\* \* \*

Песен не слышно больше,  
Сломаны патефоны,  
Топчутся в танце пары  
Молча на чердаках,  
Осень сочится в щели,  
Как им обнять, безруким?  
Как им, теперь безногим,  
В туфлях на каблуках?

Шаркают молча пары  
На чердаках шербатых,  
Жарко горят болота,  
Кисло бубнят попы,  
Песен не слышно больше,  
Все города оглохли,  
Рты залепили глиной,  
Прячут во рту гробы.

Песен не слышно больше,  
Кроме одной полночной,  
Той, что у пьяной бабы  
В горло шипом вросла.  
Только ни спеть, ни сплунуть,  
Губ не разнять из глины,  
С гробом в немой утробе,  
Выла б, когда б могла.

*05.09.2022*

\* \* \*

О, как бы мы рады проснуться, очнуться,  
Стоять на январском гудящем вокзале  
С гитарами в старых чехлах – на платформе  
У поезда с быстрым названием «стрела»,  
Но красные стрелы запачканы кровью,  
И воздух пропитан удушливой серой,  
И липкое что-то нависло над нами,  
И вяжет язык, как густая смола,

И паром змеиным окутаны трубы,  
И окна задраены наглухо страхом,

И люди, бегущие утром морозным,  
Отводят по-рыбьи пустые глаза  
От будущих вёсен,  
От траурных маршей,  
От топота грязных сапог по проспектам,  
От синих и желтых цветов на бульварах,  
От ядерных стрелок на спасских часах.

А в наших карманах звонят телефоны,  
Их в каждом кармане – по сотне и больше,  
Уснувшие в марте, в апреле, в июле  
Звонят и пытаются что-то сказать  
О пытках в подвалах, о детских объятьях,  
О небе над морем, о муках предсмертных,  
О том, что гитара «Червону калину»  
Играла, играет и будет играть!

*20.01.2023*

\* \* \*

Летит кибитка удалая,  
на облучке ямщик лихой,  
одной – пасхальный храм взрывает,  
другую крестится рукой.

Идет направо – выжжен город,  
налево – сказку говорит,  
умылся кровью – снова молод,  
и полон рот святых молитв.

А вдоль дороги прихожане:  
венки, повестки, кумачи,  
а по обочинам – диваны:  
иваны, марья, куличи.

И всё у них в одной корзине,  
иконы, яйца, порох, прах,  
желают смерти Украине  
и бьют поклоны в алтарях.

Спешат к заутрене, к обедне,  
накупят праздничных свечей,  
и шлют ракеты на соседей,  
припавши к благодати мощей.

Платочки белые надели,  
и с ружьями наперевес,  
поцеловались, разговелись,  
на днях у них Христос воскрес.

Кибитка резвая несется,  
копытом мерин бьет в узде,  
и всем по вере воздается,  
и свечи плачут в темноте.

*09.04.2023*

\* \* \*

Далекий мир, где уснул медвежонок мой,  
забытый на детском стуле под теплым пледом,  
хлебнувший моря, покрашенный наспех хной,  
накормленный кашей гречневой и омлетом.

Дорожный зеленый плащ и раскрытый зонт,  
стекает в ладошку дождь по погнутой спице,  
двойная радуга – мостиком – в горизонт,  
идешь по ней и идешь, не боясь разбиться.

Троллейбус, сдув с одуванчиков белый пух,  
взлетает выше, дома́ за окном качая,  
и этой ночью мы будем бродить до двух,  
и вырастет куст жасмина в стакане чая.

Забытый мир, где не страшно от новостей,  
в отсчет обратный еще не пустилось время,  
и люди еще не стали стрелять в людей,  
и можно еще про всё говорить со всеми,

И можно поехать поездом – той весной,  
сойдя с подножки, зашмыгав носом, обняться...  
Мой город, подъезд, этаж, медвежонок мой...  
И как мне туда из этой весны добраться?

*26.04.2023*

\* \* \*

Никогда ни слова – внукам о той войне,  
на которой Берлин был нами героически взят,  
День Победы он переживал в тишине,  
ни гвоздики мой дед не любил, ни парад.

Год за годом маршировала его страна,  
танки ехали по ликующим городам,  
гимнастерка его – вся в медалях и орденах –  
в шкаф вросла, как от взглядов спрятанная беда.

Эти танки он видел раньше совсем не так,  
а горящими черным – вспышками по степям.  
На рассвете он поднимался на свой чердак  
и рассказывал сны разбуженным голубям.

И когда обступала снова его война,  
он как будто прислушивался к голосам,  
и, бывало, выкрикивал имена  
тех, кому он своей рукою закрыл глаза.

Тех, с которыми по теплушкам его трясло,  
с кем лежал на снегу, оставляя разбитый дзот,  
никому из этих парней не повезло,  
а ему повезло, он-то выжил... и вот живет.

Среди песен о доблести тех побед,  
память, стертую напрочь кем-то, зажав в кулак,  
вон он, на голубятне, мой немногословный дед,  
и на уголь денег ему не собрать никак,

И на трех девчонок – пара одна сапог,  
так живут победители сверхдержав,  
а однажды под утро он вышел во двор и сжег  
фронтовые письма и тот злополучный шкаф.

Слышно было, как петли в костре трещат,  
гул расстрелов и тюрем эхом звенел в ушах,  
мимо двигались танки на свой парад –  
хладнокровно каждую жизнь круша.

08.05.2023

\* \* \*

Вышла из́ дому принцесса,  
А принцессе года три,  
А вокруг цветет Одесса –  
Море, звезды, фонари.

Вот и солнце встанет скоро –  
Ей сегодня не уснуть,  
Вдоль горящего Собора  
Пролегал принцессин путь.

Шла по вздыбленной брусчатке,  
странностью поражена,  
Вдруг над детской площадкой –  
Дождь сгоревшего зерна.

Мимо Дома шла Ученых –  
У ученых дома нет,  
Выпал в улицах зеленых  
Град из утренних ракет.

В кронах вороны галдели,  
Воздух красен и землист,  
А на том крыльце сидели  
Граф Толстой и Ференц Лист.

– Вот такое нынче лето, –  
Им принцесса говорит. –  
С моря движутся мопеды,  
Море синее горит!

Небо мир закрыть не хочет,  
Тут – у мира не болит,  
Он делами занят очень,  
Всё вздыхает да сопит.

На прощанье улыбулась  
Белой розою в венце:  
– Я сегодня не проснулась,  
Не сидите на крыльце!

28.07.2023

\* \* \*

Заплывала в рукав мой Ворскла,  
Из кувшинок венки сплетала,  
Над плечом с голубой бретелькой  
Стрекозой золотой летала.

Укрывала туманом белым,  
Угощала душистой снытью,  
В камышах схоронила лодку,  
На которой уже не плыть мне.

Говорила со мной так долго,  
Провожала лесом гремучим,  
Подарила на память бусы  
Из молитвенных слов беззвучных.

А у слов вырастают клювы,  
Собираются птицы в стаи  
И кружат над тревожной Ворсклой,  
Рванный купол над ней латая.

И звенят на ключицах бусы,  
На куски разрывает тело,  
Скоро-скоро мы все вернемся,  
Видишь, пёрышко прилетело.

24.08.2023

\* \* \*

Стоять за тем хребтом,  
Средь золотого сада,  
И запрокинув голову,  
Смотреть на спящий дом,  
Где смех дразнил листву,  
И клей стекал вишневым,  
Где синий ветер пел,  
Где жили мы вдвоем.

Где пахла пыль дождем,  
С перил сходила кожа,  
Шероховатость каждую  
Могла узнать рука.  
Ступеньки старой скрип,  
Бездонный гул колодца,  
Встречали нас тогда,  
Узнав издалека.



Прозрачной кисеёй  
Во двор вливалось утро,  
Раскинула сосна  
Объятья хвойных лап,  
Ни рваных дыр земли,  
Ни вспаханных погостов,  
Лишь бархат синева  
И трав осенних драп.

Хочу проснуться там,  
В ладье его ладоней,  
Среди цветов озимых,  
Ватных одеял,  
И ничего не знать,  
Как в дни, когда рождался,  
И плакал оттого,  
Что ничего не знал.

Так холодно и зло  
Трещат вокруг закаты,  
К чему не прикоснись,  
Всё вдребезги! В куски!  
И чтоб увидеть нас  
За снежным перевалом,  
Ослепнув от зарниц,  
Смотрю из-под руки.

Мы там, в пустом дому,  
И здесь, в пыли дороги,  
Раздвоены войной,  
Раздеты донага,  
Меж нами темный Стикс,  
Кропя сухой водою,  
С пути сметает мост  
И точит берега.

*15.09.2023*

## Виталий Амурский

### ПЕРЕД СУРИКОВСКИМ ХОЛСТОМ

Не терзаюсь, как прежде, вопросами:  
Та ль Московия еще – не та ли?..  
Будто шрам, след саней Морозовой  
Разделил нас по диагонали.

Всё смешалось там, как на ярмарочной,  
От страстей охмелевшей, площади.  
(Это надо же – меж явью той  
С явью нынешней столько общего!)

Но в толпе растворясь, по ту сторону,  
Где продрог на снегу юродивый,  
Оглушен я чуть слышным стоном  
Расчлененной надвое родины.

\* \* \*

Во времена, где всё наоборот –  
Где черному пристало белым зваться,  
Когда в стране твоей пирует сброд,  
Бессмысленны слова «земляк» и «братство».

А осознав, что ты не нужен ей,  
Из криминальной, в сущности, общаги  
Податься прочь – чем дальше, тем верней  
Любых, как лотерея, обещаний.

\* \* \*

*Алику Хананье*

На портрете в издании Имки  
Из-под плотно зачесанных локонов –  
Нос Ахматовой с той же горбинкой,  
Что у Данте на полке около.

Мандельштам и Пушкин соседи им,  
Как в вагоне или на станции, –  
Уходящей России наследие,  
Что при варварах с ними станется?

\* \* \*

*Александрю Лунину*

Из той страны, что нет в помине,  
Вернее, стала наваждением,  
Мы декабристы – вы фамилией,  
Я – днем рождения.

Прапамять – штука непонятная,  
Так тихим светом целит в сердце мне  
Не Южный Крест – звезда Полярная,  
Как и при них, и как при Герцене.

Бывают в неких знаках плюсы,  
Однако всё-таки нечасто.  
А чашки или блюдца бьются  
Не обязательно на счастье.

\* \* \*

Смысл теряют недавние истины,  
Не успев еще обветшать,  
Но смотрю я как будто издали  
На всё то, до чего был шаг.

Или два, даже три – не более,  
И уже – никаких обид:  
Вместо мест покинутых с болью –  
Пустота... Пустота не болит.

Да, закончилось наше времечко –  
Будто кто-то свечу потушил,  
Лишь слышна электричка, где Венечка  
Ехал, помнится, в Петушки.

*Париж*

Эмиль Дрейцер

## Свист абрикосовой косточки\*

1

Сорок лет – возраст опасный. В этом возрасте кто не пил – начинает пить, кто женат – думает о разводе, кто никогда не покидал страны – эмигрирует. Так случилось и с Семеном. Он был художником. Серьезно работать начал поздно, хотя примеривался к тому давно, с ранней юности...

Был конец необычно жаркого мая. Было душно, парко. Стоило пройти по улице грузовику, как в раскрытые настежь окна вплескивался приторный запах ссыпавшихся до времени желто-белых цветов акации вперемешку с нежным духом перезревшего жасмина, высаженного под окнами старинного, грязно-серого с осыпающейся штукатуркой, не отремонтированного с довоенных времен школьного здания. Неловко, бочком, подложив под себя ногу, в сосредоточении то и дело перекатывая во рту кончиком языка комочек промокашки, девятилетний Семен срисовывал кувшин, поставленный учителем на край стола.

Сам же Герасим Петрович, пожилой человек лет сорока, в роговых очках, заложив руки за спину, шумно дыша в усы, как всегда в минуты раздумья, ходил по проходу между партами. У него была рассечена верхняя губа, отчего при редкой улыбке его лицо приобретало несвойственное ему хитрое, заячье выражение. Учитель между тем был человеком простым и прямодушным. Шрам на губе был результатом ночной схватки, о которой ходила в коридорах школы горячая мальчишечья молва. Однажды в окоп, на дне которого, подложив локоть под голову, спал учитель, ввалился немецкий разведчик и ударом приклада попытался оглушить его, утащить в качестве «языка». Превозмогая боль, Герасим Петрович выхватил из-за голенища финский нож и заколол фашиста.

Ничем иным, как бесконечным уважением учеников, не объяснялось то необыкновенное усердие, под знаком которого проходили уроки рисования.

Крышки парт были иссечены вдоль и поперек перочинными ножами еще до войны и теперь наскоро перекрашены смоляной крас-

---

\* Лауреат Премии имени Марка Алданова. 2023.

кой. Она отдавала скипидаром и оставляла на быстро потеющих мальчишечьих ладонях темные, трудно смываемые пятна. Учитель заглядывал поверх коротко остриженных, с чубчиками, голов, торчащих на тонких шеях из воротников серых, недавно введенных, школьных форм, и говорил:

– Старайтесь, старайтесь, мальки.

С этими словами он клал огромную свою ладонь на голову ученика. От этой неуклюжей ласки у того пробежали по спине мурашки, он зажмурился. Мальчики вдыхали несравненный запах махорки – настоящего мужского курева, которым были пропитаны пальцы учителя. По фронтовой привычке он курил «козьи ножки». Аккуратно оторвав прямоугольный лоскуток газеты, прогибал его желобком между указательным и большим пальцем и насыпал махорку из небольшой торбочки со шнурком. Она напоминала мешочки с ливрами, которые держали за своими поясами мушкетеры из трофейного голливудского фильма. Расплачиваясь за услуги, они лихо подбрасывали эти мешочки, а веселые помощники так же лихо ловили их.

Уплотнив махорку, учитель скручивал папироску и завершал процедуру проходом языка по краю газетного лоскутка. Затем он подпаливал самокрутку с помощью зажигалки, переделанной из крупнокалиберной пулеметной гильзы, и с наслаждением затягивался. Вспыхнув, ошметки плохо измельченного табачного листа распозлались по сторонам огненными червяками. Учитель двигался дальше, от парты к парте, похлопывал ободрающе по макушке то одного, то другого ученика.

Надолго остановился только у парты Семена. Тот едва заметил учителя – работал. Кувшин на учительском столе был с узким, расходящимся сверху горлышком, напоминавшим жабо средневекового испанского дона. Под грифелем, в лихорадке прыгающим по бумаге – то тут подтенить ручку, которой кувшин подбоченился с некоторой грацией, то там, в самом низу, прояснить легкую щербатинку, – кувшин, казалось, едва заметно дышал, млея от духоты. Семен видел, что колеблется луч света, тревожимый струящимся, разгоряченным южным солнцем, наполненным запахами лета, воздухом. Герасим Петрович стоял возле Семена, вложив кулаки в карманы, попыхивая остатком самокрутки, прилепившимся в углу рта, покачиваясь на носках, отчего поскрипывали офицерские сапоги, как всегда до блеска начищенные и издававшие сильный гуталиновый дух. Он долго смотрел на работу Семена, немного хмыкал и кряхтел, ходили желваки на его щеках, но, наконец, сказал серьезно, как бы подчеркивая, что не желает ни польстить Семену, ни развеселить и уж точно не желает сделать приятное:

– Знаешь, малёк... – проговорил он медленно и сделал паузу. – У тебя, кажется, есть способности.

Сказал он это тем тоном, каким врач сообщает больному неприятный диагноз. Вот-де просмотрел тщательно рентгеновские снимки – увы и ах, рад был бы ошибиться, но найден очаг воспаления, дело серьезное, лечение предстоит длительное, так что следует запастись терпением и не надеяться на чудеса.

– Торопишься вот иногда, – сказал он перед тем, как двинуться дальше по проходу. – Не торопись, не стоит...

## 2

После десятилетки Семен хотел подать документы в художественное училище. Но не хватило духу. Известное дело, конкурс в училище суровый. Не попадешь в вуз – уволочут в армию. А там ему при хилом здоровье несдобровать. Семен столько раз слышал, как мать рассказывала знакомым и даже малознакомым людям, каким сын рос болезненным ребенком. Рассказ она обычно начинала с заявления: «Он за войну перенес у меня двенадцать инфекционных заболеваний». Она тут же перечисляла: дифтерит, сыпной тиф, дизентерия, дважды крупозное воспаление легких...

– Но это не инфекционное... – возражал Семен.

– Не имеет значения, – отвечала та, – зато не менее тяжелое...

Говорила она о болезнях сына с гордостью – что вот, мол, несмотря на немецкие бомбы и тяготы эвакуации, вытянула его из хвороб, уберегла. Возразить ей было нечего. Действительно, вытянула. Слов нет, уберегла. В который раз, слушая мамину повесть о «двенадцати болезнях», он ежился. Ну, болел и болел... Сколько можно об этом вспоминать!.. Но мать забывать о войне отказывалась. Она по-прежнему боялась за здоровье сына, считала его раз и навсегда подорванным и готова была защитить его от непомерных, как ей казалось, нагрузок на уроках физкультуры. Она была неумолима и бесстрашна. Не жалась в коридорах в ожидании случая переговорить с завучем, как другие родители, навевывавшиеся в школу, а шла в учительскую и твердила завучу, усатому однорукому мужчине в косоворотке, что сына надо освободить от физкультуры по болезни.

– Для его ж пользы, мамаша, – говорил завуч, дергая усом. – Пусть подтягивается на турнике, укрепит мышцы...

Но мать была полна решимости раз и навсегда оградить сына от возможных травм.

– Вы не понимаете, Василий Иванович, двенадцать ведь инфекционных болезней!.. – говорила она, поднося к лицу завуча растопыренные пальцы обеих рук, которых не хватало, чтобы перечислить все перенесенные сыном недуги. Завуч в ответ махал единственной рукой и сдавался. Семен злился на мать, но возразить ей не мог. Знал: спорить с ней бесполезно. Он рос слабосильным, отчужденным от

сверстников тем, что не мог наравне с ними прыгать и бегать и, если надо, постоять за себя, подраться...

Поступать в художественное училище Семен так и не решился. В ответ на его робкие просьбы попробовать свои силы, подать рисунки на конкурс, мать сказала:

– Сначала получи какой-нибудь человеческий диплом. Лучше всего инженерный. Всегда будет кусок хлеба. Потом делай, что хочешь...

На помощь отца Семен и вовсе не рассчитывал. Исаак Матвеевич плотничал день-деньской, своей жены сам побаивался. Он вставал раньше всех домашних, тихо, чтоб не звякнуть посудой, подогревал на сковороде остатки вчерашнего второго, заливая их яйцом и, позавтракав, уходил на работу, возвращаясь только вечером, к ужину. За ужином молчал и, найдя какое-нибудь дело, уходил, возвращаясь только к ночи, когда уже все засыпали.

В качестве последнего аргумента Семен сказал матери:

– Герасим Петрович сказал, у меня есть способности...

– Вот именно – «способности», – незамедлительно ответила она. – Даже если бы сказал «талант», и тогда было бы непросто. Никогда не забывай: ты живешь в антисемитской стране... Способности!.. – сказала она почти презрительно. – Так тебя с одними только способностями в училище и взяли. Пора знать: пробиться у этой власти можно только, если ты в три раза не то что просто способнее, а талантливее других.

Он утаил от матери, что учитель сказал не «есть способности», а «*кажется*, есть способности». Со словом «кажется» шансов уговорить мать и вовсе не было. Разве что самый тон, с каким говорил учитель, серьезный и уважительный, чего-то стоил. Но поди объясни матери эту уважительность!.. Куда тут было деваться! Так было и решено: поступать ему в инженерно-экономический.

### 3

Пять лет в скуке и муке Семен слушал лекции по экономике. Стал сметчиком в плановом отделе монтажного управления. Между делом продолжал рисовать. Впрочем, «между делом» была служба, а рисовал он всё остальное время. В выходные дни. И в дни не выходные. Он таскал за собой повсюду свой темно-вишневым, тисненый серебром альбом со сменными листами и в свободную минуту набрасывал в нем всё, что придет в голову. Рисунков своих по большей части никому не показывал. Будто была у него какая-то маленькая постыдная страстишка, в которой признаться постороннему неудобно. Он томился в своей конторе, составляя сметы или готовя цифровые выкладки для доклада начальника. Сидя на никому не нужных собраниях, рисовал в блокноте фигуры соседей. Он не был портре-

тистом – рисовать с натуры мог, но блеска при этом не обнаруживал. Но художник, считал он, должен уметь всё, и потому часто, видя, что не получается, как хотелось, мучился от ощущения собственной бесталанности.

Рисунки же давались ему легко. Однажды приятель-журналист, которому Семен не без страха показал свой альбом, предложил сделать карикатуру для фельетона. Семена напечатали. У него оказался неожиданный для него самого сатирический дар, на который в журналах оказался некоторый спрос. В его скетчах – ничего другого за неимением времени он не рисовал – была живость. Работы Семена стали появляться время от времени даже в столичной прессе. Техника, профессионализм выработались быстро, были даже кое-какие успехи: однажды пригласили дать рисунки для городской выставки молодых.

Потом он встретил Лену. Влюбился сразу, недолго раздумывая, женился, даже не попытавшись понять, кто она и чего от него ожидает. Миловидная темноволосая молодая женщина с серыми чуть раскосыми глазами совершенно его закружила. Очарованный ее красотой и душевностью, он считал встречу с Леной незаслуженным подарком судьбы. Как это вдруг ему, такому неказистому и малодетнежному человеку (к тому же еврею!), досталась вдруг такая русская, чуть ли не кустодиевская, красавица!

Спустя короткое время он с некоторым недоумением обнаружил, что на вернисажах, где выставлялись его рисунки, жена с замиранием останавливалась перед чужими картинами, волновалась, когда Семен знакомил ее при случае с каким-нибудь художником, а на его работы поглядывала снисходительно и, как правило, ничего не говоря. Только одну картинку и похвалила. Получалось – у него случайно вышло что-то путное... Впрочем, к тому времени у них появился сын Андрюша, и когда рисунки Семена печатали в каком-нибудь журнале, Лена была довольна – все-таки прибавка к зарплате, а жили они очень скромно. Не помогай им родители, наверное, совсем пропали бы. Как впрочем, многие их знакомые и друзья...

#### 4

Так Семен и жил, пока не пришла пора эмиграции. Жизнь – автомобиль, прошуршит шинами подле тебя, обдав бензиновым перегаром, и не успеешь отчихаться, укатывает за горизонт... Петляя по незнакомым дорогам, автомобиль прокатил чуть ли не полмира и остановился на берегу Тихого океана, в пригороде огромного города. Подучив язык, Семен сравнительно скоро нашел место сметчика в строительной корпорации. Довольно быстро пришел достаток. По перенятой у американцев традиции они с Леной купили дом в расщелку, правда, без бассейна, как принято в Южной Калифорнии, но



просторный, в три этажа, с гаражом на два автомобиля. Один – новый, другой в приличном состоянии. Машины были не предметом роскоши, как в Союзе, а необходимостью: автобусы в городе развозили, в основном, малоимущих пенсионеров и студентов.

Конечно же, он продолжал рисовать. Гостиная в их доме была большая. Светлую ее часть Семен превратил в студию, работал по выходным дням долго, чем злил жену. Вон, мол, и она работает чертежницей, а весь дом на ней, от него никакой помощи.

– Весь заклинился на себе и только, – говорила она.

Случались у Семена и заказы. Раз местная русская газета попросила дать рисунок для статьи о Пушкине. В другой – какому-то старику, приехавшему в Штаты в начале века, захотелось иметь карандашный портрет отца, который надо было сделать по блеклой и ненадежной для фотографической реанимации паспортной карточке: седые брови, седая борода до груди, бледное испуганное лицо... Затем одной благотворительной конторе понадобился эскиз почетной медали для награждения наиболее щедрых меценатов.

Семен работал быстро и точно. Заработок был, правда, небольшим по сравнению с зарплатой в корпорации, но когда Семен работал на заказ, Лена относилась к его уединению серьезно: уезжая на очередные закупочные рейды-«шопинги», забирала Андрюшу с собой, чтоб не мешал.

Но чаще всего заказов не было, и Семен мучился от вины перед семьей. Рисует ведь ни для чего больше, как для собственного удовольствия, а это нехорошо – что-то делать только для себя, если есть семья. Он иногда уступал жене, садился с ней в машину и ехал в торговые центры-«моллы», в которых американцы проводят больше времени, чем россияне в парках культуры и отдыха. Эти гигантские универмаги раздражали его размеренным гулянием публики вдоль бесчисленных магазинов и магазинчиков, раздражали тем видимым наслаждением, с каким и Лена обзревала бесчисленную массу вещей – «от гольфиков до гольфиков», – как он про себя окрестил этот бесконечный поток вещей, упакованный в прозрачный пластик, перепопсаный подарочными лентами и цветными бантами.

Громадные залы торговых центров чем-то походили на холлы американских аэропортов. Наверно, думалось Семену, так и замышлялось: исподволь побуждают публику двигаться вперед и вперед, а там, гляди, переполненный радостью приобретения покупатель, как есть обвешанный коробками и пакетами, преодолет земное притяжение и, оттолкнувшись от пола, вознесется сквозь стеклянную крышу в солнечное небо.

Лена могла часами бродить по моллу. Она недоумевала, почему Семен не испытывает того подъема, что возникает у нее от одного вида изобилия, от слепящего блеска витрин и чистоты красок.

– Ты же художник, – говорила она, пожимая плечами. – Просто не понимаю...

Семен же был рассеян, «не совсем здесь», чем жену непомерно раздражал.

– Лучше бы сидел дома, – приговаривала она. – Толку от тебя всё равно никакого. Весь в себе...

И действительно, тащась за женой по торговым залам, Семен продолжал размышлять над композицией рисунка, который дожидался его возвращения. Он угрюмо молчал, не отвечая на Ленины упреки. Он любил ее и жизни без нее не представлял.

Он попробовал от графики и акварели, в которых достиг определенной уверенности, перейти на масло. Процесс был мучительным. Каждый раз после большой паузы приходилось заново привыкать к весу кисти, учиться забирать краску легким касанием. Он чувствовал себя новичком, чуть ли не любителем, впервые в жизни взявшим в руки кисть. Иногда в отчаянии говорил себе: «Надо бросить всё это. Почему я решил, что у меня есть талант? Ведь Герасим Петрович даже насчет способностей сказал тогда – *кажется*»...

Само это слово представлялось ему рогатым жучком-короедом, с виду махоньким, но исподволь выедавшим его и без того не слишком крепкую веру в себя. Почему учитель не сказал тогда четко и ясно – «талант»? Тогда, может, не было бы сомнений. Тогда не надо было бы гадать и решать.

## 5

По российской потребности в общении Семен и Лена сошлись с несколькими супружескими парами из Союза. Каждый раз, собираясь в гости, Лена приободрялась, а Семен падал духом. Никак не мог взять в толк – отчего. Знакомые были людьми образованными, даже творческими, – литераторами, ассистентами режиссера, актерами. Впрочем, в прошлом. Теперь они приобрели американские специальности. Один стал страховым агентом, другой – агентом по недвижимости, третий – гидом в бюро путешествий. Семен с беспокойством думал о том, что вот и он зарабатывает на жизнь делом ему чуждым. Но по-прежнему где-то в глубине его жила надежда, что не всё потеряно, что наступит время, когда он станет, наконец, больше и лучше писать. Выплеснет на полотно всё живое и радостное, что давно, сколько себя помнил, просилось наружу.

«Нет, – говорил он себе, – Я еще живой. Я не умер. Мне всего сорок два, и только-то. Да, другие художники в моем возрасте уже заканчивали карьеру, а некоторые даже уходили в мир иной, достигнув совершенства. Но у каждого своя судьба, свой путь. Самое страшное – умереть, так ничего и не сделав. Зачем тогда всё это –

сама жизнь? Родить детей, чтобы они только и жили, пока не родят своих? Неужели это всё? Я же не какая-нибудь форель, что, обдирая морду о камни, рвется против течения на нерест и, выпустив икру, возвращается в свое озерцо пустым брюхом кверху...»

Работая над картинами от случая к случаю, когда урвет время, он снова и снова мучился сомнениями: а есть ли у него талант? Или права жена, что уделять время живописи имеет смысл лишь таланту большому, а если – маленький, то незачем и беспокоиться...

Как-то в их компании рассказывали, с обычным напускным цинизмом, об актрисе, которая сошлась с парикмахером киностудии, оставив своего мужа-писателя.

– Ах, говаривала актриса в кругу друзей, надоел мне мой писатель... Сочинял сказки для детей, читал мне, а я должна была говорить, какие они замечательные, а были они – скука смертная. Что же, всю жизнь так мучиться?

Все смеялись, а Лена серьезно поддакивала, и от того, как то сжимались, то криво изгибались ее губы, он понял: она сочувствует той актрисе, знает, каково жить с бесталанным. Стало горько, но и на тот раз горечь удалось проглотить. Он как-то *безотчетно* любил жену. Впрочем, любовь и есть *безотчетность*... Случалось, Лена говорила сыну, в его присутствии, что вот когда тот вырастет, пусть станет инженером – непременно инженером, – потому что таланта особого инженеру иметь не надо, но он всегда будет обеспечен.

Живя и работая в Америке, они перестали заботиться о хлебе насущном, как это было в Союзе, когда порой на метро едва хватало. Могли себе позволить немислимое в прежней жизни – путешествия, пусть не кругосветные, но побывали в соседних Мексике и Канаде, в Италию и Испанию слетали в отпускное время. Какого еще рожна им недостает?..

## 6

На третьем этаже здания строительной компании у Семена был свой «кубик» – небольшой кабинет в центре огромного зала, среди множества таких же «кубиков», состыкованных друг с другом на манер пчелиных ячеек. Кабинетик был чистый, отделанный светлым пластиком, но вдали от окон. Вдоль стен шли офисы менеджеров – окна полагались им, каждому по одному. Семен сидел в своем «кубике» день-денушкой, обложившись чертежами. Считал количество бетона, длины электрической проводки... Шуршал, как мышь, бумагами. Перегородки были из пористого пенопласта, пол внатяжку выстлан толстым серым ковром из витого синтетического волокна, – в рабочем зале весь день стояла чуть ли не храмовая тишина. Нарушалась она лишь приглушенным треньканьем телефонов за перегородками. На стол Семена падал рассеянный холодноватый свет

неоновой лампы. Кондиционированный воздух в зале не пах ничем, кроме слабых скипидарных испарений пластмассы. Иногда, шумно дыша носом, в обход своего участка между «кубиками» двигался грузный двухметровый Боб Раски, Семенов начальник. Под тяжестью его тела потрескивал фанерный настил под ковром.

За день, проведенный внутри огромного зала без окон, похожего, скорее, на склад сельскохозяйственной техники, чем на контору, все чувства Семена притуплялись. Ему казалось, что и его руки и ноги, всё его тело сделано из пластика... Часто клонило ко сну. Чтобы взбодриться, он пил чашку за чашкой дрянной американский кофе из «титана». Туда же подходили его коллеги-сметчики с неизменной улыбкой и короткими приветствиями: «How are you, pal!...»

Семен с нетерпением ждал ланча, когда можно выйти вместе с другими в асфальтовый двор корпорации и усесться на траву небольшого газона. Он не спеша ел приготовленный Леной бутерброд и жадно вдыхал влажный воздух тихоокеанского побережья, хотя никаких особых запахов этот морской воздух в себе не содержал. Только по пятницам, когда по газону проползала похожая на гипертрофированный домашний пылесос косилка, Семен с наслаждением и волнением втягивал в себя запах свежесрезанной травы. Он никогда не думал, что этот простой, в сущности, запах будет так его волновать. Не сельским все-таки хлопцем рос, а городским мальчишкой, а поди ж ты...

Так шло время. Семен чувствовал, что из таких вот похожих друг на друга, тихих и мягких, как новорожденные щенята, дней и ночей незаметно сложатся годы. Он станет точно таким же одутловатым и лысоватым господином, как Боб Раски. В такой же подернутый поутру белесым маревом теплый денек коллеги-сметчики поведут его по традиции в соседний ресторанчик под названием «Слава Богу – пятница!» и скажут поздравительную речь, поднеся часы от начальства и купленный вскладчину альбом с видами Америки: увешанный бумажными фонарями ночной квартал сан-францисского Китай-города, сумрачного вида рыбак с двухметровым сомом на берегу зеленого острова в штате Мэн, коричнево-охровые слоистые склоны Большого Каньона, голливудский бульвар с туристками в клетчатых шортах; техасский ковбой, набрасывающий лассо на упирающегося бычка... Сотрудники распишут форзац альбома дружескими сентенциями с центральным мотивом: «Завидуем дьяволу везучему! Наслаждайся золотыми годочками пенсионного счастья!»...

## 7

Город, в котором они жили, был красивый, современной постройки. Но красота его казалась Семену какой-то безличной и безразличной. Изящные, походившие на парфюмерные коробки, небоскребы. Одно здание напоминало флакон любимых Лениных

духов «Опиум». Другое – ни дать ни взять, поставленная на попа губная помада, изящным пестиком вверх. Круглое, как пудреница, здание кинотеатра... Похоже, архитектор только и думал о том, как потрафить жене или любовнице. Восхищали «фривеи», пронизывающие город, своими остроумными развязками напоминающие узоры на крыльях бабочек... Умом Семен понимал и принимал это, сердцем – нет... Чужая красота.

Казалось бы, он должен быть благодарен Америке за свободу и благополучие. Благодарность была, но счастливым он себя, сколько ни заставлял, не мог почувствовать. Каждый день, проезжая на своем «Олдсмобиле» вдоль центральной городской магистрали, он смотрел на огромный рекламный экран на крыше здания корпорации. На нем, то и дело сменяя друг друга, суетились фигурки людей. За многие годы Семен так и не понял суть рекламы, но подумал однажды, что он, и все другие люди, здесь, в Америке, кажутся ему такими же бес-теневыми бликами. Семен жил какой-то неосознанной жизнью. Она казалась ненастоящей, как он ни отгонял от себя это чувство.

Смотря по вечерам телебоевики, он ловил себя на том, что ему стоит большого труда заставить себя расслабиться и следить за происходящим на экране. Мужчины и женщины, дети и собаки, дома и сокрушаемые в погоне за преступником автомобили упорно отказывались быть чем-либо иным, чем они по сути и были – пучком электронов, направленных на флюоресцирующий экран. Даже кровь, хлещущая из раны киногероя, казалась таким же пучком. Он отказывался верить, что и в нем, Семене, есть что-то, помимо поглощенной им собственной тени... Когда однажды, разъезжая на велосипеде вокруг квартала и, не рассчитав поворота, он упал, то даже обрадовался, что ощутил боль...

Как-то раз ему приснилось: он идет по залам огромного торгового центра, похожего на тот, в котором бывал с Леной. Мощные потоки света хлещут сквозь стеклянную крышу. Блестит и сверкает всё, что обладает способностью отражать, – стекла витрин, хромовые панели эскалаторов, плафоны бесчисленных подсветок, никелированные лопасти современных дверных ручек. Свет дробится и расплескивается по разлитому морю упакованных в целлофан вещей. Он, Семен, проходит мимо магазина мужской одежды и замечает какое-то необычное оживление. То ли идет демонстрация осенней моды, то ли какой-то другой рекламный аттракцион... В витрине один за другим, по четыре за раз, мужчины сменяют друг друга в некоем ритуальном действе. Становятся лицом к публике, спиной к хромированным, встроенным в пол, металлическим устройствам, похожим на сопла реактивных самолетов. Осматривают себя, выпрастывают манжеты рубашек так, чтобы выровнялись края, поправляют, глядясь в изнанку витринного стекла, шляпы. Слегка поддергивают пояса,

чтобы не заламывались брючные стрелки. Затем они на мгновение замирают, и по неслышной команде металлические сопла за их спинами разом выбрасывают мощные пучки синеватого пламени. В следующий же миг мужчины вспыхивают, словно легкая пластмассовая пленка, и исчезают.

Всё это выглядело столь обыденно и безобидно, что Семен во сне же соображает: тут какой-то трюк. То ли оптический, то ли еще какой. Действительно, Семен замечает, что только что сожженные мужчины, «воскреснув», разгуливают по «моллу». По их походке видно, что аттракцион в витрине магазина одежды хоть и развлек их, но ненадолго. Они надеются набрести на еще что-нибудь не менее интересное... Каким-то сторонним ходом мысли, не прерывавшим, однако, сна, Семен понимает, что происходит нечто несуразное. Но некая сила заставляет его занять очередь в тот же магазин.

Вот он уже собирается шагнуть на постамент витрины, соображая, что надо будет делать вслед за тем, как он повернется спиной к горелке, и пламя охватит его, как вдруг до него доходит: после этого ничего не надо будет делать, поскольку делать будет НЕКОМУ! Его охватывает ужас – да такой, что стягивает кожу спины и сводит икры ног. Усилием воли он заставляет себя ступить вниз, с постамента, и выйти из магазина.

В страхе Семен вынырнул из глубины сна, почувствовал, что, слава Богу, жив. Однако он не проснулся, а оказался в другом сне, который бродил где-то рядом. В этом другом сне был не он, теперешний, взрослый мужчина, живущий в эмиграции, в чужой стране, сметчик строительной корпорации, муж и отец семейства; нет, то был Семен-мальчик, разбуженный ночным тревожным дерганьем эшелона дальнего следования, увозившего его в эвакуацию, подальше от бомб громыхавшей войны. И это не он, а тот мальчик лежит с открытыми глазами среди ночи на нижней полке купейного вагона, вслушиваясь в стук колес на рельсовых стыках. Иногда стук внезапно сменяется своим слабым эхом. У него замирает дыхание от страха – это эшелон пронесется по мосту. Мальчика уносило в какую-то неведомую, сказочную, опасную и прекрасную, полную приключений жизнь. Прислушиваясь к стуку колес, он думал, что это бьется гигантское сердце земли. Так-так, так-так – и только так. А как, а как? Вот только так! Тут-тук, там – тоже тук!..

Он не знал, куда его везут и где он. На соседней полке спала, распустив на ночь волосы, мать. Она была молодая и красивая. И хотя она была его мама, он думал о ней как о сестрице Аленушке, охраняющей братца Иванушку от железных гусей-лебедей, норвящих броситься на него с неба... За окном стояла кромешная тьма. Небольшой кружок пульсирующего от токов крови света вокруг глаз, смотрящих во тьму – всё, что было его ночным миром... Еще были

гудки – длинные, тревожные, иногда замирающие на половине ноты, будто паровоз, тянувший из последних сил их эшелон, был большим, слабоумным дитем, потерявшимся в ночи, ищущим полустанок, к которому, как к телу матери, можно будет, в концов концов, приткнуться холодным и потным от ночного бега лбом, лбом ребенка, миновавшего температурный кризис...

Снова навалился сон. Семена потянуло куда-то вниз, в темную глубину. Потянуло так стремительно, что он не успел сообразить, кто на этот раз заснул, – он или тот малыш на жесткой купейной полке поезда, несущегося в темноте.

Под утро, когда глаза Семена еще были закрыты, но он уже знал, что не спит, он увидел в некоем междусонье, что, отодвинув угол круто накрахмаленной занавески и протерев тыльной стороной кулака запотевшее стекло, которое от его дыхания тут же снова туманилось, малыш из ночного смежного сна смотрит в слабую синеву умирающей ночи. Поезд стоит на какой-то маленькой станции. За окном слышны громкие голоса смазчиков и хруст снега под их валенками. Они идут вдоль состава и молотками на несуразно длинных рукоятках обстукивают колесные втулки, решая, пойдет ли дальше вагон или надо его отцеплять из-за негодности к дальней дороге. Сквозь небольшую щель вагонного окна пробивается запах свежевывающего снега вперемешку с запахами холодной угольной крошки, стылой сажки, навоза от крестьянских лохматых, запряженных в телегу, лошадок у переезда.

Дожидаюсь, когда поезд двинется и освободит путь, на передке телеги сидит бородатый мужик в огромном тулупе и, кашляя в кулак, курит «козью ножку». Время от времени он поворачивается к Семену, и тогда тому кажется, что мужик подмигивает ему и, расплываясь в улыбке, его лицо приобретает хитрое заячье выражение... Он шевелит губами, и Семен понимает, *что* он говорит, хотя слов не слышит: «У тебя, кажется, есть способности...»

– Кажется? Опять «кажется»? Сколько можно – «кажется»? – закричал уже не мальчик на полке вагона, а сам Семен.

– Бог с тобой!.. – растерянно и даже немного испуганно сказал мужик. – Откуда мне знать, как сильно у тебя болит?

## 8

От какого-то резкого звука Семен окончательно проснулся и открыл глаза. Ну, конечно, он в Америке. Субботнее утро. Хлопнула дверь Лена, отправляясь с сыном и с подругами-актрисами на пикник. Его даже не стали ждать. Знали – будет дома работать.

Выпив кофе, он привычно натянул новый кусок холста на подрамник, соображая, что же сегодня писать. Вспомнил предутренний сон и слова о боли. В самом деле, ведь болит. Всегда болело. Теснилось внутри него, просилось наружу, но заглушалось необходи-

мостью заработка, семейными делами, желанием признания как художника... Вспомнились и давно ушедшие вместе с войной в прошлое ночные налеты на их город, когда небо вдруг начинало быть нестерпимо-страшным ноющим воем бомбардировщиков вермахта. Бегство с матерью по железной дороге – то в пропахших навозом теплушках, то на площадках под брезентом, укрывавшим вывозимые в тыл подбитые танки, то, если уж очень повезет, в пассажирском вагоне. Днем эшелоны прятались в лесу от бомб и пулеметов пикирующих «мессершмиттов», а ночью, наверстывая упущенное время, до изнеможения паровозных мускул, неслись на восток.

Незаметно, словно сгущаясь из воздуха, в памяти Семена возник дощатый забор вокруг домика на окраине Самарканда, где поселили его с матерью, потеснив хозяина-узбека. Забор был серый от совместной работы дождя и солнца, просверленный жучками, словно расстрелянный крохотными пулями. Под забором в норах жили черепахи – он увидел перед собой по-азиатски непроницаемые мордашки с желто-серыми крапинками. От небольшого курятника в глубине двора шел острый запах компоста, стылого по утрам, разогретого на солнцепеке к вечеру. Куры были драчливые – в воздухе то и дело плыл белый, иногда тронутый слабой синькой, пух. Краснозем вокруг курятника матово блестел на солнце. Хозяин с пожухлым, словно печеное яблоко, лицом, погрузив ладонь в ведро, расплескивал воду, чтобы глина не сохла и чтобы куры не зарывались и не вымазывались в ней.

Семен вспомнил, как щипали язык сушеные кишочки дынь, которые хозяин жевал за чаем. Заготавливая впрок, он испарывал шершавую, будто причудливо обмотанную желтым шпагатом, кожуру дынного семени длинным, посверкивающим на солнце ножом, и, взобравшись по стремянке, выкладывал кишочки на скате железной крыши. К исходу пламенного среднеазиатского дня сласть была готова.

Семена устроили тогда в детский сад, расположенный на краю огромного парка, перерытого вдоль и поперек арыками. Они то неожиданно прыгали из-под кустов под ноги Семена, то без видимого повода ныряли под них. Он не раз оступался и проваливался в мутную воду – иногда по колено, чаще всего по щиколотку.

Парк был повсюду, и бродя по нему, Семен вертел головой, пытаясь рассмотреть весь этот навалившийся на него зеленый мир. Часто приходилось останавливаться и закрывать глаза, неспособные враз всё охватить. Кружилась голова, в воздухе плыла прекрасная музыка, в такт которой в обнимку с тополями, каштанами и акациями, нежно сплетаясь ветвями, кружили вишневые, абрикосовые и персиковые деревья.

Вдоль заборов на солнцепеке росли огромные маки. Срывать их было бесполезно. От малейшего ветра лепестки маков опадали и



через короткое время оказывались в арыках. Туда же сносило молочные лепестки вишен, отчего арыки становились стелящимися по земле гигантскими цветными гирляндами. Сквозь листву тополей нетрудно было заметить синевато-бордовые, переливающиеся на солнце спинки майских жуков. Поймать их нетрудно было даже для такого не слишком ловкого мальчишки, как Семен. Осторожно, чтобы не зацепиться за крючки и захватки, он продевал лапку жука сквозь нитяной арканчик. Чего-чего, а ниток у Семена всегда было вдоволь. Мать работала на швейной фабрике, катушки с нитками и без них были едва ли не единственными его игрушками. В них можно было смотреть, как в подзорную трубу, ведя парусный фрегат между рифами у островов Джеймса Кука. Катушки превращались в колеса пожарной машины или грузового автомобиля.

Отмотав достаточно нитки, Семен подбрасывал жука в воздух. Если тот был не слишком заморожен во время возни с арканчиком, успевал оправиться от шока и не терял воли к жизни, то, совершив на пути вверх несколько сальто-мортале, улучив момент, оттопыривал фалды своего фрачка, выпрастывал из-под них остроугольные желудевого цвета крыльца и несся куда глаза глядят. Щурясь от солнца, Семен в восторге бежал за ним, подняв катушку как можно выше над головой. Чем дальше жук летел, тем чаще билось сердце от удачи.

Цветы в саду росли не на клумбах, а где попало. Пчелы, шмели и осы носились по саду, будто ополоумев от непомерности выбора. Выбрав цветок, пчелы шли на посадку прямо, несколько грузновато, с некоторой, однако, осторожностью, словно бомбардировщики, не сумевшие во время рейда освободиться от своего опасного груза. Разместившись на цветочных лепестках, пчела сладострастно впивалась хоботком в тычинки. От наслаждения подрагивало ее мохнатое брюшко и сводило пегие слюдяные кристаллы пчелиных крыльев. Семен держал наготове носовой платок, чтобы, поймав, рассмотреть поближе лапки, на которых были длинные, наподобие средневековых секир, крючки. Пчела протыкала ими лепестки, чтобы невзначай не дуло ветром.

Стрекозы были пугливей пчел и даже ос. Охотясь за ними, нужно было тихо подобраться на расстояние вытянутой руки, замереть и ждать, когда возбужденное перелетом насекомое, обхватив длинными многосуставчатыми лапками кончик прутка, успокоится, и его бдительность утратит остроту. Затем одним движением, быстро сведя большой и указательный пальцы, следовало ухватить стрекозу крепко и, в то же время, осторожно, чтобы не повредить хрупкие крылья, которые были, между тем, куда менее уязвимы, чем легко и фатально проминающееся под пальцами неожиданно мягкое тельце. (Семен подумал, что правило ловли стрекоз годится и для любви, и для искусства, и для многих других стоящих дел.)

Чаще других попадались «царьки» с крупными зеленовато-серыми дымчатыми головками, напоминавшими шлемы пилотов сверхдальней авиации. Из экземпляров помельче запомнились миниатюрные стрекозы. Чуть толще зингеровской швейной иглы, они любили, прежде чем сесть на прут, долго висеть в воздухе. Поймать их было практически невозможно без сачка, который по военному времени был слишком большой роскошью.

Вперемежку с простенькими, в белых одежочках монахинь, бабочками-капустницами, налетавшими с детсадовского огорода, вокруг кустов сновали, часто и без боязни опускаясь на траву и время от времени сводя и разводя крылья, бабочки-корольки в торжественных царских пурпурных с черной оторочкой мантиях.

Едва уловимо пахло свежими, чуть перезрелыми, переполненными соком, абрикосами. Их было особенно много в том саду. Дотянуться до ветки он не мог, подбирая перезревшие плоды в траве, набивал ими рот, восполняя свой скудный обеденный рацион. Для Семена и сейчас не было лучше плода! Только здесь, в Америке, абрикосы были не такими, какими он их любил с детства. Лишенные вкуса, они не пахли ничем, разве что отдавали полиэтиленовой пленкой – единственным различимым запахом в американском супермаркете.

Тот далекий самаркандский абрикос не кончался съеденной мякотью. Оставалась еще пузатая косточка. Подобно другим мальчишкам, он стачивал на кирпиче ее подбрюшную грань, пока не появлялось небольшое продолговатое отверстие. Раздробив концом проволоки скорлупу, он выковыривал по кусочкам полосатое ядро и, подобрав на садовой дорожке кременек покруглее, проталкивал его внутрь косточки. Теперь, зажав ее краем губ, он дул в нее. Если он делал это неуверенно и слабо, косточка свистела тихо и жалобно. Когда же он отваживался дунуть что есть силы, кременек весело прыгал внутри косточки и, закладывая уши, по всему саду разносились рулады чудесной трели, от которой веером разлетались невидимые в траве воробы.

Еще можно было жевать темно-янтарную смолку, которую он сощипывал с коры вишневого дерева. Сама кора тоже занимала его. У Семена не было ножа – не давала мать, но если бы и дала, воспитатели всё равно отобрали бы. Он высматривал места на стволе, где шелушился лоскуток кожицы и, ухватившись за него, стягивал полоску за полоской. Делать это можно было бесконечно, но без всякой скуки. Сколько полосок не сщипливай со ствола, они оказывались каждый раз другого цвета и рисунка – карминные с серыми прожилками сменялись бордово-серыми с темно-каштановыми косточками.

На краю поселка была поляна. По ней, таща по небу воздушных змеев, бегали узбекские мальчишки. Их расшитые цветными нитками «мулине» тюбетейки напоминали крышки расписных чайников в

чайханах. Змеев мастерили из кусков пергаментной бумаги, для прочности обклеивая полосками расщепленного камыша. У Семена не было пергамента, и достать его было равным счетом негде. Приходилось делать змея из газеты. Нередко что-то, видимо, не получалось в конструкции. Едва оторвавшись от земли, змей начинал вихлять из сторону в сторону, пока не переходил в штопор и не устремлялся в землю, при ударе о которую ломался хрупкий камышовый хребеток. Не было отца, чтоб помог справиться с этой бедой. Впрочем, отцов не было ни у кого из мальчишек – была война...

## 9

Семен забылся у мольберта. Очнулся только тогда, когда обнаружил перед глазами нестерпимо-яркое пульсирующее желтизной пятно, похожее на маленькое солнце. Ему даже показалось что внутри пятна плескались, непрерывно меняя интенсивность и форму, голубые протуберанцы. Рука сама потянулась к тюбику с охрой и выдавила немного краски на палитру. Пятно тем временем заходило по полотну, то и дело останавливаясь и двигаясь дальше, как бы решая, где осесть. Семен почувствовал, что быть ему в правом углу, чуть повыше забора, которого еще не было, но уже ясно было, где ему стоять; мелькнули перед глазами серые доски и уверенно расположились посредине полотна. Вслед за забором сама собой возникла накаленная азиатским жестким солнцем крыша домика.

Он задумался на минуту, вспоминая цвет наружных стен, но тут же стал заполнять пропуски между крышей и землей именно той краской, которая была – им. Он не знал, какая она, пока не положит на холст. Так, методом исключения, нашел свои цвета: бордовый, коричневый, ультрасиний – не мое; палевый, голубой, светло-пепельный – мое. В первый раз с тех пор, как стал рисовать, он доверялся не авторитетам, не виденному у других, а только себе, своему чутью – терять было нечего.

Затем, не раздумывая, Семен разместил на полотне всё, что видел во сне: пергаментных змеев с длинными косицами, мальчишечьи тубетейки, желтоватую пыльцу на полосатом пчелином брюшке, прыгающие в кусты, запорошенные лепестками цветов, арыки, бабочек-капустниц, раскосые и припухлые, как у японских девушек, глаза черепах, едва различимые среди пятен на их мордочках...

Оставив кисть, Семен отошел к стене. Посмотрел на картину, обхватив себя руками. Полотно получилось странным, не похожим ни на одну из его прежних работ. Его окатила с головы до ног волна страха – сначала жаркая, потом холодная. Неужели способности совсем его оставили! Все те небольшие, как он считал, способности, взяли и разом вышли. Улетучились без следа. Ему сделалось совсем тоскливо. Он лег на диван и попытался задремать.

Прележав в тревоге с полчаса и не сомкнув глаз, он прошел в

кухню, плеснув в лицо воды из-под крана, снова приблизился к холсту. На холсте стоял дом, престранно раскрашенный. По полотну плыли цветные пятна, в которых только Семен и мог угадать ситцевые строчки вишневой коры, красные бусинки в стрекозиных крыльях – ни дать ни взять предупредительные огни для низколетающих самолетов на мачтах антенны городского телевизионного центра.

На минуту ему захотелось содрать полотно с рамки и выбросить. Жаль было труда всего дня. Он отошел от мольберта, чтобы снова взглянуть на свою работу. И тут, к своему удивлению, он явственно услышал переходящий в молодецкую трель, прерывающийся, как бы испугавшийся громкости, протяжный и тонкий свист. То свистела полая абрикосовая косточка в губах одинокого мальчика, бродившего по траве огромного сада его детства.

## 10

Приехала с пикника Лена с Андрюшей. Оба уставшие, но Лена в хорошем расположении духа.

– Ну что, удалось поработать? – спросила она, непривычно заинтересованным голосом. На нее иногда находили какие-то быстро проходившие порывы доброжелательности к его работе. Впрочем, совсем скрыть равнодушия она не умела. Глянула мельком на картину, подняла в недоумении бровь, но ничего не сказала. За годы общей жизни он научился понимать ее без слов. Упрекать можно нахмурившись или, наоборот, деланно спокойно разговаривая, или сторбившись по-особенному, так что ясно: ты виноват. Сколько раз она вздыхала, когда слышала, как «хорошо продается» какой-то художник. А какие люди приходят на вернисаж! Было ясно: она считает свою жизнь неудавшейся, выйдя за Семена – за неудавшегося художника. При ее внешности и душепрекрасных качествах она могла бы преуспеть, но он закужил ее своей любовью, и она поддалась... И Семен понимал: она права, кругом права. Что тут поделать – одному Бог отпускает полной горшней, а другому – так, зернышек на поклев...

Полный сомнений, он отнес работу в знакомую галерею, где как-то купили его небольшой рисунок пером. Владелец галереи Том, высокий поджарый мужчина с аккуратно подстриженной седеющей бородкой, посмотрел на картину Семена, хмыкнул, прокашлялся и тут же купил ее, предложив восемьсот долларов и извинившись, что больше дать не в состоянии, – трудные времена.

Семен почему-то испугался этих денег и, зажав чек в руке, пустился домой. Войдя в квартиру, он за спиной Лены, говорившей на кухне по телефону с подругой, прошел в спальню и начал ходить по комнате. Сам не понимая почему, он вдруг заплакал. Внутри него просветлело. Свет наполнил его одновременно спокойствием и нетерпением.

С того дня всё для него переменялось. Он принялся много писать. Наработанная за долгие годы рука работала быстро. Он вдруг понял, что вся его предыдущая жизнь была лишь затянувшейся прелюдией к другой, настоящей, которая только начинается. Только сейчас, когда он уже стал седеть и лысеть, он понял наконец, зачем жив.

Он писал картину за картиной. Закончив одно полотно, ставил его лицом к стене и принимался за следующее. Он едва находил время для еды, не говоря уже о том, чтобы ходить в галереи и показывать новую работу. «Как же так? – говорил он себе. – Я никогда не верил в свой талант, ждал, что кто-то поймет, поддержит. Почему я ждал, когда ободрят другие? Зачем было ждать?.. Если вспомнить, были ведь два, даже три известных художника, которые останавливались на вернисажах у некоторых моих работ и замолкали. Говорили даже что-то вроде ‘симпатично, очень мило’... Шли дальше, поглощенные своими заботами. Чего же я ждал? Что бросят свои дела и станут мной заниматься? Какая наивность!.. Не потому ли я не обратил внимания на их похвалу, что сам в себя не верил? А надо бы всё бросить, взять те работы и глядеть, глядеть, что делал, что заставило их остановиться...»

Теперь он понимал – то главное, что сейчас обрел он, в слабых дозах было всегда в его работах, в тех ранних гуашевых этюдах, замеченных художниками. Ничто в природе сразу не созревает. Туча наползет над головой, навалится, как крестьянка тяжелой грудью на пошатнувшийся плетень, заговорившись с товаркой. Всё вокруг погрузится в синеватую полутьму, заволочет сизой дымкой. Но придет время, и откроется: там – холм, покрытый нежной зеленью, а там – куст, как подпасок, рядом с дубом-пастухом, а вокруг, словно сбившиеся, шерсть к шерсти, ягнята, – мелкая кочковатая поросль...

Он стал чуток к тому, что в нем происходило, видел много снов и многие из них запоминал. Понимал – это и есть он сам, освобожденный от шелухи жизни. Вот снилось: он, мальчишка, сидит на корточках и роет совком ямку в песочнике, роет так усердно, что глаза заливают пот, нет времени отереть. Над ним в весеннем рыжеватобелом солнце стоит Луиза, соседская девочка, бежевое пальтецо, руки в кармашках, горло поверх поднятого ворота пальто перехвачено красным шарфом. Март, но еще холодно, несмотря на солнце. Он роет и роет ямку, чтобы поглубже была и покруглей, роет в месте, нехорошем для игры, в месте опасном – рядом с трамвайными рельсами, на крутом повороте. Вокруг него, вокруг девочки и ямки, неумолимо катит, сотрясая мелко землю вокруг, низко-гудящее трамвайное колесо, разворачиваясь к нему сизым, словно голубиное крыло, ободом. Только вот и видно было с корточек – колея, подножка, нижняя часть трамвайного задка с чугунным оттопыренным хвостом – «колбасой», на которой любили кататься мальчишки постарше.

Он роет и роет ямку, несмотря на приближающийся, рокочущий грозно трамвай. И девочка – теперь уже не Луиза, а какая-то другая, не то на нее похожая, не то на жену, – смотрит грустно и в то же время внимательно, как он работает, роет свою ямку, пыхтя, изо всех сил стараясь. Колесо катится, давя рельс, приближаясь к нему, трамвай тяжело сотрясает землю, проходит совсем рядом, чуть ли у его носа, так что слышен тяжкий вздох воздушных тормозов на повороте. Но ничего не случается, хотя несчастье могло вот-вот произойти – разве мыслимо сплутать рядом с трамвайными путями?

Проснувшись, Семен первым делом начал набрасывать красный трамвайный бок. Едва его обозначив, кинулся прорисовывать песочницу, заполненную до краев сырым от недавнего дождя, похожим на разваренную гречневую кашу, песком. Плеснувшись перед глазами откуда-то взявшаяся синева, попросила места на полотне: то ли глаза соседской девочки, то ли стальной отсвет трамвайных рельсов...

Семен на минуту задумался, но, очнувшись, увидел сверху себя – сидящего у самых рельсов, роющего ямку мальчика. Круглая голова в истрепанном, темно-сером, давно не черном, шлеме летчика – память отлетевшей войны. Коленки в темно-серых, выкроенных из отцовских брюк, штанцах, расставлены, прижаты к земле. Ни дать ни взять – земляная лягушка... Почему же лягушка? Ясно, что не птица. Вся жизнь он прижимался к земле, хотя всегда хотелось прыгнуть, удивить мир необычным скачком. Впрочем, иногда набравшись духу, прыгал, но летать не доводилось. Страшно было: продержится ли сколько-то в воздухе, не упадет ли, не разобьется ли... Так никогда летать и не научился. Только теперь понял: дальше земли всё равно не упадешь. Нечего, нечего было бояться...

«Почему же раньше со мной этого не произошло?» – думал он, охваченный одновременно радостью, тревогой и нетерпением. Он был как никогда уверен в себе и, в то же время, очень уязвим, как будто это новое его состояние было сном, что может кончиться в любую минуту, и он проснется в холодном поту. Поздно, всё в его жизни было поздно... Еще есть силы – но лет уже прожито немало. Как быстро всё! Почему всё так быстро?..

Он смотрел на свои руки и думал: столько-то весен пройдет – и как тому ни сопротивляйся, они начнут слабеть, а зрение сдавать... Ему делалось страшно от этого неумолимого вала времени, который ничем не остановишь. С горечью думал: все мы больны одной неизлечимой болезнью, имя которой – время.

Он понял, что впервые пишет не для славы, не для денег и не для того, чтоб впечатлить жену, заслужить ее любовь, а для себя одного, чтобы понять себя, вылущить из скорлупы, которая давным-давно незаметно выросла на нем. Теперь это стало способом его жизни. Перестанешь писать – перестанешь быть.

Страх внезапной смерти толкал вперед, открывал настоящее – и над ним надо работать, а остальное – ерунда, надо отбросить в сторону, дурная трата драгоценного времени. Но настоящего, дельного оказывалось на удивление много. Порой чувствовал – жизни не хватит всё сказать, что хотелось, всё, что задумал, – закончить... В такие минуты охватывал ужас. Казалось, останавливалось сердце.

Он уже не сидел перед мольбертом, как бывало, в поисках сюжета. Едва натягивал холст, дрожащие от нетерпения руки уже знали, какой краски возьмет вначале и какой – следующим мазком, будто кто-то нанес для него невидимую голубую паутинку на холст. Знай себе, следуй ей, ни о чем не думай. Всё, что пойдет вслед за тем, будет стоящим, настоящим... Возбуждение работой переполняло его, и он желал одного – уединения. Хотелось спрятаться куда-нибудь, где он мог бы жить в мире с собой. Для этого не надо было много пространства. Вполне подошел бы какой-нибудь ящик. Такой, где можно было бы сидеть, прижав колени к подбородку, курить и думать.

Он стал набрасывать этот ящик. Слишком длинный не подходил – напоминал гроб. Зачем же до времени?.. Квадратный тоже забраковал – от квадрата всегда несет самодовольством. Наконец, нашел подходящую форму ящика – как раз, чтобы можно было сидеть на корточках – и стал его набрасывать. Пока шла работа, почувствовал – нужна бы замочная скважина, можно без замка. Потребен глазок, чтобы смотреть на мир ровно в таком объеме, в котором он мог бы с ним примириться... Картина вышла странная: ящик с пустой замочной скважиной, и больше ничего.

Ему было всё равно, поймет ли кто-нибудь эту его картину. Уже знал: найдутся те, кто поймут.

## Михаил Рабинович

\* \* \*

Бутылок звяканье и крики не о том  
о сем, а мудрые, и шепот сплетен –  
замолкло это всё, и с мелочью в пальто  
тьень движется, и освещает ветер  
ночное облако, не видное с земли.  
Всё замерло, и снегом замечает  
следы нетрезвые. Емеля, не мели,  
неделя не твоя, – не замечает,  
в тепле, не пьяный, и чужая благодать,  
ужасно страшная, а наяву – смешная,  
сейчас, под облаком, не хочет задавать  
вопрос, ответа на него сама не зная.

\* \* \*

Музыкант не свое отыграл,  
с ним чужие услышали сходство –  
те, что вместе вошли в этот зал  
и продолжили ход свой.  
Продолжается птичий полет  
и желтеющих листьев паденье –  
эту музыку осень поймет,  
эти краски и тени,  
эти нити, слова, голоса,  
и опять уходящий октябрь...  
Покружись, лист, еще полчаса.  
Ну минуту хотя бы.

\* \* \*

Научи меня, Спектор, не играть на гитаре,  
про туманную даль не сопеть.  
Инженеры в ударе, все поэты в прогаре,  
в перегаре их добрая треть.  
Чувства добрые по завершеньи проекта  
не сравнить с повторением строк,  
и насосы гудят чудной музыкой, Спектор, –  
это ты их настроил как бог.  
Инженерные сети, боевые насосы –  
это то, что останется здесь.



Я утру свои пьяные синие слезы –  
 ведь неважно, умру ли я весь  
 или лира заветная... Смех или кашель,  
 ужас крошкой ли в горле сипит...  
 Если мир весь в угаре, то поэту быть как же  
 и зачем же он нужен – пиит?  
 Рассчитаем давление, температуру,  
 установим несущий каркас.  
 Не за жизнь кто болеет – за литературу,  
 тот пусть пишет ненужный рассказ,  
 дескать, некто вдруг видит: в небо падает снег-то,  
 поднимаясь в туманной пыли,  
 а оттуда – на землю. Объясни это, Спектор,  
 простым притяженьем Земли.

\* \* \*

Лев Николаевич Толстой  
 идет по полю вдоль веков,  
 но силуэт его простой  
 не виден из-за облаков.  
 Ему навстречу – славный птах,  
 А. Поперечный, автор слов,  
 он не останется в веках,  
 простынет след от соловьев.  
 А между ними по стерне  
 ползу и я, ища котов.  
 Достанется простыть и мне:  
 нашел котов – и был таков.

\* \* \*

Назову себя Пантелеймон –  
 был Корягин в газете.  
 Недостаткам он ставил заслон,  
 фельетоном ответив.  
 Назову себя не Гантенбайн –  
 просто слесарь из жэка,  
 управдом, управляющий бань...  
 Надо «банями» – эхо  
 тех далеких исчезнувших лет  
 исправляет ошибку,  
 этажей, адресов и газет  
 сохраняя подшивку.

Напишу про усушку в пути,  
разбавление пива,  
что утруску уже не найти  
и что пел некрасиво.  
Назовусь управдомом, певцом,  
продавцом гастронома,  
что обвесил с унылым лицом  
простодушных знакомых.  
На последнем течет этаже,  
и опасна искра ведь,  
и я эху кричу, что уже  
ничего не исправить.  
...Напишу про себя фельетон,  
псевдонимом прикроюсь.  
Надо жанр сохранить, а не то  
есть печальнее повесть.

## Марина Гершенович

\* \* \*

Два старика пришли в кино,  
где крутят мелодраму.  
Ее герои пьют вино  
и ссорятся, но всё равно  
там папа любит маму.  
Мелькают дни на полотне,  
летят чужие годы,  
и наступил конец войне  
под гордый гимн свободы.  
Улыбку и сердечный жар  
сулит киносюжета жанр –  
он судьбы рушит, чтобы вновь  
соединила их любовь.

Два старика уходят прочь  
из кинозала в город, в ночь,  
где постепенно гаснет свет,  
и нет войны, и мира нет,  
ни папы нет, ни мамы.  
Там от свободы до беды  
два шага, и ведут следы  
к законам вечной драмы.  
Никто не знает наперед  
где и когда и как умрет,  
но выбирать он вправе  
какими будут до конца  
движенья мышц его лица  
в простой его оправе.

## ГОЛОД

Голод меня, голод мучил тогда, друзья.  
И я бежала туда, где вы для меня – князя.  
В столовую – что под горку, где лучший из поваров  
давал унести мне в норку остатки съестных даров.  
К тебе, дорогая Лена, ты чай подавала мне  
столь крепкий, что я из тлена вставала живой вполне.  
К тебе, человек прохожий, который делил со мной,  
часть плоти своей и кожи в сибирский мороз и в зной.

Я вам задолжала, братцы. Не денег, живя без них, – того, что, скажу я вкратце, не купишь: чудес иных. Я вам отплачу, сестрицы, не тем, чем набит живот, но, Боже ты мой, сторицей: душой, что во мне живет. Без вас бы она истлела внутри доходаги той. Живот, он придаток тела: был полон – опять пустой. А то, что от вашей силы окрепло во мне, оно останется до могилы, и выйдет живым в окно, поднимется, легче пуха, в небесные едреня. Не хлебом единым – духом насытили вы меня.

### ПИСЬМО ИЗ БУТЫЛКИ

Ни вас, ни их, себя самих, ты знаешь, не боятся те самые, которые безумные на треть: художники, философы, поэты и паяцы, и музыканты – все они готовы умереть. Не раз уже их, пьяненьких, за лацканы хватали и душу вытрясти из них грозились не шутя. Но что с убогого возьмешь, когда в далекой дали то воет он, как дикий зверь, то плачет, как дитя. Не верь, не бойся, не проси, всего лишь три запрета для тех, кто знает жизнь в лицо и смерти пол-лица. Они исходят не извне, а изнутри, и это дает им право быть собой с начала до конца. «Люби меня как я тебя» написано в тетради. Порви ее, сожги ее, и положи всех в ряд ничком у ямы на краю, и вновь – да бога ради! – воскресут. Музыка, слова и мысли не горят.

5.04.22

### ПИОНЫ

Когда жила я во время оно  
вотще и всуе, с собой вразлад,  
меня однажды спасли пионы,  
точнее, чей-то цветущий сад.  
Я шла окраиною городскою  
вдоль ряда частных жилых домов,  
где под усердной людской рукою  
жизнь процветала в обход умов,  
в обход нелепых и злых законов  
при государственном общаке.

И стайка белых живых пионов  
паслась на воле, щекой к щеке  
прижавшись нежно, как на открытках,  
тех, на которых пером стальным  
мы, не узнав о расстрельных свитках,  
писали письма своим родным;  
и слали лепту посильной дани,  
готовясь к долгой Магадане,  
на адрес ящика в Магадане,  
на адрес зоны на Колыме.  
Потом везли по стране вагоны  
битком набитые, в никуда –  
ромашки, розы, жасмин, пионы  
в рисунках тусклых, в обломках льда.  
А лед, конечно, растает вскоре.  
Куда ж деваться земному льду...  
А я всё помню. И страх, и горе.  
И свет пионов в чужом саду.

04.07.22

\* \* \*

В поезде цыганку укачали  
наши песни полные печали,  
как в кибитке, жизни на краю.  
Ехали в Москву холодным летом  
и негромко пели мы дуэтом  
под гитару старую твою.  
И цыганка из грудей овала  
все свои богатства доставала,  
кочевая дерзкая душа;  
по привычке или от излишка,  
и в горсти звенело золотишко,  
и купюры комкались, шурша.  
– Золота не хочешь, молодая?  
Дай тогда тебе я погадаю.  
Руку дай, не бойся, я не съем.  
И лились бесхитростные речи,  
будут, мол, прощания и встречи,  
с кем на час, а с кем и насовсем.  
Это мы и без гаданий знали  
в тьме дорожной обморока, сна ли.  
А она вдруг молвит наяву,  
заглянув в глаза мне с чувством долга:  
– Дорогая, жить ты будешь долго.  
И, поверив ей, живу, живу...

25.04.23

## ПОЮЩИЕ ВО МГЛЕ

Что глядит на меня в упор  
и нещадно слепит глаза?  
За окном моим детский хор  
робко пробует голоса.  
Сводит песню в один поток  
вдохновляющий дирижер.  
Как над бурной рекой мосток,  
за окном моим детский хор.

Звук летит, оставляя след  
там, где тянется птичий клин.  
Из отверзнутых ртов куплет  
вырастает как исполин,  
крепнет над высотой лесов,  
рвётся тенор в земной простор.  
Безмятежный, как бой часов,  
за окном моим детский хор.

И под сердцем звучит, и над  
в миллион голосов укор –  
как вызывающий к нам набат,  
несмолкаемый этот хор.

22.06.23

## ХАЧКАР\*

Береженого Бог бережет.  
Что же можно сберечь в Карабахе?  
Вот стоит у дороги Ашот,  
старый пасечник в черной папахе.  
Держит в лодочке жесткой руки  
ветку вызревшей сарсапарели.  
Сирота, как и все старики.  
Дети съехали, пчелы сгорели.  
Но остался от ягоды след  
на ладонях, и нету предложения  
видеть крови запекшейся цвет, –  
он старик, и о том знает много.  
Сохраняя терпения дар,  
задубев от работы поденной,  
у дороги стоит как хачкар,  
камнерезами изборожденный.

---

\* Хачкар – «камень-крест», армянский архитектурный памятник, святыня.

Владимир Яськов

## Отголосок

### ПОПЫТКА ЗРЕНИЯ

всё в этой комнате наискосок  
воспоминания сны  
темного прошлого черствый кусок  
с проблесками новизны

взгляды косые косынки с плеча  
синенький скромный платок  
но разучились глаза различать  
вписанное между строк

перевернувшись во рту как в гробу  
саднит опухший язык  
к дальнему берегу молча гребут  
тщетной зубрежки азы

сонное солнце как врач-окулист  
щурится зло из-за туч  
чахлой бегонии крапчатый лист  
ловит растерянный луч

даме пиковой червовый валет  
не причиняет вреда  
и неподвижен как клетчатый плед  
день под названьем среда

взяться пора за остатки ума  
за завешанье засесть  
что остается от лета? зима  
от справедливости? месть

так замечает раскаянья прах  
неисцелимые дни  
так превращается жизнь на глазах  
в сдобренный пеплом ледник

больше никто не заглянет сюда  
ни в микроскоп ни в лорнет  
ты ведь от нас не откажешься, да?  
сжалишься, вспомнишь ведь?..  
— нет

## ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПАМЯТИ Р.

горе как море гонит толпою волны  
темный тягучий бьется в виски прибой  
переменяя медленно полдень в полночь  
вечер уходит в вечность: к себе домой

в вазе забыты белые никнут астры  
всё умирает следует на убой  
станет однажды ясно что всё напрасно  
но не сегодня: мой разговор с тобой

что-нибудь значит и не напрасно начат  
вспомни свой голос: он как «люблю» звучал  
страшно другое: *другую* тобой назначат  
чтобы забыл – как плакала как качал

только вот руки и помнят еще то утро  
тот бесконечный серый пустой рассвет  
плакала долго – плакала так как будто  
пела о чем-то чему объясненья нет

день как нарочно безветрен спокоен светел  
что из-под холмика слышу? – пусти? прости?  
только вот это и есть в этот миг на свете  
свежей земли сырые комки в горсти

## КУПЛЕТЫ О РЫБАЛКЕ

человек по имени сережа  
константин а может быть иван  
достаёт из омота мерёжу  
надевает щуку на кукан

принимает облик имярека  
подпирает щеку кулаком  
дважды (на спор) входит в ту же реку  
трижды произносит кукареку  
запивает водку молоком

и никто ему не растолкует  
господи простому дураку  
для чего он жизнь влачит такую  
для кого кричит кукареку



над водой туман стоит как в бане  
в омуте и омуль и таймень  
все мы братцы шуки на кукане  
у сережи крюк застрял в гортани  
у ивана жабры набекрень

### ЭНТОМОЛОГИЯ

у осы прекрасная осанка  
то стрелой взмывает в небеса  
то как с горки катится на санках  
звонко-полосатая оса

под стрехою сухо плачут осы  
и от ливня воздух полосат  
скоро всех нас как отаву скосит  
осени усталая коса

дождь пройдет – и в воздухе отмытом  
осы расторопные снуют  
оглянись на прошлое: и мы там  
так же сторожили свой уют

так же ныли и круги сужали  
жалили любили как могли  
уловлялись ловкими стрижами  
как простые пчёлы и шмели

но пришел декабрь: то снег то слякоть  
время воровства и дележа  
время спать – и вдруг во сне заплакать  
над цветущей яблоней кружа

### НОЧНОЕ

пламенеют нимбы на иконе  
и синица пинькает про всё  
и в ночном магические кони  
молча верят тем кто их пасет

но однажды посредине ночи  
ты посмотришь в мертвое окно

и поймешь всем телом что помочь им  
никому на свете не дано  
ночь пройдет под звуки канонады  
жизнь уйдет как рукопись в печать  
что мне надо? ничего не надо  
небо  
звезды  
кони  
и печаль

## ПРИМЕЧАНИЕ

как нас здорово натаскали  
книги бабы учителя  
нам бы арии петь в «ла скале»  
в неземном воплощаясь «ля»

но не годные для забавы  
не гораздые для труда  
злы нелепы смешны лукавы  
вечно лезшие не туда

что мы лепим из вязкой глины  
обминая холодный прах?  
в чем таком преуспеть смогли мы  
если каждый во всём неправ?

птицу к песне не приневолишь  
но оставленные тобой  
мы смиряемся для того лишь  
да и бесимся для того

чтобы выйдя навек из моды  
глупо скаля щербатый рот  
расточать напоследок мёды  
от ненужных своих щедрот

## ИЗ ДНЕВНИКА

всё может быть, но истины сплеча  
быть не должно, но правды виноватой  
стыдливый свет без жалости включать  
не следует  
невежда бесноватый

## ВЛАДИМИР ЯСЬКОВ

всё помавает пальцем у виска  
бормочет угрожающее что-то  
всё тшится подоплёку отыскать  
всё сводит с кем-то давешние счёты

как стыдно жить, участвуя во всём  
ходить на службу, ездить на трамвае  
и слушать то, что мы в бреду несем  
коснеющей рукою помавая

## ШПАЛИКОВУ

а люди едят оладьи  
пьют чай изменяют мир  
и изредка на ночь глядя  
читают «войну и мир»

им нет никакого дела  
до всяких наук искусств  
они почитают тело  
и любят арбуза вкус

а также селедку с луком  
и с водочкою пивко  
а всяким искусствам наукам  
до них дойти нелегко

я знаю я сам такой же  
не выспавшийся с утра  
ползет как мороз по коже  
по мне осторожный страх

# ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Геннадий Аляев

## «Война есть физическое проявление духовной болезни»

*Жизнь и война Василия Франка*

...В этой неслыханной по размерам и жестокости войне *истинным победителем окажется тот, кто первый научится прощать.*

*С. Л. Франк*

Вот только шансов на то,  
что хоть одна из сторон сможет это сделать,  
не так уж много.

*Вас. С. Франк*

### Часть 1. Младший сын

Исходным материалом данной публикации является дневник Василия Семёновича Франка (1920–1996) – сына известного философа С.Л. Франка, – который он вел в последние месяцы Второй мировой войны. Уже при беглом чтении этого военного дневника поражает конгениальность ряда мыслей Василия идеям самого Семёна Людвиговича, которые были наиболее концентрированно изложены примерно в это же время в статье «Христианская совесть и реальная политика». Казалось бы, что тут удивительного – сын ретранслирует идеи отца-философа, и это лишь факт биографии и пример воспитания. Однако при более близком знакомстве с личностью Василия и обстоятельствами его жизни, как и жизни его родителей, особенно в период войны (а также возможностей – или невозможностей – коммуникации между ними в это время), мы можем утверждать, что впечатление конгениальности имеет более сложную, а соответственно и более интересную, значимую природу. При всём очевидном влиянии родительского – особенно отцовского – воспитания Василий отнюдь не просто повторял мысли отца; он формулировал свои мысли, он сам осмысливал реальность, и основанием для такого осмысления был его собственный военный опыт. Если он и соглашался с отцом, то это было не механическое повторение, а отыскание той же истины через собственный опыт, который иногда корректировал эту истину.

Но не будем забегать вперед и предвосхищать выводы. Прежде чем говорить собственно о дневнике и прочитав его, расскажем о его авторе, его жизненном и духовном пути, одним из значительных этапов которого стало участие в войне. Сразу нужно отметить, что Василий Семенович оставил очень живые воспоминания – «Русский мальчик в Берлине»<sup>1</sup>; хотя он скромно говорил, что написал их «для своих мальчиков», на самом деле этот текст, безусловно, выходит за рамки чисто биографического и дает яркую картину жизни русских эмигрантов в довоенной Германии. Что же касается послеберлинских – английского, и особенно военного – периодов его жизни, то здесь мы имеем возможность обратиться к его переписке, отрывки из которой также включены в эту публикацию.

### ДЕТСТВО

Василий родился 25 июля 1920 г. в селе Привольном (Варенбург) Трудовой коммуны немцев Поволжья. На самом деле Франки жили в это время в поселке Ровное (Зельман), в 60 верстах южнее по берегу Волги, но Татьяне Сергеевне, видимо, посоветовали хорошего врача («еврей такой – это было очень распространено в России, врачиземцы – евреи. Чехов пишет об этом», – вспоминала она<sup>2</sup>). Решиться на четвертого ребенка было «героическим шагом», особенно в столь тяжелое время («я сказала врачу, что я не могу иметь ребенка, я его погублю»), но всё-таки она пошла на это. Опасения были оправданны: Татьяна чуть не умерла от послеродовых осложнений, и потребовался еще один врач – его привезла мать из Саратова, – и «он меня спас». С ребенком же всё было хорошо: Вася «ел когда хотел и сколько хотел и расцветал, и был совершенно здоровый и прелестный мальчик»<sup>3</sup>.

Художник Иосиф Матусевич сделал несколько шаржированных портретов русских философов на пароходе «Oberbürgermeister Naken» – среди них есть и Франк, окруженный своими детьми, одного из которых он держит на руках. Двухлетний Васюта (как ласково называли его родители), еще не успев запомнить родину, тоже оказался в вынужденной эмиграции. Позднее этот факт – отсутствие памяти о жизни в России до Германии – осмысливался им как важное отличие его жизненного опыта от опыта более старших (на 8-11 лет) братьев и сестры. Василий видел в этом, например, объяснение тех более противоречивых, более запутанных чувств, которые рождались в нем в связи с бомбардировками Берлина, – когда рядом с непроизвольным злорадством, в которое переходила его детская нелюбовь к немцам (особенно к применявшим нацистские методы воспитания гимназическим учителям), возникала печаль в связи с разрушением того места, которое всё-таки было его первым осознанным домом, – и когда ни одно из этих чувств не могло вполне сформироваться и преодолеть другое (Письмо 19<sup>4</sup>).

Младший сын был, конечно, самым любимым ребенком родителей, их «лучиком солнца» («Sonnenschein» – так Л. Бинсвангер в 1937 году назвал своего младшего, Дитриха, а Франк – своего Васеньку<sup>5</sup>). В воспоминаниях Василий отдельно показал свое положение «маленького» в семье, и при этом очень тепло говорил об отце и его роли в своем воспитании. В частности, он писал, как часто, особенно летом, они гуляли или собирали грибы:

«Во время этих прогулок мы с папой не раз говорили по душам, он рассказывал мне о своей юности. Часто заходил разговор на философские темы, многое мне было непонятным, но меня крайне интересовало: что есть бесконечность? что случается с ‘я’, когда мы умираем – умирает ‘я’ вместе со мной или ‘я’ это и есть душа? где есть Бог и что он такое? почему я должен его любить? просто потому, что он любит меня? что такое грех и почему грешить дурно? кто заставляет меня грешить – дьявол? и кто он в таком случае? почему Бог позволяет дьяволу существовать? на самом ли деле он всемогущ, если позволяет дьяволу искушать меня? Я задавал отцу вопросы и о менее философских материях – об истории, географии и морали. Разговоры эти дали мне многое»<sup>6</sup>.

Василий придумал своеобразную игру, которую отец поддерживал: они касались языком ложек друг друга, что означало «обмен нашими ‘я’»:

«Внешне мы оставались сами собой, обмениваясь душами. В моем детском представлении это было настоящим волшебством; изменив свое непостижимое ‘я’, превратиться на время в отца, т.е. стать таким же умным, взрослым. Вот чего я не мог понять, так это его радости по поводу превращения в мое ‘я’. Несмотря на разницу в возрасте, в знаниях, в опыте, мое крошечное ‘я’ было столь же важным и значимым, как и его взрослое, умное ‘я’. Содержанием такого ‘я’ была душа человека, несущая в себе доброту – доброту, а не разум»<sup>7</sup>.

Стоит отметить – учитывая современную популярность различных «философий для детей» – эту способность внешне столь серьезного философа-метафизика «приспосабливать философию к детскому уровню восприятия»<sup>8</sup>. Позднее, уже в годы войны и вынужденной духовной изоляции, у Франка даже зародилось желание писать философские сказки: «Единственное, что хотелось бы сейчас написать – это ‘Сказки дедушки Философа’ для внуков, у меня замечательные идеи на этот счет» (Письмо детям 17 марта 1941); «Может быть, попробую написать свои философские сказки» (Письмо дочери 27 янв. 1942). Об этом же желании он рассказывал Василию во время его приезда в сентябре 1944 г., намечая даже один сюжет, знакомый сыну с детских философских бесед, – о том, как «механизм времени

идет неправильно, и поэтому минута длится столетие, а столетие длится минуту». К сожалению, все эти планы остались лишь мечтами...

Уже детские беседы и игры убеждали Франка, что его младший сын был «интеллектуально одаренным, не лишенным духовных задатков ребенком, подающим определенные надежды» и унаследовавшим склад его ума, – с чем сам Василий, уже умудренный жизненным опытом, категорически не соглашался<sup>9</sup>. Тем не менее тяга к философским размышлениям – но не каким-то заоблачно-абстрактным, а таким, которые непосредственно помогают человеку понять себя и осмыслить окружающий мир, – у Василия, безусловно, была. Только вот «собрать» и «выстроить» свои мысли, довести их до необходимой ясности и глубины у него не получалось – сказывались как недостаток общего образования, так и некоторые особенности характера. Это, конечно, не могло не замечаться отцом, и он не раз писал сыну об этом, попутно помогая «распутать угол в голове»<sup>10</sup> и всё-таки сохраняя свои надежды. Поздравляя Василия с 22-летием, Франк писал: «Твои философские рассуждения всегда очень интересны и, хотя немножко беспомощны по молодости лет, – видно, у тебя мысли рождаются и бродят в голове, но ты еще не умеешь их привести в порядок и держать в узде, но все же сами по себе живые и умные; я рад, что ты в этом смысле мой наследник»<sup>11</sup>.

## УЧЕБА

После начальной школы Василия отдали в немецкую Грюневальд-гимназию – ее выбрал отец, поскольку она пользовалась хорошей репутацией. Однако отношение Василия к учению было сложным. Позднее он самокритично признавал у себя какую-то «страшную телесную и умственную лень, с которой приходится на каждом шагу бороться» (Письмо родителям от 25 июля 1945). Впрочем, с физической культурой дела обстояли как раз хорошо – в своем стремлении быть лучше немцев он достигал успехов прежде всего в футболе, а вот в интеллектуальных дисциплинах учиться лучше немецких одноклассников не получалось. Конечно, в значительной степени на учебе сказывались внешние обстоятельства – младший Франк остро чувствовал, как стужалась в школе нацистская атмосфера, как критериями оценки знаний всё более становились «чистота крови» и идейная преданность, и это совсем не способствовало рвению в учебе. Но надо признать, что усидчивостью, старательностью, терпением и ответственностью в процессе приобретения знаний Василий не обладал. В результате гимназический курс был закончен, так сказать, «с горем пополам», и его «безответственность» в берлинской гимназии была потом постоянным упреком в родительских письмах, когда он уже учился в Англии. Упреки, впрочем, не очень помогли...

Забота об образовании детей была среди главных приоритетов Семёна Людвиговича и Татьяны Сергеевны и подчас определяла семейные планы. При обсуждении возможности переезда в Ковно в 1930 г. (довольно эфемерной, впрочем, и не реализовавшейся) Франк принимал в расчет интересы самого младшего в семье – «Васеньке бы это испортило образовательную дорогу» (Письмо жене 20 сент. 1930). К моменту окончания Василием немецкой гимназии, когда нужно было определяться с этой его дальнейшей дорогой, семья была в тяжелейшем материальном положении, да и прямая угроза жизни в нацистской Германии нарастала с каждым днем. Весной 1937 года, благодаря помощи друга семьи Г.Г. Кульмана, занимавшего высокий пост в Лиге Наций, удалось установить связь с Межведомственным комитетом по оказанию помощи детям из Германии (Inter-Aid Committee for Children from Germany). Секретарь комитета Глэдис Скелтон (Gladys Skelton) писала в апреле Франку: «Я еще не знаю, как мы сможем помочь, но, имея в виду Вашу известность как философа, мы заинтересованы в Вашем сыне». В результате Василий получил стипендию и английскую визу, и 25 октября 1937 г. – первым из семьи – уехал в Лондон.

Родители очень надеялись, что Василию удастся поступить в какой-нибудь Polytechnic – они уже видели его настоящим английским инженером. Стипендия, однако, была рассчитана скорее на завершение школьного образования и какое-то краткое профессиональное обучение, например – «коммерческому делу». К тому же для политехнической специализации необходимо было основательно подготовиться по физике и математике, заполнив гимназические пробелы, но к точным наукам Василия, видимо, не лежала. Зато он увлекался живописью и уже сам попытался направить усилия своих грантодателей в близкое этому увлечению русло – «рисовать плакаты, реклама; это художественная работа». Он поступил в школу рисования, однако пробыл там всего неделю – хотя профессор похвалил его «в рисовании акта и копировании античных статуй» (Aкт в немецком языке – искусствоведческий термин, обозначающий обнаженную натуру), но директор посчитал, что у него «не потрясающий талант именно к рекламному рисованию» (Письмо родителям от 18 нояб. 1937). В результате Василий проучился несколько месяцев в обычной английской школе, но его успехи в учебе там, судя по переписке с родителями, были весьма проблематичны («мы оба с мамой и страшно огорчены, и сердиты на тебя», «Глеб [Струве] пишет, что ты больше интересовался романами в школе, чем учением», «в комитете считают, что ты ‘с ленцой’, да мы и сами знали, что это так» (Письма С.Л. Франка к Василию от 3 и 14 июня 1938).

Следующий год ушел на в целом бесплодные поиски и случайные заработки – родители предлагали то «фильмовое дело» или автомо-



бильное, то «радио-промышленность (broadcast industry)» или литографию, то строительство или бактериологию; на практике же это оборачивалось тем, чтобы «продавать где-нибудь, или в гараже работать, или на фабрике». Осенью 1939 г. Василий все-таки поступил еще в одну школу, рассчитывая прежде всего на «курс литографии и типографии». Но курс был рассчитан на три года, а к этому он был не готов. Он спорил с директором, который сжал его за «самые элементарные вещи, вроде как буквы, орнаменты, рисунки из головы», а на возмущения Василия отвечал, что «я мол еще ни черта не знаю, что мне по крайней мере еще надо год или ½ года рисовать стулья и домики перед тем, как даст мне возможность заниматься литографией, типографией и даже актами». Родители, а также и сестра Наталья с мужем Полем, у которых он жил, убеждали Василия проявить терпение и выдержку, но это было выше его сил: «Я не могу еще 3 года просидеть в школе и не зарабатывать. Выйду 23-летним парнем. Что же это такое?» (Письмо родителям от 2 нояб. 1939). С директором школы, кстати, Василий в результате подружился и ездил потом к нему в гости. А вопрос со сроком обучения по-своему разрешила война.

Увлечение рисованием проявилось у Василия еще в детстве: «Когда мне исполнилось 9 лет, я решил стать художником»<sup>12</sup>. Семён Франк обратился за советом к своему сводному брату Льву Заку, опытному художнику и декоратору, и тот оценил рисунки племянника очень обнадеживающе: «Что меня в них больше всего поражает, это необыкновенная серьезность, какой-то суровый и несколько саркастический дух – обыкновенно дети рисуют очень декоративно, и их мало заботит передача характера, а у вашего Васеньки совсем другое. Так что для детского рисунка это прежде всего чрезвычайно оригинально, и я думаю, эта оригинальность не случайна, а соответствует какой-то внутренней оригинальности»<sup>13</sup>.

Однако пример самого «дяди Лёвы», семья которого, по воспоминаниям его дочери Ирины, до войны жила «если не в нищете, то всё же в настоящей бедности» (лишь после войны он стал не только знаменитым, но и относительно финансово успешным художником), заставлял родителей относиться к этому увлечению с недоверием. В феврале 1940 г. Франк просил старших детей в Лондоне основательно обсудить Васютино будущее, он писал:

«Очевидно, сейчас он учится просто чистой живописи; это очень приятно, но ему грозит тогда судьба Лёвы. <...> Мы с мамой считаем, что нет никакой надобности искать ему прикладной специальности в связи с искусством, что и трудно, и может быть ему даже и неинтересно, а нужно, совершенно независимо от живописи, научиться какому-нибудь техническому (в широком смысле) знанию. <...> Васютка уже из патриотических мотивов должен ревностно заняться каким-нибудь прикладным учением, чтобы после конца большевизма участвовать в возрождении России».

Подобные уговоры, очевидно, не очень действовали – Василий признавал в воспоминаниях, что, почувствовав свободу в 17 лет, он в значительной степени вышел из-под влияния семьи, и «даже непрекаемый в прежние годы авторитет отца не смог устоять перед обычной юношеской тягой к ‘освобождению’, к ‘самостоятельности’»<sup>14</sup>. Впрочем, в одном из подобных самостоятельных планов авторитет отца, очевидно, всё-таки удержал от крайне неразумных действий. Получив письмо от Василия, в котором тот писал, что «может быть скоро поедет кружным путем через Финляндию в Россию», Франк в письме к дочери буквально кричал: «Пожалуйста, имей в виду ты, Васюта и вы все, что *все без исключения* попытки нелегально приехать в Советскую Россию *доселе проваливались*: мнимые сотрудники в России оказывались агентами ГПУ и люди прямо попадали в их лапы!» (Письмо дочери 8-9 февр. 1940).

#### ПОЛИТИЧЕСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА

Этот эпизод был связан с увлечением Василия так называемыми «нацмалычками». Ни в переписке, ни в воспоминаниях не уточнятся, о ком идет речь, но очевидно, что это была «ранняя версия» Народно-Трудового союза, существовавшая в 1930-е годы как «Национальный союз русской молодежи за рубежом» или «Национально-трудовой союз нового поколения». Это увлечение генетически было связано с участием Василия-гимназиста в скаутском движении – силой, воспитывавшей так не хватавшую подростку-эмигранту «русскость»: «Идеи скаутского движения способствовали воспитанию моего юношеского патриотизма; я всей душой стремился к России»<sup>15</sup>. Но в 1937 г. это движение в Германии прекратило существование, да и Василий уже вырос из него; поэтому, приехав в Лондон, он просил оставшегося в Берлине Виктора организовать ему «рекомендательное письмо» к местным «нацмалычкам» – «а то мне без русских ужасно нудно на душе» (Письмо родителям от 23 нояб. 1937). Видимо, связи наладились не сразу, а только после переезда в Лондон Виктора (он имел контакты в этой среде – так, среди его берлинских друзей был Роман Редлих, позднее ставший одним из идеологов Народно-Трудового союза). И в конце 1939 г. Василий, как бы между прочим, сообщил родителям, что вступил в эту организацию и «клятву дал», и собирается работать для России, поскольку: «Я не коммунист, не капиталист, не фашист, не демократ, а первым делом Русский» (Письмо 4).

Такой оборот дела не на шутку взволновал родителей. Франк обращался к старшему сыну с просьбой пояснить, каков характер этой организации в Англии: «Я думаю, ты знаешь, что в Париже они пользуются очень плохой репутацией. В Англии, конечно, всё невинно – но я надеюсь, что они там не занимаются никакими конспира-

тивными делами, а то Васька по глупости может еще влететь. Напиши, кто такие конкретно в Лондоне эти нацмальчики и что они делают, и хоть издали руководи разумно Васютой» (Письмо к Виктору от 6 янв. 1940).

Самому Васюте родители писали письма, призывая его к терпению, убеждая его, что задача эмигрантской молодежи – прежде всего получать образование для того, чтобы послужить *новой России*, возвращение в которую уже не за горами (Письмо 5). Здесь нужно напомнить, что в первые годы эмиграции мысль о скором возвращении на родину была достаточно распространенной, и Франк, в частности, видел основную задачу своей работы с эмигрантской молодежью – в Религиозно-философской академии, в христианских кружках и Русском научном институте – именно в нравственно-культурной и образовательной подготовке молодежи для возвращения в Россию, когда там изменится политический режим. Режим, однако, если и менялся, то в худшую сторону, время шло, молодежь взрослела и устраивалась в жизни, приспосабливаясь и ассимилируясь, всё менее думая о каком-то гипотетическом возвращении. Менялись и запросы подрастающего уже в эмиграции поколения. Сам Франк хорошо почувствовал это уже на рубеже 20–30-х годов, когда «новое подраставшее юношество» стало проявлять «мало интеллектуальных и религиозных интересов», и работа с подростками в русском христианском движении пошла «по пути ‘скаутизма’», когда «религиозно-философские лекции и кружковые беседы стали только несущественным и мало ценным добавлением к главным занятиям и интересам этой молодежи – спорту, лагерной жизни, хоровому пению и прочему»<sup>16</sup>. Пример, как говорится, был налицо – собственный младший сын. Но в то же время как раз скаутское движение защищало от ассимиляции и воспитывало любовь к России, и эта любовь вела некоторых наиболее активных и нетерпеливых к практическим действиям «для России», включая попытки нелегального проникновения в Советский Союз (очевидно, что Франк знал о конкретных результатах таких попыток, когда писал детям о провокациях ГПУ).

Можно думать, что Василий был в дальнейшем благодарен родителям за то, что удержали его от опрометчивого шага. Уже в послевоенной Италии, в сентябре 1945 г. он встретился в Венеции с четой русских евреев, бежавших из Югославии «от Тито». Из их рассказов он узнавал о судьбах тех, с кем ранее связывал себя клятвой:

«В Югославии идет систематическая бойня русской эмиграции. Люди массами расстреливаются, ссылаются и, как ни странно, спасают их, поскольку могут, русские, т.е. советские власти. Пострадали все, но главным образом нацмальчики, которые глупо себя вели, были главной силой за этим знаменитым генералом Власовым, и их, и всех тех, связанных с нацмальчиками, безжалостно истребляют» (Письмо родителям от 17 сент. 1945).

Параллельно с национально-патриотическими идеями у Василия по приезде в Англию было еще одно идейно-политическое увлечение, о котором он, очевидно, писал родителям в не дошедшем до нас письме, на которое отец ответил 30 апреля 1938 г.: «Что касается твоего ‘коммунизма’, то не мучайся этим – это просто путаница в голове» (Письмо 1). Действительно, то был не «коммунизм» марксистско-большевистский, а в форме фабианского социализма – естественное человеческое стремление к правде и справедливости, что прекрасно почувствовал С.Л. Франк, поскольку и сам имел подобный опыт. Со временем Василий достаточно ясно отразил природу этого своего увлечения, которое всё-таки на определенном этапе порождало расхождение позиций между ним и отцом в отношении отдельных событий (например, в оценке гражданской войны в Испании):

«Оказавшись в Англии, я вскоре попал под влияние фабианства с его простым рецептом сделать человечество счастливым через посредство чисто экономических мер, весьма по своей сути несложных, а проще говоря – социалистических. Это влияние, источником которого был круг моего тогдашнего общения, попало на благодатную почву здорового юношеского радикализма, в силу которого всякий думающий юноша и всякая девушка становятся социалистами если и не в прямом смысле слова, то хотя бы попадают в чисто эмоциональную зависимость от социалистических идей. <...> Если в 20 лет человек не социалист, значит он либо негодяй, либо идиот; если он и в 30 лет остается социалистом, он также или негодяй, или идиот. Это один из моих любимых каламбуров»<sup>17</sup>.

Не оставшись «социалистом» в идейно-политическом смысле, Василий остался человеком, который остро чувствует социальную несправедливость, который искренне сострадает страждущим и угнетенным и готов не только им чем-то помочь, но и быть на их стороне, быть со страждущими, а не с теми, кто заставляет страдать других. Такая социальная эмпатия, конечно, была заложена воспитанием в семье, но затем получила мощные импульсы в собственном, особенно военном, опыте. Неслучайно так близко, как свою собственную, воспринял Василий в сентябре 1944 г. мысль отца о том, что надо «быть на стороне тех, кто страдает», – «независимо от национальности, независимо от того, правы они или нет, хорошие или плохие». Ему было действительно стыдно чувствовать себя «капиталистом», находясь, в качестве военного, на полном государственном обеспечении, в том числе неплохо питаясь, когда вокруг – в освобожденных от оккупации Италии и Франции – царили голод и разруха: «...это слишком удобно, я снова миллионер, который ест гуся на глазах у голодного человека» (Письмо родителям от 11 февр. 1945). И при всей радости быть в побеждающей армии, сражающейся на стороне добра, ему становилось жаль немцев, когда их начинали «бить со всех сторон», и он

страшно боялся оказаться после войны в Германии «в роли победителя» среди «разрушенных домов и разрушенных людей», потому что «морально неприятно быть победителем, т.е. быть в кругу людей, которые тебя боятся» (Письмо к Наталье от 6 авг. 1945). Нужно здесь подчеркнуть, что это не было, конечно, «состраданием» к нацизму – нацизм Василий ненавидел. Он категорически не принимал идею диктатуры, подавляющей свободу человека (как в нацизме, так и в большевизме), и идею превосходства «по крови» одних людей над другими.

Обостренное чувство социальной справедливости имело не только, а возможно и не столько идейно-политическую, сколько религиозную природу. Собственно, вера религиозная и политическая тесно переплетались в сознании Василия, о чем свидетельствует его переписка с отцом по религиозным вопросам летом и осенью 1941 года (Письмо 12). Эта переписка говорит также и о напряженных духовных исканиях, а подчас и сомнениях. Во всяком случае, Василий никогда не был фанатиком или догматиком веры (поэтому в общении с женой брата Виктора Лорной – истовой католичкой – он чувствовал себя «еретиком»). Для него были важны не столько догматические вопросы, сколько то, как отвечает вера на насущные жизненные вызовы, как она помогает человеку ориентироваться в сложных, подчас трагичных жизненных ситуациях. Для него была важна детская память о том, как мама водила его в церковь на богослужения Страстной Недели и на Пасху. В конечном счете, именно опыт войны, осмысление его через призму христианской морали и даже ясное осознание реальной невозможности того, чтобы эта мораль была реализована на практике, – все эти чувства и переживания привели его к внезапному ощущению, что он «стал религиозным человеком», что «духовное чувство» веры «наконец дошло до ума» (Дневник, запись 2 мая 1945 г.). Именно в этом духовном чувстве он видел единственную гарантию от той всеразрушающей ненависти, которая породила и продолжала порождать зло войны.

## ИСКУССТВО

Увлечение рисованием со временем приобрело у Василия более широкий характер страсти к искусству, причем не только в форме какого-либо творчества, но и в форме попытки осмыслить сам процесс творчества. Эту тенденцию сразу отметила Наталья, общаясь с братом в Лондоне осенью 1938 г., после года разлуки:

«В Ваське воскресла его детская страсть к искусству, он очень много понимает, у него страшно интересные мысли об искусстве, и сейчас он начал лепить. Слепил большую, очень, очень неплохую голову. На днях мы все втроем всю ночь поспорили с Полем об искусстве, гении и т.д. Полина точка зрения: искусство и сам Künstler зависит от людей. Только от того, что люди

признали его гением, – он гений. Мы с Васькой отстаивали точку зрения, что Kunst есть Kunst an sich. – Не знаю, я кажется очень плохо выразила это, но в общем мы чуть не подрались» (Письмо матери от 13 окт. 1938).

Новым импульсом к этому интересу стало знакомство с Александрой Эстер летом 1939 г., когда Василий приезжал к родителям в Фонтене-о-Роз. Эстер дала ему несколько уроков композиции, он рисовал по ее заданиям, она рекомендовала его в лондонскую школу Амеде Озанфана (куда Василий так и не попал), но началась война, и контакт был утрачен. Впрочем, и здесь он самокритично признавал потом, что «был плохим учеником» и не понимал, насколько неповторимым художником она была и как много могла бы ему дать<sup>18</sup>.

Именно в русле этого интереса Василия появляются в его переписке с родителями «философские письма». Как и в детстве, во время летних прогулок, он обращается к отцу с мировоззренческими вопросами, но теперь он уже выражает и свою позицию, может сам рассуждать об искусстве и искать в нем философский смысл (Письмо 2). И хотя его позиция еще недостаточно обоснована и подчас подвержена изменениям, она вызывает неподдельный интерес у отца-философа, который отвечает сыну уже не языком «философских сказок», а языком ключевых понятий своей метафизики, описывая диалектику «действительности» и «реальности» (Письмо 3). Василий даже испробовал по-настоящему собственное перо и написал несколько статей об искусстве, которые печатал в каком-то «a small magazine on art» (видимо, левого направления – найти эти статьи пока не удалось), – он гордился ими и, конечно, высылал отцу. Процесс писания поразил его:

«Писать и излагать идеи на бумаге, где они становятся ясными, а не держать их в голове, беспорядочными и неорганизованными, – это чудесное удовольствие. Как только идея записана, в моей голове появляется какая-то приятная пустота или незаполненное пространство, как будто в ней освободилось место для новой идеи. Я только сейчас понимаю, папа, какое удовольствие доставляет тебе писать» (Письмо родителям от 1 дек. 1940).

Как раз в эти предвоенные и военные годы сам С.Л. Франк пытался развить и высказать свою «основную онтологическую интуицию», которую видел теперь в том, что «сущность бытия и жизни есть творчество, формирование, воплощение, внедрение творящего идеального начала в косную ‘материю’»<sup>19</sup>. Конечно, это развитие определялось прежде всего внутренней логикой его собственной философской мысли, но как же он был обрадован, когда его младший сын самостоятельно выработал «те же идеи, к которым я пришел только в последние годы» (Письмо к Наталье и Василию от 16 мая 1941). Философ готов был признать если и не влияние на него

сына, то уж точно конгениальность мыслей: «У меня много идей в голове, хотелось бы написать книгу ‘Философия творчества’ (это тема Васи – творчество как выражение духа – во всех областях – творение мира, биологическое творение, язык, искусство и т.д.)!» (Письмо детям 3-4 июня 1941).

Конечно, и в этом увлечении Василия сказывалась характерная неосновательность – в воспоминаниях, например, он честно признавал: «У меня собралось несколько книг [по истории искусства] (которые я так и не прочитал, просмотрев лишь репродукции)»<sup>20</sup>. И всё-таки этот интерес был живым и плодотворным. Василий любил бывать в музеях еще в Берлине (где даже выступал «экскурсоводом» – то с Л.П. Карсавиным, то с балетной труппой брата Алексея), потом в Англии, а затем – в только что освобожденной Италии, где использовал любые возможности для того, чтобы вживую увидеть хорошо знакомые по репродукциям достопримечательности Рима, Флоренции, Равенны, Ассизи, Венеции... В письмах к родителям, сестре и брату (и в дневнике) он с восхищением описывал свои встречи с его любимым итальянским Ренессансом и лишь сокрушался, что «статуи Donatello и Michelangelo увезены, а Uffizi закрыт», большинство лучших фресок Джотто и его школы замурованы. При этом непосредственное знакомство с любимыми шедеврами рождало в нем нестандартные мысли:

«В итальянском Возрождении есть что-то настолько невероятно прекрасное и простое, что это напоминает мне Моцарта. Это должно было произойти, это не требовало усилий, это не было создано, это выросло. Здесь есть нечто гораздо более сильное, чем неизбежность, как у Бетховена или даже Баха. Та же исключительная невинность и наивность, что и в Моцарте. Меня также поразило отсутствие трагизма. Они, как и Моцарт, были неспособны к печали и трагедии. На фресках Джотто и Симоне Мартини вы найдете плачущую Деву, на фресках Боттичелли – никогда. В этом есть, конечно, на мой взгляд, определенная фальшь, но она, я думаю, сродни детской неспособности постичь печаль» (Письмо родителям от 21 апр. 1945).

Главный же вывод: это великое искусство есть своеобразное предупреждение от человеческого зла, и в то же время – некая гарантия от него. «В эти времена физического и морального разрушения и презрения к жизни и людям мы должны воспитывать в себе, помимо очевидного гуманизма, чувство благодарности к прекрасному творению», – писал Василий в мае 1945-го, и добавлял: «Если есть коллективная ответственность и коллективный грех, то должно быть и общее, коллективное богатство, которое я вижу, ценю и познаю в Италии, Греции».

Сравнение изобразительного искусства с музыкой было, конечно, не случайным. Музыка постоянно присутствовала в доме Франков, причем в разных формах – сам философ любил и постоянно

играл на фортепьяно, исполняя Шуберта, Бетховена, Баха, Чайковского; под этот аккомпанемент Виктор и Василий исполняли арии из опер Мусоргского и Чайковского или песенные циклы Шуберта; мать очень любила пение церковного хора и также приучала к нему детей; пели в семье и обычные – народные и популярные – песни. Новые музыкальные горизонты Василий открыл, познакомившись с богатой коллекцией пластинок Поля Скорера, – общее увлечение музыкой стало одной из крепких духовных нитей, связавшей их. «От Поля было несколько писем. У нас с ним началась дикая переписка о музыке. Интересно и приятно опять пописать не чепуху», – сообщал Василий сестре в письме 2 сент. 1943 г., еще не зная, что она уже получила сообщение о смерти мужа...

Место для музыки оставалось и на войне. Непременным атрибутом встреч с русскими (об этих встречах еще будет идти речь) было исполнение, иногда многочасовое, «наших» песен. В Тунисе Василий встретил русского инженера, эмигрировавшего в 1920 г., – и «мы в течение 4 часов дружно пели песни. Он знает все наши песни, и это так напоминает мне старые времена, когда Алеша, Виктор и я пели вместе» (Письмо к Наталье и Виктору от 28 марта 1943). А вскоре, вновь из Туниса, пишет Виктору, как научился у местных русских «чудной новой песне ‘Катюша’» и высылает ему не только запомнившиеся слова, но и нотную запись с самостоятельно подобранной мелодией (Письмо к Виктору от 23 июня 1943).

«Я хотел бы изучать историю музыки. Музыку я люблю, кое-что понимаю, но ничего не знаю», – писал он Виктору летом 1944 г. и просил подобрать для него какой-нибудь дистанционный курс на эту тему, одновременно взявшись за изучение историко-музыкального компендиума «Musical Companion» под редакцией Альфреда Бахараха. Однако со временем приходило понимание того, что каким бы глубоким и важным для него самого ни было это увлечение, оно остается только увлечением и не может стать средством заработка. «История искусства и музыки, как бы мне ни хотелось, по-моему, не стоит Академической работой, поскольку я знаю, в Англии не проживешь», – писал он родителям в июле 1945-го, размышляя над тем, как использовать стипендию на обучение, положенную после демобилизации.

Вообще, для Василия непрерываемым умственным авторитетом был не только отец – здесь авторитет был абсолютным, – но и старший брат Виктор, и Василий не стремился догнать или превзойти эти авторитеты, честно признавая свою меньшую образованность. Он всегда опирался на них, учился у отца и брата и просил у них помощи, что – вместе с безусловно развитой у него саморефлексией и способностью критически мыслить – если и не заменило ему так и не полученного высшего образования, то, во всяком случае, обеспечило вполне приличный культурно-интеллектуальный уровень.



Конечно, огромную роль в этом отношении сыграли книги. Василий очень любил читать, читал взахлёб и быстро, и литературу самую разную – от дешевых детективов про капитана Шарка (это, конечно, в детстве, но и потом любил детективы) до романов Толстого и Достоевского, до высоких творений Гёте и Гёльдерлина. Он сам иногда удивлялся, какое «странное» сочетание стилей и жанров могло одновременно занимать его интерес: «Я купил письма Гёте к Фредерике фон Штайн, ‘Le spleen de Paris’ Бодлера (которая мне не нравится) и ‘Terre des hommes’ Сент-Экзюпери. Странное сочетание» (Письмо родителям от 11 февр. 1945). «Мне нечего читать, и я начал перечитывать свои старые книги, Платона, Гёте, Историю музыки, вашего Пушкина и Пеги, Бодлера и т.д.» (Письмо родителям от 14 марта 1945). «Но здесь есть хорошая библиотека, и в данный момент я имею всё, что мне нужно, но читаю и перечитываю английскую литературу. Диккенс, Теккерей, Вальтер Патер, Скотт, Джордж Эллиот. Странное сочетание, но лучше, чем ничего» (Письмо родителям от 15 апр. 1945).

Первое знакомство с русской классической литературой Василий получил от Виктора, который читал младшим вслух. Чтение русской классики в дальнейшем рождало не только чувство любви к незнакомой родине, но и неповторимое чувство семейного уюта. «Я много читаю, начал заново перечитывать русскую классику и чувствую, что каким-то образом снова переносусь в то время, когда мы все жили вместе и совершенно не понимали, насколько мы на самом деле счастливы», – писал он родителям в начале 1941 года. Именно старшему брату Василий был благодарен за «верные ориентиры в мире русской поэзии» – помимо классики, это были Николай Гумилев, Анна Ахматова, Сергей Есенин. На всю жизнь сохранил Василий рождественский подарок брата в 1938 году – тетрадь с каллиграфически переписанными стихами А. Блока о России.

Отец же запомнился младшему сыну тем, что он, «приветствуя мое желание знать русский язык, историю, литературу, культуру, знать и любить всё это, как любит всякий русский человек, настаивал тем не менее и на необходимости узнать и понять культуру немецкую, которую он всегда ценил весьма высоко»<sup>21</sup>. Прежде всего благодаря отцу Василий мог говорить: «Я русский с западной европейской культурой» (Письмо родителям от 19 июня 1945). В первую очередь речь шла о немецкой литературе – Гёте и Шиллер, Гёльдерлин и Рильке, и многое другое. И вот что замечательно: участвуя в войне против Германии, Василий Франк не воевал против немецкой культуры (только музыка Вагнера осталась для него навсегда отмеченной ее привлечением «плод знамена нацизма», но он жалел, что это впечатление помешало ему по достоинству оценить этого композитора<sup>22</sup>), он не отменял немецкую литературу, – скорее наоборот, находил в ней духовные силы противостоять окружающему злу:

«Но даже и во время боев, когда столько раз смерть была совсем рядом, для того, чтобы перебороть охвативший меня страх, я шептал вполголоса строки Гёте, Шиллера и Гёльдерлина. Я знал, я чувствовал, что та Германия, которая сбрасывает бомбы, – это не настоящая Германия. Я был той точкой, где соединились любовь и ненависть к Германии и к немцам»<sup>23</sup>.

Это позднее свидетельство воспоминаний подтверждается военными письмами: «Возможно ли достать что-нибудь в Англии Hölderlin'a или о нем. Я нашел том его стихов, часть его 'Diotima' и писем, и в диком восторге. Читаю опять Шиллера – Jungfrau v. Orlean, Wilhelm Tell, Goethe – Faust и Iphigenie auf Tauris, Götz von Berlichingen, Hoffmann, Schlegel, Hegel, Lessing'a Minna von Barnhelm и вспоминаются мне мои Берлинские школьные дни» (Письмо к Виктору от 12 нояб. 1943).

С приездом в Англию в 1937 г. круг чтения Василия расширился, прежде всего, за счет английской литературы (среди любимых писателей были, в частности, Д. Лоуренс и Г. Честертон), но не только. Его переписка (особенно с Виктором, на чей литературный вкус он продолжал полагаться) дает в этом отношении яркую картину. Вот несколько примеров:

«Я много читаю английской литературы, прочитал много недавно умершего ирландского писателя James Joyce. Очень интересно» (Письмо родителям от 13 авг. 1941).

«Интересно читать Maurois<sup>24</sup> о английских поэтах, какой он сам пошляк. Когда я читал его биографию Shelley 'Ariel'<sup>25</sup>, на меня находила тошнота. В нем что-то Смердюковское есть, что-то прилизанное, невероятно вульгарное, скользкое. Но читать, как-то стыдно сказать, его интересно» (Письмо к Виктору от 13 апр. 1942).

«Сейчас читаю, хотя к несчастью по-английски, 'Миросозерцание Достоевского' Николая Александровича Бердяева, и в большом я от этой книги восторге. Все еще увлекаюсь Lawrence'ом, и чем больше его читаю, тем больше уверяюсь, что в конце концов, он в очень многом был прав. Да не только истина в нем привлекательна, но и искренность и наивность. Nuxley о нем пишет, что в то время, как он писал 'Lady Chatterley', он читал мемуары Казановы и был искренно возмущен грязью и неприличию этой книги. И он ведь прав. Вы вот никогда не видали и не знали душевной и моральной грязи, а я теперь, проживший полгода в бесконечно вульгарной атмосфере, вижу и чувю, и научился ценить чистоту и глубочайшую истину Лоренских идей» (Письмо родителям от 2 мая 1942).

«Нашел 'Анну Каренину' и читаю, восхищаясь» (Письмо к Наталье от 30 марта 1943).

«Сейчас читаю А. Франса 'La Rôtisserie de la reine Pédauque'. Особенно после 'Grey Eminence' Хаксли это чрезвычайно интересно» (Письмо к Наталье и Виктору от 21 апр. 1943).

«Я перечитываю 'Orlando' В. Вульф. Какая это чудесная книга! Пришли мне еще что-нибудь из ее произведений, если это можно достать. <...> У тебя

есть какой-нибудь Шиллер? Я читаю его 'Die Bürgschaft'. Прочитай» (Письмо к Виктору от 25 авг. 1943).

«Ты спрашиваешь меня о книгах и вообще о том, чего я хочу. Книги, Виктор, да. Что? Я бы хотел Э. М. Форстера (твоя книга была авторства К. С. Форстера. Он мне нравится, но у него, кроме неправильных инициалов, есть еще буква 'e'). Что угодно, кроме 'Howards End' и 'Passage to India'. А также Вирджиния Вульф, s'il vous plait. Опять же всё, кроме 'Orlando'. Кафка, если есть поблизости и недорого. Пингвиновский<sup>26</sup> детектив – романы и всякое свежее, что может заполнить мое время. Могу ли я достать книгу Глеба [Струве] или она того не стоит? Во мне живет варварское представление, что приятно читать книгу просто потому, что случайно знаком с автором. Я умираю по русским книгам. У меня нет ничего, кроме твоей 'Oxford Book of R[ussian] Verse'<sup>27</sup>. В целом, Виктор, запрос на количество, а не на качество. Если что-нибудь Вирджинии Вульф стоит 5 шиллингов, пришли мне лучше 10 пингвинов. Но я полагаюсь на твой вкус» (Письмо к Виктору от 3 мая 1944).

Подобные цитаты можно продолжить (есть об этом и в дневнике). Но здесь может возникнуть резонное недоумение. Похоже, у Василия было много свободного времени и вполне подходящие условия, чтобы активно заниматься чтением и самообразованием, находясь на фронте. Как это было возможно? Каков вообще был характер его службы?

## АРМИЯ

Василий Франк принял решение пойти добровольцем в британскую армию на рубеже 1940–1941 года (как и у всех членов семьи, у него был еще советский паспорт, и призыв на него не распространялся, да и с добровольным зачислением в связи с этим были проблемы). Хотя он и писал родителям, что решение принимал не от безделья, однако несомненно, что отсутствие работы и жизненная неустроенность были важными факторами. В то же время не пустыми, конечно, были и его слова о долге как «представителя человечества» – он действительно ощущал войну как касающуюся его лично, как свое собственное дело, он не мог оставаться в стороне и был «морально призван» (Письмо 9). Он ясно почувствовал, что это «была моя война», и что он «не в праве не принять реального участия в деле приближения победы»<sup>28</sup>.

Понимая, как это решение воспримут родители, сам Василий и Наталья в письмах к ним писали о будущей службе туманно (впрочем, и сами конкретно о ней еще не знали), акцентируя внимание лишь на том, что она, скорее всего, будет связана со знанием языков, а значит, будет не столь опасна. Это сыграло свою роль, и после первой, довольно решительной попытки отговорить сына (Письмо 7), родители всё-таки благословили его. В феврале 1941 г. Василий записался в Royal Air Force (RAF) – Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.

Василий надеялся, что его призовут на службу уже через пару месяцев, однако время шло, а о нем как бы забыли. Вот уже произошло и нападение Германии на Советский Союз, что в еще большей степени разогрело его чувство «своей войны» и чувство русскости: «затронуло где-то глубоко, и больно стало за Россию, за всё страдание, и стыдно стало, как путали ее с режимом» (Письмо родителям от 26 июня 1941), – а призыва всё не было. Наконец, 31 октября 1941 г. он стал в ряды «defender'ов of Democрасу», как писал брату. Он начал учиться на радиооператора (телеграфиста), и поначалу всё шло хорошо, однако последний экзамен по азбуке Морзе Василий неожиданно завалил. Причиной послужил... его любимый Шуберт: «вдруг во время экзамена пришла в голову мелодия из Schubert'ской 5-й симфонии. Я ее тотчас же прогнал, но в это время две буквы пропустил. Этим самым закончил свою карьеру Wireless-Operator'a» (Письмо к Виктору от 23 янв. 1942).

Некоторое время после этого военная судьба Василия не имела четкого вектора; он побывал на нескольких авиабазах, где приходилось делать «всякую грязную и негрязную работу». Правда, эти скитания давали богатый опыт общения и пищу для размышлений его пытливому и наблюдательному уму (Письмо 13). Весной 1942 года Василий переболел менингитом, после чего ему вновь пришлось за пару месяцев сменить несколько мест службы, точнее – учебы. Но дальнейшие перспективы стали более определёнными. Знание языков – прежде всего, немецкого, – сыграло свою роль. Василий прошел курсы радиоразведки RAF; так, одним из мест его подготовки была школа в Ньюболде (Newbold Revel) – RAF 'Y' Service Secret Intelligence and German Telephony Communications Base, – где также проходили обучение немцы и немецкие евреи, эмигрировавшие в предыдущие годы из Германии<sup>29</sup>. Уже летом перспектива отправки на фронт стала более определенной. В это же время появилась надежда, что родителям удастся покинуть Францию и перебраться в Англию, и Василий даже писал прошение об отсрочке отправки на фронт по семейным обстоятельствам – до приезда родителей. Приезд этот, однако, всё откладывался, а вскоре вопрос об отсрочке стал неактуальным. В конце октября начался его «tour of overseas duties» – британская флотилия направилась к берегам Северной Африки.

Свою военную службу Василий Франк нес в небольшом подразделении воздушной радиоразведки. Вспоминая об этом в интервью через 50 лет, он рассказывал: «Сидели, крутили радио, ловили немецкие самолеты, записывали, и сразу, если было что-нибудь такое интересное, передавали в наш 'control room', которые сообщали, что мы записывали немецкие разговоры, так что наши самолеты знали через две-три минуты о том, что сказали немцы». Как правило, это подразделение располагалось на определенном расстоянии от линии фронта, поэтому Василий не очень лукавил, стараясь убедить в письмах

сестру Наталью, а когда стало возможным – и родителей, что он «в полной безопасности»; но всё-таки опасность, конечно, присутствовала. Траектория его службы выглядела так. С ноября 1942 г. по начало июля 1943 г. он находился в Северной Африке – в Алжире (Алжир и Аннаба – «там шла довольно сильная бомбежка на аэродром и гавань, нас не тронуло») (Письмо к Наталье от 3 июня 1945) и в Тунисе. В июле 1943 г. участвовал в высадке на Сицилии, а в сентябре – в высадке возле Солерно («там было туго около недели»). В дальнейшем он служил в разных местах Италии (Неаполь, Бари, Форли, уже после окончания войны – Удине), а также на Корсике (март – август 1944 г.). В сентябре 1944 г. он был в Южной Франции, а в конце 1944-го – начале 1945-го – в Греции.

Первые военные впечатления Василия – «вечно голодные глаза и протянутые руки» детей – вызывали естественную реакцию: «Этого я не прощу немцам» (Письмо 15). Он был рад бороться «против того, против чего нельзя не бороться». Он воспринимал миссию, в которой участвовал, как «защиту мечом самого святого» (что характерно – словами немецкого поэта Т. Кёрнера). Но очень скоро его размышления о немцах и ответственности Германии приобретают более сложный и неоднозначный характер. Очевидно, что эти размышления рождались как из непосредственных впечатлений (чувства жалости к пленным немцам в Тунисе, например), так и из несогласия со взглядами своих сослуживцев, чье отношение к войне подчас его коробило. Именно из этих «почти убийственных дискуссий» родилось письмо к брату 18 марта 1943 г., которое в значительной степени предвосхитило тематику будущего дневника. Не оправдывая немцев и не снимая с них ответственности, Василий убежденно отстаивает мысль об общей, коллективной ответственности за существующее зло – не немцев, евреев или какого-либо еще сорта людей, а человечества в целом, человека как такового. Невинных нет, и если непосредственные убийцы более виновны, то в то же время они – лишь инструменты осуществления той *идеи зла*, которую породило человечество, и поэтому каждый виновен в том, что не сделал достаточно для преодоления этой идеи и для предотвращения зла. «...мы с вами несем огромную ответственность за каждого ребенка, убитого ими, убитого потому, что мы не приняли достаточных мер, чтобы искоренить мышление, позволяющее убивать детей» (Письмо 18).

Это убеждение, основанное, как он сам признаёт, на не вполне, но всё же достаточно усвоенных им идеях как христианства, так и социализма, не вело Василия к пацифизму, но ставило его на сторону страдающих – кем бы они ни были и что бы ни сделали ранее, – и заставляло стыдиться статуса сильного победителя. Более того – он начинал бояться победы, предвидя характер той расплаты, которая последует с побежденными: «Кажется, что летом рухнут они и начнется ужас еще

страшее. Страшно мне думать о том, что сделает с ними вся ими измученная и голодная Европа. У меня на этот счет идет ярая переписка с Ви», – писал он Наталье уже в марте 44-го (отрывки из этой переписки – см. письма 20, 21, 22). До победы, впрочем, было еще далеко.

И тут следует подчеркнуть очень важный момент. Упомянутое письмо к Виктору было написано тогда, когда Василий уже много месяцев не имел никакой переписки с родителями, и уже почти 4 года, как их не видел. Прорвавшаяся в нем философия была, конечно, сформирована воспитанием в семье, детскими беседами с отцом и детским же восприятием православия, мощным культурным заделом, который обеспечивали прочитанные книги и знакомство с миром искусства. Но теперь весь этот культурно-гуманитарный задел столкнулся с практикой жизни и смерти, с практикой зла, которая вполне могла (и очень часто это делала) разрушить или поставить под сомнение веру в человека и моральные принципы. Нужно было иметь большую духовную силу, чтобы не только сохранить человечность в себе, но и продолжать видеть *людей* в тех, кто, казалось бы, утратил человеческий облик, равным образом удерживаясь от того, чтобы в чувстве мести не уподобиться своим врагам. С особенной силой эти мысли прозвучат уже в его дневнике.

\* \* \*

Публикацию отрывков из переписки необходимо предварить несколькими замечаниями. В первые годы самостоятельной жизни Василий не очень любил писать письма родителям, за что они (особенно Татьяна Сергеевна) его часто бранили. Он отвечал, что ему особо нечего писать о себе, – и удивлялся, как может Наташа писать страницами о всяких мелочах, поэтому он пишет философичные письма – «разную белиберду-философию», однако не может делать это часто (Письмо родителям от 27 июля 1942). Его отношение к переписке изменилось на фронте. Он писал часто брату и сестре, а когда появилась такая возможность – и родителям. И теперь, наоборот, считал более важным писать не об абстрактных истинах, а о простых вещах, и сам просил сестру «обмениваться мелочами»:

«В мелочах много есть глубины. Я тебе как-то давно уже писал, что я вдруг так ясно почувствовал, что счастье не есть в каких-то абстрактах, а в мамином кашле и в папином послеобеденном сне. Так, я сейчас чувствую, что не разные философские письма друг другу надо писать, а просто письма, которые полны нашей жизнью. В этом одном можно найти глубину. Другому я не доверяю» (Письмо к Наталье от 14 февр. 1944).

Когда родители были под итальянской, а затем немецкой оккупацией на юге Франции, прямая переписка с ними была практически невозможна. Связующим звеном был живший в Швейцарии

Л.Бинсвангер – ему писал письма или посылал телеграммы Виктор из Англии, а Бинсвангер пересказывал новости в своих письмах к Франку, и наоборот. Соответственно, Виктор переписывал эти послания в своих письмах к Василию. Письма шли очень долго – так, о «новостях» из письма Бинсвангера к Виктору от 1 ноября 1943 г. Василий узнал от брата только в феврале 1944 г. Невозможно в нескольких словах описать, сколько волнений пережили Семён Людвигович и Татьяна Сергеевна, не имея почти никаких известий о сыне за годы оккупации (кое-какие вести всё-таки поступали – так, в феврале 1943 г. Бинсвангер передавал Франку содержание телеграммы, полученной от Виктора: «VASYA IN NORTH AFRICA SAFE AND HAPPY»). В свою очередь, оказавшись в Северной Африке, Василий почти три месяца – не имея ни от кого вестей, пока почтовая связь не наладилась, – мучился вопросом, удалось ли родителям уехать до начала немецкого наступления...

Еще одной сложной проблемой был язык. По требованиям цензуры военная переписка Василия велась преимущественно на английском языке. Это его тяготило – он не раз жаловался родным, что ему трудно выразить в полной мере свои чувства и мысли на чужом языке. Поэтому при любой возможности он всё-таки писал по-русски, иногда рискуя, что письмо не дойдет, – и подчас посылал параллельно два письма, английское и русское. Это было для него жизненно необходимо: «Единственная моя связь с русским языком, это письма к вам и письма от вас, и я замечая, что говорить мне уже трудно. За языками, как за живыми существами, нужно следить и ухаживать. Именно это я делать не могу» (Письмо к Виктору от 16 авг. 1944).

Письма, отрывки из которых публикуются ниже, находятся в семейном архиве С.Л. Франка, у его наследников в Мюнхене (Германия) и Эксетере (Великобритания). Искренне благодарю Сюзанну Франк-Килнер и Николая Франка за предоставленные материалы и содействие моей работе.

Переводы с английского и немецкого языков сделаны Геннадием Аляевым и Николаем Франком, с французского – Максимом Макаровым. Авторские подчеркивания переданы курсивом; курсивом также даны слова, написанные по-русски в иноязычном тексте.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Впервые опубликованы в 1998 г. в журнале «Волга».
2. Воспоминания Татьяны Сергеевны Франк / Франк, С.Л. Саратовский текст. Сост. А.А. Гапоненков, Е.П. Никитина. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. С. 186.
3. Там же. С. 187.
4. Здесь и далее – нумерация публикуемых писем.
5. Переписка С.Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950) / Ред. колл.: К.М. Ан-

- тонов (отв. ред.) и др. Комментар. Г.Е. Аляев, А.А. Гапоненков, Т.Н. Резвых и др. М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. С. 241.
6. *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине / «Волга». 1998. № 10. С. 138-139.
7. Там же. С. 151.
8. См.: *Буббайер, Ф.* С.Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–1950. М.: РОССПЭН, 2001. С. 179.
9. См.: *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине. С. 151.
10. Конечно, надо бы сказать – «распутать узел», но у Василия, учившегося в немецкой гимназии, а затем в английской школе, сначала были серьезные проблемы с русской грамматикой, что отразилось в его переписке – родители, и даже Виктор с Наташей, отводили подчас добрую половину своего письма на исправление его грамматических ошибок (эта фраза – из письма к матери от 23 февраля 1939 г.).
11. Письмо от 6 июля 1942 г., см.: *Франк, С.Л.* Саратовский текст. С. 252.
12. *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине. С. 167.
13. Письмо от 1 янв. 1930, см.: *Аляев, Г., Хазан, В., Янцен, В.* «...Подчинение законам божественного беззакония»: Л.В. Зак, Н.А. Браудо. Письма С.Л.Франку и Т.С.Франк (1923–1954) // Миргород. Международный филологический журнал (Польша – Швейцария). 2021. № 1 (17). С. 202.
14. *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине. С. 127.
15. Там же. С. 167. В своих воспоминаниях Василий посвятил специальный раздел описанию скаутского движения в Германии. Отдельно отметим такое его замечание: «Насколько я помню, ни открытых, ни даже тайных симпатий к нацизму среди скаутов не существовало» (Там же. С. 123).
16. *Франк, С.Л.* Воспоминания о П.Б. Струве / *Франк, С.Л.* Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М.: Моск. школа полит. исследований, 2001. С. 515-516.
17. *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине. С. 127, 153.
18. Там же. С. 167-168.
19. С.Л. Франк – П.Б. Струве. 5 апр. 1943. Hoover Institution Archive (HIA). Petr Bergardovich Struve Papers. Box 6. Folder 1.
20. *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине. С. 168.
21. Там же. С. 124.
22. Там же. С. 146.
23. Там же. С. 113.
24. Андре Моруа (1885–1967) – французский писатель, мастер жанра романизированной биографии, в том числе писал о Шелли и о Байроне.
25. *Maurois, A.* Ariel, ou La vie de Shelley (1923, первое англ. изд. – Ariel: The Life of Shelley – вышло в 1924).
26. Penguin Books – британское издательство, основанное в 1935 году в Лондоне сэром Алленом Лейном и его братьями Ричардом и Джоном. Главной заслугой издательства считается демократизация книжного рынка, превратившая книгу из предмета роскоши в удовольствие, доступное массам.
27. Антология русской поэзии. Первое издание. 1924.
28. *Франк, Василий*. Русский мальчик в Берлине. С. 113.
29. См. об этом: *Fry, Helen.* The King's Most Loyal Enemy Aliens: Germans Who Fought for Britain in the Second World War. History Press, 2007.



## Николай Франк-Львовский

# Мой отец Василий Семенович Франк в эпоху Второй мировой войны

В конце 1930-х годов у моего отца было одно желание: стать живописцем. Сохранилось несколько десятков его картин, написанных в то смутное время. Одна из них весит у меня дома. Это торс мужчины, нарисованный акварелью и углем толстыми, черными штрихами. Лицо бледное, с удлинёнными, тенистыми чертами в стиле портретов Модильяни, правая рука придерживает наклоненную голову. Глаза тусклые, смотрят непонятно куда, и в целом в фигуре ощущаются одиночество и отчаяние. В то же время, она окутана светло-синим нимбом, как священным туманом, и одета в ткани изумрудного цвета. Не знаю, автопортрет ли это, но только сейчас я понимаю, что передо мною сине-зеленый цвет папиных глаз. Взгляд художника позволяет преодолеть душевный надрыв, повышая образ безнадёжного человека в своеобразную иконографию.

Картина написана в октябре 1939 г., когда моему отцу было девятнадцать лет и нацистские войска уже полностью захватили Польшу. Для меня это сугубо личное выражение духовного состояния эмигранта-подростка, оторванного от семейного очага, который в преддверии грядущего катаклизма старается осмыслить хаос извне и внутри себя.

С учетом всего безмерного ужаса Второй мировой войны, искалечившей жизни десятков миллионов людей, сложно назвать трагедией то, что она перерезала моему отцу едва начатый путь живописца. Однако кисть он никогда больше в руки не брал. Впоследствии, как сотрудник Международной организации по делам беженцев и Толстовского фонда, а затем «Радио Свобода», он занимался не художественными, а политическими или историческими вопросами. Я родился, когда ему было за шестьдесят, и не помню, чтобы он когда-либо рассказывал о своем юношеском призвании. То есть, пенсионер Василий Франк, которого я знал, будто никогда и не был художником.

В двух частях публикации будут представлены документы, охватывающие период с 1938-го по 1945-й, в течение которого и произошла эта трансформация юного художника в общественного деятеля и журналиста. Письма и дневник – уникальные свидетельства его личного развития на фоне исторических событий. Получается, что в

духовном переживании войны, погасившей его творческую искру, можно найти ответ на вопрос о его брошенном таланте. Он многого достиг в жизни, но его записи последних дней войны – возможно, самое глубокое и пронзительное, что он когда-либо писал. Когда я впервые читал его рассуждения об универсальной виновности всего человечества, о ненависти и о прощении, отец открылся мне по-новому. Интересней всего для меня то, как он допускает возможность добра и зла, где бы они ни появлялись. Он испытывает эмпатию ко всем и, в то же время, видит во всех несовершенство, потенциальное зло и враждебность. Его состояние меняется чуть ли не каждый день, его бросает туда-сюда стихийными волнами войны.

Конечно, тут также вырисовывается образ молодого человека, страдающего от комплекса неполноценности в отношении отца-философа. Вскоре после совершеннолетия он пишет: «Мне очень хочется прочесть какие-нибудь твои книги, папа, да негде достать. Кроме ‘Непостижимое’ ничего здесь нету. А это трудно! Мне – стыдно. Твой я сын и ничего не знаю об отце». Могу с уверенностью сказать, что в отношении философии С.Л. Франка ощущение «ничего не знаю» имеет достойное продолжение в нашей семье.

Отец много и часто говорил о своем детстве в Берлине, о личном опыте антисемитизма в школе и на футбольном поле. О войне, собственно, он рассказывал мало, за исключением эпизода в Афинах, когда он единственный раз в жизни применил оружие – против коммунистов – и не знал, убил ли он человека. Письма этого времени, когда он стал свидетелем начала гражданской войны в Греции, представлены в данной публикации.

Учитывая переживания моего отца о послевоенном порядке в мире и о том, что он мог оказаться в оккупационной армии, следует подчеркнуть некоторую иронию судьбы. После демобилизации он прожил пятнадцать лет в Австрии. Эту страну, породившую Гитлера и воевавшую бок о бок с немцами, он страшно полюбил, всё ей прощал. Германию же, куда он переехал в начале 1960-х и где прожил более тридцати лет, он всегда воспринимал с осторожностью, немцев недолюбливал. Но когда за год до своей смерти он лечился в санатории после тяжелой операции, он познакомился с пациентом его возраста, который прошел очень похожий военный путь – только на другой стороне фронта. Ветераны-ровесники обменялись историями о войне и выпили за мир и за дружбу народов.

Пользуясь случаем, хочу от имени Франков искренне поблагодарить Геннадия Аляева за данную публикацию и вступительную статью, которая содержат много нового и удивительного даже для тех, кто знал Василия Семеновича. Геннадий проводит большую работу по систематизации той части личного архива С.Л. Франка и его

семьи, которая пока еще находится в домашнем хранении, – публикуемый материал представляет собой только маленькую часть этого архивного наследия, касающегося и периода «холодной войны». Сейчас мы в процессе передачи домашнего архива в надежные руки Отдела рукописей Баварской Государственной библиотеки в Мюнхене.

Кроме того, я очень признателен редакции «Нового Журнала» за интерес к данному материалу и за предоставленную мне возможность снабдить его этим предисловием.

Берлин, Германия  
Февраль 2024

## Из переписки Василия Франка 1938–1944

### 1. С.Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

30 апреля 1938

<...> Что касается твоего «коммунизма», то не мучайся этим – это просто путаница в голове; если бы мы с тобой поговорили, то сразу же во всем договорились; в письме трудно всё подробно объяснить. Скажу коротко. Если под «коммунизмом» разуметь сочувствие бедным и рабочим, желание, чтобы им жилось лучше и чтобы не было социальной несправедливости, то все мы в *этом* смысле – «коммунисты». Настоящий же коммунизм – не только русский, сталинский, но и вообще марксистский – заключается в том, что государство *насилъно*, с помощью полиции и вообще *палки*, хочет установить равенство. Это всё равно, как если бы тебя били и приказывали: люби, подлец, своего ближнего, иначе я тебе в морду дам или расстреляю. Это есть чистое свинство. Справедливость, любовь к бедным – всё это может осуществляться только через *свободу*, это дело совести, а совесть может быть только у свободного человека. Поэтому благородные коммунисты (вроде Paul'я<sup>1</sup>) могут быть у англичан, т.е. только в буржуазном обществе; а где пытаются осуществить справедливость насильственно, там 1) люди начинают не любить, а ненавидеть друг друга, 2) фактически – не только в советской России, но везде, где пытались вводить на практике принудительный социализм, – во главе государства оказываются злые насильники, и так как все должны им подчиняться (потому что без личной собственности нет настоящей свободы, а все становятся рабами государства), то они пользуются

этим для своей выгоды, и обижают простых людей гораздо больше, чем капиталисты. То, что произошло в России, не случайность (как думают английские коммунисты), а неизбежно вытекает из системы. Коротко разницу между правдой любви и коммунизмом можно выразить так: хорошо думать и чувствовать: всё моё – твоё. Но свинство и мерзость требовать: всё твоё должно быть моим, и с помощью государственной власти, т.е. насилия, это осуществлять. <...>

---

1. Поль Скорер, муж Натальи, дочери С.Л. Франка.

## 2. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С. Л. ФРАНКУ

28-29 января 1939

<...> Папа, можно с тобой малость пофилософствовать? Я о многом недавно думал, говорил с Полем, но с ним мы дошли до стопроцентного различия мыслей.

*Артист*<sup>1</sup>: Я хочу с тобой поговорить о том, что такое артист, когда человек становится артистом, что такое искусство, какое оно имеет отношение к нашей обычной жизни.

У меня всегда были идеи, что артист – тот человек, который видит не реальность этого света, ее жизни, а который из-за каких-то загадочных причин заменяет простую реальность своим фантастическим миром. Для него канва, книга, ноты, мысли, речь становится полем битвы между здравым смыслом (что нам, простым смертным, не артистам, кажется здравым смыслом) и своей, какой-то другой жизнью, *артистической* реальностью. Для того, чтобы, например, увидеть и понять, что чашка не только служит ему предметом для (им переваренной) репродукции на канве, для мыслей, почему, мол, она на одной стороне темна, а на другой светла, а просто для того, что из нее можно пить чай, и если она упадет, то разобьется, – для этого он должен вырваться из своего мира и предать ему и предать его.

*Нет, это неправда!* Только он один видит и понимает настоящий смысл нашей здешней жизни, только он один в самом буквальном смысле слова реалист. Можно даже сказать так: артист *должен* быть материалистом, потому что всё непонятное для него понятно, всё святое объяснимо своей логикой, своим миром.

Мы, простые смертные, только тогда, когда наберемся силами вырваться из нашего круга обычного мира, материализации жизни хождением в контору, спальём, еды, питья и т.д. и от всего того, чем наш каждый день наполнен, только тогда мы входим в тайный храм настоящей жизни, над которым написано «ПРОСТОТА», в котором нам всё на свете объяснимо и всё запутанное просто. Там реализм,

там мы понимаем всю тайну нашей жизни, всю тайну бытия Бога и искусства!

Понимаешь, артист не только в том смысле артист, что может чашку [увидеть] не в том виде, в котором мы, смертные, привыкли её видеть, т.е., другими словами, [что нам кажется] фантазёр, а артист тот, кто понимает Бога, его отношение к «я», отношение «я» к Богу, кто постигает таинство бытия и кто признаёт смысл жизни – здесь, в храме «простоты», и после смерти.

Да я даже иду дальше. Я говорю, и утверждаю, что ребенок, проживший только мгновение на этом свете, может и даже *должен* быть артистом, и даже в гораздо большем смысле слова, чем мы, потому что в нем-то и есть *всё то*, вся *соль бытия*, он не стоит под влиянием нашего мира.

Артисту не обязательно надо что-нибудь творить, да это и глупо говорить, потому что каждый человек творит, если не картины, то мысли. Во всяком случае, он всегда творит. Да ему и хочется творить. Мне, например, иногда (тебе это, может быть, покажется смешно) хочется до отчаяния произвести на свет Божий ребенка. Неважно как, неважно с кем, только дать жизнь, *самому сделать жизнь*. Да дело даже и не в создании жизни, а в творении чего-то. (Не знаю, к чему это свести, к тому ли, что хочется создать жизнь, или же к тому, что хочу разделить свое «я», поделиться с ним всеми моими заботами и радостями.)

Конечно, всё это ни словами, ни чем-либо другим доказать нельзя. Поль меня, само собой разумеется, разбил своей материализацией искусства. Но, убей меня, никогда не соглашусь с тем, что искусство всё создано только из-за того, что у артистов руки чесались.

Я отрицаю совершенно понятие компаратива: «лучше – хуже», «больше – меньше». Всё, что создано с идеями, которые я тебе написал, есть *искусство*, а в *искусстве нет разницы*. Или это искусство, или нет. Можно говорить «это подходит больше к моему вкусу, чем это», но нельзя говорить «это искусство, а это нет», если это было создано идеями искусства!

И здесь я отрекаюсь от следующего (из письма к Wölber'y)<sup>2</sup>:  
«*Абсолютное искусство*»

«Чтобы доказать свою точку зрения, я хотел бы провести сравнение. С одной стороны – Микеланджело, с другой – некий мистер Эпштейн. Это современный художник, характерный персонаж. Он действительно очень, очень выдающийся художник.

Вот одна из его фигур – ‘Pregnancy’, т. е. ‘Беременность’<sup>3</sup>. Это фигура молодой женщины, которая ждет ребенка. Сама фигура, даже технически, не представляет собой ничего выдающегося. Многие выбирали эту тему, особенно в современном искусстве. Очень простая девушка с большим животом. Но ее лицо, ее фигура, ее глаза! Всё это

говорит о чуде рождения. В выражении ее лица видишь всю мистику рождения жизни. Представь себе, что значит дать жизнь ребенку. Создать новую жизнь. Дать новую душу. Все заботы, которыми она будет охвачена. Мне всегда кажется, что для женщины это должно быть самое приятное из всех чувств. Она дает новую жизнь. Вся мистика жизни, смерти, жизни после смерти, до рождения, история развития нашего мира и Бог знает что еще – все это в течение этих девяти месяцев находится *в ней*, когда она готовит то, что будет потом *жить*. Всё это – в глазах этой женщины. На нее можно смотреть часами, и не надоест. О ней можно писать книги, на основе этой фигуры можно сочинить оперу. Достаточно ли этого, чтобы убедить тебя в том, что это действительно нечто необычное в современном искусстве.

Теперь переходим к противоположному. ‘Давид’ Микеланджело. Я не знаю, где он находится, я не знаю, как и когда он был сделан, я не знаю, что он хочет изображать. Я знаю только одно, благодаря своему инстинкту. *Это – абсолютное искусство. Это – искусство само по себе.* Вы видите фигуру молодого человека, полужающегося, полусидящего и смотрящего куда-то вдаль. Вы смотрите на нее и уходите, чтобы забыть через пять минут. Но в том-то и дело. Настоящее, абсолютное искусство существует для того, *чтобы существовать*. В этом и состоит суть дела. Разница между Микеланджело и Эпштейном, то есть между абсолютным искусством и искусством, заключается в следующем: можно писать об искусстве, можно писать стихи, сочинять оперы – например, я очень хорошо могу себе представить, как я публикую в журнале фотографию этой фигуры Эпштейна и помещаю под ней очень хорошее стихотворение. Одним словом, к искусству а-ля Эпштейн можно и отчасти *нужно* что-то добавлять. Оно требует от людей чего-то: чувства, стихотворения, слов и т. д. Абсолютное искусство, напротив, не требует ничего, ни физически, ни духовно, но позволяет либо пройти, либо, что еще важнее, просто быть рядом. Это возвращает нас к проблеме черного и белого (*я ему до того писал об этом*). Эпштейн нужен для того, чтобы Микеланджело мог существовать. А Микеланджело нужен для того, чтобы позволить существовать Эпштейну. Микеланджело – это *искусство само по себе*. Без человеческих чувств. Только тело с головой создало искусство в себе. Мое представление об абсолютном искусстве – это искусство само по себе. Искусство, которое говорит само за себя. Искусство, которое ничего не требует, а только дает. Искусство, которое просто есть.»

Сейчас я слишком устал, чтобы писать критику этого. Завтра утром буду дальше писать.

Следующее утро.

К несчастью, голова не работает, и то, что казалось так просто вчера, очень запутанно и трудно. Так что прости меня, что поглупел

так за ночь. Да мне и кажется, что я опроверг всё уже раньше. Так, хватит философствовать. Ответь мне как-нибудь на это. <...>

1. Имеется в виду английское «artist», т.е. художник, соотв. речь идет о художественной реальности. Публикаторы сохраняют все особенности стиля В.С. Франка.

2. Далее и до слов «Искусство, которое просто есть» – перевод с немецкого.

3. Джейкоб Эпстайн (Epstein, 1880–1959) – англо-американский скульптор и график стиля модерн. Скульптуры с таким названием у Эпстайна нет, скорее всего, имеется в виду работа «Genesis» (1929) или более ранняя работа «Maternity» (1910).

### 3. С.Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

19 февраля 1939

Дорогой Васюточка, наконец сегодня собрался я ответить на твое письмо, да и то кратко – тут надо было бы целую лекцию прочитать. Увидимся – поговорим.

Я считаю твоё понимание совершенно верным. Только у тебя не хватает понятий, чтобы ясно выразить (и самому понять) свою мысль. То, что ты думаешь, становится вполне ясным, если различать между «действительностью» (Wirklichkeit) и «реальностью» (Realität). «Действительность» есть картина мира, как она представляется нашей мысли, это – то, что устанавливает наука и что «материалист» или вообще средний человек считает чем-то абсолютным, тогда как это есть только некий – необходимый для практической жизни – экстракт из «реальности». Реальность есть *полное* содержание того, что *действительно непосредственно* дано и переживается нами. Поясню примером: вид звездного неба, с мигающими звездами, с тьмой, даже с чувством жути, которое мы испытываем, – всё вместе, как одно целое, – есть *реальность*. А то, чему учит астрономия, есть астрономическая «действительность». Так и во всём остальном. И вот художник (ты по примеру английского слова называешь его «артистом» – это по-русски неверно, у нас артист значит только «актер») видит и передает *реальность* во всей ее полноте и конкретности. А люди обычные, которые видят мир не так, как он есть непосредственно, а как им нужно только, чтобы практически ориентироваться в нем, – сюда относятся и ученые – совсем не *замечают* реальности и считают «действительность» не за умственный экстракт из реальности, а за абсолютную правду. Это почти всё равно, как если бы кто-нибудь считал *план* города, напр. Парижа, – простую картину направлений улиц – подлинным изображением самого Парижа. Художник есть человек, напоминающий людям, что настоящая правда бытия заключена только в полноте конкретного

облика, т.е. в реальности, а никак не в том экстракте и упрощении, которое мы называем «действительностью».

То, что ты потом развиваешь в письме к Wölber'у (*absolute Kunst* и другая *Kunst*<sup>1)</sup>), тоже содержит нечто верное, и легко может быть примирено с предыдущим, только если брать это различие не как абсолютное, а как относительное. «Absolute Kunst» дает просто конкретную полноту реальности, без всякого отношения к «действительности», о которой можно «думать» и «рассуждать»; но можно в искусстве как бы остановиться на полдороге и дать нечто такое, что заставляет нас больше задуматься над нашим пониманием «действительности» и обогащает его. В поэзии, напр[имер], Пушкина – это *absolute Kunst*, а Лермонтов или Тютчев – *поэты мыслей*. Это не мешает тому, что и искусство этого второго рода, *в качестве истинного искусства*, выходит за пределы «действительности» и всех наших мыслей и приближает нас к реальности.

Ну вот. Не знаю, поймешь ли ты, что я хочу сказать. Коротко выразить это очень трудно. <...>

---

1. Абсолютное искусство, искусство (*нем.*). Kunst в нем. языке – женского рода.

#### 4. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ и Т.С. ФРАНК

29 декабря 1939

<...> Недавно поступил и сдал клятву нац-мальчикам. Меня всё время от них отталкивало, потому что не хотелось было заниматься политикой, но теперь время уже не то. Надо готовиться к скорой трудной и опасной работе за Россию. К чорту вся эмигрантская политика, теперь ведь дело идет о России. Я не коммунист, не капиталист, не фашист, не демократ, а первым делом Русский. И поэтому зевать сейчас нельзя. За ночь могут такие перемены произойти, что потом жалеть будешь, что ничего не делал в зарубежье. А у нац-мальчиков я хоть как-то работать буду. Переводы, печатанье на машинке, ходить по газетам предлагать статьи о России (не мои, а мною переведенные).

Так что не забывайте, что я, во-первых, Русский, а на втором плане ваш сын. Это может быть звучит очень грустно, но теперь не время. Парни умирают за комвласть, за сволочей, а я ничего не могу сделать. Поэтому такая тоска и находит. <...>

#### 5. С.Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

17 января 1940

Дорогой Васюточка, спасибо за твое письмо. И я, и мама очень хорошо понимаем твое настроение и даже очень рады, что ты такой



настоящий русский патриот и что ты так хорошо понимаешь теперь, что Сталин и его сволочь – одно, а Россия – другое. Мы очень хорошо понимаем, что ты горишь желанием принять участие в каком-нибудь подвиге. Но только что поделаешь? Надо иметь терпение. Записываться добровольцем к финнам – все-таки не твое дело, да никто тебя и не примет с твоим русским паспортом. Ты можешь утешиться – твое время еще придет. Ты еще так молод, а теперь крушение советской власти не за горами, ты поедешь в Россию и там послужишь России.

По-моему, задача всех молодых русских за границей – теперь в особенности – набираться всяких знаний, чтобы быть полезным в России. Там молодые люди вырастают полуграмотными и ничего не знают о Европе и о настоящей человеческой жизни. Задача вас всех, эмигрантской молодежи, будет очень большая, потому что вы будете единственными образованными людьми в России и потому во всех областях полезными.

Поэтому не томись, потерпи – скоро уже придет счастливое время возвращения на родину.

Целую тебя крепко. Напиши мне о своей философии, как обещал.

#### 6. С. Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

*30 декабря 1940<sup>1</sup>*

<...> Нам очень приятно знать, что ты не только работаешь на ферме, но и пишешь статью об искусстве, а также слышать от тебя, что ты не забыл нас. Если бы ты знал, как важно для нас в нашем одиночестве получать от тебя письма, ты бы старался писать нам почаще. Я очень хорошо понимаю, что тебе нелегко писать нам на английском языке, хотя ты очень хорошо пишешь по-английски. Но здесь тот же случай, что и с тем, что ты пишешь (очень хорошо) о своих мыслях и их выражении в словах: если ты не будешь излагать в письмах к нам свои мысли, то они со временем изнашиваются и тускнеют. А если, наоборот, ты будешь писать нам часто, то наша духовная связь станет гораздо более сильной и яркой. Поэтому постарайся преодолеть все свои трудности и пиши нам почаще.

Жаль, что ты не можешь изучать интересующие тебя предметы – историю искусств и т.д. Но почему ты не можешь читать книги? Наверняка Виктор сможет их тебе достать. Я хотел бы посоветовать тебе читать книги по истории (истории литературы и культуры), истории духовных движений и т.д., а также что-нибудь по философии, например, «Федр» и «Пир» Платона (о сущности и значении красоты), «Менон» и «Федон» (о происхождении и сущности души).

На английском языке есть много очень хороших переводов с примечаниями и пояснениями. Пусть Виктор попробует достать для тебя что-нибудь из таких книг. <...>

---

1. Перевод с английского

7. С. Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

16 января 1941<sup>1</sup>

Дорогой мой, милый Вася, мы только что получили письмо от Наташи с информацией о твоём решении. Я не буду говорить тебе о том, какое впечатление произвела на нас эта информация, как нам больно, как мы сожалеем и скольких слез это стоит маме. Но я хочу сказать тебе, я чувствую себя обязанным высказать тебе откровенно мое глубочайшее убеждение, что в твоём решении есть большая ошибка. Я очень хорошо понимаю, как под впечатлением нашего времени и условий твоей жизни ты принял это решение. Но это только впечатление сегодняшнего дня. Времена меняются, и все вещи и ситуации могут поменяться очень быстро; мы уже имели такой – очень яркий – опыт. Вполне возможно, что ты вскоре раскаешься в своём решении, но тогда, к сожалению, будет уже поздно. Уже потому, что ты молодой человек, твой святой долг – сохранить свои силы для служения родной стране; вспомни, каким глубоким сознанием этого долга ты всегда был полон. В стране, в которой ты сейчас живешь, ты только гость на некоторое время. Никто не может изменить своей родине и забыть ее.

Пожалуйста, очень серьезно отнесись к моим словам. Не думай, что я говорю их по каким-то другим причинам. Повторяю, что это мое глубочайшее убеждение. Только ты, как молодой человек, обязан отдать наш общий долг нашей Родине; мы уже старые, а твои братья и сестра старше тебя и, возможно, у них не будет возможности послужить Родине. Поэтому это твой особый долг. <...>

---

1. Перевод с английского

8. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С. Л. ФРАНКУ и Т. С. ФРАНК

29 января 1941<sup>1</sup>

<...> Моя жизнь однообразна, и о ней почти нечего писать. Но где бы я ни был и что бы ни делал, я всегда сознаю, что выполняю свой почти священный долг. За последние несколько месяцев я сильно изменился и гораздо лучше теперь знаю свою *тетю* Марию<sup>2</sup>, и ты, папа, и дядя Петя<sup>3</sup> были правы, а мы, мечтатели, совершенно неправы<sup>4</sup>. Но сейчас это неважно. В конце концов есть более важные

вещи, которые касаются нас более непосредственно. Странно и даже ужасающе, как личная жизнь людей перестает быть значимой в том хаосе, который окутывает и омрачает мир. Мы все испытываем трагичность того, что так полностью, хотя и бессмысленно, разлучены друг с другом в такое время, когда наша совместная жизнь принесла бы нам всем столько добра. И пока это остается (и всегда будет оставаться) нашим личным делом, это затрагивает и ранит нас. Но какое право мы имеем говорить об индивидуальном горе, когда вселенная «проклята», когда господствует ненависть, а любовь приходится скрывать? Имеем ли мы еще право или даже силу переносить горе индивидуально? Разве не долг каждого – испытывать общее страдание, а не свое собственное? Остается ли место индивидуальному горю, когда страдает человечество в целом?

Безмерность человеческого зла, а значит, и человеческого страдания настолько велика, что личное горе тонет в этом океане чувств. Я не думаю, что стоит говорить о том, что это общее горе состоит из индивидуального горя, потому что переживает его человечество *в целом*, и отдельный переживающий человек не может отделить свою беду от общей. Более того, он и не хочет этого делать. Потому что, если у него есть хоть какая-то духовная пронизательность (а я предполагаю, что любой страдающий человек ее обретает), он должен видеть, что любое спасение мира должно происходить из *общего*, а не индивидуального страдания. Поль упрекает нас в лицемерии, когда мы скорбим о ком-то, кого мы не знаем, ибо скорбь по неизвестному человеку не может быть искренней. И он прав. Но мы скорбим о причине, которая привела к такому результату, а не о смерти «неизвестного солдата». Слишком мало «Weltenschmerz»<sup>5</sup> вокруг. «Weltenschmerz» – это прямо сейчас. Мы переживаем трагедию, и оптимизм здесь неуместен. Что бы ни случилось еще, мы уже потеряли так много, что жизнь утратила свой первоначальный смысл. Мы все так сильно изменились. Если бы мы встретили себя, какими мы были три года назад, мы были бы почти шокированы собственной невинностью и наивностью. Мы наполнились ненавистью, а она заразительна. И даже любовью мы не можем истребить ненависть. Она есть всегда, но теперь она получила пищу, взрастившую ее до таких огромных размеров, что она отравила наши души. Если в нас и была какая-то детская невинность, то теперь мы ее потеряли, а вместе с ней и то самое чистое, что когда-либо было в человеке. Боже, помилуй нас. Бог простил разбойника в той песне<sup>6</sup>, потому что тот признал *свои собственные* грехи, но Он никогда не простит грехи человечества в нас, которые оказались столь большими, что затмили наши собственные маленькие прегрешения.

Целую вас нежно. В.

---

1. Перевод с английского

2. Сестра Татьяна Сергеевны – Мария Сергеевна Барцева – жила в СССР; ее именем в семейных письмах иносказательно называли Россию.

3. П.Б. Струве.

4. См.: «Больно стало за Россию, за всё страдание, и стыдно стало, как путали ее с режимом» (Письмо родителям от 26 июня 1941).

5. Мировое страдание (*нем.*).

6. Василий говорит о «песне», поскольку имеет в виду не непосредственно текст Нового Завета, а службу 12-ти Евангелий в Великий четверг, когда трижды перед 9-м Евангелием воспевается песнь о благоразумном разбойнике: «Разбойника благоразумного, во едином часе рави сподобил еси Господи, и мене древом крестным просвети, и спаси мя». Вместе с братом Виктором Василий пел в церковном хоре; Татьяна Сергеевна, между прочим, писала Виктору 26 марта 1939 г.: «Очень мне приятно, что вы поете в хоре, сейчас начнутся дивные службы, м[ожет] б[ыть] удастся пропеть нам ‘Да исправится молитва моя’ трио, или ‘Разбойник’ в Св. Четверг за 12-ью Еванг[елиями]. <...> Это же мои любимые молитвы».

## 9. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С. Л. ФРАНКУ и Т. С. ФРАНК

[Около 10 февраля 1941<sup>1</sup>]

<...> Не думайте, что это какой-то героический порыв. Это не так. Возможно, впервые в жизни я мыслил логически и пришел к единственно возможному ответу. Я не совершаю ничего самоотверженного или героического. У меня просто нет другого выхода. У вас была одна бомба в Лаванду – мы слышали их много. Но даже они имеют положительную сторону. Ведь благодаря им мы понимаем, что в любой момент можно умереть (хотя это и очень маловероятно). И все мы начинаем жить гораздо более правильно, потому что живем, думая не о десятилетиях или годах, а о сегодняшнем дне. Сейчас я ем. Сейчас я сплю. Сейчас я гуляю. И какое это наслаждение! Человек начинает любить жизнь так, как никогда прежде. Невольно мы все становимся очень честными и праведными христианами. Мы живем, постоянно созерцая и реально осознавая Бога и иную жизнь, – что может быть лучше и правильнее? Если бы не знать, что это прекрасное состояние является следствием озлобления людей, для которых убийство стало обыденным делом, – такое состояние души было бы, пожалуй, самым счастливым и наилучшим из возможных для человека.

Не думайте, пожалуйста, что я делаю это от безделья. Я чувствую моральное «призвание». Это не вопрос национальности, это гораздо выше. К несчастью, я – представитель человечества (в этом в основном «виноваты» вы), и в этом качестве мне ничего другого не оставалось. Если вы сердитесь на меня, то сердитесь из-за этого, а не из-за того, что я глупый молодой дурак. <...>

---

1. Перевод с английского

10. С.Л. ФРАНК и Т.С. ФРАНК – НАТАЛЬЕ СКОРЕР и  
ВАСИЛИЮ ФРАНКУ*16 мая 1941<sup>1</sup>*

Милые мои, Наталочка и Васюта, мы получили твою статью, Васюта, и ваше письмо № 10. Твоя статья очень хорошая и очень интересная. Я согласен с тобой по поводу твоей главной (доминирующей) мысли. Более того, для меня большая радость и утешение, что у тебя уже сейчас есть те же идеи, к которым я пришел только в последние годы. Я давно подумывал написать книгу о феномене выражения, о тайне речи как глубочайшей сущности метафизической структуры. Само сотворение мира есть не что иное, как выражение Бога, и также в мире – эволюция жизни (творение органических существ), мимика, язык, искусство. И то, что ты уже это понял, – это очень хорошо. Вот только, что касается пластики, тут-то и начинается проблема, а ты слишком всё упростил. Это не чистый, бесформенный материал, через который должен выразить себя дух художника, это вещи, которые сами имеют форму и уже в своей реальности являются выражением духа. Например, живописец или скульптор должен выразить свою идею, изобразив человеческое тело, которое уже в самой природе является формой. И тут-то и начинается проблема реализма или «идеализма» в искусстве, и потому всё это сложнее, чем ты думаешь. Даже поэзия имеет своим посредником язык, который сам уже является продуктом искусства, и т.д. Ты меня поймешь, подумай еще на эти темы. <...>

---

1. Перевод с французского

## 11. С. Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

*19 июля 1941<sup>1</sup>*

Васюточка, родной, хочу ответить на твое письмо от 19.VI, где ты пишешь мне о проблеме религии. Я могу писать тебе только по-французски, Наташа тебе переведет. Мне приятно знать, что в твоей эмоциональной жизни отсутствуют сомнения. На твои опасения, что у тебя может не хватить сил сопротивляться сомнениям, если они появятся когда-нибудь, хочу сказать следующее. Я всю жизнь думал об этих вещах, знаком со всеми трудностями, и в итоге пришел к очень простому выводу, осознав, что самое главное абсолютно очевидно само по себе и потому не подлежит сомнению. Если представить себе, что вера – это нечто вроде размышления, теории (например, что где-то существует доброе и всемогущее существо, и этой

«гипотезой» можно объяснить всё, происходящее в мире), то мы оказываемся на неверном пути, где нас будут одолевать непреодолимые сомнения. Но на самом деле вера – это нечто гораздо более простое и очевидное. Это внутренний опыт – нечто, что ты сам видишь и чувствуешь. Если ты слышишь симфонию Бетховена, то *знаешь*, что где-то в реальности есть красота, гармония, и ничто в мире, даже самое худшее, что в нем происходит, не может опровергнуть эту истину, потому что глупо сомневаться в *факте*, который ты ощущаешь. Если я вижу что-то красное, я знаю, что в мире есть красный цвет. То же самое и с нашей религиозной верой. Достаточно лишь не быть слепым и глухим, чтобы знать, что в самой основе реальности лежит красота, добро, гармония, нежность. Самое прекрасное и самое глубокое, на чем основана наша личность, мы ощущаем не как нечто принадлежащее нашей личной жизни, а как нечто, что составляет самую *основу* нашей жизни, а следовательно, нечто более реальное, что важнее, глубже и сильнее нас самих, то, что является нашей опорой, нашим утешением, смыслом нашей жизни, то, ради чего мы и должны жить. – Ничто в целом мире не может поколебать эту веру, и только это и важно. Всякий, кто внимательно читает Евангелие, *знает*, что есть только Один, являющийся чистым и совершенным воплощением этого божественного «чего-то», – это Иисус Христос. Но даже и это не самое главное. Можно следовать за Христом, даже не зная Его. Всё же остальное полно сомнений; так, мы не понимаем, почему в мире существуют зло, страдание, несправедливость, почему сам Бог должен страдать в миру. Но *тем более* мы остаемся верными этому страдающему Богу. Так и ты останешься верным Бетховену, даже если все будут считать, что «чижик»<sup>2</sup> предпочтительнее бетховенской симфонии. Красота, Доброта, Нежность остаются высшей силой, даже если в глупом и бесчестном мире они и не всегда побеждают. Вот и всё, больше ничего не нужно. Даже если мы не можем объяснить, понять факт, данный нам непосредственно, примирить его со всем остальным нашим опытом, факт остается фактом, вне всяких сомнений. Достаточно открытого и доброго сердца (не разума), чтобы иметь непоколебимую веру. Каждый не может быть философом и всё понимать, да даже никто и не может понять всего; величайший философ – как раз тот, кто сознает, что всего понять невозможно. Но сказано, и это глубочайшая истина, – будьте как дети, будьте чисты сердцем, и этого довольно, чтобы увидеть Бога. Вера – это вопрос доброй воли, чистого сердца, а не вопрос разума или теории. Другой пример: это то же самое, что и вера в родину, которая остается для тебя чем-то возвышенным, прекрасным, великим, чистым, святым, хотя ты и знаешь, что в эмпирической действительности там всё плохо, грязно, подло, безобразно. Вот так. Я знаю твое сердце, мой дорогой мальчик, и я уверен, что ты всегда останешься верным Богу.

Сейчас ты, возможно, уже приступил к службе. Целую тебя нежно, благословляю тебя, я и мама всем сердцем с тобой. Да хранит и спасает тебя Бог! Пиши нам почаще, рассказывай о своей внутренней и внешней жизни. Папа.

---

1. Перевод с французского

2. Имеется в виду шуточная песня «Чижик-пыжик».

## 12. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С. Л. ФРАНКУ и Т. С. ФРАНКУ

25 сентября 1941<sup>1</sup>

<...> Всякий раз, когда я пишу вам о каких-то [философских] проблемах, я всегда задаю вопросы и хочу получить быстрый ответ. И так много теряется, когда получаешь ответ через 3 или 4 месяца. Забывается то, о чем писал, появляются новые проблемы и вопросы. Одним словом, не удается наладить нормальный контакт, и это очень сильно удручает.

Однако позвольте мне написать вам о том, что в последние недели вызывает у нас бурные дискуссии. Это убеждения Поля. Я вдруг понял, что если Польша неправ *в корне*, а не поверхностно, то человек недостоин самого себя. Я ни на минуту не защищаю его конкретную теорию, я не могу этого делать, потому что не знаю ее достаточно, чтобы судить о ней. И я ни на минуту не верю в осуществление ее цели. Как я могу? Я верю в Бога. Но я вдруг осознал, что здесь еще столько всего нужно сделать до и помимо Бога и духовности. Не то чтобы это было важнее, но это является более срочным, более насущным, по крайней мере, в данный момент. Как вы говорите, лучше ехать в вагоне первого класса, чем третьего. Мы всё равно прибудем в пункт назначения, так почему бы не иметь больше благ во время этого путешествия. А в данный момент распределение между вагонами 1-го и 3-го класса – это очень «грязное дело». И я не вижу причин, по которым долгое, долгое пребывание в конце пути должно помешать нам сделать какую-либо работу сейчас, придать ей то значение, которого она заслуживает, для улучшения такого распределения мест. Бог, Бетховен и «Чижик» – это всё очень хорошо, но, как Иван Карамазов, я «верну свой билет Богу», если там дети умирают от голода. ...<sup>2</sup> И причина моего беспокойства по поводу всего этого дела в том, что 1) я не могу принять мир, в котором дети или кто бы то ни был должны умирать от голода, и 2) я не могу принять Божью справедливость в этом мире, пока всё остается как есть и пока этому не могут помочь ни молитвы, ни какие-либо материальные средства.

Это всё. Или, по крайней мере, всё, что я могу написать сейчас.

Пожалуйста, не думайте, что я начинаю сомневаться. Это не так. Я очень рад, что всё это произошло со мной, потому что теперь я вижу, насколько ошибочной была моя вера *только* в мистику и духовность. Этот наш поезд так полон чудес и красоты, что закрывать на это глаза и видеть только конечный пункт – кошунство. Правильное вероучение может быть только вероучением, сбалансированным между этими обоими пунктами. Ни одного, ни другого недостаточно. Тогда всё становится таким простым и легко объяснимым. <...>

---

1. Перевод с английского

2. Часть текста – вероятно, предложение, написанное по-русски, – вырезано цензурой.

### 13. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ и Т.С. ФРАНК

20 февраля 1942<sup>1</sup>

<...> Я хотел написать вам серьезное письмо. Думаю, теперь я могу сказать, что знаю английский *народ*. До того, как я присоединился, я на самом деле знал только один класс, который не представлял всех. Теперь я с ними уже около 4 месяцев и думаю, что начинаю узнавать их, и могу сказать (потому что знаю их), что люблю их (со всеми их ужасными ошибками и т.д.)<sup>2</sup>. Но что меня удивляет и радует, так это то, что все думающие и имеющие какие-то идеи в голове, кого я встречал, являются левыми. На самом деле, я еще не встречал мыслящего человека, который *не* являлся бы леваком. Вы не можете себе представить, сколько недовольства, желания что-то сделать и ощущения связанных рук царит вокруг. Люди здесь почти в отчаянии от мысли, что не могут ничего сделать, и от этого «отсутствия срочности» («lack of urgency»), которое исходит сверху. «Почему бы нам не сделать что-нибудь. Идет война. Либо мы, какими бы плохими мы ни были, либо они (они еще хуже), и т.д. и т.п.». Именно такие разговоры постоянно ведутся здесь. Один парень, сержант, попросил у меня прощения за то, что он – англичанин, а я – русский. Он сказал: «Вы должны испытывать к нам только отвращение. Мы и сами себе противны». И вот кульминация всего этого – дело «Шарнхорста» и «Гнейзенау»<sup>3</sup>, и Сингапур<sup>4</sup>. Я никогда не слышал столько справедливых ругательств за столь короткое время, как в тот момент, когда весь лагерь обсуждал это. Общее мнение таково: Черчилль нужен, но он упрямый «ублюдок», промышленность должна быть национализирована (это все очень сильно чувствуют, поскольку знают кое-что о грязных делишках в связи с этим, происходивших в этом лагере<sup>5</sup>). Наши отношения с Россией могут быть улучшены. Необходимо про-



вести большую реорганизацию в армии. И нельзя считать эту войну ничем иным, кроме как борьбой за существование.

Не знаю, видели ли вы карикатуру (не помню, где она была напечатана) примерно 2-3 месяца назад. На ней изображены немецкий и английский солдаты, борющиеся на карте Европы, причем немец обращен задом к Англии, а английский солдат стоит со штыком, готовый нанести удар, но его удерживает офицер. Это лучшая иллюстрация к данной ситуации, которую я когда-либо видел. Всех беспокоят не столько одни русские дела, сколько это «чувство отсутствия срочности», которое исходит сверху и которое крайне вредно и отвратительно. Ну, вот и всё об этом моем открытии. <...>

1. Перевод с английского

2. Ср. письмо к Виктору от 14 февраля 1942 г.: «Я их теперь искренно люблю и поэтому имею право их ругать. У них большие недостатки. Во-первых, в них так глубок их консерватизм, что как бы они ни ругали всю эту несправедливость (а ругают и видят всю эту грязь они ясно), они палец о палец не ударят, чтобы что-нибудь изменить. Во-вторых, они до сих пор верят в чудеса какие-то. 'We bloody well don't lose wars'. Это, честное слово, слова одного сержанта. И они все так думают. Ох, жутко мне становится, когда я их сравниваю с немецкой Gründlichkeit и с их богохульственной верой в свою родину. Но в чудеса верить все-таки приятно и иногда советуется».

3. Имеется в виду операция «Цербер» (нем. *Zerberus*), или «Рывок через Ла-Манш» (англ. *Channel Dash*) – переход из французского Бреста в Германию линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзенау» 11-13 февраля 1942 года.

4. 15 февраля 1942 г. английские войска капитулировали перед японскими в Сингапуре.

5. В письме к Виктору 14 февраля Василий писал: «Я не знаю, читал ли ты в газетах (об этом, кажется, писали), что в соседнем аэродроме приговорили одного Wing-Commander'a к 6 месяцам тюрьмы, потому что он заказывал невероятное количество не то мяса, не то каких-то Cereals у фабрики, которая принадлежала ему же. Здесь это произвело фурор. И, по-видимому, это не отдельный случай».

#### 14. С.Л. ФРАНК – ДЕТЯМ

9 марта 1942

<...> Васюточка, ты написал очень интересное письмо, у тебя хорошие, свежие идеи, но ты их не разжевываешь, а выливаешь в сыром виде, поэтому вместе с верными идеями есть и много чепухи. Я тебе не отвечаю по существу – боюсь, проходит так много времени между письмом и ответом, что ты, пожалуй, сам забываешь, что писал. Одно только: Бог *не* завидует нам, что мы смертны: 1) потому что мы не смертны, а сами вечны, 2) потому что вечность не есть бесконечная длительность, а есть полнота и законченность сразу всего,

3) потому что он сам, в лице Христа, стал человеком и смертным, чтобы в нас влить свою природу. Вообще, по-моему, нет Бога и человека, а есть Богочеловек совершенный, и мы, богочеловеки несовершенные – и оба очень сродни друг другу. Бог страдает вместе с людьми. Почему Он должен страдать, этого мы понять не можем, но что Он страдает вместе с нами, есть для нас утешение и единственное условие, при котором зло не делает всей жизни бессмысленной. Пиши чаще! <...>

## 15. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИKTOPУ ФРАНКУ и НАТАЛЬЕ СКОРЕП

20-22 ноября 1942<sup>1</sup>

<...> Теперь о себе. Вы, наверное, уже догадались, где я нахожусь. Да, это Северная Африка<sup>2</sup>. Это все подробности, которые я могу рассказать на данный момент. Позже я смогу писать более свободно. Путешествие было скучно спокойным и не возбуждающим. Еда, конечно, отличная. Белый хлеб – белый, как снег, огромное количество мяса, масла, рыбы и т.д. Условия проживания были настолько хороши, насколько можно было ожидать на военном корабле. Сигареты и подобная роскошь были дешевы, а в столовой было много банок ананасов, груш и всего того, что недоступно у вас.

Приятно оказаться в месте, где говорят по-французски, где женщины красивые, мужчины рыцарственны и где вся атмосфера континентальна, за исключением мечетей, арабов, негров и довольно экзотичного типа людей. Но города напоминают мне Париж. Та же застройка, те же цвета Utrillo<sup>3</sup>, те же кафе со стульями и столиками на улице, те же студенты, сидящие и читающие там, и даже такая же богемная жизнь. Здесь я понял, что в душе я человек континентальный, и жизнь на маленьком острове мне не подходит. <...> Прелесть этого места, по сравнению с Англией, заключается в нелогичном отношении к большинству вещей. Все практичные вещи, такие как стиральные машины, туалеты, здесь крайне непрактичны, и жизнь в целом гораздо менее комфортна, чем в такой упорядоченной стране, как Англия, но как приятно жить среди людей, которые предпочитают беззаботность бездушной эффективности. Люди здесь обладают обаянием. Чисто или нет, ходят ли поезда вовремя или нет – это второстепенно. Они это поняли, и поэтому я их люблю.

Но как же несчастны все эти английские парни. Для них, конечно, это приключение и *c'est tout*<sup>4</sup>. При этом всё оценивается в сравнении с их родным городом или деревней. И, естественно, по их мнению, «дайте мне старое доброе такое-то и такое-то, чтобы всегда было комфортно». Меня бесит, что они не видят, что здесь люди *живут*, а

там, в своем таком-то, они лишь едва существуют на своей пайковой жареной говядине.

Естественно, условия здесь были и остаются плохими. Мяса очень мало. Хлеб в дефиците. Одежда практически недоступна. Вина много, но оно не очень хорошее, разве только очень дорогое. Но мы хорошо обеспечены деньгами – обменный курс для нас благоприятен.

Несколько дней назад я съел плитку шоколада и дал маленький кусочек ребенку. Через мгновение я был абсолютно осажден детьми, которые кричали: «Chocolate, monsieur»<sup>5</sup>. Они не видели сладостей со времен падения Франции. Дети представляют собой самое удручающее зрелище. Они худые, с большими, ищущими, вечно голодными глазами и протянутыми руками. Этого я не прощу немцам. По сравнению с теми условиями, про которые я слышал от Бетти<sup>6</sup> о неоккупированной Франции, жизнь здесь, должно быть, была гораздо тяжелее.

Люди здесь веселые и чрезвычайно дружелюбные, хотя и довольно осторожные. Они, как мне сказали, всё еще боятся людей Лаваля<sup>7</sup> и немецких агентов. Но стоит войти в их дома, как они становятся почти обременительно гостеприимными.

Например, я шел с несколькими мальчишками по улице, когда из открытого окна с нами заговорили какие-то люди, приглашая зайти. Когда мы зашли, они открыли бутылки шампанского, угощали нас огромным количеством фруктов, рассказывали всё, что мы хотели знать, и в целом у меня было ощущение, что я делаю им одолжение, выпивая их шампанское и поедая их апельсины. Ну, может быть, так и было. Но де Голль им определенно не нравится, они считают его английским прихвостнем и фашистом. Отношение здесь, конечно, просоюзническое, но определенно антидегаллевское.

Пейзажи и краски здесь великолепны. Горы, море. Это действительно завораживает. Хотя, наверное, чтобы увидеть это место во всей его красе, нужно дождаться лета. <...>

Недавно, во время поездки в один из городков, я был поражен тем, как интересно сочетаются в них Франция и Африка. Улицы и дворы типично французские, с чудесным грязно-белым цветом Utrillo. С другой стороны, по застройке и общей атмосфере – это безошибочно восточный город. Я не говорю уже о людях. Конечно, здесь много арабов, женщин в чадрах и негров, но основное население – французы, причем очень мелкобуржуазные. Но в их лицах можно также найти и что-то определенно восточное, что-то, напоминающее мне длинные, тонкие, аристократические черты голубого периода Пикассо. По сравнению с простыми северными чертами, к которым мы привыкли в Англии, у этих людей великолепные лица. Это вызывает во мне желание рисовать. Каждый второй мужчина похож на

Наполеона. А женщины удивительно красивы, особенно молодые. Девочки 14, 15 лет обладают какой-то великолепной гордой, типично пикассовской красотой. Я действительно очарован этим местом и людьми. <...>

Я пытаюсь найти здесь русскую церковь или русских людей, но пока безуспешно. Конечно, не может быть такого города, где нет местного «белого» русского населения. Мне уже надоело, что я не слышу и не говорю по-русски. Не то чтобы я его забыл или, скорее всего, забуду, но слышать и говорить на нем приятно. Тем не менее я продолжаю свои попытки. <...>

---

1. Перевод с английского

2. Операция «Факел» (*Operation Torch*) началась 8 ноября 1942 года: англо-американские войска под командованием Д. Эйзенхауэра высадились в Марокко и Алжире; британские войска – в Алжире в районах столицы и г. Орана.

3. Морис Утрилло (1883–1955) – французский живописец-пейзажист.

4. Вот и всё. (*франц.*)

5. «Шоколад, месье!» (*франц.*)

6. Бетти Скорер, жена Алексея Франка.

7. Пьер Лаваль (1883–1945) – с 18 апреля 1942 г. был премьер-министром правительства Виши.

## 16. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИКТОРУ ФРАНКУ и НАТАЛЬЕ СКОРЕП

12 декабря 1942<sup>1</sup>

<...> О себе лично писать особо нечего. Я хорошо себя чувствую, здоров, климат не влияет на меня физически – он такой же, как и в Англии – дождь, туман, холодно. Но меня доводит до бешенства то, что, даже покинув Англию с ее традиционно убогой погодой и отправившись на «солнечный Юг», я сталкиваюсь с тем же скучным дождем и туманом. Похоже, англичане забирают свою погоду с собой. Не беспокойтесь о моей безопасности. Если меня не переедет грузовик или я не выпадну из окна, я в безопасности. А грузовики и окна в Англии существуют в гораздо большем количестве. Работа интересная и приносит удовлетворение, ее много. Условия жизни в целом, естественно, не слишком легкие. Ничего другого ожидать и не приходилось, но в целом опыт и новизна приезда сюда и увиденного делают эти неудобства ничтожными. Я действительно очень рад, что приехал сюда. Очень многие из нас здесь тоскуют по дому, чуждость и «иностранность» этого (как и любого другого) места раздражает и смущает их. Коротко говоря, они хотят вернуться к себе домой, в привычное окружение, где всё сравнительно легко, где вокруг один английский, – а здесь, как ни странно, не говорят по-английски.

Возможно, это связано с тем, что у меня нет страны, которую я мог бы назвать своей, или с тем, что во мне живет «дух приключений», столь дорогой Честертону. Я не хочу оставаться всю жизнь на одном месте, дома. Приехав сюда, я понял многое, что осталось бы для меня неизвестным, останься я на прежнем месте. И вообще, я бы многое отдал, чтобы иметь возможность поехать в Северную Африку в мирное время. Здесь мне хорошо платят и кормят, я занимаюсь интересной работой, я борюсь против того, против чего нельзя не бороться, будучи в форме и будучи сравнительно обязанным, а не свободным. Чего еще желать. Тем более в нашем случае. Наши условия жизни бесконечно лучше, чем у большинства остальных людей, не говоря уже о местном населении, которое голодает, если мы не даем ему продовольствие. Если бы не неопределенность судьбы папы и мамы, я был бы здесь по-настоящему счастлив. Я еще очень молод, «в расцвете лет», и хотя меня не призвали, я, безусловно, был призван морально. Для здорового человека было и остается невозможным оставаться в стороне. В конце концов, это такое же, если не больше, мое личное дело, как и их. Я хочу, чтобы твой Мишка<sup>2</sup> рос как нормальный ребенок. Я хочу рисовать то, что я хочу, и не скрываться при этом в лесу, я хочу всё то, что они определенно хотят уничтожить. В любом случае, я в этом участвую и не испытываю никаких сомнений. Я хотел принять участие в этом и сделал это. Я просил об этом и получил это. И в сложившихся обстоятельствах я доволен и вполне счастлив. <...>

О здешних людях я уже достаточно написал. Но чем больше я их вижу, тем больше понимаю, насколько они деморализованы. Единственная надежда французов снова стать войны великой нацией – это люди, которые жили под немецкой военной оккупацией и смогли избежать той ужасной иллюзии, что они здесь – всё еще великая Франция, Франция, которая породила Бальзака и Вольтера. Они так ужасно и удручающе пораженчески настроены, даже по отношению к нам, они кажутся слишком уставшими, уставшими от войн (хотя они их почти не видели), уставшими от лишений. Неудивительно, что Петэн так популярен здесь. Его портрет висит чуть ли не в каждом магазине, с цитатами из его речей, точно так же, как мы привыкли видеть фотографии Гитлера и его мудрые изречения. И неудивительно, что де Голля не любят и не доверяют ему. Даже если они и за нас, то пассивно. Для них война закончилась в июне 1940 года, а де Голля и англичан не любят за то, что они откладывали решение. Лучше, видимо, точно знать, что война проиграна, чем ждать в голоде и неопределенности какой-то отдаленной даты, когда война может быть выиграна. Я могу понять атмосферу, царящую сейчас в Виши. Но, конечно, крайне неприятно падать так низко как нация. Французы кажутся какими-то перезрелыми. Они слишком долго несли всё, что в них было, и не использовали это, а теперь оно лопнуло и разлагается.

Но в индивидуальном плане они очаровательны, и всё, что я написал о них в предыдущем письме, остается в силе. <...>

---

1. Перевод с английского

2. Михаил Скорер (1939–2023) – первый сын Натальи и Поля.

## 17. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИКТОРУ ФРАНКУ и НАТАЛЬЕ СКОРЕР

9 января 1943<sup>1</sup>

<...> Несколько дней назад было наше Рождество. Я вспоминал то время, давным-давно, когда мы ходили вечером в маленькую церковь на Hardenbergstr. и возвращались домой в сказочно поздний для меня час – в 9 часов вечера. С каким чувством взрослости я ложился спать в 10 часов и героически говорил маме, что высплюсь, чтобы пойти в школу следующим утром. Как счастливы мы были тогда и как мало мы это понимали и ценили. Это ушло навсегда. Будем ли мы когда-нибудь сидеть вместе и есть вечером stullen<sup>2</sup>, а потом пить чай, и придет ли вечером Бужанский<sup>3</sup> и будет ли спорить с мамой о еврейском вопросе? Почему эти мелочи так важны, Наташа? Решая проблемы Вселенной, Бога и Человека, мы забываем при этом, что на самом деле важны мамин кашель и послеобеденный сон папы, написанная им для меня Entschuldigung<sup>4</sup> и вечерний чай после ужина. Какие же мы дураки, что притворяемся, будто эти вещи не имеют значения. Они – жизнь, они – то, чем мы живем и в чем живем, и потом можно найти своего Бога и свое решение проблемы Вселенной, и уж точно не в высокоинтеллектуальных беседах с миссис Боттрелл (Mrs. Bottrall)<sup>5</sup>. Как много мне понадобилось, чтобы понять это. <...>

---

1. Перевод с английского

2. Здесь, очевидно: бутерброды (*нем., берл. разг.*).

3. Осип Евсеевич Бужанский – давний, со студенческих лет, друг С.Л. Франка, также был в эмиграции в Берлине, затем в Париже; умер в феврале 1942 года.

4. Оправдательная записка (родителей о причине отсутствия ученика на уроке). (*нем.*)

5. Соседка по квартире в местечке Thaxted, где Наталья жила в 1941–1943 гг., спасаясь от воздушных налетов на Лондон; часто бывал там и Василий.

## 18. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИКТОРУ ФРАНКУ

18 марта 1943<sup>1</sup>

<...> Ты не будешь возражать, если я напишу тебе о предмете, по которому у меня недавно было несколько почти убийственных дискуссий и по поводу которого я испытываю сильные чувства?

Прежде чем я начну, прости за довольно спекулятивный характер этой темы.

Что делать с немцами, когда мы выиграем войну? Существует два основных направления мысли. Одно – последователи Ванситтарта<sup>2</sup>, другое – последователи New Statesman<sup>3</sup>. Оба они, на мой взгляд, ошибочны. N[ew] S[tatesman] гораздо ближе к истине, хотя бы потому, что не увлечена эмоциями. Естественно, я симпатизирую ей и не соглашаюсь с V[анситтартом]. Направление V[анситтарта], в свою очередь, подразделяется на более радикальную и более умеренную части. Умеренная часть заявляет, что немцы, безусловно, должны быть наказаны (каким образом – неважно) за свои преступления. Это верно, и я с ними полностью согласен, за исключением того, что весь ванситтартизм – это перевернутая расовая теория. Другая, радикальная часть ванситтартизма – это та, с которой я спорю, и именно они составляют, как я полагаю, большинство. Это люди, которые имеют вес, потому что они представляют не только людей в Англии, но, я думаю, и во всех оккупированных странах, с той лишь разницей, что оккупированные страны пережили оккупацию, тогда как англичане видели и чувствовали ее лишь в незначительной степени. Они основывают свои доводы на тех же аргументах, что и немцы в «Stürmer»<sup>4</sup>. Собственно говоря, чем больше я слушаю подобные разговоры, тем больше не вижу никакой разницы между Stürmer'ом и ими. Тот факт, что немцы в данном случае виноваты бесконечно больше, чем евреи в другом случае, меня не интересует. Меня интересует и представляет огромную опасность то, что это направление мысли предполагает наличие разрушительного сознания. Немцы – лишь повод, сегодня это они (и этому есть оправдание), завтра – евреи, потом – любой, на кого они захотят напасть. И вот мы имеем расовую теорию и всё, что с ней связано. «Мы лучше, чем они, поэтому давайте на досуге сбросим на них несколько бомб».

Очевидно, нет необходимости упоминать, что немцы сделали слишком много, чтобы их можно было легко отпустить, и пусть они понесут наказание. Они заслуживают этого, хотя бы ради удовлетворения поработенных народов. Но когда люди с кровожадными глазами требуют истребления целого народа, независимо от того, виновен он в самых жестоких преступлениях или нет, я не вижу разницы между мщением и наказанием. Допустим, они осуществляют свой план массового убийства. Что же мы получим? Мы истребили немцев, а вместо этого создали точно такую же угрозу. У меня нет позитивных предложений, которые я мог бы выдвинуть, да я и не пытаюсь этого делать, но во мне достаточно здравомыслия и морали, чтобы возражать и, если нужно, бороться против этого. Я сражаюсь (образно говоря) против немцев не потому, что они немцы, а потому, что они *оказались* врагами того, что для меня является целью и смыс-

лом жизни. Будь на их месте кто-то другой, я бы сражался с ним не хуже. Разве не правда, что человечество в целом виновато? Когда вас бомбит пикирующая Stuka<sup>5</sup>, иррациональная, мгновенная мысль «эти Jerries<sup>6</sup> – ублюдки» сменяется Weltenschmerz<sup>7</sup>, что человечество настолько плохо, что терпит пикирующую Stuka. Так уж случилось, что они – непосредственные виновники, но в долгосрочной перспективе, если немного подумать, становится очевидно, что мы с вами несем огромную ответственность за каждого ребенка, убитого ими, убитого потому, что мы не приняли достаточных мер, чтобы искоренить мышление, позволяющее убивать детей. Когда сторонники Ванситтарта заявляют, что их, как фурункул в организме, нужно вырезать, им можно ответить: «Но что, если весь организм сифилитический?». И это так. Не фурункул появляется на здоровом теле и угрожает ему, а сифилитическое тело образует его то здесь, то там. Если вырезать его здесь, то он появится, возможно, даже в более опасном виде, в другом месте. Могло ли случиться, чтобы за последнее столетие или около того фурункул появился не в Германии, не у немцев? Для меня это несомненно. Они (сторонники Ванситтарта) не признают наличия сифилиса, они обвиняют фурункул, я обвиняю сифилис.

Я в достаточной степени псевдохристианин и псевдосоциалист, чтобы быть уверенным в *основополагающем* равенстве людей. Характер наций, как и отдельных людей, – это лишь поверхностный слой, который определяют и на который влияют среда и история. Поэтому я не вижу никакой правды ни в расовой теории Гитлера, ни в теории Ванситтарта. Виноват в этом исключительно ЧЕЛОВЕК. Он допускает разгул скотства и несет ответственность за то, что не подавил его. Кто начал войну, не имеет никакого значения. Приверженцы New Statesman также тщетно пытаются найти ответ в какой-то экономической или интеллектуальной сфере. Ответ лежит в гораздо более глубокой сфере, которую ни они, ни В[анситтарт] не готовы искать. В сущности, все мы плохие (чем больше я живу и вижу, тем яснее это становится), и только силой воли и моральными ценностями мы иногда подавляем это. Поэтому перекладывать вину за больное человечество на плечи отнюдь не привлекательной нации, которая по исторической случайности оказалась средой, нарывом этого сифилиса, кажется мне крайне трусливым поступком. Это уход от реальной проблемы и поиск легкой формулы, которая внешне соответствует поверхностным фактам. Когда эта война будет выиграна, жестокость, проявленная к немцам, намного превзойдет жестокость, проявленную ими самими. Оправдание, что это месть, не выдерживает критики. Любая жестокость бессмысленна и мерзка. Она всегда садистская, будь то без причины или из мести за убитого ребенка, она неоправданная. В любом случае все мысли о рациональном наказании быстро забываются,



когда льется кровь и люди убивают ради удовольствия. Это незаметно начинается уже сейчас. Когда меня просят каждый вечер в 9 часов поверить в то, что немецкие бомбардировки мирных жителей объясняются садистским характером, а наши – какими-то другими причинами, меня заставляют выполнять умственную и моральную гимнастику, на которую я не способен.

Безусловно, наше дело правое. Не зря же я сошелся с Кёрнером:

Es ist ja nicht ein Kampf für die Güter der Erde:  
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte.  
Drum, fallend und siegend, preis' ich dich.  
Vater Du, segne mich!<sup>8</sup>

Я виню себя – как представителя человеческой расы – за убийство ребенка в России, как виню и убийцу. Конечно, он убил его, а не я, и пусть он понесет наказание, которое сам заслужил. Но, в конечном итоге, я и подобные мне имеем ответственность быть людьми, и в этом качестве несем на своих плечах коллективные грехи человечества. Я принял на себя эту ответственность быть человеком. Мы все должны быть наказаны. Убийца оказался орудием нашего зла. Здесь *нет* никакой дискриминации. Христос пришел для спасения всего человечества в прошлом, настоящем и будущем, а не какой-то избранной группы людей. ЧЕЛОВЕК несет ответственность. Мы каемся за грехи наших ближних, будь то живые, мертвые или еще не родившиеся. Мы страдаем за *идею зла*. В конце концов должно прийти осознание коллективной ответственности за дела человеческие. Только тогда у меня появится надежда на то, что мы станем настоящими людьми и сможем решить эту вечную проблему. <...>

---

1. Перевод с английского

2. Роберт Ванситтарт (Vansittart; 1881–1957) – британский дипломат, барон, в 1930–1938 – постоянный заместитель министра иностранных дел; в 1938–1941 г. – советник МИД Великобритании. Ванситтарт был сторонником жесткой линии в противостоянии германской агрессии. Во время войны он стал видным сторонником крайне антигерманской линии, доказывая, что Германия по своей природе является милитаристской и агрессивной. В книге «Black Record: Germans Past and Present» (1941) Ванситтарт изобразил нацизм как последнее проявление непрерывной агрессии Германии со времен Римской империи. Поэтому после победы над Германией денацификации было бы недостаточно – ее необходимо лишить всего военного потенциала, включая тяжелую промышленность.

3. «New Statesman» – английская газета леволиберального направления, основанная в 1913 г. лидерами фабианства Сиднеем и Беатрисой Вебб и Бернардом Шоу. Перед войной придерживалась антифашистского и пацифистского направления. Василий выписывал эту газету, находясь на фронте.

4. «Der Stürmer» – еженедельник, выходивший в Веймарской республике и

нацистской Германии с 1923-го по 1945 год (с перерывами). В нем печатались преимущественно статьи, лозунги и карикатуры, возбуждающие ненависть к евреям; публиковались также материалы против католиков, крупных капиталистов, коммунистов и других «врагов Рейха».

5. Junkers Ju 87 Stuka – одномоторный двухместный пикирующий бомбардировщик и штурмовик Второй мировой войны, от нем. Sturzkampfflugzeug – пикирующий бомбардировщик.

6. Немец, немецкий солдат или самолет. (*англ., воен.*)

7. Мировое страдание (*нем.*)

8. Теодор Кёрнер (Körner; 1791–1813) – немецкий поэт, погиб в Освободительной войне против Наполеона. Цитируется (с небольшими неточностями) стихотворение «Gebet während der Schlacht» («Молитва во время боя»): «Это не борьба за земные блага: / Мы защищаем мечом самое святое. / Поэтому, падая и побеждая, я славлю тебя. / Отец, благослови меня!»

## 19. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИКТОРУ ФРАНКУ

12 декабря 1943<sup>1</sup>

<...> Ты мне пишешь о Берлине<sup>2</sup>, Ви! Я так много слышал и читал в последнее время о нанесенном там ущербе, что твое подробное описание того, чего больше нет, не должно было бы произвести на меня никакого дополнительного впечатления. И всё же каким-то образом произвело. Самое любопытное и самое раздражающее состоит в том, что я как-то чувствую отсутствие определенной проблемы, которая должна была бы быть. Я что-то чувствую, но это чувство носит настолько эмоциональный, полуистерический характер, что я не могу дать себе в нем ответ, потому что нет рационального вопроса. Кроме довольно отвратительного чувства Schadenfreude<sup>3</sup>, которое непременно возникает, и желания, чтобы Грюневальдской гимназии, включая доктора Вальдфогеля (Dr. Waldvogel), больше не было<sup>4</sup>, я ничего не могу понять. Я знаю, что должен был бы радоваться, если принять объяснение, что это приближает конец войны, – но не могу; с другой стороны, я знаю, что меня должно было бы печалить физическое разрушение того, что, в конце концов, было моим домом практически всю мою доанглийскую жизнь, – но я тоже не способен на это.

Это странно, если учесть, насколько полно я уже отрезился от той жизни, и только сейчас, когда я слышу, что Winterfeldtplatz и Hohenstaufenstr. становятся руинами, подобно многим другим городам, возникает какая-то реакция, и я неожиданно начинаю живо вспоминать некоторые вещи и сцены, которые казались давно забытыми. Для вас с Наташей – для тех, кто постарше, – всё должно быть иначе. Во-первых, у вас сохранилась память о жизни в России, а во-вторых, и это главное, у вас, вероятно, есть своего рода эмоциональная и интеллектуальная защита против этого. Вы были старше, думали и

познавали самостоятельно, и, следовательно, события (более поздние)<sup>5</sup> вы сами понимали и осознавали как зло. Я чувствовал, думал и знал, что они есть зло, *только* потому, что папа, мама и вы двое вкладывали в меня эту мысль. То есть, по сути, я чувствовал и знал то же самое, что и вы, однако это не было выводом моего собственного ума или осмыслением собственного опыта. Вот почему в вас, я думаю, происходящее не вызывает такого замешательства, каким оно является сейчас для меня.

За последние годы у меня сложились с вами такие же отношения, как у Наташи с англичанами: «Никогда не обсуждай ничего серьезного и особенно того, что касается твоей собственной ‘души’». Поэтому после каждого такого откровения у меня возникает желание сказать вам «простите меня за это». Я бы с удовольствием написал об этом по-русски, но не буду, вдруг это будет расценено как подрывная пропаганда. <...>

---

1. Перевод с английского

2. В ноябре 1943 г. началась авиационная «Битва за Берлин» (The Battle of Berlin), которой руководил глава бомбардировочного командования RAF сэр А.Т. Харрис (Sir Arthur Travers Harris). Первые массированные рейды прошли 18-19 и 22-23 ноября. В результате налетов были сильно повреждены жилые районы к западу от центра, Тиргартен и Шарлоттенбург, Шёнберг и Шпандау, Мемориальная церковь кайзера Вильгельма и многие другие известные здания, пострадал Берлинский зоопарк, а также несколько оружейных заводов.

3. Злорадство (*нем.*)

4. См.: «В моем классе, в Грюневальд-Гимназиум (гимназия им. Вальтера Ратенау), было много ребят еврейского происхождения; исчезать они стали начиная с 1935 года, что заметно сказалось на культурном и интеллектуальном уровне школы. Началось это сразу же после того, как любимый наш директор, доктор Фильмар, был уволен, и его место на директорском посту заняла новая, весьма одиозная фигура – полугорбатый доктор Вальдфогель. На вид, да и не только на вид, он был совершенный кретин. Я называл его ‘политрук’ за его чисто садистские методы управления школой» (*Франк, Василий. Русский мальчик в Берлине. С. 116*).

5. Василий имеет в виду распространение нацизма в Германии в 30-е годы.

## 20. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИКТОРУ ФРАНКУ

4 февраля 1944

<...> Рад я очень, что такое ободряющее письмо от Binswanger'a<sup>1</sup>. Слава Богу, что у них есть хоть какая-то еда. Я не знаю, знаешь ли ты, что такое голод (голодали мы в России?). Мне пришлось увидеть, что это такое. Ужасно это. Люди готовы на всё, буквально на всё, только бы как-нибудь наполнить желудок. Трудно

поверить, на что, на какие зверства и до какого унижения голодный человек способен. И до чего раздражает наш «superiority-complex»<sup>2</sup>. У нас, мол, такие вещи не бывают. Голод, беднота – это, по-ихнему, что-то варварское и, не зная голод и не зная о голоде, это для них какая-то ошибка. «Nothing goes right here, neither the buses nor the distribution of bread»<sup>3</sup>. Это типично. А у нас какое-то жуткое идолопоклонство автомата, нажмешь на кнопку, и вот и хлеб, и пиво, и автомобили. Вот тебе цивилизация 20-го столетия. Герои. Слишком, Ви, нам хорошо живется, слишком богаты мы и слишком мало знаем мы о зверстве человеческом. Мы так мало знаем про то, что делается там, за фронтом, по другую сторону, особенно вы (нам иногда приходится видеть, потому что мы просто физически ближе к ним), что их невозможно судить по нашим законам и нашим понятиям. Это, Ви, не теория, это факт. Как только мы попадаем в новое место, откуда *они* только недавно были выбиты, то люди, которых мы встречаем, совсем, совсем иные. Мы для них чужды не только языком и нравом, а чужды полным животом, уверенностью завтрашнего обеда и, главным образом, нашей нормальностью. И поэтому я так не согласен с тобой о том, что ты пишешь о «славянских» беспорядках. Не тебе, не мне, не Саговскому о них судить. Ты пишешь о справедливости и об абсолютных моральных принципах. Их нет. Или, вернее, они есть, но они ничто, не на них строится жизнь, а на способности перенести голод, холод, горе. Нам этого не понять, потому что наша жизнь слишком легка. Ты, конечно, прав. Наши, как всегда, хулиганы и мерзавцы. Но только *потому, что* они мерзавцы во многом и хулиганы, только поэтому немцы в Могилеве, а не в Магнитогорске. И возмущаться русскому хулиганству нетактично. *Ими* война выигрывается, а не честностью, справедливостью и абсолютными моральными принципами. Ты меня понимаешь? Кончилось, умерло то, что раньше считалось хорошим. Теперь хорошо разрушить город и убить 1000 немцев. Это не делается моральными принципами. Слава Богу, что нашелся народ, похожий своим зверством на немцев. Слава Богу за это. Мы, т.е. англичане, на это слишком приличны, *потому что* мы не страдали. Вот тебе мой ответ на это.

Крепко целую тебя. Сохрани свою приличность. Это скоро будет редкость. <...>

---

1. 1 ноября 1943 г. Бинсвангер писал Виктору Франку: «Ваши родители действительно поменяли адрес – они поменяли свою летнюю квартиру на более подходящую зимнюю <...> и рады, как и прежде, лучшим возможностям питания, которые предоставляет им их новое место пребывания. <...> В плане здоровья дела у Вашего отца, кажется, идут хорошо, он вновь начал работать» (Переписка С.Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950). С. 698).

2. Чувство превосходства (*англ.*)

3. Ни автобусы, ни раздача хлеба не идут здесь правильно. (*англ.*)

## 21. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИKTOPУ ФРАНКУ

20 февраля 1944

Дорогой Ви! Вчера вечером получил твое письмо (airgraph) от 4-го и замечательно быстрое airmail, от 11-го, которое ты мне пишешь в ответ на мое письмо от 4-го. Здорово. Через 15 дней я получу ответ. Надеюсь, что это так будет продолжаться.

Так, теперь к нашей переписке. Конечно, ты прав. Я согласен с тобой о России. Хотя я и мало знаю и не следил, как ты, но я в этом не сомневаюсь. Про это я, кажется, в прошлом письме тебе писал и целую теорию на этом построил, что именно этим своим хулиганством и скотством с немцами они их бьют. (Hemingway в одном из своих рассказов пишет, что для того, чтобы убить быка, надо стать быком<sup>1</sup>. Только тогда есть возможность его убить, а не быть самому убитым. Нам, т.е. англичанам, это не удалось бы. Ты это сам знаешь.) Но не в этом дело и не в этом состоит наш спор. *Победа на поле битвы – наша. Это дело только времени и в этом сомнения нет, потому что мы их сильнее.* Хорошо. Дай Бог, чтобы это кончилось как можно скорее, хотя бы кончилось чисто физически. Но война эта, эти последние 4-5 лет, расточили такой невероятный, ужасающий пожар человеческих страстей, что то, что было черным раньше, стало белым теперь, и vice versa. И именно в этом мы друг друга не понимаем. Тут-то спор наш начинается. Ты не прав. У тебя, прости меня, понятие образованного, приличного человека. Всё то уже прошло. Не немцы враг больше – это детские болезни войны, – а человек. Не против немцев идет борьба, а против самих нас, против наших ужасающих страстей, нашей слабости, нашего зверства, нашей Verführbarkeit<sup>2</sup>. В нас враг. Ты пишешь о каком-то чисто физическом спасении. Победа на поле битвы будет, а что потом? Разгром немцев и «мир». Не будут больше бросаться бомбы. Это победа? Фактом, что отодвинут занавески вечером, не смиришь дьявола в душе. В нас сидит темная сила, в нас, в немцах, в Советах, а ты пишешь (in effect) о какой-то борьбе против темной силы. Как? И кому спасать? Нам? Нет, Ви, нет. Мы на это не способны, мы люди приличные (мы – это англичане), и как сытому не понять голодного, так нам не понять и не судить ничего, который украл булку, или человека, который насилует немку, потому что она немка. Не нам их (это все те, которые научились ненавидеть и страдать) судить. Мы – чужие, мы не знаем, не можем и не хотим знать. Не нам судить человеческую душу. (А у вас, дома, делаются планы судить War-Criminals<sup>3</sup>. Судить Господа Бога. «Мы их силой побороли, и *поэтому* нам дано Богом и справедливостью задание их судить.» Меня чуть ли не в истерику бросает от этой слепоты.) Танком не разрушить ненависть, и 1000-ю бомбовоза-

ми не воскреснет ни Поль, ни Ванька, ни берлинский Hänschen. Проблема не в зверстве Советов, а в греховности человека. Мы, англичане, на стороне. Наше приличие – редкость, о нас волнуется мир. Нас лечить надо, а не Советы. Я их не видал, их не знаю. Нас я вижу постоянно, и клянусь тебе, мы, нормальные люди, мы – редкость. Приезжай к нам и наглядись сам.

Целую. В.

---

1. В июле 1941 г. Василий сообщил родителям, что получил на день рождения от Наташи и Поля «книгу очень хорошую – Ernest Hemingway ‘For Whom the Bell Tolls’. Он стал своего рода классик здесь».

2. Соблазнительность, соблазн (*нем.*)

3. Военных преступников (*англ.*)

## 22. ВАСИЛИЙ ФРАНК – ВИКТОРУ ФРАНКУ

28 февраля 1944

Дорогой Ви!

Несколько дней тому назад я тебе отослал письмо, в котором я написал ответ на наш спор о России, хулиганстве и т.д., и т.д. Передумав и отрезвившись, я чувствую, что написал неправильно, что во многом ты прав, я не прав. Прав ты в том, что ты знаешь, я же не прав, потому что я чувствую, и поэтому не могу быть объективным. Т.е. тебе я могу доверять в этом, себе же я не могу. Меня до того здесь многое злит – наша слепота, человеческая гнусность и зверство – и я до того потрясен зрелищем всего этого, что я немножко сошел с рельс. Но я всё же утверждаю, умом и сердцем, что мы люди совершенно чужие, что не нам рассуждать и судить. Просто потому, что мы объективно не в силах этого делать. <...> Беда моя в том, что я энтузиаст и «суперлативист». Мне восхищаться Вагнером надо было бы. Шуберт и Бах sind nicht mein Fach<sup>1</sup>. Но довольно об этом. Я с нетерпением жду твоего ответа. Я во многом прав, потому что я глазами вижу, но вижу в каком-то кривом зеркале. <...>

---

1. Не моя стихия (*нем.*)

(Окончание в следующем номере)

Публикация и комментарий –  
Н. Франк-Львовский и Г. Аляев

## Три письма князя Д.П. Святополка-Мирского

В анналах американской славистики имя литературного критика и историка князя Дмитрия Петровича Святополка-Мирского (1890–1939) занимает особое место<sup>1</sup>. Сокращенный вариант его двухтомной истории русской литературы является настольной книгой для не одного поколения американских студентов и аспирантов<sup>2</sup>. Произведение критика, которое написано на безупречном и оригинальном английском языке, содержит свежие, острые и пронизательные суждения о русской литературе. Эмигрантский критик Александр Бахрах отметил живучесть и актуальность истории Мирского: «Пожалуй, она не имеет себе равноценной по-русски, и несмотря на ее полувековую давность, к ней можно с пользой прибегать и по сей день, едва ли в ней что-либо устарело. А это, как-никак, немалое достижение»<sup>3</sup>. Набоков также положительно высказывался об истории князя<sup>4</sup>; книга Мирского числилась как обязательная для слушателей набоковских лекций по русской литературе<sup>5</sup>.

Публикуемые три письма относятся к золотой поре творческой деятельности Мирского. После службы в Белой армии во время Гражданской войны, Мирский обосновался в Лондоне. Там в течение десяти лет (1922–1932) он преподавал курсы по русской литературе в Королевском колледже Лондонского университета (King's College, University of London). В университетском журнале «Славянское обозрение» (*The Slavonic Review*) князь опубликовал более шестидесяти статей, рецензий и некрологов<sup>6</sup>. Помимо своей кипучей журнальной деятельности (критик печатался и в ненаучных изданиях, а также принимал участие в русской эмигрантской литературе), Мирский за это время выпустил семь книг о русской литературе и истории по-английски! Критик стал тем самым соединяющим звеном между русской литературой и англоязычным читателем. Благодаря своим трудам, князь приобрел себе некоторую славу, как отметил его биограф: «До середины 1950-х гг., принесших международную славу Набокову, Мирский был самым известным человеком русской литературной эмиграции в западном литературном мире»<sup>7</sup>.

Жизнь Мирского была необычной и непредсказуемой. Выходец из знатной аристократической семьи<sup>8</sup> в 1932 году князь бросил всё, включая возможность получить работу в американском университете, и уехал в Советский Союз. (Здесь имело значение воздействие Максима Горького<sup>9</sup>.) Перед отъездом Мирский уничтожил свой эмиг-

рантский архив. А его советский архив был конфискован при аресте князя в 1937 году. (Мирский погиб в лагере в 1939 году.) При отсутствии архива Мирского, любые сохранившиеся письма приобретают определенную ценность, дополняя наши скудные сведения о его жизни. Впервые печатаются три письма Мирского, которые хранятся в фонде Е. Ляцкого<sup>10</sup> в «Литературном архиве Памятников национальной письменности» в Праге. Письма печатаются по современной орфографии с сохранением особенностей стиля автора.

*Жорж Шерон*

1. Существуют две превосходные биографии Мирского, одна на английском языке, а другая на русском языке; см. *Smith, G. D. S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. Oxford University Press, 2000; Ефимов, М., Смит, Дж. Святополк-Мирский* (в серии «Жизнь замечательных людей»). М., 2021.
2. Имеется в виду позднее сокращение 1958 года; см. *Mirsky, D.S. A History of Russian Literature from Its Beginnings to 1900* (Edited by Francis J. Whitfield). New York, 1958. Перевод несокращенного труда Мирского на русский язык был осуществлен только в 1992 году; см.: *Кузнецов, П. «Последний князь и русская словесность»* / «Звезда», 2011. № 2. С. 203-206.
3. *Бахрах, А. «Самообольщенный Князь»* / «Новое русское слово». 1992, 31 декабря (№ 25967). С. 5. Отзвуки этого мнения можно найти и в воспоминаниях Владимира Вейдле: «Эта его история русской литературы – замечательная книга, самостоятельная, живая, основанная на собственном чтении и собственной оценке всех обсуждаемых в ней произведений. <...> Никто ее и до сих пор не заменил, и ничто с ней сравнимого ни на каком языке за все эти годы написано не было» (*Вейдле, Вл. «О тех, кого уже нет. Воспоминания. Мысли о литературе»* (Публикация Г. Поляка) / «Новый Журнал». 1993, сентябрь-декабрь (кн. 192-193). С. 394.
4. «I consider it to be by far the best history of Russian literature in any language including Russian» (Я считаю, что это самая лучшая история русской литературы на любом языке, включая русский). См. *Nabokov, V. Selected letters, 1940–1977. Edited by D. Nabokov and M. Vruccoli. New York, 1989. P. 91. О взаимоотношениях Набокова и Мирского см.: Ефимов М. «Nabokov and Prince D.S.Mirsky» // The Goalkeeper. The Nabokov Almanac (Ed. Y. Leving). Boston, 2010. P. 218-229.*
5. *Nabokov. Letters. P. 124.*
6. *Ефимов и Смит. С. 186.*
7. *Смит, Дж. «Параболы и парадоксы Д. Мирского»* / *Мирский, Д.* (Дмитрий Петрович Святополк-Мирский). О литературе и искусстве. Статьи и рецензии 1922–1937. Составление, подготовка текстов, комментарии, материалы к биографии О. Коростелева и М. Ефимова. М., 2014. С. 11.
8. Отец Мирского – П.Д. Святополк-Мирский (1857–1914) короткое время был министром внутренних дел в царской России.
9. *Kaznina, O. , Smith, G. D. S. Mirsky to Maksim Gorky: Sixteen Letters (1928–1934) / Oxford Slavonic Papers. 1993. Vol. 26. P. 84-103.*
10. Ляцкий Евгений Александрович (1868, Минск – 1942, Прага) – известный литературовед, фольклорист, этнограф, писатель. Стоял у истоков создания этнографической коллекции Русского музея, был одним из основателей сла-



вянского фонда Этнографического отдела Русского музея. В эмиграции с 1917-го, сначала в Финляндии, затем в Чехословакии. Возглавил изд-во «Пламя» (1923–26). В 1925 г. он опубликовал роман «Тундра», где одним из первых коснулся темы русской эмиграции. В 1934 г. вышла в свет его монография, посвященная «Слову о полке Игореве». Вел обширную переписку с известными представителями эмиграции: И. Бунин, З. Гиппиус, Н. Тэффи, А. Куприн, Д. Мережковский, А. Флоровский и другие. Был почетным доктором Белградского университета, почетным членом Археологического института им. Н.П. Кондакова, Союза русских писателей и журналистов и Славянского института (Прага), председателем Комитета по улучшению быта русских писателей в Чехословакии и др. Внес большой вклад в популяризацию русской литературы в славянских странах Европы. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

## ПИСЬМА Д.П. СВЯТОПОЛКА-МИРСКОГО К Е.А. ЛЯЦКОМУ

### 1.

*15 Torrington Square  
London WC1*

*19.10.25*

Многоуважаемый Евгений Александрович,

Только теперь, вернувшись в Лондон к началу учебного года, нашел Ваше любезное письмо и Вашего Гончарова<sup>1</sup>. Простите столь невольную невоспитанность. С величайшим интересом приступил к чтению. С большим интересом буду ожидать второй части<sup>2</sup>, которая особенно меня интересует, так как историю [«]Необыкновенной Истории[»] знаю только по слухам, и самой этой истории не удалось видеть. Книга Ваша, мне кажется, имеет большое значение не только историко-литературное, но и более широкое, теоретическое, т[ак] к[ак] Вы в ней с большой убедительностью изображаете тип художника в разных вариациях очень распространенный, но который Гончаров представляет с редкой, думаю, даже единственной, остротой и крайностью. Именно с этой точки зрения Вы к нему и подходите, и Ваша книга должна стать основной для всякого исследователя художественной психологии.

С глубоким уважением,  
преданный Вам Д.С.Мирский.

P.S. Помните ли Вы, как А. Сухотин<sup>3</sup> и я были у Вас и кн. Голицина<sup>4</sup> лет 15 тому назад?

1. *Ляцкий, Е.* Роман и жизнь. Развитие творческой личности Гончарова, 1812–1857. Прага: Изд. «Пламя», 1925. Ляцкий считался специалистом по Гончарову, он написал несколько книг о нем.

2. Вторая часть не была издана.
3. Алексей Михайлович Сухотин (1888–1942) – гимназический и университетский товарищ Мирского, впоследствии известный лингвист.
4. Князь Борис Голицын – университетский друг Мирского.

2.

15 Torrington Square  
London WC1

28.XI.25

Многоуважаемый Евгений Александрович,

Очень рад был получить Ваше письмо. Очень надеюсь, что Вы превозможете Ваши сомнения и скоро дадите нам вторую часть [«Гончарова»]. Вы работаете не для сегодня[шне]го, а для постоянной сокровищницы истории литературы. Очень благодарю Вас за любезное предложение обмена книг. Если разрешите, я вышлю Вам единственную пока вышедшую мою книгу «Modern Russian Literature» (в серии World's Manuel<sup>1</sup>). Из изданий «Пламени» многие у меня уже есть, а если Вы будете так добры, я буду очень благодарен за следующие книги:

1. Степун. Записки прапорщика артиллериста<sup>2</sup>;
2. Зноско-Боровский. Совр[еменный] русский театр<sup>3</sup>
3. На чужой стороне<sup>4</sup> Книга XII (с Толстовским Петром).

Я собирался написать о Вашей книге (Гончарове) для этого номера Sl[avonic] R[evue]<sup>5</sup>, но за другой работой не успел. Приходится отложить до следующего номера, где я тоже надеюсь написать о книгах, изданных «Пламенем» по истории Русского театра (Зноско-Боровский и Кизеветтер<sup>6</sup>).

Преданный Вам  
Д. С. Мирский.

1. *Prince D. S. Mirsky. Modern Russian Literature. London, 1925.*

2. Книга вышла в 1926 году, вторым изданием.

3. *Зноско-Боровский, Е. Русский театр начала XX века. Прага, 1925.*

4. Историко-литературные сборники, которые издавались в Берлине и Праге (1923–1926; №№ 1–13).

5. Мирский написал положительную рецензию на книгу Ляцкого: «...Это нужная и долгожданная книга. <...> Книга недурно написана и представляет своего героя на широком фоне породившего его общества. Книга усугубляет устоявшееся впечатление странного несоответствия Гончарова-человека – Гончарову-художнику. <...> Профессор Ляцкий более четко, чем это осознавалось до сих пор, выявляет глубокую субъективность гения Гончарова. <...>» (*The Slavonic Review*, 1926. Vol. 14. № 12. P. 780–781). Перевод с английского языка сделан М. Ефимовым; см. *Мирский, Д. О литературе и искусстве: статьи и рецензии 1922–1937. М., 2014. С. 145–146.*

6. *Kizevetter, A.* М.С. Щепкин, эпизод из истории русского искусства. Прага, 1925.

## 3.

*15 Torrington Square  
London WC1*

10.2.26

Многоуважаемый Евгений Александрович,

Я очень огорчен, что не знал о Вашем присутствии в Париже. Чтобы это другой раз не случилось, разрешите сообщить Вам расписание моих сезонов, повторяющихся с безусловным однообразием. В Париже я бываю с 25 марта по 20 апреля, с 1 июля по 1 октября и с 20 декабря по 15 января<sup>1</sup>. Очень был бы рад, если бы оказалось, что Вы будете там в апреле. Адрес мой там:

*214 Rue de Bécon  
Courbevoie (Seine)<sup>2</sup>*

Преданный Вам Д. С. Мирский.

P.S. Меня зовут Дмитрий *Петрович*, а английская моя подпись D.S. Mirsky означает Димитрий Святополк Мирский<sup>3</sup>. Это из снисхождения к англичанам, язык которых не управляется со столь славянским именем.

---

1. Когда очередной учебный семестр в Лондоне заканчивался, Мирский уезжал в Париж.

2. Парижский адрес матери Мирского, где он останавливался.

3. Все английские книги подписывались Prince D. S. Mirsky, с его княжеским титулом. Любопытно, что титул Мирского был вычеркнут на суперобложке его последней английской книги; см.: *Mirsky Dmitri. The Intelligentsia of Great Britain.* London, 1935.

*Публикация, комментарий – Жорж Шерон*

Максим Макаров

## «РУССКИЙ ХОЛМ»

*La Favière (1920–1960)*

*История русской колонии на юге Франции*

### Глава 2.\*

#### Фавьерское «рабство» Георгия Гребенщикова

Революция застала Аполлинарию Алексеевну Швецову (урожд. Лушникову, 1877–1960) с мужем Борисом Алексеевичем Швецовым (1873–1939) в Ялте. Пережив первый «красный террор», они не стали вторично испытывать судьбу и покинули Крым.

Оказавшись в 1919 г. во Франции, Аполлинария Алексеевна (А.А.) по дороге в Ниццу – «французскую Ялту», по словам Чехова, – заехала в Фавьер навестить родную сестру Екатерину Алексеевну, в замужестве Песке (Peské), где та с семьей жила в домике «Бастидун» у моря. Место ей настолько понравилось, что через своего поверенного в делах Н.С. Красулина<sup>1</sup> она тут же и купила большой участок соснового леса.

А годом спустя во Франции оказывается писатель Георгий Димитриевич Гребенщиков (1883–1964), с которым Швецовы познакомились еще в Ялте на одном из литературных вечеров, где молодой писатель выступал с чтением своих рассказов. В ближайшем окружении Швецовых было много писателей, в том числе и самой первой величины. Но Георгий Димитриевич – сибиряк, как и Швецовы, а значит «свой», – этот важный фактор нельзя не учитывать, ибо чувство землячества (взаимного интереса, «притяжения») у сибиряков всегда было развито очень сильно; не будь этого, вполне возможно их пути просто бы разошлись...

Зачастую в статьях о русском Фавьере Гребенщиков упоминается ни много ни мало как «ОСНОВАТЕЛЬ русской колонии в Фавьере». Когда-то кем-то по незнанию оброненная фраза превратилась в одну из многочисленных легенд об «алтайском самородке». Но всё было иначе: к появлению русских дач в Фавьере и, тем более, к жизни Русского холма Гребенщикова не имеет никакого отношения.

\* Продолжение. См.: *La Favière*. Глава 1. Предыстория Русского холма. НЖ, № 313, 2023.

Ниже приводятся выдержки из дневника Г. Гребенщикова и его писем 1921 г., проливающие свет на «Фавьерскую историю» и всё составляющие по местам<sup>2</sup>. Но для более полного понимания следует пояснить некоторые особенности непростого характера нашего героя. При всей своей неординарности, безусловном таланте, исключительной созидательной энергии и искренней религиозности Георгий Гребенщиков (Г.Г.) был личностью неоднозначной и противоречивой.

Он родился в 1883 г. на Алтае в бедной семье горнорабочего. Даже начальную школу окончить не удалось – отец забрал на лесозаготовки. Мать, женщина чуткая («шибко нежная», по словам свекрови), тайком увезла сына в город и отдала там «в люди»: «Ты должен быть, как Ломоносов...» – внушала она мальчику. Ученик мастера, мойщик посуды, посыльный в аптеке, санитар, помощник письмоводителя... – Г.Г. не получил никакого систематического образования. Но несомненный природный дар и благосклонная судьба довольно рано привели его в литературу (первая публикация – в 23 года). Самобытные сибирские рассказы Г.Г. заметили, на «народные таланты» тогда была мода, нашлись умные покровители – так «родился» писатель Гребенщиков.

Поначалу выступая как «сибирский» писатель, Г.Г. пытался было влиться в столичную литературу, но ему это не удалось – «сибирский» означало «провинциальный» и как бы по определению «второстепенный» (таковым, кстати, Г.Г. и остался в истории русской литературы: «писатель второго плана», как о нем говорят литературоведы).

Но автор был молодой, самоуверенный, трудолюбивый – рассказы и очерки печатались, читались. Лев Толстой, к которому Г.Г. съездил в 1909 г., напрямую не отговорил его от литературной деятельности, а стало быть, «благословил». Произошло знакомство и с «главным выходцем из народа» Максимом Горьким – было на кого равняться. Совершенно сознательно Г.Г. всё меньше и меньше говорит о себе как о «сибирском» писателе, постепенно превращаясь в писателя «народного». И это уже не ярлык («второстепенный»), но – статус в духе времени.

А потом была война, служба в санитарном обозе, создание на фронте первого тома эпопеи «Чураевы»; революция, Киев, Крым, Константинополь, Бизерта, Тулон... И в январе 1921 года Г.Г. оказывается в Париже.

Поначалу его писательская судьба за границей складывалась очень удачно. Рукопись романа «Чураевы» сразу же покупает лучший эмигрантский журнал «Современные записки». Затем роман выходит отдельной книгой и переводится на французский язык. История алтайских старообрядцев парижской публике нравится своей самобытностью, издательства охотно печатают Гребенщикова, готовятся переводы на другие европейские языки. И год спустя выходит уже

шеститомное (полное) собрание сочинений. Для молодого писателя это – слава. Но где слава, там и зависть.

«Где издаваться? Здесь – невысказано... Ни одной книжки никто не покупает. А у Bossard'a новый ужас. Как плотина ляжет поперек роман Гребенщикова. Это уже ни пешим обойти, ни конем объехать...» (*А.И. Куприн*, 1922)<sup>3</sup>.

«Роман 'Чураевы' написан так, как будто не было ничего. Андрей Белый не написал 'Петербургa' и 'Котика Летаева'. По касательной пролетели мимо Гребенщикова и Ремизов, и Замятин, и весь 'стиль эпохи'... Ненужная книга, находящаяся вне искусства...» (*А.Н. Толстой*, 1922).

«Если наши писатели, всей кучей вытряхнутые в Европу, сами еще перепутаны, как шахматы в ящике, то для иностранцев они даже не шахматы, а просто шашки, все одинаковые. Они их искренно не различают, где конь, где ферзь, где пешка. И они подходят к нам с привычным критерием 'экзотики'. 'Деревня' Бунина? Вещь удивительная! прекрасная! высоко интересная! (французы специально так воспитаны, чтобы не скучиться на похвалы, раз уж они о ком-нибудь говорят). Не менее 'любопытна! интересна!' и книга Гребенщикова о сибирских мужиках. Любезные французы даже и не подозревают, что если Бунин – чистейшего огня рубин, то Гребенщиков, дай Бог, с речного берега камушек; что дома, на родной шахматной доске, Бунин стоял рядом с ферзью, а [серого повествователя-этнографа] Гребенщикова на этой доске, пожалуй, и вовсе не бывало...» (*З. Гунтуц*, 1924)

Конечно, время для русских писателей было трудное, да и сама литературная среда специфична, такого рода выпад в ней не редкость. Но всё же доля правды в этих резких оценках была. Стиль (народный язык) и сюжеты Г.Г., так хорошо подходившие к российской атмосфере 1910-х годов, теперь явно отставали от времени. К тому же Г.Г. знакомится с Николаем Рерихом, попадает под влияние его мистических теософских идей и сам начинает выступать в роли Учителя, а это многих раздражает. «Теософская риторика второго тома романа 'Чураевы' – выспренный вздор. В первом томе ('свежесть и сила в описаниях величественной алтайской природы...') было гораздо меньше безвкусыя и потуг на дешевый символизм, нежели в последующих... У Гребенщикова были и есть поклонники, но вклада в русскую литературу его эпопея не составил» (*Г.П. Струве*).

Критика на то и существует, чтобы критиковать. Проблема заключалась в том, что аргументированно (по существу) возражать собеседникам Г.Г. никогда не умел, а неуравновешенный характер только усложнял ситуацию. Все критики автоматически становились его личными «врагами». Еще в самом первом своем публичном ответе на критику под выразительным заглавием «Перед судом фарисеев (моим врагам)» (1908), Г.Г. называет себя «слугой и сыном народа», которого «травят, как связанного волка». И этот стиль «полемики» он сохранит затем на всю жизнь.

Хотя образ «врага» у Г.Г. постепенно менялся – сначала это были просто «невежественные критики», потом вся «литературная элита» и, в конце концов, «интеллигенция» вообще – в противовес ему самому как «выходцу из низов». С точки зрения Г.Г. любая более-менее полемичная рецензия на его работы объяснялась исключительно его социальным происхождением, а отнюдь не качеством литературы, – несправедливая репрессия со стороны «элиты», зажимающей народного писателя. Всякая литературная критика виделась им исключительно как классовая травля народного литератора-мученика: «Как-то не верится, чтобы такая почтенная газета, как Ваша, могла так странно отнестись к четверти века упорных трудов писателя из народа, за который в особенности Вы, борцы *За Свободу*, так всегда ратовали. Неужели мы, крестьяне, вам любы только тогда, когда мы полуслепое быдло, а как только мы сами себе добудем ту или иную свободу культурных действий, вы сейчас же стремитесь умалить наше значение...» (Из письма Г.Г. редактору).

Всё это было для Г.Г. вполне сознательным стилем поведения, корни которого, думается, нужно искать в комплексе неполноценности, приобретенном им в детстве, да так никогда и не изжитом. Специалисты называют этот феномен «негативной самоидентификацией» – Г.Г. последовательно и целенаправленно создавал свой образ «писателя-раба», «каторжного труженика», «изгоя» и пр. Даже в периоды полного благополучия он продолжал применять этот прием самоуничуждения: «У вас будущее, а я – сын рудокопа...» «Вся моя Чураевка вынесена на моих плечах и лишениях, но никто этого не оценил и не понял...» «Никто не знает моей трагедии отщепенца от всех настоящих писателей, которые могли быть только писателями, а я – только рабочий...» «Я всё время работал как ни один интеллигент в мире, тяжело нагруженный физическим трудом...»

Другой не менее интересный феномен – патологическая тяга Г.Г. «ворочать камни и валить лес», присущая ему на протяжении всей жизни. Куда бы ни заносила его судьба, он немедленно принимался за собственноручное (!) возведение жилища: Алтай, Карпаты, Крым, Франция, США. «Дом строил сам, теперь строю для других и буду строить дальше...»; «Я – ‘кулак’ с мужицкой тягою к земле и привык из пустыков вещественных делать нечто материально стоящее.» Возможно, здесь тоже сказывалась память о, по сути, бездомном детстве – как непреходящий «вечный голод» когда-то по-настоящему голодавшего.

Близко знавшие Г.Г. пытались отговорить его от этой непосильной ноши, отнимающей всё время и отвлекающей от литературной деятельности, – тщетно. Неизменно жалуясь на хронический недостаток времени для «только творчества», Г.Г. при этом постоянно ищет грубой физической работы. Вполне возможно, что этим Г.Г.

(подсознательно) стремился заглушить ощущение ограниченности своего литературного таланта: «Хотел бы я видеть Тургенева или Толстого в моем положении – стали ли бы они писателями в этих условиях вообще?» – ну что за глупость, право!..

Довольно быстро достигнув в США жизненного благополучия, Г.Г. с явным удовольствием часто и подробно рассказывает о нем своим корреспондентам, не отдавая себе отчета в том, что детали бытового комфорта (машина, пылесос, паровое отопление...) никак не вяжутся с его постоянными жалобами на рабский труд, бесконечные тяготы, хроническое безденежье и неустроенность. И тем более подобное самолюбование неприлично, когда адресат – бедствует, еле еле сводя концы с концами и голодая<sup>4</sup>.

Те немногие, кто до конца жизни сохранили теплые отношения с Г.Г., научились просто не замечать эту его, скажем так, *особенность*. «Обидчив, как семинарист, и совершенно невоспитан», – отзывалась о нем В.Н. Бунина. Некоторые, недопустимые с точки зрения интеллигентного человека, пассажи его писем шокируют. Не удивительна реакция М. Горького на одно из писем Г.Г. – раздраженный его нескромностью и невоспитанностью, он красным карандашом подчеркнул отдельные фразы и написал на полях: «Дурак»<sup>5</sup>. Сам же Г.Г. своей некорректности не замечал.

Обладая довольно тяжелым характером, Г.Г. понимал это сам, страдал от этого, но... оставался самим собой. От природы ему была присуща эмоциональная экзальтация<sup>6</sup>, причем с неизменным трагическим оттенком. Мироззрение Г.Г. не знало полутонов, и мир вокруг был скорее черным, чем белым.

Мнительность Г.Г. болезненна. Его дневники и письма полны подозрений и необоснованных обвинений даже в адрес тех, кто принимал самое бескорыстное участие в его судьбе. Негативные суждения Г.Г. о людях всегда резко уничижительны, зачастую за гранью приличия. Собственные же достижения Г.Г. преподносил исключительно в превосходной степени: «усиленно сгораю на костре изнурительного труда...», «наша жизнь – героическая по количеству и тяжести труда...», «хватаю и буду хватать – чудеса делаем в смысле выносливости и подвижности...»

Обыкновенно представляется, что любой настоящий писатель – а Гребенщиков, безусловно, им являлся и оставил нам прекрасные образцы русской литературы, – должен владеть стилем, языком. Однако при первом знакомстве с дневниками и письмами Г.Г. удивляет его косноязычность и небрежность – длинные, запутанные, часто неоконченные фразы, пропущенные слова и предлоги, множество грамматических и стилистических ошибок... Как поражает и невнимательность к именам и фамилиям собеседников, которые он часто искажает – так, за тридцать лет переписки с А.А. Швецовой, он ни разу (!)



не написал правильно ее имя *Аполлинария* (с необычным двойным «л») вместо напрашивающейся двойной «п»), неизменно обращаясь к ней «по-простецки» – *Аполинария*. К этому «черновому» стилио писем Г.Г. нужно привыкнуть.

Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВ: ИЗБРАННОЕ ИЗ ДНЕВНИКА И ПИСЕМ  
1921 ГОДА<sup>7</sup>

*1 января (суббота)* – Waisseau de France «Edgar Quinet». Je vais de Afrique à Toulon! Maintenant a la cette petite carnet j'ai écrire tout en français. Oujourd'hui matin nous passer outre l'île Sardigne! Bonne année dans le bords nouveillez!\*

Итак – первый блин комом. За обедом я показал свой опыт французам: они снисходительно улыбнулись. Однако, я произнес несколько фраз еще по-французски, и меня поняли. Так или иначе, буду учиться говорить – пока вырастут волосы – я должен научиться объяснять самое необходимое.

*2 января (воскресенье)* – Сегодня рано пришли в Тулон. В 10 ч. мне объявили, чтобы я собирался и [шел] в таможеню с багажом, а через 5 минут заявили, что я не могу быть спущен на берег ввиду того, что из Парижа относительно нас с Т[атьяной]<sup>8</sup> нет разрешения. Мне так тяжело оставаться непрошеным нахлебником у гостеприимных хозяев. Ген. Л.<sup>9</sup> обещал выручить нас, но мы настроены так, что думаем м.б. придется опять в Бизерту или Константинополь. При входе в столовую к завтраку я сказал моим хозяевам: Nous votre les prisonnier!\*\*. На это они с сочувствием пожалы плечами и развели руками, приглашая нас садиться за стол.

*3 января (понедельник)* – 8 ч. утра. Сижу в своей великолепной каюте, обложась французскими пособиями и подбираю фразы, чтобы как что узнать у французов. <...> 7 ч. веч. Тулон. Гранд отель. Наконец-то мы спущены с корабля. Командир приказал одному из лейтенантов проводить нас до таможни, где осмотр был весьма благосклонный. Мы были у комиссара таможни. Он сказал: «Теперь вы свободны во всей Франции, можете ехать и в Париж».

*4 января (вторник)* – Сегодня спал на целой десятинае – кровати. Чисто, тепло, уютно. За [номер] плачу 10 фр. с бельем, светом, услу-

\* Французское судно «Эдгар Кине». Я прибыл из Африки в Тулон! Теперь в этой маленькой книжке я буду писать всё по-французски. Сегодня утром мы прошли мимо острова Сардиния. Счастливого Нового года на новом берегу! (искаж. фр.)

\*\* Мы – ваши пленники! (искаж. фр.)

гами, горячий и хол. водой для умывания. Ходили осматривать Тулон. Очень милый город – местами похож на Ялту, но менее красив. Торговых улиц масса, но торговли никакой. Страшный застой.

Обедали кустарным способом, на чем и заработали 20 фр. На них купили одеколону, зубной пасты и мыла. В общем – немного странно чувствовать себя в культурной обстановке. Французы не умеют готовить чай, хотя берут за него дорого. <...> От Бурцева<sup>10</sup> получили телеграмму: «Хлопочем у властей, надемся». Я написал ему и Бунину.

*5 января (среда)* – Вчера вечером новая телеграмма Бурцева: «Узнали, что Гребенщиковы спущены на берег. Жду письма». <...> А сегодня получена телеграмма от Маклакова<sup>11</sup>: «Виза дана транзитная через Париж». Ну, и слава Богу. <...>

*6 января (четверг)* – Сегодня Рождественский сочельник. Завтра и день рождения моей Татьяны. Купили малинный кекс, пирог, паштет, полбутылки бенедиктину и еще кое-что к празднику. В одном оптическом магазине хотели купить пенсне и от всей души поторговались с французом. Он так грубо обиделся, что не понимал со мною разговаривать, причем сделал это в такой грубой форме, что я удивился. Он же, видя, что я ничуть не обратил на это внимания и ушел, продолжал кричать: «Вы серб! Вы грек!...»

*7 января (пятница)* – Получил письмо от М.А. Волковой<sup>12</sup>: план Парижа, все необход. сведения и ласковое обещание помочь нам на первых порах в Париже. Получил перевод по телеграфу от Бурцева. Всё как будто идет гладко. <...> Видел сон: свою корову у обрыва в море и жуткую водную пучину в болотах<sup>13</sup>.

*8 января (суббота)* – Странно, что я почему-то не спешу в Париж. В сущности, всё готово. Сомневаюсь лишь в праве жить в Париже. Тем не менее надо двигаться в этот Вавилон Запада. Здесь, в Тулоне, так тихо, уютно, покойно и уединенно, что не хочется спешить в Содом <...> В прошлом – многомесячная усталость, в будущем неизвестность, вот почему приятно побыть в объятиях апатии.

*10 января (понедельник)* – Мы в Париже! На вокзале оставили багаж, а сами пешком прошлись до Монпарнаса к М.А. Волковой, которая сначала повела нас в русскую столовую обедать, а потом помогла снять [номер] в скромной гостиничке. Всё опрятно, мило. После бессонной ночи в вагоне выспался. Прошлись <...>, дома поужинали. На душе всё же какая-то неловкость и тревога. Говорят, что французы очень не любят русских.

*11 января (вторник)* – Был у Бурцева. Там же был и С.Ф. Штерн<sup>14</sup>. Стоят на своих постах, как честные солдаты на смотре, несмотря на жуткий шторм, разметавший щепки великого корабля России. Взяли всё, что я им дал. Мне даже пришлось получить с них некоторую сумму. <...> В общем, Париж меня встретил довольно радушно. <...>

*14 января (пятница)* – В 10 минут второго позвонил к И.А. Бунину. Академик еще спал, и милая, покорная его подруга не решилась его будить. Она напоила меня кофе, свела в соседнюю квартиру и представила А.И. Куприну<sup>15</sup>. «Как же – с восторгом упоминал о вас в своих лекциях...» – сказал А.И. Он очень еще бодр и свеж. Говорит быстро, и глаза очень хороши. Через час я ушел от него опять к Буниным. Там еще полчаса ждал, пока вышел в своем ханском халате наш полубог. Его лицо болезненно желтое, но осанка та же благородно гордая и величавая. Очень ласково и задушевно принял, позавтракали, поболтали и скоро выяснили кое-что о моих планах<sup>16</sup>. <...>

*15 января (суббота)* – Отнес Бунину книжку избранных рассказов «Родник в пустыне». Завтра отнесу 1-ю часть «Чураевых», мы приглашены к Буниным, по-московски, в гости. Так приятно здесь слышать московскую повадку в речи. Вера Николаевна такая москвитянка<sup>17</sup>.

*16 января (воскресенье)* – У Бунина встретился с Бальмонтом. Он не столько недоступен, как думалось. Еще очень свеж, с египетской бородкой фараона, он, пожалуй, красив. Как истукан сидела спутница Бальмонта <...> Очень много болтал Сергей Яблоновский<sup>18</sup>.

*18 января (вторник)* – <...> Что-то мне становится не по себе в Париже<sup>19</sup>.

*21 января (пятница)* – Был у Бунина. Обещают 500 фр. пособия от Общ. писателей, хотя я об этом не просил. <...> «Чураевых» хочет издавать и «Земля», но Бунин бережет для журнала.

*22 января (суббота)* – Получил ссуду в 500 фр.

*25 января (вторник)* – В общем, конечно, чувствую я здесь себя как-то неловко, точно на чужих хлебах, и уже тянет бродячую душу куда-нибудь дальше. <...>

*31 января (понедельник)* – <...> Каким-то холодком веет от этой здешней писательской среды. Все точно прячут друг от друга что-то и боятся раскрыть душу. Или же очень все изранены!

*8 февраля (вторник)* – Получил письмо от Бунина: «Струве<sup>20</sup>

прочел роман и берет по 265 фр. за лист для «Русской мысли». Какое, думает, счастье! Как я понимаю, теперь поведение академика – дескать, писатель молодой, мало известный, деваться ему некуда – отдаст. Нет, врите! Мы еще поторгуемся с вами.

*12 февраля (суббота)* – Послал письмо А.А. Швецово<sup>21</sup>. <...> Что-то одиноко и тоскливо становится жить без какого-либо физического дела.

*14 февраля (понедельник)* – Сегодня видел два, я думаю, вещих сна: (1) Плыли по морю пять свиней в мою сторону. Одна хрюкала. Я объясняю, что это пять авторитетных редакторов «Совр[еменных] Зап[исок]» забракуют моих «Чураевых» и один из них мне об этом хрюкнет. (2) Моя корова стала пить из омута и прыгнула в воду, в которой стала кувыраться-нырять. Я хотел ее веревкой вытащить, но она запуталась и сдохла... Вероятно, я запутаю и погублю в этих омутах свою «корову» – роман «Чураевы». Невесело, если так.

*15 февраля (вторник)* – Вчера вечером И.А. Бунин пригласил нас на чашку чая. И вот начал меня убеждать отдать роман по 300 фр. «Я уверен, что [Струве] больше дать всё равно не может.» Я сказал, что за 4000 оптом уступлю, но сейчас 2000, и через 1-2 мес. – остальное. Был там проф. Сватиков<sup>22</sup>, веселый, пухлый, простоватый болтун <...>

*19 февраля (суббота)* – Ровно в 6 ч. был в редакции «Совр. Зап.», где вышедший ко мне Илья Исидор. Фондаминский<sup>23</sup> очень обрадованно сообщил мне, что все редакторы одобрили «Чураевых». Через полчаса я подписал условие и получил аванс в 2000 фр.

*22 февраля (вторник)* – Сегодня получил письма от Бунина и от Струве. Они согласны за «Чураевых» дать по 300 фр. за лист и 2000 фр. аванса. Я написал им, что поздно, что мне надоела эта затянувшаяся канитель торга с полуголодным писателем, с таким трудом пробившимся в Париж<sup>24</sup>. <...> Написал письмо Швецово<sup>25</sup>.

*27 февраля (воскресенье)* – Вчера получил письмо от Швецово из Ниццы.

*18 марта (пятница)* – Сегодня у нас были на пельменях Бунины и Куприны. Бунин дал понять, что ему не нравится обстановка с прикусом, и хлопотно в одной комнате. Пошел и купил себе бутылку пива. Вообще – странное и забавное отношение к хозяевам. Мне не подал руки, потому что у меня насморк. <...> Довольно сухо и скучно провели время. Воистину «сделали одолжение», что пришли.

22 марта (вторник) – Был в ред. «Совр. Запис.», получил свою очередную тысячу франков за «Чураевых».

11 апреля (пятница) – Получил письмо от Швецовой. <...> зовет к себе в гости в Ниццу.

18 апреля (понедельник) – Куприны переезжают на новую квартиру и, бедные, не могут съехать со старой, т.к. нечем заплатить. А за новую надо платить 8 тыс. фр. в год. Как быются писатели! Мы живем сравнительно беспечно многих и отдаем себе отчет, где мы и в каком положении<sup>26</sup>.

20 апреля (среда) – Получил свою очередную тысячу за «Чураевых».

4 мая (среда) – Был в ред. «Последн[их] Нов[остей]», где Вл. Андр. Могилевский<sup>27</sup> свысока уважил просьбу о напечатании объявления о моем вечере. Господи Боже мой! Все стараются показать свое превосходство над зависимым и скромным писателем. <...> Ну, что же, еще потеряем немного.

7 мая (суббота) – С удовольствием обзову здесь негодяем издателя «Отечества», который мучает меня с выдачей мне гонорара.

10 мая (вторник) – Приехала в Париж и вчера побывала у нас «социалист-миллионерка» А.А. Швецова-Родионова. Она, оказывается, родственница Красина и в переписке с ним. Он, как и она, сибиряк и верит, что он при всяком правительстве будет России нужен, он любит создавать промышленность и проявил огромн. энергию для создания своих миллионов. Между прочим, он сын каторжанина, сосланного в Сибирь за фальшивые монеты<sup>28</sup>, но А.А. знает его со студенческих лет и отзывается о нем как о даровитом и сильном человеке. Предки его были евреи, но мать русская.

11 мая (среда) – Сейчас 2 часа ночи. У меня окончился очень шумный праздник. Мое сегодняшнее выступление привлекло изысканную публику и почти весь литературный Париж<sup>29</sup>. Были Бунин, Толстой, Куприн, впрочем, оба они сами выступали. Слово Куприна было очень внушительно. Был даже Милюков, были сибиряки Швецовы. В чтении Екатер. Ник. Рошиной-Инсаровой<sup>30</sup> я не узнал свою пьесу «Из песни слово». Божественный дар артистки поднялся до потрясающей силы. Отлично прочла армянка – артистка Бек-Назарян – мистерию шамана. Супруги Наварские, взявшие на себя административную часть вечера, были трогательно заботливы и

изумительно деятельны. Милюков пришел за кулисы просить рассказ для «Посл. Нов.». Рощина-Инсарова при всех расцеловала меня.

*13 мая (пятница)* – Сегодня о моем вечере в «Посл. Новост.» дал заметку сам Милюков, назвал меня выдающимся писателем, редкой находкой – мои произведения, он всё же весьма своеобразен, по-публицистически обрисовал содержание читанных вещей. От Куприна и еще от ряда лиц получил письма с похвальными отзывами. Всё это приятно и всё же очень грустно: когда нет России – нет почвы и свое дарование нигде проявить и распространить. Эмигрантская же среда не вдохновляет, да и печатать нигде.

*15 мая (воскресенье)* – Виделся с Б.А. Швецовым, он только что приехал из Лондона. <...>

*25 мая (среда)* – Ездили в Ville d'Avray... Прелестное место, какая сочность и густота весенних красок. Смотрели домик с 260 кв. м земли – дико и просто, богатая земля со старым садом – 20 т. фр.<sup>31</sup>

*26 мая (четверг)* – Сегодня договорился с Бор. Алексеевичем Швецовым об использовании его участка земли для хозяйства. Они приняли все мои скромные условия, и я с Т[атьяной] опять закабалаемся на целый год в работу на земле. Грустно отрываться от родимого любимого дела, тяжело прерывать полезную жизнь в Париже, но во имя независимости надо снова надевать ярмо чернорабочего и со скрежетом зубным ждать и работать<sup>32</sup> <...>

*27 мая (пятница)* – Вообще, какая радость не зависеть от всех этих человечков в области литературы, и уезжая из Парижа, я, стало быть, теряю его, как необходимый для дальнейших связей и проч., я как бы освобождаюсь от ужасного ярма, налагаемого «ремеслом», а не свободной творческой работой. Впрочем, я надеваю другое, более тяжелое ярмо.

*2 июня (четверг)* – Получил письменное предложение Швецова заняться его землей на берегу моря, около Лаванду близ Тулона. Писать ничего не могу.

*11 июня (суббота)* – Попал случайно в библиотеку некого г. Кривицкого на Пасси. Великолепный особняк, русский лакей, две гувернантки, библиотекарь С. Яблоновский. Ах ты, Боже мой! Кто такой! (русский) Еврей! Промышленник из Варшавы...

*15 июня (вторник)* – Поволоцкий<sup>33</sup> покупает у меня томик «В некотором царстве» по 350 фр. за лист и по 150 фр. за франц. перевод.

*16 июня (четверг)* – Виделся сегодня с Милюковым. Понес ему на выбор три рассказа, а он все их взял для «Посл. новостей» по 200 фр. за штуку. Дешево, да зато сразу. Продавать оптом и в розницу свою литературу начинаю.

*18 июня (суббота)* – Мой французский переводчик Монго убеждает, что «Чураевы» могут пройти в одном из лучших французских журналов. Давай вот... А я сегодня взял билеты в Ниццу, т.е. на землю в «скиту».

*21 июня (вторник)* – Собираемся на юг Франции и снова стонем под тяжестью багажа, будь он проклят.

*23 июня (четверг)* – Приехали в Ниццу – жарко здесь, ослепительно светло и приятно. В вагонах французы ведут себя крайне неопрятно. Швецова, хозяйка имения, ни с того ни с сего ускакала нам навстречу в Сан-Рафаэль. Теперь прискачет обратно, если так рассеянна, что забыла, что мы будем в Ницце<sup>34</sup>.

*24 июня (пятница)* – Наша хозяйка уехала даже в самый Лаванду, вероятно, полагая, что мы совсем святые духи и должны знать на расстойнии все ее мысли. Вместе с нами живет семейство – юный Швецов с хорошенькой изнеженной женой и двумя маленькими детьми<sup>35</sup>. Люди эти совсем как птицы небесные. Живут по-царски, никакой заботы, никакого дела – как ни скучно, не понимаю. Проживают 20000 фр. в месяц, тогда как мы работаем, как батраки, а зарабатываем едва 1000 и проживаем, конечно, того меньше. Отсюда и иная психология, и иная мораль.

*25 июня (суббота)* – Осмотрели сегодня землю. Пустыня! Запущенность и тоска. Требуется необычайный труд. Однако, надо заняться работой. Надо напрячь все мускулы и все-таки здесь жить в своей хижине. Море здесь голубое, ласковое, и бор шумит, как далеко дома в Сибири.

*26 июня (воскресенье)* – Решили начать постройку и готовиться к покупкам материалов. Наш новый сотрудник Ник. Сем. Красулин – нервный, но славный малый.

*28 июня (вторник)* – Купил материал на собственную «виллу»: 20 метров крепкого холста на палатку. Т.Д. сошьет всю виллу в два дня. Стоить будет 170 фр. вместо 800, которые с нас просили за готовую. <...> Читал сегодня семейству А.А. Швецовой свои рассказы.

2 июля (суббота) – Купили разной разности для хозяйства, <...> мула и тележку в 2 колеса за 1250 фр. Мул кусается и бросается на всех лошадей от избытка старости и боится запряженных быков.

3 июля (воскресенье) – Выехали в Лаванду. Дорога своеобразная. Около Гиер<sup>36</sup> широчайшие болота и луга, затем перед Бормом идут дикие скупые леса, тощие и низкорослые, холмистые сопки и безлюдье.

4 июля (понедельник) – Мул вчера сделал 50 километров с возом. А сегодня дважды сходил в Лаванду. <...> Я нашел-таки свое призвание – быть слугою мула.

6 июля (среда) – <...> Красулин больной, нервный и бестолковый малый, хоть и очень усердствует в работе. Однако сотрудничество с ним для меня, человека строптивного, не очень мне улыбается. <...> Швецова пишет, что мучается за нас душою.

8 июля (пятница) – Красулин уехал в Ниццу, не дав доверенности и не исплопотав разрешения на постройку. Поговорил с ним крупненько и заработал ряд грубостей. В общем же, это парень неплохой, но ушибленный войной и безвременьем. <...> Сегодня дождь, сию за самодельным письм[енным] столом.

*(Письмо С.В. Потресову) – 8 июля 1921 г. Bormes, village Faviers*

Дорогой Сергей Викторович!

Наконец-то удалось присесть за перо и бумагу. Не было стола, и я вчера сам его смастерил. Живем экзотично, приключительно, прелюбопытно, в маленькой хижине, в окне которой, между рамой и ставнями, пчелы. Выселить их оттуда нелегко, т.к. у них уже много меду.

Купили мула и тележку, вожу кирпичи для хижины, чищу дорогу, рублю лес, словом, потею и покрываюсь коростой. Море очень близко, пляж хороший, и это весьма облегчает наше житье-бытие. <...>

Земля здесь песчаная, тяжелая, крепко прищемила хвост...

Таня кланяется Вам. Я крепко жму руку, мой роденький<sup>37</sup>. Ваш Г. Гребенщиков

*(Письмо С.Г. Сватикову) – 8 июля 1921 г. Ville Bormes, village Faviers*

Дорогой Сергей Григорьевич!

Не писал Вам долго потому, что «отаборивались». Теперь могу сказать, что сию на земле, т.к. уже имею мула с упряжкой, руки заско-рузли, сам имею вид закоренелого лесного разбойника. Место дикое,



запущенный виноградник, песок, сосна и тернии. Живем в хижине, в окне которой между ставней и рамой живет рой пчел. Купил им улей, но переселять не время: боюсь, что улетят. Уживаемся, хотя, на всякий случай, Т.Д. сшила палатку. Вожу кирпичи, чищу дорогу, рублю лес. Устаю очень. За две недели впервые сел за стол, ибо его не было: вчера сам сделал, и, говорят, неплохо. Море в 50 шагах, каждый день за обедом купаюсь, и трое распиваем бутылку доброго вина, которое покупаем рядом у крестьянина, за 60 сант. бутылку. Пока вся наша жизнь – сплошная экзотика и приключения. Мул у меня очень резвый и страстный. Бросается на лошадей обоюго пола и боится лишь запряженных быков. Незапряженных не боится... <...>

Таня Вам кланяется. Крепко жму Вашу руку. Ваш Г. Гребенщиков

*9 июля (суббота)* – Ездил сегодня в Vormes – скучный, глухой, татарски-бестолковый городишко. На горе дорога живописная. <...>

*10 июля (воскресенье)* – Сегодня делал стол, чистил дорогу – опять началась прежняя прошлогодняя каторжная работа<sup>38</sup> с ссадинами, ранами и бесконечным потом. Море успокаивает – купаюсь ежедневно с Татьяной.

*13 июля (среда)* – Вчера приехал юноша Поль Руднев. Очень изысканно одетый, чересчур воспитанный, всё просит разрешения, не пьет сырой воды, не пьет утром кофе, привез свой сорт молочка. Привез и конвертик, в котором спит.

*14 июля (четверг)* – Сегодня я сделал для Поля кровать. Работал по прочистке новой дорожки в лесу. Мой новичок рабочий всё просит разрешения: взять грабли, стакан воды, сена для мула. Привез с собой любимого кролика.

*17 июля (воскресенье)* – Вчера договорился о постройке дома. Работал ужасно много. Ездил в Vormes, привез досок, а сейчас с утра делал большой стол и скамейку.

*18 июля (понедельник)* – Подписал контракт о постройке дома: 3 комнаты, кухня, коридор и прихожая: в двух комнатах паркет, в одной печь и плита в одной комнате. Размер 9 м на 6 м – за 14000 фр. План начерчен очень подробно и толково. Хорошо ли выстроят дом<sup>39</sup>.

*19 июля (вторник)* – Начал копать колодезь. Рабочие по 20 фр. Первый день выкопал больше 1 м. Мой Поль – чистой воды барчук. Ничего не умеет, но желание большое. Потеет и терпит, бедный, мое ворчание.

20 июля (среда) – Для постройки привезли палубы для бетона. Я начал строить домик для кур, Таня – для кроликов. Я провел новую дорожку на верх участка. Приобрели котенка за 1 фр. 50 с. <...> Дважды в Борме просил у французов воды и оба раза получил указание на кафе<sup>40</sup>.

23 июля (суббота) – В помощь Полю для исправления дороги взял старичка из итальянцев <...>, это непрерывный граммофон – всё говорит и хвалит, всё ходит и советует, а работает не лучше Поля. Два сапога – пара.

24 июля (воскресенье) – <...> Покупали сегодня козу, но не купили: 300 фр. штука! Вчера закончил домик для кур. Вышел недурной, материала пошло на 80 фр., а он стоит на 300. Но домик Тани куда лучше, красивее и удобнее!

4 августа (четверг) – <...> В эти дни скрежетал зубами от нестерпимой боли: под мозолью на руке от занозы образовался нарыв, пришлось обратиться к врачу – так ужасна была боль, не спал и ночи. <...> А сегодня проводил хозяев: Б.А. Швецова и Н.С. Красулина. Судя по их кислым физиономиям, им не понравилось наше хозяйство. Очевидно, они хотели, чтобы мы за полтора месяца превратили дикий угол в цветущий рай. Красулин, несомненно, ведет под меня подкопы. Спрашивается: зачем я впутался в это предприятие<sup>41</sup>?

*(Письмо С.В. Потресову) – 5 августа 1921 г. Bormes, Var, Village Faviers, Propriete russe «Skite»<sup>42</sup>*

Дорогой Сергей Викторович!

Сейчас переживаем нервные дни: только что после операции стала заживать моя рука, которая болела с неделю, да как! Ходил и танцевал, и напевал. От занозы – только и всего.

Сегодня уехали наши «хозяева», приехавшие из Лондона «по доносу» с целью «сенатской» ревизии. А у меня как раз и отчет готов, и работа кипит, и в колодце выбил динамитом 6 метров<sup>43</sup>, вода забила, а на пригорке началось сосредоточение кирпичей, черепицы, балок – будущее наше жилище в 3 комнаты и кухни. Только «хозяева» не одобрили моего плана в отношении курятника и конюшни, боясь запаха, но я настаиваю на том, что это будет хутор, а не дача, и теперь этот вопрос будет разрешен в Ницце, откуда мне напишут.

2000 метров одних дорог и дорожек сделал я собственноручно по дебрям леса. И вот, когда облил всю землю кровью, потом и гноем из нарыва – жаль расставаться, если «рассчитают» за какие-либо непроизводительные затраты, хотя всего еще истратил 4500 фр.!

Хвастаю и буду хвастать – чудеса делаем в смысле выносливости и подвижничества... Т.Д. сама выстроила домик для кроликов – никто не верит. Затратила материала на 25 фр., а на базаре за 150 – не купите. Она, слава Богу, оправилась и мучается сейчас с цыплятами, которые лишь сегодня начали вылупляться в инкубаторе. Мул по-прежнему кусается, носит и бьет, если некого, то просто в воздух – задом: раз, раз, раз... Ваши Т. и Г. Гребенщиконы

*(Письмо С.Г. Сватикову) – 6 августа 1921 г. Faviers, Bormes, Var*

Дорогой Сергей Григорьевич!

Пишу редко и чаще не могу. Сейчас пишу, потому что из-за болезни руки не работаю, но и от хлопот мелких – полна здоровая рука. <...> Верим в свои слабые силы – больше верить, кроме Господа Бога, не в кого и не во что.

На днях из Лондона приехал наш хозяин и, после смерти его брата<sup>44</sup>, настроение его очень вялое и пессимистичное, дела в Англии плохи, денег у них нет и надежды тоже. В связи с этим намеченный мною план развития здесь хозяйства и проч. пока не прошел, и я ограничен в бюджете. Видимо, больших усилий мне будет стоить усидеть здесь весь год и получить свою долю натурой, о чем я весьма мечтаю. Поживем – увидим, и все свои обиды заглушим изнуряющим трудом – в этом теперь ответ на все невзгоды, в этом и утешение. ...

Татьяна Денисовна шлет Вам горячий привет. Ваш Г. Гребенщиков

*7 августа (воскресенье)* – Сегодня Поль уехал в Ниццу – справлять свои именины. Сей родовитый отпрыск здесь, видимо, исполняет агентурную роль и доносит о каждом моем поступке в своих многочисленных письмах. Всё говорит о том, что он любит кушать, например, сливы с ликером или вафли с кремом. Кн. Львова и Родзянку он бы хотел собственноручно повесить. Работает он так медленно и так деликатно, что я всегда предпочитаю всё делать сам. Это и скорее, и спокойно.

*9 августа (вторник)* – Получил письмо от Швецевой. Так и есть: «нам дают по попке». Оказывается, мои масштабы не по сердцу и не по карману Б.А. Швецову. Кто бы мог думать, что потраченные на оборудование хозяйства 4500 фр., в том числе на мула с копанием колодца, на инкубатор и проч. – окажутся сверхъестественными тратами. Проще сказать: жалко стало уступать нам часть имения и решили от нас дешево отделаться. Вот как распорядились наши друзья нашим временем, напряженной работой, трудом и нервной, первобытной жизнью в хижине вместе с пчелами, пауками, тарантами и проч. <...> На самом деле, г. Красулин оказался наиболее влиятель-

ным в семье Швецовых, нежели я думал. Этот грубый армеец просто решил нам доказать, что он всё может и что я не должен был столь бесцеремонно игнорировать его претензии. В общем – какой ценою мне приходится познавать людей!

*12 августа (пятница)* – Вернулся со своих именин Поль Руднев. Привез всех своих кроликов и воз мешков, в том числе свое молочко и какой-то «геркулес». Странно это: люди решили ликвидировать имение и меня, а этого дорого стоящего юношу все-таки приглашают на, видимо, долгий срок. На уплату за дом вместо 12 тыс. прислали только 8. Что это? Значит, я должен из своих доплачивать за дом?

*13 августа (суббота)* – Несмотря на то, что нас «увольняют», я хочу напрячь все силы, чтобы за оставшееся время сделать на земле как можно больше. Пусть потом будет стыдно, когда они увидят результаты 3-х месячного моего пребывания на участке. Если им не будет стыдно, то моя совесть будет чиста, и самолюбие будет удовлетворено. Всё же как много уходит сил на эту работу. Я чувствую, что стал ниже ростом, как-то скрючивается тело.

*14 августа (воскресенье)* – Получил «Совр. Записки» с продолжением «Чураевых». Всё же всё это меня утешает: люди меня не забывают, и я не отдан на съедение купеческой спеси и прихотливости<sup>45</sup>.

*(Письмо С.Г. Сватикову) – 25 августа 1921 г. Vormes, Var*

Дорогой Сергей Григорьевич!

<...> наша жизнь – совершенно первобытная, и скажу больше – героическая по количеству и тяжести труда и по отсутствию каких бы то ни было удобств. Живем буквально под открытым небом, в избушке, рядом с цыплятами и тарантами (род ящериц), только ночуем. Живем надеждами на порядочность своих «друзей»-хозяев и на то, что хоть немного поживем в домике, который, однако, строится очень медленно.

Главное, что я сделал, – это то, что, поверив, будто я компаньон и совладелец, вбил в постройку и на жизнь здесь почти все свои маленькие сбережения, и так как я невольно вышел из бюджета, то есть опасение, что господу хозяева кое-каких затрат не примут, и мы останемся в дураках. Они сами переселяются в Германию, и у меня одна надежда на мирный и дипломатический «расчет» и на то, что если мне не вернут затраченные деньги, то уступят кусочек земли, и тогда я сам буду строить на нем уже собственную хижину.

Дело оказалось очень сложное и путаное, т.к. земля приобретена дамой на имя своего приятеля (женщины без мужа не могут покупать

во Франции недвижимостью)<sup>46</sup>, а сей приятель ведет свою линию, и я теперь во власти трех господ. Но есть надежда уладить дело мирно. Поэтому я напрягаю все свои мускулы, чтобы успеть за 1,5-2 мес. сделать за полгода, и, когда совесть будет, так или иначе, уязвлена, надеюсь, хозяева будут милостивы. В общем, я в зубость и в обиду не даюсь, но на этот раз поверил в дружбу и в то, что люди очень почтенные и состоятельные.

Недавно сам выстроил целое здание<sup>47</sup> и сам покрыл, затеваю другое – для мула и склада. Вожу теперь с берега гравий, работаю как самый настоящий батрак. <...> Ваш Г. Гребенщиков

*27 августа (суббота)* – Опять, как и в прошлом году, ни минуты свободной, а от усиленного труда так похудел, что не могу прямо держать спину. <...> совесть спокойна тем, что я здесь не отдыхаю, не знаю праздников и усиленно стораю на костре изнурительного труда.

*28 августа (воскресенье)* – Закончил постройку домика из кирпичей. <...> Дом почти покрыт черепицей и выглядит довольно мило среди сосен. Вчера уплатил строителям первые 7 т. фр. <...> Сегодня идем в гости к художнику Песке<sup>48</sup>.

*6 сентября (вторник)* – Получил письмо от Швецовой с согласием продать мне 3000 м. земли. По второму письму снова какие-то экивоки, и не пойму, что они намерены с нами делать. Я ответил, что согласен на всё, лишь бы разойтись порядочными людьми.

*(Письмо С.В. Потресову) – 9 сентября 1921 г. Vormes, Var*

Милый Сергей Викторович,

Всё я поджидал выяснения нашей здесь судьбы, но так до сих пор ничего и не выяснилось: буду ли я здесь собственником хотя бы малой толики земли или просто получу расчет и свой пай назад. Плохо иметь деловые отношения с дамой, с одной стороны, бесправной по законам землевладения, а с другой, настолько беспечной и летающей по Европе, что письма ее раздражающе непостоянны. А мы всё-таки свою линию ведем, т.е. работаем, работаем, работаем, и труды 2,5 месяцев настолько явственны, что я хотел бы только одного, чтобы наша главная совладелица поскорее приехала и увидела перемену. Но трудно и жестоко достается мне этот клочок земли, если еще достанется. <...>

Целую Вас крепко. Ваш Георгий Гребенщиков

*22 сентября (четверг)* – Вчера приезжал Красулин, на имя которого приобретена земля Швецовой. После напряженного разговора о

продаже мне 3000 м. земли он стал нервничать и всячески уклоняться от продажи, а вечером после ужина учинил целую истерику, уехал ночью в Лаванду. Написал я сегодня А.А. Швецову о том, что если так драматична уступка мне земли, то Бог с нею – я не настаиваю. А она пишет и уверяет, что отдала Красулину распоряжение.

*(Письмо С.Г. Сватикову) – 25 сентября 1921 г. Bormes, Var*

Дорогой Сергей Григорьевич!

Вы на меня не гневайтесь за молчание. <...> Все жду выяснения нашего положения и дожидаться не могу. Попали мы в переделку и боимся – хоть бы ноги унести целыми – вот как горячо. А мы всё-таки работаем и даже больше прежнего, чтобы не было даже намёка на бездеятельность. Очень, очень тяжело! Нас теперь водят за нос с землей: 3000 метров за 6000 фр. не хотят, видимо, хотят взять по 3 фр. за метр, и вот находят разные препятствия: главное, что дама в Германии, а это самое подставное лицо, видимо, не желает упустить из своих лап ни метра... Словом, лето очень тяжкое, и я жду не дождусь свободы и отдыха. <...> Ваш Г. Гребенщиков

*14 октября (пятница) – <...>* За это время после отъезда хозяина на своих плечах вынес огромный труд: построил конюшню, сарай, двор, расчистил дороги, сделал два моста, крыльцо и проч. А хозяева и молчат, и не едут принимать имение. Как я измучился и как постарел за эти месяцы.

*20 октября (четверг) –* Сегодня всё закончил и сдал Н.С. Красулину по описи. Много терпел я от него унижений и дерзостей, но сам держу себя как с душевно-больным.

*25 октября (вторник) –* Сегодня совершил купчую крепость на 3015 кв. метров земли, отведенную мне за мой труд здесь в дер. Faviers (Bormes, Var, France). И сегодня же я прекратил тяжелую работу. В четверг выезжаем в Париж. Хочу культурной атмосферы, музыки, света и удобной постели, где бы мог расправить свои кости и члены. Подвиг труда совершен, и я торжественно победу: заработал своим горбом землю во Франции<sup>49</sup>.

*28 октября (пятница) –* Приехали в Париж. <...>

*30 октября (воскресенье) –* Был у своего переводчика Монго и узнал от него гнусную историю о том, что Бунин, Гиппиус и Мережковский злобствуют против меня у франц. издателя Bossard'a, который принял издание на фр. языке моих «Чураевых». Мережковский победил в издательство и там возмущался, что какой-то Гребенщиков будет с ним рядом издаваться... !?!!

9 ноября (среда) – Получил грубое оскорбительное письмо от Гали Сем. Швецовой за то, что [за] 3 месяца не ответил на ее письма. Ее мать пишет, что она истеричка и испорченная женщина. Хороша тоже и мамаша, если так отзывается о дочери.

19 декабря (понедельник) – Сегодня уже и Пасманник<sup>50</sup> улягнул меня в своей статье, где говорит, что некоторые эмигранты с именами называют себя «ни белыми, ни красными» – святотатствуют. «Так кто же вы, черт вас подери? Птицы перелетные, ищущие корма?» – заключает он. Чувствую, в чей огород камешки. Пусть умствую себе на унижение.

23 декабря (пятница) – Издательство Поволоцкого покупает у меня собрание сочинений из 6 томов.

31 декабря (четверг) – А вот и конец года. Сейчас ровно 11 ч. 57 минут. Год во Франции! Год тяжелый, но добрый, милостивый год, даже счастливый! <...> Сегодня «продал» «Чураевых» для печатания. Уж если дал мне Бог оперенье скромное, то пусть хоть писки мои будут соловьиными. Г.Г.<sup>51</sup>

\* \* \*

Фавьерское «рабство» Гребенщикова длилось недолго, вместо предполагавшегося года стороны – напросившийся подрядчик и попавшие впросак «заказчики» – вытерпели друг друга лишь три месяца. Швецовы быстро убедились, что «виллу» им Гребенщиков не построит, а сарай местные рабочие сложат и лучше, и быстрее, а, главное, без той нервной атмосферы, которую умудрился создать болезненно мнительный сибирский друг. Ситуация зашла в тупик, и, махнув рукой, Аполлинария Алексеевна отдала распоряжение своему управляющему немедленно уступить Гребенщикову землю по какой угодно цене, лишь бы тот отвязался. Причем есть все основания предполагать, что продажи как таковой не было – землю просто отдали, а сумму в нотариальном документе обозначили лишь для проформы.

Сразу же после оформления купчей Гребенщиков уехал в Париж, вскоре покинул Францию, а затем и Европу. В Фавьер он больше никогда не вернется и к русской колонии, возникшей на этом месте лишь четыре года спустя стараниями совсем иных людей, не имеет никакого отношения. После Гребенщикова остались среди фавьерских сосен лишь недостроенный колодец, клетка для кроликов да небольшая хибарка, позднее получившая название «малый дом», где обычно хранили всякий садовый хлам да время от времени селили нежданно нагрянувших (непритязательных) гостей.

---

1. Н.С. Красулин (1892–1949) был офицером Добровольческой армии; при-

ехал во Францию вместе со Швецовыми и до 1928 г. оставался их доверенным лицом в хозяйственных делах, имел право подписи. Именно на его имя была оформлена купчая А.А. на землю в Фавьере.

2. Используются материалы из архива Univ. of Minnesota (USA) IHRC809 S2 SS2 B5 F9 и работа В.А. Росова «Георгий Гребенщиков: письма из Ля Фавьера», опубликованная в сборнике «Алтайский текст в русской культуре», Вып. 4 (2008) Барнаул.

3. Éditions Bossard, 43 rue Madame, Paris – французское книжное издательство, публиковавшее русских авторов. По первоначальному замыслу эпопея «Чураевы» должна была состоять из 12 томов.

4. В послевоенные годы, когда жизнь простого обывателя в разоренной Европе была невероятно трудной и полной лишений, Г.Г. помогал голодающей А.А. Швецовой продовольственными посылками.

5. Письмо Горькому от 23 апреля 1922 г. – см.: *Суматохина, Л.* М. Горький и писатели Сибири. Инфра-М, 2013, 235 с.

6. Еще в Крыму д-р Елпатьевский лечил Г.Г. от неврастения и при расставании в 1920 г. выдал предписание, как простыми средствами поддерживать в норме нервное состояние после отъезда в эмиграцию – где, например, гулять в Париже и какие при этом делать физические упражнения. Univ. of Minnesota (USA) IHRC809 S1 SS4 B4 F11.

7. Записная книжка № 20 (11 см в темно-коричневом кожаном переплете с золотым тиснением, «1921» на обложке). Ежедневник французской полиграфии с разбивкой по два дня на страницу. Практически все даты вплоть до июля дублированы автором по календарю старого стиля. Записи выполнены чернилами. Начиная с середины года (именно – Фавьерская эпопея), записи нерегулярны. Авторская орфография и стиль сохранены. Univ. of Minnesota (USA) IHRC809 S2 SS2 B5 F9.

8. Гребенщикова Татьяна Денисовна (урожд. Стадник, 1894–1964), вторая жена Г.Д. Гребенщикова. Родилась в Тифлисе; окончила частную женскую гимназию в Харбине. Балерина, танцевала в Мариинском театре, СПб. Во время Первой мировой войны – медсестра Красного Креста. Эмигрировала вместе с мужем из Крыма в Константинополь (1920), позже – в Париж (1921), а затем – в Нью-Йорк (1924). Помогала вести дела издательства «Алатас», организованного при музее Николая Рериха в США. С начала 1940-х гг. возглавляла университетскую типографию в Лейкленде (штат Флорида), преподавала студентам основы типографского дела.

9. Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) – генерал-лейтенант, видный деятель Белого движения, один из организаторов Добровольческой армии. В Константинополе Гребенщиконы около месяца (вплоть до отъезда) жили в доме Лукомского, который попросил Г.Г. взять на себя обязанности секретаря, а затем вывез Гребенщиконых во Францию. «Жена отлично шьет, а сейчас еще и служит у Лукомских кухаркой. От нее вся семья в восторге, и мы живем в семье, как родные...» (из письма Г.Г.).

10. Бурцев Владимир Львович (1862–1942) – публицист и издатель, редактор газеты «Общее дело».

11. Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – адвокат, политический деятель, член Государственной думы. В эмиграции де-факто исполнял обязанности российского посла (до 1924), возглавляя комитет, представлявший интересы русских эмигрантов во Франции (с 1924).



12. Маргарита Артуровна Волкова.
13. Г.Г. верит снам и довольно часто приводит их подробные описания.
14. Штерн Сергей Федорович (1886–1947) – адвокат, журналист и литератор, сотрудник редакции газеты «Общее дело», член совета «Земгор».
15. Бунины и Куприны в то время проживали рядом.
16. «Утром, довольно рано для визита, разбудил меня звонок. Прибыл в Париж Гребенщиков. Я отказалась будить Яна, ссылаясь на его болезнь... Гребенщиков рассказывал, что его жена шьет ему костюмы. Вот молодец! <...> Он жил, как бедняк, в Одессе, а потом поехал в Крым и дачу построил. Далеко пойдет и богат будет. И как он ненавидит большевиков, ненависть мужа, собственника. И сила в нем большая. Но обидчив, как семинарист, и совершенно невоспитан.» (Из дневника В.Н. Буниной, 14 января 1921 г.)
17. Жена И.А. Бунина – Вера Николаевна, урожд. Муромцева (1881–1961), происходила из старинной московской профессорской семьи.
18. Потресов Сергей Викторович (Псевд. Яблоновский, 1870–1953) – театральный и литературный критик, журналист, поэт и эссеист.
19. Заметим – прошла всего неделя после приезда, притом что «Париж меня встретил довольно радушно...» и «кажется, всё обстоит гладко...»
20. Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – полит. деятель, философ, экономист, историк, публицист. Редактор журнала «Русская мысль» (Прага), газеты «Возрождение» (Париж).
21. Это первое письмо Гребенщикова, адресованное А.А. Швецовою. Важно, что инициатива здесь принадлежит именно Г.Г.
22. Сватиков Сергей Григорьевич (1880–1942) – историк, общественный деятель.
23. Фондаминский Илья Исидорович, псевд. Бунаков (1880–1942, Освенцим) – участник рев. движения 1905 г., один из руководителей Московского комитета партии социалистов-революционеров, позднее религиозный деятель. В эмиграции один из редакторов «Современных записок». Активно помогал многим эмигрантам. В 1940 г. покинул оккупированный Париж, но вскоре добровольно вернулся и зарегистрировался как еврей. 22 июня 1941 г. во время облавы был арестован и отправлен в лагерь; там принял православие. Сопровитием готовился побег, однако уже тяжело больной Фондаминский отказался бежать, выразив желание разделить участь соплеменников. Депортирован в Освенцим, погиб 19 ноября 1942 года. Канонизирован Константинопольским Патриархатом в 2004 г. как святой мученик.
24. «Затянувшаяся канитель» длится всего пару недель, а буквально накануне «полуголодный писатель» получил 500 фр. пособия и 2000 фр. аванса.
25. Не получив ответа на свое первое письмо от 12 февраля, Г.Г. пишет А.А. вторично.
26. При найме квартиры контракт подписывается на год вперед. Куприны, найдя более выгодные условия, не могли съехать со старой квартиры, не заплатив неустойку. Гребенщиконы тоже снимают комнату, но их материальное их положение постепенно налаживается, и появляются мысли о более благоустроенной квартире. Пример Куприных им «открыл глаза» на особенности правил найма жилья во Франции.
27. Могилевский Владимир Андреевич (1879–1974) – журналист, член Союза русских писателей и журналистов в Париже. Управляющий конторой, администратор, бухгалтер и кассир газеты «Последние новости».
28. Отец Красина был полицейским чиновником, сослан за вымогательство.

29. «Вечер Гребенщикова прошел так, как он хотел, – были и генералы, как на свадьбе, да и вид у него был какой-то жениховский.» (из дневника В.Н. Буниной, 10 мая 1921 г.)
30. Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна (урожд. Пашенная, 1883–1970) – актриса, педагог, общественный и театральный деятель.
31. Здесь, в парижском пригороде Виль д'Авре только что сняли дачу Куприны. Гребенщикова тоже мечтает о доме, но гонорара за «Чураевых» (4000 фр.) недостаточно. Вот, видимо, тогда и возник план, изложенный назавтра Б.А. Швецову.
32. Именно Г.Г. первым предложил Швецовой обустроить их участок в Фавьере, за что те позволяют там же выстроить «скит» для Г.Г., где он будет работать над сибирской эпопеей...
33. Поволоцкий Яков Евгеньевич (1881–1945) – издатель, меценат, общественный деятель. Издательством «Я. Поволоцкий и К<sup>о</sup>» были изданы на французском языке книги Алданова, Каутского и др. о революции в России. В 1921 году издательство одним из первых выпустило книгу А.И. Деникина «Очерки русской смуты». В начале 1920-х гг., когда в Париже появились русские эмигранты, вышла серия «Миниатюрная библиотека» с произведениями русских классиков. Позднее была издана серия «Библиотека современных писателей».
34. В Сан-Рафаэле нужно пересесть с парижского поезда на Мишелин до Лаванду, что для иностранца, только-только оказавшегося во Франции и не владеющего французским языком неочевидно, т.е. А.А. выехала встречать Гребенщиковых в Фавьере. Обращает на себя внимание пренебрежительный тон письма – а ведь А.А. на десять лет старше Г.Г., но для писателя она – «социалистка-миллионерка» (двойной грех), а потому и отношение к ней соответствующее.
35. Иннокентий Алексеевич Швецов (младший брат Б.А. Швецова) с женой Галиной Семеновной Родионовой (дочь А.А. от первого брака) и их дети Владимир (род. 1915) и Борис (род. 1917).
36. Имеется в виду город Йер (Hyères).
37. Для сравнения пара строчек из дневника Г.Г.: «...в 'Общ. Деле' появилось письмо журналиста Сергея Яблоновского (Потресова. – М.М.), который, приводя все свои доблести и 4000 фельетонов в 'Русск. Слове', просит не смешивать его с Александром Яблоновским. Бедная маленькая собачка – до старости щенок. Он и не подозревает, что его немыслимо смешать с ярко-даровитым Александром Яблоновским» (15 марта 1921). «Сегодня Серг. Яблоновский, прочитав кое-что из моих книг, 'открыл писателя Гребенщикова'... Даже Шмелева и Сергеева-Ценского он, видите ли, 'так себе, не очень читал'. И эта маленькая собачка смеет судить в своих 'всероссийских' лекциях о русской литературе – такие критики вершат судьбы литераторов.» (21 марта 1921).
38. В Ялте еще перед эмиграцией Г.Г. купил участок земли, выстроил на нем небольшой домик.
39. Часто упоминая в письмах и дневниках о своей строительной деятельности, Г.Г. говорит о себе как о единственном исполнителе. Это, разумеется, было не так, нанимались профессиональные каменщики и плотники. В архиве сохранился черновик контракта с местной артелью на постройку фавьерского дома, рытье колодца и сооружение цистерн для хранения воды.

40. Во Франции питьевая вода в кафе и ресторанах бесплатная, но Г.Г. этого не знал.
41. Напомним, что идея «этого предприятия» принадлежит самому Г.Г. Напротив – все шло ему навстречу, искренне пытаюсь помочь «земляку».
42. Русское имение «Скит» (*фр.*)
43. «Рабочие стали взрывать его порохом...» (запись от 21 июля).
44. 23 июня 1921 г. в Лондоне скоропостижно (39 лет) скончался А.А. Швецов.
45. Это типичный пример «негативной инверсии» Гребенщикова, когда ситуация им выворачивается наизнанку.
46. Имеется в виду Н.С. Красулин. Решение о покупке земли в Фавьере принадлежало А.А., и именно она дала указание Н.С. Красулину оформить купчую. Сделка была заключена 20 августа 1920 г. – полоса прибрежного соснового леса у мыса Гурон в Фавьере была куплена на имя Н.С. Красулина за 25 тыс. фр. франков.
47. В реальности это был незамысловатый сарайчик с окошечком. Сохранились фотографии.
48. Jean Peské – муж Екатерины Алексеевны Лушниковой, они жили в домике «Бастидун» на мысе Гурон.
49. Участок прибрежного соснового леса у мыса Гурон, размером 100 м. на 30,2 м., узкой стороной выходящий на пляж Фавьера и прибрежную дорогу в Лаванду, был «продан» (на самом деле «уступлен»), в нотариальном акте указано: «нотариус при расчете не присутствовал») Г.Д. Гребенщикову за 3000 фр. франков, т.е. по цене... всего 1 фр. за кв.м., что в два раза ниже существовавших тогда расценок.
50. Пасманник Даниил Самойлович (1869–1930) – общ.-полит., сионистский деятель, литератор. Член комитета по созыву Русского национального съезда в 1921 году. Соредатор газеты «Общее дело». Один из основателей Союза русских литераторов и журналистов (1920).
51. Заключительная фраза в конце записной книжки.

### «Я ПЕРЕД ВАМИ КАК НА ИСПОВЕДИ...»

Человек, при жизни заботящийся о своем архиве, безусловно, надеется на то, что когда-то кем-то этот архив будет прочитан – надежда на своего рода продолжение «жизни после жизни». Архив Г.Д. Гребенщикова в Университете штата Миннесота (США) необыкновенно полон, особенно раздел переписки – почти 400 папок по несколько сотен листов в каждой<sup>1</sup>.

Многочисленные корреспонденты Г.Г. были разбросаны по всему миру: имена знаменитые и совершенно неизвестные, письма деловые и личные, многословные рассказы и краткие записки; одни знакомства возникали и так же вдруг уходили в прошлое, другие теплились годами, поддерживаемые редкими весточками издалека; с возрастом всё меньше и меньше оставалось тех, с кем связывало общее прошлое, и ниточки печально обрывались...

Но из этого разношерстного эпистолярного потока совершен-

нейшим особняком выделяются письма Аполлинару Алексеевны Швецовой, присланные ею из Фавьера: почти 250 писем, охватывающие период с 1931 по 1959 гг. – свыше полутора тысяч листов... подробного рассказа о жизни.

А.А. была не только человеком разносторонне и глубоко образованным, она от природы была наделена особой ласковой мудростью и даром понимания, которые притягивали к ней людей. А уж чего-чего, а интересных встреч в ее богатой событиями жизни было немало. Обладая прекрасной памятью, способностью к глубоким размышлениям, а также владея несомненным даром рассказчика, А.А. делилась в своих письмах воспоминаниями о прошлом, радостями и переживаниями настоящего, надеждами на будущее. Несмотря на то, что последние 15 лет жизни А.А. была прикована к постели, связи с миром она не теряла ни на минуту, была в курсе всего происходящего и искренне сопереживала событиям.

Почти 30 лет длилась эта регулярная (одно-два письма в месяц) «переписка», прерванная даже не глубоким инсультом Г.Г. в августе 1957 г.<sup>2</sup> но смертью самой А.А. в июле 1960 г. А за тридцать лет человек меняется. В начале 1930-х годов А.А. обеспечена, полна жизненной энергии, рядом с любимым мужем, в самом центре русской культурной колонии. Но муж умер, пришла война, отобравшая последние средства к существованию, колония тихо отошла в прошлое и, главное, случилось несчастье – паралич ног. Впереди почти полтора десятка лет в неподвижности, нищете и одиночестве... Как человек может вынести навалившиеся несчастья и не сломаться, как принять горе, смирившись с судьбой, но при этом сохранив ясность ума и любовь к миру и людям, как, несмотря ни на что, обрести душевный покой и уйти из жизни спокойно – вопросы эти вечны, а потому непреходяща и ценность дошедших до нас писем.

Всё это, по-видимому, ощущал и сам Г.Г., бережно сохранив все (!) письма А.А. Мечтал ли он когда-нибудь их использовать в своем творчестве? Вряд ли. Просто послания эти были полны... любви. Не горячего обожания очередной почитательницы его творчества, но именно – простой, спокойной и всепрощающей любви. Недостатки свои Г.Г. знал, собственное несовершенство мучило его всю жизнь, доставляло искренние страдания. А здесь – его принимали таким, какой он есть, не судя. Это сродни любви христианской, библейской: «Я перед Вами как на исповеди...» – писал Г.Г. в Фавьер. И потому, думается, он вполне сознательно сохранил письма А.А. – как свидетельство о себе таком, каким он всегда *хотел бы быть*. Та же забота о своей собственной «жизни после жизни», по сути.

Тридцатилетняя «беседа» – это, скорее, монолог А.А. Из-за хронического недостатка времени Г.Г. отвечал редко и, как правило, несколькими фразами на почтовых открытках. Лишь в исключитель-

ных случаях его письма превышают страницу, машинописные копии таких «важных» (по словам Г.Г.) посланий аккуратно подшиты к архиву. Таковых ответов немногим более тридцати, из них меньше десятка можно считать действительно письмами.

Несколько в стороне – деловой разговор Г.Г. с четой Врангель. Их сугубо материальный взаимный интерес – затянувшаяся история купли-продажи участка земли Г.Г. – лежит совершенно в иной плоскости. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что никакой переписки с А.А. Швецовой не возникло бы вообще, если бы не этот «материальный интерес». Зброшенный, фактически бесхозный участок Г.Г. – лучший участок прибрежного соснового леса в самом центре недавно возникшей русской колонии – многим не давал покоя. И первые письма Г.Г. и А.А. – это именно земельные дела, в которых А.А. (*de facto* – центральная фигура фавьерской колонии) выступала лишь посредником на правах «соседки по имению». Но постепенно разговор стал принимать всё более и более интимный характер...

Итак, в ноябре 1921 года, измором выторговав себе кусок шведской земли, Гребенщиков возвращается в Париж, вскоре перебирается в Бельгию, знакомится с Н.К. Рерихом, проникается эзотерическими идеями и, благодаря материальной помощи Учителя, уезжает (навсегда) в США.

Прошло десять лет. Гребенщиков вполне сносно устроился на новом месте, ездит с лекциями о русской культуре, преподаёт русскую литературу, заведует Музеем Рериха, организует помаленьку свою собственную типографию и, главное, создает русскую колонию «Чураевка» (на сей раз именно *создает* – сам). О своих бывших «друзьях»-хозяевах Швецовых он даже не вспоминает. Да и тем, признаться, тоже не до земляка – в Фавьере уже вовсю кипит русская жизнь, и отравлять прекрасное *сейчас* не очень приятными воспоминаниями лета 1921 года как-то не хочется – как ни крути, а осадок после той истории в душе остался (особенно у Бориса Алексеевича Швецова).

Как вдруг...

---

1. Univ. of Minnesota (USA) IHRC809 S3 SS4 B37 F1-7

2. «Георгий Дмитриевич жив. Ему только что исполнилось 81 год. Вот уже около шести лет, как он вне мира сего. Судьба отняла у него то, чем он был богато одарен, – его ум. Он совсем не говорит. Немного понимает. Больше спит...» (Из письма Т.Д. Гребенщиковой от 12 мая 1963 г.)

ПЕРЕПИСКА А.А. ШВЕЦОВОЙ И Л.С. ВРАНГЕЛЬ  
С Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВЫМ (1931–1940)

## 1. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову\*

4 июля 1931 г.

*La Favière, Bormes, Var*

Многоуважаемый Георгий Дмитриевич,

Много лет прошло как мы с Вами соседи. М.б. Вы лично знаете Соломона Самойловича Крыма<sup>1</sup> как главу Крымского временного правительства и организатора Симферопольского Университета. Сосед наш во всех отношениях знатный. Ему по душе Ваш участок. Просит меня написать Вам, не продадите ли Вы ему 200 метров земли из ваших 3000? Он хочет ближе к морю. У него есть имущество под Тулоном (виноградник), где он работает и куда на поклон к нему ходят не только наши русские агрономы, но и французы, и другие иностранцы спросить совета и т.д. Относительно цены, конечно, сами с ним спишитесь, если согласны, адрес его: Mr S. Krumm, Villa «La Crimée», La Garde près de Toulon, Var.

А как оценить наш с вами участок, уж и не знаю. Цены на землю поднялись. Чем ближе к морю, тем дороже. Но, с другой стороны, есть проект дороги, которая м.б. перережет и нас, и вас, а по отчуждению заплатят гроши (хотят провести электрический трамвай и для автобусов шоссе берегом). Мне же не хочется пока продавать, т.к. семья наша велика, и все любят наше гнездышко.

Мы живем по-прежнему тихо в благословенном Богом Провансе. Хорошо у нас! Кушаем свои персики, виноград. Много русских по соседству. У нас здесь собрались все крымчане, вообще с юга России: Богдановы из Симеиза, Белокопытовы<sup>2</sup> из Симферополя, Гольде из Николаева, Врангель из Батылимана, Метальниковы<sup>3</sup> из Артека возле Гурзуфа, казак Мосолов с Кубани<sup>4</sup>, Милюковы и мы – сибиряки.

Зимующие, кроме нас, Гольде, Богданова, Белокопытовы и Мечникова. Дачников много летом. На пляже шикарная публика, всюду английская, русская, французская речь. Приезжают на своих автомобилях. Место испортилось, нет той дикости и простора.

Еще у меня к Вам большая просьба. Мне нужно найти Марию Николаевну Колокольникову<sup>5</sup> (она в New York) по очень важному делу. М.б. это улучшит ее материальное положение, только нужно очень спешить. Писали ей, ответа нет. Сделайте это доброе дело, разыщите ее как можно скорее. Сообщите адрес. М.б. она тогда черкнет немедленно Борису Алексеевичу на наш адрес: Mme et M. Schvetzoff, La Favière, Bormes, Var, Sud France.

Как Ваши дела в Чураевке? Что пишет Вам ваш Толя?<sup>6</sup> Черкните.  
 Целую крепко Танюшу.  
 Ваш старый друг  
 А. Швецова

---

\* Первое из сохранившихся писем.

1. Крым Соломон Самуилович (1867–1936) – надворный советник, член Государственной Думы I и IV созывов, председатель Таврического земского собрания, глава Второго Крымского краевого правительства (1918–1919). Агроном, крупный землевладелец Феодосийского уезда, совладелец Банкирского дома братьев Крым. Принадлежал к знатному караимскому роду *Крыми* (дословно «из Крыма»).
2. Белокопытов Василий Николаевич (1867–1932, Лаванду) – подполковник в отставке, родной брат Мечниковой Ольги Николаевны. Жена – Лидия Карловна (1870–1950). В 1912 году В.Н. купил в Симеизе участок и выстроил большую нарядную дачу в стиле модерн с каскадом лестниц и дорожек. После революции дачу национализировали, отдав под коммунальные квартиры.
3. Метальников Сергей Иванович (1870–1946) – иммунолог. Жена Ольга Владимировна (урожд. Дмитриева, 1872–1952), дети: Анна Шупинская (1898–1964), Екатерина Андрусова (1902–?), Ольга (1904–1954) и Сергей (1906–1981).
4. «На помощь всей нашей братии полковник Белокопытов привез с собой из-под Парижа знакомого казака П.Г. Мосолова, который и начал строить нам наши дачи, а впоследствии выстроил и себе большой заправский дом...» (Л.Врангель)
5. Речь идет о супруге С.И. Колокольникова (1867–1925, Нью-Йорк) – предпринимателя из семьи тюменских купцов, мецената и депутата Государственной думы. В 1918–1919 гг. в их доме в Тюмени размещался Комитет помощи раненым и больным воинам Белой армии, у них скрывались глава Временного правительства князь Г.Е. Львов и князь А.В. Голицын, бежавшие из Петрограда. В 1919 г. Колокольниковы эмигрировали сначала в Париж, затем в США. В Нью-Йорке М.Н. Колокольникова (1881–1964) работала в картинной галерее Рериха и входила в Сибирскую группу друзей Музея Рериха, которую возглавлял Г.Г.
6. Сын Г.Д. Гребенщикова от первого брака – Анатолий Георгиевич (1905–1941), инженер-строитель, жил в Ленинграде. Переписка отца с сыном продолжалась до конца 30-х годов, когда А.Г. стали преследовать за родителя-эмигранта, и он был на грани ареста. Но началась война, А.Г. ушел добровольцем в ополчение и в конце 1941 года пропал без вести.

## 2. Г.Д. Гребенщикова – А.А. Швецово

4 августа 1931 г.

Дорогая, милая Аполинария Алексеевна.

Мы так обрадовались Вашей весточке, что не сразу отвечаем: есть так много рассказать и так мало времени. Всё же пишу хотя бы

только для того, чтобы поблагодарить Вас за доброе слово и за деловое предложение. С.С. Крыма, конечно, мы знаем и любим, но продавать что-либо из столь небольшого владения мы бы сейчас не хотели. Мы всё еще мечтаем пожить хоть немного возле Вас и, главное, построить там часовенку имени Св. Сергия Радонежского.

Много мы затратили здесь нашей энергии, много в награду получили седин в голову и не жалеем, хотя материально вечно нехватки, вечные долги, так как дело затеяли большое, купили сто акров дополнительно, так как все первые сто акров проданы<sup>1</sup>. Мы имеем свыше 30 владельцев, из них около 15 построились. Большинство каменных фундаментов я выложил собственноручно. Построили часовню каменную, крепкую, по рисунку самого Рериха. Завели типографию и напечатали в ней самую большую книгу в Америке: «Книгу Жизни» проф. Сикорского<sup>2</sup>. Среди колонистов у нас тоже много знаменитостей. И все-таки мечтаем пожить у самого синего моря возле Вас самыми мирными соседями, ничего не созида, кроме дальнейших томов «Чураевых». 5 том выпустили только сейчас, т.к. все эти годы почти не писал.

Шлем Вам кое-какие фотографии и просим прислать нам снимки Вашего житья-бытия. Не знаете, целы ли наши триста кирпичей на участке?<sup>3</sup> На часовню были бы как раз.

Как милая Катерина Дмитриевна? Привет ей от нас и низкий сыновий поклон. Привет Борису Алексеевичу, Николаю Семеновичу и всем, кто с Вами. Где Лиля? Где Галя? Где мальчики? Напишите обо всем и, пожалуйста, не забудьте передать поклон м. Труану<sup>4</sup>, и м. судье в Тулоне, который был Вашим соседом и славным нашим другом.

Лазурные берега Средиземного моря Вашего незабываемы. Благословит Вас Господь на дальнейшую счастливую там жизнь.

Гр. Гребенщиков

---

1. Вскоре по приезде в США Г.Г. купил большой участок земли в Southbury (Коннектикут) для организации на ней русской колонии «Чураевка».

2. Сикорский Иван Алексеевич (1842–1919, Киев) – психиатр, проф. Киевского унив., почетный член Киевской духовной академии. Основатель Института детской психопатологии. Отец авиаконструктора И.И. Сикорского, владельца виллы в «Чураевке». Имеется в виду книга: *Сикорский, И.А.* Книга жизни: Психологическая хрестоматия для школы и жизни. Изд. Alatas. 1931. Г.Г. искренне надеялся, что эта книга станет «огромным культурным событием» и написал в предисловии: «Психологическая хрестоматия является... Книгой Жизни, направляющей волю и разум человека к строительству более красивой и здоровой будущности каждой личности, каждой семьи, культурного общества, государства и всего человечества». Но книга осталась незамеченной; повторное издание состоялось лишь в 2012 году в России.

3. В этом весь Г.Г. – впоследствии он будет постоянно обременять А.А. своими хозяйственными поручениями. Всё это страшно раздражало Б.А. Швецова, но отказать он не мог.



4. Катерина Дмитриевна Дмитриева (1865–1943) – «тетя Катя», няня дочерей А.А. Швецовых, последовавшая за ней из Иркутска в Москву и затем в эмиграцию; безвыездно до самой смерти жила в Фавьере, похоронена на кладбище Борма в одной могиле с А.А. и Борисом Алексеевичем Швецовыми. Николай Семенович Красулин – бывший управляющий имением Швецовых; Лиля и Галя Родионовы – дочери А.А. Швецовых от первого брака; «мальчики» Володя и Борис – сыновья Гали. Труан (Troin, Henri) – фермер, сосед Швецовых.

### 3. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*11 ноября 1931 г.*

Дорогой Георгий Димитриевич.

Если можете, простите и Вы, и Танюша. До сих пор не ответила на Ваше письмо. Спасибо большое за него и фотографию вашей Чураевки, и фото Тани, а также за книгу «Танец». За всё – спасибо.

Летом я так была перегружена всякими заботами, делами, что не могла найти минутки на письма. Теперь осень. Тихо. Вот уже с месяц, как молодежь разлетелась, как ласточки до весны-лета. Время ремонтное. Белим, красим в солнечные дни, а в дождь, как сегодня, та же работа, только внутри дома. Кое-что посадили на огороде. Дни хорошие, теплые, сочные, пахнет сильно свежей хвоей, лесом, грибами. Море то бурное, то тихое, пляж пустынный, всё отдыхает от летних веселых гостей. Фермеры запаливают во всю костры, мы тоже не отстаем, возлагаем эту молитву Богу в тишине вечера при ярко-алой заре, когда все отходят ко сну.

Колония наша (дачники) разъехалась, остались зимующие: мы, Богдановы (у них свой домик), Мечникова с братом и невесткой, Белокопытовы, супруги Гольде, у них лучший дом в колонии, и казак кубанский Мосолов, имеющий свой дом в два этажа. Остальные дома – Метальниковых, Крыма, Безсонова, Милукова, Врангелей, Саши Черного – стоят пустыми. Из новых еще пока строит Билибин. М-ме Волкова продает землю, также и М-ме Винавер<sup>1</sup>, есть уже покупатели.

Красулина уже третий год, как нет у нас. Он шофер такси в Paris, хорошо зарабатывает. Был после него милый Лева Оболенский, удивительный, редкий человек, но и он уехал в Montpellier учиться в агркультурную<sup>2</sup> школу, а сейчас [у нас] его товарищ Богданов, племянник известного крупного общественного земского деятеля Таврической губернии Богданова из Симферополя. Тоже хороший, но не то, что Оболенский. Мы довольны Богдановым – усердный работник и хороший человек. Живем тихо. Я в маленьком доме под охраной Богданова, а тетя Катя и Галя в большом наверху под охраной моего внука Георгия, которому ровно 13 месяцев и неделя.

Зимой редко кто навещает, чаще С. Крым из Тулона. Хотя каждый год и вот теперь на днях должна приехать отдыхать М-ме

Милюкова. Время летит быстро. Держать дом в порядке при отсутствии рабочих рук – всем нам есть работа. Вечерами читаем. Много грибов, ходим за рыжиками. Цветут пышно розы, всходит petit pois<sup>3</sup>. Картошка сочная, весенняя, скоро и ее копать. Вот наша атмосфера.

Летом устраивали литературные и научные лекции, танцы для молодежи, поездки на лодках на острова и т.д. Летом Favière выглядит уже курортом. А Лаванду и не узнаете. Большие отели, два казино, всюду электричество, водопровод. Мы тоже имеем электричество, а воды у нас достаточно своей – две цистерны и три колодца на запас.

Церкви у нас нет, но кто верит, тот Бога не забывает, чувствует его во всякой былинке творения, чувствует молитву в самой природе. Ваша идея выстроить часовню очень хороша.

Вы спрашиваете о кирпичах. Их, по-видимому, порастаскали. Когда я решила взять их к себе, их было только 150, ровно половина, как мне помнится, Вы говорили о 300. Шла стройка у [фермера] Блана (Blanc), чинил кабанон на море нотариус, пристраивал дом Папага. Так что где-нибудь они и были утилизированы, а 150 я взяла и верну их Вам, когда Вы пожелаете. Не догадалась я этого сделать раньше, было бы всё в сохранности.

Налоги плачу исправно за Вас (пустяки, в общем). Когда же Вы сами прикатите с Танюшей? Пора бы вам отдохнуть на юге под теплым небом у синего моря. А то и не дождемся Вас – годы уходят.

Очень хочу иметь продолжение Ваших «Чураевых». Вышлите мне и сообщите, как и сколько мне перевести за них, а еще лучше бы сами их привезли.

Вы, вероятно, уже американские граждане? Как ладите с Толей? Понимаете друг друга? Там [в России] совсем другая молодежь, и всё как-то дальше и дальше уходит родина. Теряешь надежду увидеть ее. Мои никто не пишет и не отвечает, очевидно, так им лучше. А тоскует душа, тянет в родные леса, тайгу, к нашим раздольям, нашим многоводным рекам. Тесно здесь, тесно душе.

В прошлую зиму встретила в Paris с Востротиным<sup>4</sup>, такой живой, энергичный, хороший рассказчик. О Вашем сыне я знаю немного от М-ме Жихаревой<sup>5</sup>. Толя Ваш женат на ее родственнице. Поздравляю Вас, Вы дедушка!

Черкните, не забывайте. Танюшу крепко, крепко целую.

Ваша А. Швецова

---

1. Винавер Роза Георгиевна (урожд. Хишина, 1872–1951, Париж), муж Винавер Максим Моисеевич (1862–1926) адвокат и политический деятель. Эмигрировали в 1919 г. через Константинополь во Францию, с 1920-го жили в Париже. Р.Г. занималась общественной деятельностью, вместе с А.С. Милюковой устраивала благотворительные вечера и лекции, в середине 1920-х гг. в парижской квартире Винаверов устраивался литературный салон. Сын – Винавер Евгений Максимович (1899–1979, Англия) литературовед. Дочь –

Софья Максимовна Гринберг-Винавер (1904–1964, Париж) – адвокат, доктор юридических наук, во время войны советник при Комитете Сопrotивления генерала де Голля. С 1949-го руководитель Комиссии по статусу женщин при ООН, автор международных соглашений о юридическом статусе женщин.

2. от фр. agriculture – сельское хозяйство.

3. зеленый горошек (*фр.*)

4. Востротин Степан Васильевич (1864–1943, Ницца) – сибирский общ. и полит. деятель, был близок к сибирским «областникам», кадет, депутат III и IV Гос. думы от Енисейской губернии. Потомственный почетный гражданин города Енисейска. Путешественник-полярник, участник экспедиции Нансена в 1912–1913 гг. В 1917 г. товарищ министра земледелия Временного правительства. В 1918 г. министр торговли и промышленности управляющего КВЖД ген. Хорвата. В 1920 г. эмигрировал в Харбин, редактировал газету «Русский голос». Затем переехал во Францию.

5. Жихарева Анна Петровна (Урожд. Брызгалова, 1886–1975) – окончила Высшие женские курсы в СПб., в 1928-м выехала с мужем С.С. Жихаревым (врач) во Францию. Преподавала в школах русский язык и Закон Божий, работала экскурсоводом в Лувре, читала лекции по искусству и литературе, член Ассоциации Тургеневской библиотеки в Париже.

#### 4. Г.Д. Гребенщиков – А.А. Швецовой

24 ноября 1931 г.

Дорогая Аполинария Алексеевна.

Так тепло и так ласково около Вашего письма, такого тихого и чудесно написанного, точно лирическая поэма. И так захотелось к Вам, под Ваше крылышко, под Ваше солнышко. Но мы не слышим от Вас о Б.А., о Лиле, и что с Галей? Как вы сноситесь с Жихаревой? Пришлите нам ее адрес.

Книги Вам немедленно посылаем и, конечно, в гостинец. И посылаем Вам в гостинец и особенно для молодежи и для чтения всей Вашей Чураевки «Книгу Жизни» проф. Сикорского. Вы увидите по оглавлению, какое это сокровище, – все лучшие образцы литературы и мысли, можно читать хоть страницу, хоть пять без ущерба для всей книги. Нам так радостно послать Вам этот продукт нашей собственной чураевской типографии и показать наш рост как культурного скита. Точно так же нам приятно связаться со всеми Вашими колонистами, столь культурными и тонкими. Передавайте наш привет им всем.

Мы мечтаем побывать у Вас и пожить подольше, но мы еще не сделали всё, что нужно здесь, а вернуться будет трудно, т.к. мы еще не граждане [США] и неохотно таковыми делаемся: верю в Сибирь и в то, что там будем еще разворачивать наши большие дела строительства.

Толя мне не отвечал на письма вот уже два года, и я понимаю, что ему нельзя, но мы с ним остались хорошими друзьями, и он ко мне был нежен не по-советски. Я теперь берегу его, и сам ему боюсь

писать, так как сам выявляю свою работу в определенной симпатии к религии, и моя часовня – одна из демонстраций в защиту Русских святынь. Напишите мне, что знаете о Толе, ибо я даже не знаю, живы ли они и где они.

Только что прошел мой юбилейный вечер. Было очень сильно выражено хорошее отношение ко мне читателей. Во многих странах устраиваются вечера и доклады, отовсюду получил массу писем, телеграмм и пр. Шуму много, и становится даже неловко, т.к. не считаю, что я что-то сделал большое. Всё еще в процессе, но приятно сознавать, что моя бодрость передалась многим, и за это все так тепло выражают свою признательность. Это был хороший смотр и мой отчет перед собою и перед читателями. Конёнков<sup>1</sup> сделал чудесный бюст с меня и называет его большим именем «Мыслитель». Всё это сильно обязывает, и я в самом деле чувствую, что только теперь должен начать по-настоящему писать и что-то делать.

В Париже 22 ноября, как мне писали, тоже устраивается вечер сибиряками под председательством Востротина. Всё это приятно потому, что вся тяжесть испытаний, трудов и устремлений не исчезает бесследно, а что-то кому-то дают.

Прилагаю листовочку о часовне, из которой Вы увидите ее идею и значение для русских людей, блуждающих в чужих краях. Как чудесно засияет куполок в Фавьере, и как сосредоточатся там мысли и сердца наших соседей. Всякий захочет принести что-то лучшее в смысле украшения, и огонек лампы даст много радости приходящим и покажет горение чистых мыслей и для тех, среди кого Вы и мы живы. Идея часовен у меня растет, и часовня Св. Сергию строится сейчас на Гималаях, в Уругвае и, кажется, в Австралии. Но это только начало. Мне особенно радостно, что Вы эту идею приемлете и м.б. немного мне поможете в ее осуществлении у Вас в ближайшем будущем на уголке нашего участка. Подумаем не спеша и сообщая с теми из ваших, кто не против (ибо будут и такие).

Мы оба и все наши шлют Вам самые теплые наши мысли и приветы.  
Гр. Гребенщиков

---

1. Конёнков Сергей Тимофеевич (1874–1971, Москва) – скульптор. Академик (с 1916 г.), Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Сталинской премий. В 1923–1945 гг. жил и работал в Нью-Йорке.

## 5. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикоу

*14 декабря 1931 г.*

Милый Георгий Димитриевич,  
Сердечное спасибо за Ваших «Чураевых», получила вчера с почтой и сейчас приступила к их чтению. Как и прежде, читаю я вечерами

в постели и утром от шести до половины восьмого, так уж это у меня в обычае. Вспыхнет заря, тушу лампу, а там моя верная Катюша несет мне чай, знает тоже, что осталась у меня эта барская привычка выпить кофе или чай в кровати. А уж когда встану, то и не присяду, всё время в движении – бабья работа, а потом огород, сад. Дни стоят райские, тихо, тепло, солнце яркое, хожу еще с внуками на море. Зайдет солнышко в комнату, у рояля запрусь и унесусь с Шопеновскими прелюдиями в мир грез и сказок.

Адрес Жихаревой: 1, Rue Rousselet, Paris-VII. Она прелестная женщина, очень образованная, одухотворенная и любит молодежь, талантливая лекторша. Из старой аристократической семьи. Она обучает моих внуков и русской грамоте, и литературе. Ведь Володе уже 16 лет, а маленькому Георгию 14 месяцев<sup>1</sup>.

Как видите, забот у меня много, а годы уходят, и силы уходят. В середине января еду на полтора месяца в Париж. А там опять в Favière, работа будет, и без меня ничего не выйдет. Б.А. этими делами не занимается. Я сама должна всё обдумать и составить план работ. Хочу сделать некоторые переделки, мула заменить машиной и дом подновить к лету.

Книг у меня порядочно, всё хочу сама их переплести, да, кажется, не справлюсь. Летом молодежь читает, все бегут ко мне за книгами, и очень они треплются. Не успеваю заводить новых. Прислали из России, но неудачные, хотя, вероятно, и там есть хорошие. Прислали журнал «Октябрь» – очень слабо. Кос-какие вещи Леонида Леонова. Я ни с кем не переписываюсь, а книги получаю каким-то образом.

Что же это я! Не поздравила Вас. От всей души поздравляю с Вашим юбилеем. Очень сожалею, что не могла лично на нем присутствовать. Ваши фотографии 1906 и 1931 гг. так разны по настроению. Зачем Вы так грустны? Задумались глубоко? Вы верите, что увидите свой Алтай. А я уже не увижу своих монгольских степей, ни Байкальских гор, ни тайги, ничего. Ужасно грустно! По временам бродячая натура тянет куда-то в неведомую даль и, если б не эти визы, махнула бы куда-нибудь на простор широкий.

Мой брат-химик не выдержал в Китае, в Харбине. Тоска замучила. В одну бурную ночь с узелочком в руках ушел на границу и домой. Но дошел ли до родных мест, это вопрос. Никто его не видел, пропал без вести. Жив ли? Не думаю. А какой был богатырь с виду. Нервы заговорили, кто видел его, говорят, что был «ненормальный». Не думаю. О Козлове тоже ничего не знаю. Берегу его последнюю фотографию из Монголии возле гигантской каменной черепахи в монгольской долине за Ургой.

Целую крепко Танюшу. Еще раз Вам большое спасибо. Ваши книги читаются, и летом, когда соберется молодежь, вероятно пойдут в ход. Ваша А.Ш.

(Вложено в конверт)

Дорогие мои Георгий Димитриевич и Татьяна Денисовна! От всей души благодарю Вас за Вашу добрую память. Была очень тронута получить Ваши листочки с часовой, перенеслась мгновенно в Вашу Чураевку и в Сергиеву пустынь. Всегда Вас вспоминаю с удовольствием. Вот я уже 11-ю зиму буду жить здесь в Favière. Работа всегда есть. Вот скоро и Новый год с Рождеством. Поздравляю Вас, милые мои, с наступающим Новым годом. Желаю всего самого лучшего. Храни Вас Господь на многие лета. Ваша тетя Катя.

---

1. Сын Гали от второго брака Жорж Шерцер (Georges Schertzer) родился 5 октября 1930 года.

## 6. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову

5 ноября 1933 г.

10 place Felix Faure, Paris XV

Дорогие Татьяна Денисовна и Георгий Димитриевич,

Запоздали мы с приездом в Париж и с ответом на Ваше любезное и такое интересное письмо. Очень нам всем понравилось Ваше обращение «к приходящим в обитель Св. Сергия в Чураевке»: многим и многим следовало бы его прочесть и проникнуться истинным Благом. А часовенка Ваша показалась мне такой трогательно-сиротливой – настоящей беженкой на чужбине. Горько всё это.

С какой благодарностью мы узнали, что Вы прочли 286 (!) лекций о России. И в изгнании Вы думаете и делаете большое дело для нашей милой родины. Ну, дай Бог Вам здоровья.

Теперь о деле. Нам с нашей дорогой мамочкой необходимо спуститься с нашей горы поближе к морю, и Ваше соседство и Ваше место нас очень и очень привлекают. Хотя цены на землю даже в Париже пали вдвое, но мы предлагаем Вам цену, не продиктованную никакими спекулятивными соображениями, а исключительно нашей платежеспособностью. Мы смогли бы Вам немедленно (!) выплатить по полтора доллара за кв. метр и все расходы по купчей сделать пополам. Итак, дорогие друзья, пишите нам ответ, а мы уже начали переговоры о продаже нашей хибарки. Как только удастся заключить купчую, так будем надеяться немедля строиться, чтобы к лету была бы готова новая дача.

Людмила Ивановна очень Вам кланяется обоим и очень благодарит за память и дружеское сочувствие ее и нашему горю<sup>1</sup>. Нам тоже до сих пор как-то не верится, что мы его потеряли на этом свете на всю жизнь. Много портретов висит у нас нашего бесконечно любимого Дидишечка, как мы звали дорогого почившего отца. Мамочка пишет свои очень интересные воспоминания о своем детстве в Малороссии.

Живем мы в Париже. Ник. Алекс. работает, как всегда, не покладая рук, а Сережа так же усердно учится – готовится к конкурсу в Высшую Школу.

Очень будем рады, если Вы приедете сюда, так приятно быть всем в куче, вместе. Да и во Франции, мне кажется, нам, эмигрантам, легче дышится, чем где бы то ни было.

Очень будем Вам благодарны, если Вы напишете нам о всех условиях оформления продажи. Очень будем ждать Вашего ответа.

Люд. Ив., Ник. Алекс., Сережа и я шлем Вам обоим наши сердечные пожелания здоровья и всяческого благополучия. Приезжайте поскорее сюда!

Ваша Л. Врангель.

---

1. 9 января 1933 г. в Москве умер С.Я. Елпатьевский.

### 7. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*декабрь 1933 г.*

Многоуважаемый Георгий Димитриевич, Я всегда с удовольствием сделаю всё, что необходимо, для продажи вашей земли, в данном случае, части участка для Л.И. Елпатьевской. Относительно налогов не беспокойтесь, за все годы всё уплачено, и их повысили на пусти, всё это легко урегулировать с Вами. Никаких претензий на Вашу землю с моей стороны Вы не встретите. Что же касается семьи Врангель и Елпатьевских, так это мои старые друзья, соседство которых будет только удовольствием для меня.

Шлю свои наилучшие пожелания Вам и Тане на Новый Год.

Ваша А. Швецова<sup>1</sup>

---

1. Тон письма исключительно сдержанный, что для А.А. совершенно нехарактерно. Можно предположить, что, получив письмо-просьбу от Л. Врангель, Г.Г., по своему обыкновению, стал диктовать условия, обременять А.А. заданиями и пр. На что и последовала ответная реакция.

### 8. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*3 января 1934 г.*

Дорогие земляки Георгий Димитриевич и Татьяна.

Очень приятно, что Вы не забыли о Фавьере и мечтаете приехать к нам под Провансальское небо и наше горячее солнышко. Грустно нам было хоронить прошлым летом Сашу Черного, которого мы все искренне любили. Прошлое лето жил Ладинский<sup>1</sup>. Куприн тоже был

одно лето в Favière. Билибин бывает ежегодно, иногда приезжает и зимой к нам погостить. Слава о нашем уголке разносится быстро, вот все и рвутся к нам. И всё милая публика, культурная, приятная.

Зимою пустовато, сейчас кроме нас живут вдова Mme Гольде, наша ближайшая соседка, две вдовы – Мечникова и Белокопытова и семья Оболенских – сняли на два года дом Когбетлянца, это лучший дом в смысле постройки. Сам Mr. Когбетлянец<sup>2</sup> уехал профессором математики в Тегеран и пишет восторженные письма о самой Персии и о молодежи-студентах. Да еще живет зиму в Favière художник Середин, в чудной вилле одного француза из Марокко. Вилла в Провансальском стиле, на горке, недалеко от Саши Черного – вид на Лаванду, на Борм, на наш русский уголок и на море. Mme Крым часто бывает у нас зимой, они купили бывшую дачку моей сестры («Le Bastidoun» художника Песке. – *М.М.*) на берегу моря. Но здоровье Соломона Сам. не блестящее, и сам уже он не может бывать в Favière, хотя он его очень полюбил. Живет возле Тулона в своем имении. Востротины живут в Ментоне.

Н.С. Красулин купил землю под Бормом. С нами он в недобрых отношениях и очень оказался недоброкачественным человеком, мы рады, что расстались с ним.

Этим летом у нас не было регулярных докладов, а только случайные, как Тимашова<sup>3</sup> об экономическом кризисе, Метальникова об иммунитете. Отец Савва (К. Набоков) читал о Прикарпатской Руси и Церквн. Были молодые ученые-бактериологи, но они читали свои лекции в интимном кружке.

Устроили, как всегда, костюмированный вечер. Всех побила костюмом Туржанская<sup>4</sup>. Семья Туржанских самая [артистичная] в Favière. В общем, жизнь проходит оживленно, молодежь веселится, а мы, старики, живем их радостями.

У нас работает сын кн. Оболенского – Лёва, милый культурный человек, с ним легко и приятно. Он уже четыре года у нас. Одно время заменял его товарищ Богданов, который застрелился, был не совсем нормален. Тоже был хороший, хотя не так культурен, как Оболенский, и по воспитанию большая разница.

Тетя Катя срослась с Favière'ом. Никуда уезжать из него и не мечтает. Вросла в землю, как пенек в лесу. Было много рыжиков у нас и масляток.

Здесь в Париже мы недавно. Мало еще кого видели.

Слышала, что Вы прислали [неразб.] свое стихотворение. Прошу Вас и мне его преподнести. А книги всюду не продаются, и здесь тоже полный застой. Из России я ничего не получаю, а если и знаю, что в общем, то от моего друга Анны Петровны Жихаревой да от проф. Метальникова, так как в Пастеровский институт иногда заглядывают советские ученые.



В нашей газете «Возрождение» была заметка, что вы, Георгий Димитриевич, намечаетесь президентом Сибирской Республики. Нет дыма без огня? Осветите этот вопрос. Черкните о себе, о Вашей переписке с Сибирью.

Привет и поцелуй Танюше.

Ваша А. Швецова

1. Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) – участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну воевал в составе Добровольческой армии Деникина в чине подпоручика. С 1924 г. в эмиграции в Париже. Поэт и прозаик, автор популярных исторических романов о Римской империи, Византии и Киевской Руси. Во время оккупации Франции участвовал в Сопротивлении, с 1944 г. член правления Союза русских патриотов, секретарь газеты «Русский (Советский) патриот». В 1946 г. принял советское гражданство, в 1950 г. был выслан из Франции за критику правительства, жил в Дрездене (ГДР) и только в 1955 г. получил разрешение «вернуться» в СССР, жил у брата, полковника КГБ, за месяц до смерти принят в члены Союза писателей.

2. Когбетлянц Ерванд Геворгович (1888–1974) – математик, инженер, изобретатель. В эмиграции во Франции с 1921 г. Преподавал, занимался научной деятельностью. Один из основателей и член правления Русского академического союза во Франции, член Совета Парижского научно-философского общества, сотрудник Русского химического общества. В 1933 г. переехал в Персию, где в течение шести лет был профессором астрономии и математического анализа в Тегеранском университете. Затем вернулся во Францию и в 1939–1940 гг. руководил службой по науке Министерства обороны Франции. С 1942 г. жил и работал в США. Вышел на пенсию в конце 1960-х годов и вернулся в Париж.

3. Тимашев Николай Сергеевич (1886–1970, Нью-Йорк) – социолог, правовед, публицист, общественный деятель. В 1921-м бежал в Финляндию, затем переехал в Берлин, работал в Праге, с 1928 г. в Париже. Профессор, помощник редактора газеты «Возрождение». Читал лекции и доклады по различным аспектам права. В 1936 году переехал в США. Работал в совместных проектах с социологом П. Сорокиным. Преподавал в Фордемском университете. В 1959–1966 гг. член редколлегии и корпорации «Нового Журнала».

4. Туржанская Александра Захаровна (урожд. Дмитриева, 1895–1974, Медон) – актриса, помогала М.И. Цветаевой в повседневной жизни и впоследствии занималась ее архивом. Муж – Туржанский Вячеслав Константинович (1891–1976) – кинорежиссер, киноактер, сценарист, художник; сын – Туржанский Олег Вячеславович (1916, Крым – 1980, Франция) – кинооператор, киноактер.

## 9. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову

11 мая 1934 г.

Дорогие Татьяна Денисовна и Георгий Димитриевич!  
Мы всей семьей поздравляем Вас со светлым праздником.

Давно хотела написать Вам, но, естественно, ждала окончания нашей с Вами купчей и теперь, не дождавшись, пишу Вам. Всё еще нет ответа от Префектуры, как Вам, вероятно, уже писал г-н Шклявер<sup>1</sup>. Купить же полностью Ваш участок мы, конечно, (за эту цену) не в состоянии, тем более что вот уже год, как цены всё падают, и летние запродажные многих наших друзей в Favière'e, сделанные по 20 фр. за метр, расстроились или сойдут по 10 фр. Вот что делает кризис, отсутствие иностранцев, политические неурядицы и пр. – от Канн до Ментоны чуть ли не все дачи продаются. Что только делается! Всё же, может быть, дела еще поправятся в смысле разрешения от префектуры, но надо, к сожалению, запастись терпением.

Очень были мы тронуты Вашей прекрасной статьей о нашем миленьком Дидишечке<sup>2</sup> и читали ее вслух в интимном кругу 20 человек. Александру Ив. Куприну и, конечно, всем присутствующим статья очень (!) понравилась. На днях отнесем ее в редакцию «Последних Новостей» и сообщим Вам, когда она будет напечатана. Иван Алекс. Бунин написал мне, что тоже очень жалеет, что не мог быть на вечере в память Дидишечки, так как должен был уехать на юг, к себе в Грасс.

Очень, очень нам жаль, что Вы отказались от мысли строиться рядом с нами и не приедете во Францию.

Здесь атмосфера запутанная, загрязненная и Стависким, и убийством Пранса<sup>3</sup>, но всё же, несмотря на кровавые беспорядки, не верится, что во Франции могут быть или большевики, или какая-либо другая диктатура. И то, и другое противно французской индивидуалистической натуре, хотя французы очень кроткий народ, особенно мужчины. Женщины вообще быстрее и горячее на всё реагируют.

Крепко целуем Вас обоих.

Любящая Вас Л. Врангель.

---

1. Шклявер Георгий Гаврилович (1897–1970, Париж) – доктор юридических наук, профессор. В эмиграции жил в Париже. Занимался делом проведения и оформления «Пакта Рериха» (международного соглашения об охране памятников искусства) в Европе. Бессменный ген. секретарь Общества друзей Музея им. Рериха. Во время войны лейтенант французской армии при английском штабе; спасая французских солдат от плена, сам был арестован. В 1945 г. – член ЦК и юрисконсульт Союза советских патриотов. Поверенный в делах Гребенщикова.

2. Имеется в виду очерк Г. Гребенщикова «Облик русского писателя. Памяти С.Я. Елпатьевского» (1935).

3. Так называемое «Дело Ставиского» – крупная финансово-политическая афера во Франции (дек. 1933 г. – фев. 1934 г.) и связанное с ней убийство Albert Prince, главы финансового отдела парижской прокуратуры, занимавшегося антикоррупционным расследованием по делу Александра Ставиского.

10. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову<sup>1</sup>

15 июня 1934 г.

Дорогие Георгий Димитриевич и Татьяна Денисовна!

Получили Ваше второе письмо от 23 мая, являющееся ответом на мое последнее письмо, в котором я сообщала Вам о «нашем знакомом», мечтавшем посмотреть Ваш участок. Это был И.А. Бунин. Ему мы сообщили цену 4000 дол., какую Вы просили в Вашем письме от 20 мая. Вашу готовность сбавить 250 дол. (письмо от 19 мая) мы ему не сообщили, т.к. Бунина в Париже уже не было. Впрочем, Ваши колебания в цене не могут ничего изменить, т.к. Бунин вообще воздерживается от покупки. Дословную копию его письма, полученную на днях, мы прилагаем.

Ввиду того, что другого компаньона мы не имеем, будем говорить, не осложняя вопроса, только о покупке северного, верхнего участка в 1000 кв. метров. Мы предлагаем Вам за этот участок 16 тыс. фр. – из-за утеса, над ним тяготеющего, а также из-за того, что Вы хотите получить полностью наличными всю сумму до 15 июля. Для того, чтобы иметь эту сумму, нам придется заложить бумаги нашего сына, т.к. продать их можно будет не раньше конца ноября сего года, когда он достигнет совершеннолетия. Залог бумаг частному лицу требуется уплатить проценты около 2000 фр. за полгода! Вы назначаете 19 тыс. фр., причем нам покупка обойдется, вследствие залога бумаг, в 21 тыс. фр. плюс половина расхода по купчей. Это нам дорого выходит.

Потому мы просили бы Вас принять одно из двух [предложений]. Либо уступить нам участок за 18 тыс. фр., причем всю сумму полностью мы уплачиваем при заключении купчей до 15 июля. Либо мы соглашаемся на 19 тыс. фр., из которых 10 тыс. фр. уплачиваем при заключении купчей, а остальные 9 тыс. фр. – 1-го января 1935 г. (т.е. когда бумаги сына смогут быть проданы).

Во всяком случае, надеемся, что наши так затягивающиеся переговоры подходят к концу, и надеемся благополучному и благожелательному для обеих сторон. Сообщите, дорогие друзья, о Вашем последнем (!) решении нам или г. Шкляверу.

Целуем Вас крепко, сердечно

Ваши Л. и Н. Врангель

На днях, наконец, соберусь в редакцию «Последних Новостей» с Вашей рукописью, которая нам так дорога. Редакция от нас на краю света. Книгу свою на днях, вероятно, отдам в издательство. Спасибо за помощь в распространении. Еще напишу.

(Вложенная копия)  
6 июня 1934 г.

Дорогой друг,

Простите Бога ради: так был занят, так срочны были все дела и делишки, что не мог минуты выбрать, чтобы написать Вам. Да и всё надеялся обдумать как-то «как следует» насчет этой земли. Я ее не видел – заехать по пути из Парижа в Lavandou не мог – домой спешил, но всё равно: как сообразил, что она будет стоить 40 тысяч, так и пал духом. Не по деньгам мне это. А потом все говорят: «Как? Возле Lavandou, когда за эту же цену можно на Cap d'Antibes купить!..»

Когда Вы на юг? Тогда непременно приеду к Вам. Всё ясней вижу: скорее всего не куплю. А всё же посмотрим эту землю вместе с Вами, поговорим о ней еще...

Целую Вас сердечно, поклон супруге  
Ваш Ив. Бунин

---

1. Данное письмо – пример сугубо деловой переписки Г.Г. и семьи Врангель.

## 11. Г.Д. Гребенщиков – А.А. Швецовой

7 февраля 1935 г.

Дорогая Аполинария Алексеевна.

Незадолго перед Рождеством я получил, наконец, последние деньги за проданную [Л.С. Врангель] одну треть своего участка, который когда-то получили мы от Вас за наши скромные труды и благодаря Вашей великодушной доброте, о чем мы никогда не забываем и теперь приносим Вам и дорогому Борису Алексеевичу невыразимую благодарность.

Мы не хотели продавать ни пяди этой земли, мечтая когда-либо поселиться возле Вас, но, во-первых, желание Л.С. Врангель было настолько большое, что она просила нас об этом в течение трех лет раза три или больше. А во-вторых, с наступлением депрессии и по случаю моего увечья от автомобильной катастрофы мы потеряли почти всё наше достояние здесь и особенно типографию, с таким трудом приобретенную. Благодаря продаже участка в Фавьере нам удалось часть типографских машин выкупить, а благодаря машинам мы приняли заказы на несколько книг и, выполнив их, на днях выкупили и дом под типографию. Так что, как видите, мы чрезвычайно обязаны доброму случаю нашего знакомства с Вами и нашего хоть и короткого, но сотрудничества.

Остальную часть участка мы не хотели бы продавать, надеясь, что во Франции когда-либо будет доступнее для нас жизнь и мы смо-

жем там пожить в конце дней своих. Правда, если этой надежды в связи со всякими правами гражданства не будет, то пожить около Вас можно и без своего дома. К Америке мы очень привыкли, и язык я постиг настолько, что читаю на нем лекции. Поэтому, если будет острая нужда, то продадим и остальные 2015 метров. Цену Врангели предложили сами, потом сами же ее уменьшили и все-таки это вышло чрезвычайно для нас выгодно, несмотря на массу уплаченных пошлин и расходов адвокату и проч. Поэтому еще и еще хочется Вас сердечно поблагодарить и порадоваться и за Вас, что Ваша земля так повысилась в цене.

В знак скромного выражения признательности посылаю Вам две только что выпущенные в нашей типографии книжки. Как только выйдет 6 том (который наполовину уже в наборе, но не выходит потому, что нет денег на бумагу), так мы его Вам вышлем.

Вы же дайте нам о себе знать, пожалуйста, поподробнее. Нашей милой Тете Кате низко кланяемся. Целую Ваши ручки, земно кланяюсь Борису Алексеевичу и всему Вашему Августейшему Дому. Гр. Гребенщиков

Напишите, построили ли что-либо Врангели на новом участке.

## 12. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*27 февраля 1935 г.*

Дорогой Георгий Димитриевич,

Спасибо за память. Очень было бы хорошо, если Вы с Танюшей приехали пожить в нашем уютном, тихом уголке. Всем он по душе. Этим летом были Востротины, им очень понравилось. Покойница Анна Сер. Милокова<sup>1</sup> часто заглядывала и зимой на свою дачку. Еще в ноябре мы уютно читали вместе в комнатке О.И. Мечниковой, было так хорошо, и возвращались с ней домой лесом, при молодом золотистом месяце, так пахло вечерней лесной сыростью и душистым воздухом. Вот уже две недели, как умерла и Анна Сергеевна. Не откладывайте Ваше желание приехать во Францию, в наши-то годы... Подойдем и мы скоро к последней черте.

По-прежнему одиноко брожу в своем лесу, только в этот год лес оживился молодыми голосами детей: мой внук 4-х лет, его друг Сережа, тоже 4-х лет, Юра 2-х лет и Катя 7 лет. Приходится вспомнить слова Лаврецкого в его последний визит в Калитинский дом («Здравствуй, племя молодое!»)<sup>2</sup>.

Врангели ничего не строят пока. Хотят прежде продать свою дачу<sup>3</sup>. Это довольно трудно, т.к. Людмила Серг. пересиливает в коммерческих расчетах: назначила 45 тыс. фр. Пришел покупатель – сразу прибавила до 50 тыс. Ушел рассердившись. Теперь уже назна-

чает 40 тыс. Но пока никто не покупает. Нет у нее постоянства в ценах.

Землю Вы, конечно, продешевили. Но это для М-ме Елпатьевской. Цена же ей нормальная, по крайней мере, будет по 35 фр. метр. Правда, в этом году плохи дела и м.б. трудно продать. Мой совет – если можете ждать, обождите годик. У меня многие спрашивают о цене Вашей земли, я отсылаю к Вам, чтоб писали бы к Вам в Америку. Дело в том, что этот последний Ваш участок близок к морю и, кажется, есть намерение у некоторых устроить лавочку, продажу вод и м.б. кафе – место бойкос, а летом весь пляж полон публики, можно торговать. Кроме того, я думаю, на Вашем участке будут располагаться кемпинги, т.е. палатки.

Участок Ваш мэрия велит вычистить, что мы и сделали. Всё это только 300 фр. Я советую вам, если будут останавливаться летом автомобили и устраивать *camping*, то брать с них хотя бы 3 фр. в сутки. М.б. можно выручить за это что-нибудь. Дайте Ваше разрешение на это или нам, или Врангелям.

Живем мы тихо. Материально наше положение много ухудшилось, но настроение от этого не изменилось. Что портит жизнь, так это старость и потеря сил, но не потеря энергии. С удовольствием бы еще поехала в новые места. Это Сибирская натура во мне горит желанием бродяжничества.

Тетя Катя по-прежнему возится с курами. Живой календарь нашего дома, так как знает все праздники, именины и т.д. Сгорбилась старушка. Галя живет у меня. Спит до 10-11 часов, что-то всё пишет, много читает и немного помогает. Она не способна к работе. Лиля сейчас в Ницце. У нас хозяйничает Веснин. Оболенский женился и с женой служит в санатории возле Тулона. Красулин у нас не бывает, он женат на богатой вдове-француженке, живет по-богатому, снимает в Борме новый отель, очень *luxe*, все комнаты с ванными, сдают комнаты. На свадьбе у него были Ларионов и Гончарова (художники) из Парижа. Он водит знакомства с «именами». Мы очень довольны, что он нас не посещает.

Зимой нас здесь немного. Дом Мечниковой, где она живет с *belle-sœur*<sup>4</sup>, пансион Л[ёвы] Оболенского, рядом с ним лавочка Грудинских (дочь Оболенских), большая, в сравнении с другими, дача казака-кубанца Мосолова, который живет «тусоль»<sup>5</sup>, по его выражению. На даче Милюковых живут Орловы (он работает каменщиком). Мме Гольде, вдова, живет по соседству с нами (под Онора<sup>6</sup>). И мы. Вот наши зимние русские обитатели. С. Крым догорает, плох, мы с Б.А. часто навещаем его в Тулоне.

Итак, дорогие друзья, приезжайте, отдохните в своем уголке по-сибирски (и по-модному) – в палатке у синего теплого моря. Весна у нас. Отцвели ландыши, зацветают персики, пушится золотом мимоза, и небо голубеет с каждым днем.

Очень рада, что Вы оправились после автомобильной катастрофы. Относительно газет [не переживайте] – это старая песня, всегда много вранья, болтовни<sup>7</sup>.

Любящая Вас А. Швецова

1. А.С. Милюкова скоропостижно скончалась после перенесенного гриппа 12 февраля 1935 года.

2. Имеются в виду размышления героя романа Тургенева «Дворянское гнездо» Лаврецкого: «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть – и сколько из нас не уцелело! – а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами. А мне... остается отдать вам последний поклон – и, хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать, в виду конца, в виду ожидающего Бога: ‘Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!’» В скобках А.А. цитирует стихотворение Пушкина «И вновь я посетил...» (1835).

3. Так наз. «Вилла Врангель» со «скворешной лестницей», где летом 1935 года отдыхала М. Цветаева с сыном. Эту первую дачу Врангелей купит в августе 1937 года Бетти Скорер – невестка С.Л. Франка, и, построив рядом еще один домик, она (вместе с мужем Алексеем Франком, оба – артисты балета) откроет пансионат для англичан «Le Coq d’Or» («Золотой петушок»).

4. сестра жены или мужа (*фр.*) – здесь имеется в виду Л.К. Белокопытова.

5. от tout seul – совсем один, в одиночестве (*фр.*)

6. Honorat, Noël – один из фавьерских фермеров.

7. Копия отправленного Швецовой письма, на которое ссылается А.А., в архиве отсутствует; Г.Г. не посчитал его «важным». По-видимому, в нем он сетовал на критические статьи в свой адрес.

### 13. Г.Д. Гребенщиков – А.А. Швецовой

20 марта 1935 г.

Дорогая Аполинария Алексеевна.

Прошу и уполномочиваю Вас использовать принадлежащий мне участок земли, расположенный вблизи Вашего имения в Фавьере для извлечения из него возможных выгод путем сдачи его целиком или частями в аренду или путем устройства на нем при посредстве Вашего доверенного лица лавочки или кампинга. Из полученных за использование или от аренды денег прежде всего погасить расходы по его очистке и налоги, а если что будет сверх того, вносить на мой текущий счет.

В случае, если кто-либо заинтересуется покупкой участка, прошу Вас отвечать, что в этом году продажи участка не предполагается, но через год вопрос можно обсудить с желающим приобрести эту землю.

С полным доверием ко всему, что Вы по сему найдете нужным предпринять, остаюсь искренне Вам преданный

Гр. Гребенщиков

#### 14. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*2 мая 1935 г.*

Х.В.!

Дорогой Георгий Дмитриевич и Таня.

Спасибо Вам за Ваше письмо и доверие. Постараюсь, если будет возможность, извлечь доход из вашего участка. Жили 10 дней (одна палатка), назначили 2 фр. сутки и получили 20 фр. Пока это и всё. Возможно, приедут еще.

Весна была холодная. Но сейчас уже публика купается. Я лично не замечаю, как летят дни, и хорошо, и плохо – работы много, семья большая. Тете Кате уже 70 лет, да и мне немало – 61, устаем физически.

Очень рада, что ваши дела материальные исправляются. Туго всем приходится. Деньги проживаются, а получить их, заработать почти невозможно. А тут еще все ворожат войну. Не дай Бог пережить вновь такую катастрофу и вместе с ней гражданскую резню и революцию.

Вы спрашиваете о Гале и Лиле. Галя живет у меня. Мечтает, что-то пишет, ничего не делает и не желает физической работы, она аристократична духом, поэтому предпочитает жизнь паразитную, но поэтичную. Ее сынишка Жоржик почти весь на моем попечении, т.е. обшиваю его, мою его и т.д.

Лиличка вышла вторично замуж и так же, с моей точки зрения, неудачно. Муж глуповат, немолод и небогат (богатство в прошлом). На богатство его, кажется, и рассчитывала Лиличка, надоело служить по магазинам, узнала тяжелый труд, но ошиблась. А теперь это уже непорочно. Спасибо мужу, что отпускает он ее в Париж, где она серьезно, с увлечением занимается в лаборатории по изучению гормонов. Морально очень изменилась, стала чуткая к людям, всем помогает, чем может, вся живет нервами, поэтому выглядит плохо, кашляет, что меня очень беспокоит. Кончила еще 2-годичные курсы сестер милосердия (французский Красный Крест), работала в госпитале и кончила хорошо, даже в газеты попала. В Париже при Сорбонне получила диплом техника гистологии. Молодец! Когда приезжает к нам, всех нас подлечит, всем поможет, словом, тепло от нее. Но вот семейного счастья нет. Тут уж сама виновата, поэтому бедняга не жалуется, терпит.

Внуки старшие [Владимир и Борис] 19 и 17 лет в Париже учатся. Лизута<sup>1</sup>, племянница 20 лет, через год кончит консерваторию, играет на пианино и поет.



А мы сидим в деревне. Днем вертишься, как белка в колесе, а вечерами читаю. Выписываю много книг и из Советской России. Языки начинаю забывать, не с кем говорить, поэтому читаю усердно, но не всегда это удается. Люблю английский язык, почитываю, чтоб совсем не забыть.

На Пасху приезжал профессор Шестаков<sup>2</sup> с детьми, вспоминали Сибирь (он из Алтая), внес оживление. Ждали Милюкова, но он всё еще собирается. Бедная Анна Сергеевна, мы все ее очень любили, была такая добрая, веселая. Чаще других бываю с Ольгой Николаевной Мечниковой, всегда есть о чем перекинуться словами. Семья Владимира Андреевича Оболенского тоже зимовала здесь. Так что мы не одиноки. Посещаю старика Крыма в Тулоне. Всё он в одном положении. К июлю подъедут и наши дачники, в числе их и Врангель и Л. Ив. Елпатьевская. Вероятно, приедет и Гречанинов, будут опять музыкальные вечера.

Христову Заутреню слушали по радио из Парижа, и было очень хорошо. Привет от Бор. Ал. Целую милую Танюшу. Всегда дружески, А. Швецова

---

1. Лушниковна Елизавета Глебовна (1914–1990) – певица, пианистка, педагог. После гибели отца Г.А. Лушников (родной брат А.А.), приехала с братом Глебом и матерью Елизаветой Дмитриевной (урожд. Стереховой, 1882–?) во Францию. В Париже окончила Русскую консерваторию, концертировала, преподавала, с 1950-го – профессор Русской консерватории, член правления Российского музыкального общества за границей.

2. Шестаков Петр Иванович (до 1880 – после 1939) – доктор естественных наук, профессор химии СПб политехнического института. В эмиграции в Париже, профессор, член Общества русских химиков во Франции.

## 15. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову

*19 ноября 1935 г.*

Дорогие Татьяна Денисовна и Георгий Дмитриевич,

Как Вы живете? Как дела в Америке? У нас в Европе как-то все на распутье, никто ни в чем не уверен. В частности, никто не знает, кто будет хозяйничать во Франции, – коммунисты ли при поддержке социалистов или правые при поддержке национального фронта. Но говорят, что тянуться, как теперь, политика не может. Все жаждут перемен – и правые, и левые, все презирают настоящее положение вещей. Оно, и правда, во многих отношениях и нелепо, и дико. Ну, поживем – увидим.

Лето провели в Фавьере. Молодежь наша очень любит Фавьер, а я непрочь была бы посмотреть Божий свет и полечить свою подагру.

Теперь могу написать наконец Вам о Вашей прекрасной рукопи-

си об отце. Не писала Вам об этом целый год – так неприятно было мне. В редакции «Последних Новостей мне сказали по поводу Вашей рукописи (буквально): «Редакция решила не писать ничего и не помещать статей Рериха и Гребенщикова». Я изумилась: «Почему?» «Чтобы не способствовать их рекламе», – был странный ответ. Ах, когда у нас люди будут жить по-людски, а не по-волчьи!

Людмила Ивановна просит Вам написать, что она вспоминает с удовольствием о тех дружественных отношениях, которые соединили и соединяют ее и Вашу семью.

Крепко целую Татьяну Денисовну и дружески жму Вашу руку.  
Сердечно предана Вам  
Л. Врангель<sup>1</sup>

---

1. Именно этим летом в Фавьере отдыхала М. Цветаева и больше двух месяцев жила в доме Врангель, но Л.С. о том не упоминает – мало ли кто приезжал к морю...

## 16. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*15 марта 1936 г.*

Дорогой Георгий Димитриевич и Танюша,

Очень виновата, что долго ничего не писала и даже с Новым Годом не поздравила. Уже устала ждать чего-нибудь хорошего от «новых годов». Всё как-то перепуталось, ничего ясного, правдивого. И жизнь всё становится однообразнее (для меня), скучнее и постепенно переходит в житие – вот тогда будет м.б. и лучше, будет покой душевный.

Судьба наградила нас большой семьей, живешь так, как лучше для всех, а не так, как душе хотелось бы. Материальные средства уходят, и всё больше и больше стягиваем свои карманы. С удовольствием бы продали наше поэтичное крошечное имение, но не найдешь покупателя. С продажей здесь очень трудно. Никто ничего не покупает. Всё продается и продается дешево, а это нас не устроит. Ищите американских покупателей на наш участок, заплачу вам %, цена около 40 тыс. – земля, два дома, постройки хозяйственные и два курятника. Посылаю Вам фотографию нашего уголка.

Молодежь [моя] в Париже, все уже взрослые – два студента и студентка. А здесь у меня Жоржик 5 лет, бойкий мальчуган и хозяин хороший, помощник тети Кати. Кур развели достаточно, за 500 скоро перевалит. Яиц много, но цена на них небольшая, так что пользы особой нет, больше – барская затея и, может быть, последняя. Я лично по-прежнему неисправима, живу с цветами, книгами и музыкой. Цветут у меня ромашки, розы, лилии, левкой. Хорошо!

Весна чувствуется в мягком воздухе, запахе леса, кричат хором лягушки, брызнули дружно виноградные почки, распустилась глициния, розовеют нарядно персики. Каждый день новая жизнь пробуждается. Щеголи стрекочут в моих кипарисах, а запоют «сплюшки», будет совсем хорошо, а там и соловушки! Нет только реки, бурного ледохода... Весна всегда поэтичная, думами под дымкой.

Читаю. Сейчас увлечена Арсеньевым, его книгой «Дерсу Узала» о поездке по Уссурийскому Краю. Душа сибирячки нашла отзвук в его книге, потянуло в тайгу. Я часто ездила в апреле в тайгу с первым мужем. И на лабазе сидела, и по следу ходила с ним за козами, и любила охоту на вальдшнепа. Жили неделю в сторожке в лесу у холодного ручья. Пахло березками и елями. Мылись в ручье. И ходила мальчиком в шароварах и синей рубашке. Спала, завернувшись в баранье одеяло, на досках и слушала разговоры промышленника<sup>1</sup> с [первым моим] мужем о жизни медведей, под которые хорошо засыпалось. Как всё это далеко, но близко душе! Милая, далекая Сибирь. Не знаю, что бы дала, чтоб проехать еще раз по этим таежным дорогам, дохнуть этим воздухом. Слышала, что он (Родионов) и сейчас еще охотится и часто живет в тайге, а ему уж 70 лет.

Врангели еще не строятся, так как не могут продать дачу. Людмилу Серг. жду на Пасху. Что-то и в Favière'е стало меньше публики. Милюков сдает дачу, м-м Винавер продает землю. Билибин продал уже, он уезжает в U.S.S.R. Стоят дома Когбетлянц, Богдановой, Метальникова, Мечниковой, казака Мосолова, Крыма, Врангелей, Околова, Безсонова, Гольде и наш. Дома внуков Волковой, Козловского, Гольдрина, Титова<sup>2</sup> и Як. Рубинштейна<sup>3</sup> стоят недостроенные. На горке соседи – дача Саши Черного и М-ме Брилинской. На Пасху приедут Метальниковы и проф. Шестаков Петр Иван. с дочкой (ваши алтайские).

Соберетесь, м.б. и Вы с Таней? Или уже навсегда распростились с Францией? Получаете ли Вы что из Алтая? Как Ваш сын? Сколько у Вас внуков? Думаете ли вернуться на работу? Чем заняты, что пишете?

Будьте здоровы, Танюшу целую.

Ваша А. Швецова

1. Здесь «промышленник» – восходящее к XVII в. название сибирских охотников на пушного зверя (от «пушной промысел»).

2. Титов Александр Андреевич (1878–1961, Париж) – профессор химии Московского университета. Гласный Ростовской и Московской городских дум и Ярославского губернского земства. Участвовал в создании Всероссийского союза городов (организовал отдел снабжения армии лекарствами, 1915). Входил в состав Временного правительства (1917). Октябрьскую революцию категорически не принял, участвовал в создании «Союза возрождения России» (1918) на Юге России, в 1920 г. заочно был

признан «врагом народа» и приговорен к расстрелу. В эмиграции во Франции (1920). Профессор Парижского ун-та и Русского Коммерческого ин-та. Председатель Общества русских химиков в Париже. Создатель и руководитель химико-фармацевтической фирмы «Биотерапия».

3. Рубинштейн Яков Львович (1879–1963, Париж) – адвокат, гос. и общ. деятель, председатель Объединения русских адвокатов во Франции, эксперт Нансеновского комитета Лиги Наций по делам беженцев.

## 17. Г.Д. Гребенщиков – А.А. Швецовой

*22 апреля 1936 г.*

Христос Воскресе!

Дорогие Аполинария Алексеевна и Борис Алексеевич,

Спасибо за письмо. Мы только что вернулись из 4-х месячного путешествия по Америке с лекциями. Было жутко в морозы, заносы, потопаы и разрушительные смерчи. Однако даже американские лекции были успешны, и на осень приглашен в ряд университетов.

Боюсь, что продавши Ваше имение, Вы прогадаете. Едва ли есть место и город лучше Фавьера. Чтобы продать Ваше имение, надо бы поместить несколько объявлений в самой большой газете в Нью-Йорке, но это будет стоить денег. Угадать же частным образом, кто может купить землю во Франции, очень трудно, особенно не живя в Нью-Йорке.

Получая ряд писем из Европы, приходится удивляться, какое у многих воображение насчет Америки. Вы-то Америку знаете, но Вам не приходилось в ней бедствовать, и жили Вы в иное время. Теперь же всё сильно изменилось к худшему. Правда, миллионы безработных получают помощь, но правительство идет к банкротству, и только сними их с релифа<sup>1</sup>, как тотчас же вспыхнет революция. Так что Америка тоже вулкан. Франция, надеюсь, выйдет из кризиса раньше нас. Что же касается возможных газовых атак и бомб с аэропланов, то в Фавьере это меньше всего может случиться. Поэтому напрасно Ваши соседи столь панически продают свои владения. Главное же, Ваш климат настолько благоворен, что вот и письмо Ваше свидетельствует об этом. Вы так чудно мечтаете, вспоминаете, так лирически пишете обо всем, что в другом месте это просто не мыслимо.

Что касается нас, то мы определенно не можем покинуть весь груз типографии, книжного склада, дома и библиотеки. И некуда больше ехать. Весь мир в опасности. Значит, наш кусочек при случае предложите доброму соседу по существующей там цене и чем скорее – тем лучше. Я хочу жизнь свою кончить так, чтобы имущества не оставалось, но чтобы эпопея «Чураевы» была закончена и вся напечатана. Тогда я спокойно отойду от суеты мира сего. А Вы мне помогите в

этом серьезном деле, это дело не мое личное, а как-никак – общее, русское и человеческое.

Шлем Вам наши самые нежные чувства. Между прочим, если наше турнэ будущей зимой увенчается успехом, мы, возможно, поедем в Европу, т.к. гражданские бумаги скоро получим, без чего не могли рисковать с выездом из Америки.

Гр. Гребенщиков

---

1. от relief – пособие, льготы, материальная помощь (*анг.*)

### 18. Г.Д. Гребенщиков – А.А. Швецовой

8 сентября 1936 г.

Дорогая Аполинария Алексеевна,

Только что получил письмо от Л.С. Врангель, которая предлагает нам продать остаток нашего участка своему будущему соседу-французу. Цену она предлагает по 20 фр. метр, но я ей напишу, что у меня имеются другие справки о ценах и что (не указывая, кто писал о ценах) цены эти могут быть до 35 фр. за метр. А т.к. я просил Вас быть моим посредником по нахождению покупателя, то даю условное согласие на 25 фр., если у Вас, Аполинария Алексеевна, нет сейчас более выгодного покупателя. Я считаю это необходимым потому, что у Вас могут быть какие-либо свои соображения и первенство поэтому предоставляется Вам. Если же у Вас нет никаких видов с более выгодной комбинацией для меня и для Вас, то дайте моральное отпущение сему делу и благословите на продажу этого нашего уголка, о котором мы теперь мечтать не можем. Здесь мы уже многое пропечатали и издавали, а изданные книги лежат. Но всё же задача моей жизни – закончить сибирскую эпопею и издать ее при моей жизни. В этом отношении заработанный когда-то у Вас участок приносит нам якорь спасения, как всегда, в самую отчаянную минуту, и потому издание эпопеи все-таки идет при Вашей щедрой помощи.

Кстати, напомните остаток моего счета, теперь есть случай его погасить, если всё состоится без перемен и проволоочки. И напишите поподробнее о Вашей жизни, которая нам грезится куда как отраднее, нежели наша. Уж очень здесь всё разменялось на доллары и никакой души, ни сердца у русских людей не осталось. Но мы все-таки стоим и пытаемся быть верными некоторым устоям, которые на огне не горят и в воде не тонут. Но Боже мой, как трудно быть человеком в этой стране, как, видимо, и всюду в мире.

Посылаю Вам мою новую книжку «Купава». Технически ее всю сделала Татьяна своими руками. Набрала, напечатала, сброшюровала. Прочтя, дайте Вашу оценку содержания.

Наш глубокий поклон дорогому Борису Алексеевичу и всем, кто сейчас с Вами. Особый поклон милой и славной нашей Тете Кате.

Гр. Гребенщиков

## 19. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*21 сентября 1936 г.*

Дорогой земляк,

Письмо Ваше получила. Да, Л.С. Врангель говорила мне о том, что продает Ваш участок, очевидно, хочет заработать на процентах. Раз Вам нужны деньги, конечно, продавайте. Я думаю, за 20 фр. любой купит. Онора продал сейчас у себя за 20 фр., а ведь он дальше Вас от моря и без леса. Когда Л.С. спросила меня о цене, я сказала – не менее 30 фр. Она буркнула: «Ну, можно и за 28, и за 25...» Я определила ее покупателя (хотя она и не говорит – кто, но по-моему, это человек богатый, мог бы не поморщившись дать и 30 фр.). Она ничего не знает про наше с Вами дело<sup>1</sup>.

Конечно, я лично за свою землю пожелала бы 35, в крайнем случае – 30 фр., не меньше. Мэр Борма продает землю на мысе по 80 фр. Правда, покупателя еще нет, но не позже, как через год, пройдет из Борма к нам шоссейная дорога – с каждым годом всё больше и больше приезжает публики.

Теперь здесь уже то, что когда-то было у нас в Крыму. Не знают, куда вложить деньги. Спрашивают и покупают дома. Боятся падения франка, а вывезти деньги нельзя. Поживем увидим. Я лично тоже хочу продать половину нашей земли, а то и всё. Уголок наш хороший. Больное сердце и общее оскудение кармана заставляет подумать об этом. С падением бумаг и франка я надеюсь на покупателя и жду.

Хорошо у нас. Солнышко греет по-летнему. Тихо. Виноградники начинают золотиться, но вечерами всё еще трещат кузнечики, как и в теплые ночи летом, а днем оглашают немusыкальнo воздух молодые гуси в нашем курятнике. Море успокоилось, вода теплая. В лесу после дождика пахнет уже грибами.

Иван Як. Билибин уехал в Ленинград, получила от него письмо с парохода «Ладога» из Голландии<sup>2</sup>.

Итак, ни Вы, ни Таня не придете... Грустно. Буду ждать Вашу книгу.

Привет и поцелуй Танюше.

Ваша А.Ш.

---

1. Г.Г. одновременно и независимо уполномочивал («благословляя» – по его словам) и А.А., и Л.С. вести дела по продаже своей земли. Информацию,

полученную от одной стороны, он использует для влияния на другую, упуская из внимания тот факт, что А.А. и Л.С. тесно общаются друг с другом.

2. И.Я. Билибин возвратился в СССР на корабле «Ладога» осенью 1936 года.

## 20. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*18 апреля 1937 г.*

Дорогой Георгий Димитриевич,

Вы простите, что я опять пишу по поводу налога. Мне прислали на Ваше имя платеж в 91 фр. за вашу землю, а Б.А. отказался платить – обижен, что Вы, продав землю Врангелям, не покрыли ему расходы по налогам. Я бы лично заплатила, но живем по старой вере – своих денег я не имею. Мне неприятно об этом писать Вам.

Я провела пять месяцев в отъезде, была в Париже и потом в горах в Savoie. У меня заболел легкими старший внук-студент, увезла его в горы. Через месяц поеду опять в горы ненадолго, но мой постоянный адрес – La Favière.

Имение сдала в аренду на 4 года (кроме своего небольшого дома) и очень дешево – за 7000 фр. Стара стала, устала. А так спокойнее и свободнее. Б.А. книжный человек, не интересуется землей и хозяйством, я же очень люблю, но уже не под силу. Сдала своим друзьям Грудинским, он женат на Оболенской. Семья Оболенских самая дружественная ко мне, я их всех не только люблю, но глубоко уважаю.

У нас весна, цветет всё кругом. Домик весь утопает в цветущих глициниях, в саду сирень цветет, розы, цветов у меня много. От них больше радости, чем от людей.

Как живете, как Танюша? Как Америка? Как ваши «Чураевы»?

Черкните.

А.Ш.

## 21. Г.Д. Гребенщиков – А.А. Швецовой

*7 июля 1937 г.*

Дорогая Аполинария Алексеевна,

Только что послал через Н.А. Врангеля 90 фр. за налог. Хотелось бы знать, снимает ли кто-либо участок наш для кемпинга или под лавочку? Если нет, то м.б. следует пустить его в продажу? Не можете ли этому посодействовать? Я пишу и Н.А. Врангелю, не зная, кто из Вас может мне в этом помочь, конечно, за определенное комиссионное вознаграждение. Нам надо выпускать очередные тома «Чураевых», и, вообще, мы решили участок продать. Напишите мне, если можно, какие на это теперь виды и возможности? Наша окончательная цена

за все 2000 метров – 2000 долларов, но наличными и чистыми, а всё, что можно получить сверх того, может пойти за комиссию и на покрытие расходов по купчей. Напишите мне, пожалуйста, что можно сделать. Не следует ли поставить на участке вывеску о продаже, не указывая цены, т.к. покупатель, вероятно, пожелает не объявлять цены.

Не пришлете ли какие фотографии с себя, с семьи, с Фавьера? Как здравствует Катюша наша, Екатерина Дмитриевна? Четырнадцать лет Вас всех не видели. Река времени унесла много лиц и событий, но Вы так живы в нашей памяти в том виде, в каком мы Вас оставили.

Привет дорогому Борису Алексеевичу и всем.

Гр. Гребенщиков

Путешествие наше было чудесное и полно всяческого интереса. Прилагаю для Вашего сведения одно интервью с русскими газетами. Дайте его почитать Гале, и пусть бы она нам хоть строчку написала.

## 22. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*4 сентября 1937 г.*

Дорогой Георгий Дмитриевич,

Своевременно много лет тому назад я писала Вам о взятых у Вас 150 кирпичач по стоимости дня в 1 фр., т.е. на сумму 150 фр., не потому, чтоб я очень нуждалась в них, а просто видела, что их расхищают, кому только было не лень, и боялась, что ничего от них не останется. В прошлое лето выручили за стоянку на вашей земле 20 фр. с палатки. Вот и все 170 фр. Мы заплатили 300 фр. за чистку кустарника – [мэрия] просила это сделать, были всюду пожары, а ваш уголок примыкал к коммунальной земле, где делали чистку. У себя тоже подчистили. Счет на налоги Б.А. Вам послал.

Относительно аренды Вашей земли, ни я, ни Грудинский ее в аренду не брали. Я сдала Грудинскому свое имение, т.к. в силу болезни сердца должна уезжать в горы, а без хозяина оставлять имение нельзя. Сдала очень дешево только потому, что знаю Грудинского за хорошего, честного человека (другие предлагали много дороже). Он выручает с «большого дома» (сдает комнаты) 4000-5000 фр. и еще имеет лавочку, с нее, думаю, чистыми 12000-15000, есть виноград, огород. Жить можно. А мне не держать сторожа, тоже расчет.

Когда я в июне вернулась с гор (где ушибла руку, плечо), я нашла несколько палаток на Вашей земле. О чем и говорила Грудинскому, что должна сообщить Г-ну Гребенщикову и как, мол, считать? На что он мне ответил, что если делать расчет, то чистка



после камперов и вода, которую он дает, выйдет, пожалуй, дороже, чем то, что можно с них получить. Не думайте, что Грудинскому выгодны камперы как доход с земли. Ему они выгодны потому, что покупают у него провизию в лавочке. А для чистки за ними он ведь берет рабочего.

Ваш уголок вовсе не так грязен, как Вам пишут, а грязен участок Врангелей и часть нашего. Ничего Вам не угрожает, т.к. всё это видят местные власти, и мэр часто заходит ко мне, ищет способы борьбы с хулиганами.

Относительно продажи Вашей земли я Грудинскому говорила, он имеет кого-то в виду. И цену Вашу сообщила – 26 фр. метр. Но удастся ли ему, не знаю. Желающих-то купить много, но цены дают дешевые. Недавно был у меня покупатель на всё имение за 20.0000, так я и разговаривать не стала – одни дома (теперь их три) так стоят, а еще гараж на две машины и хоз. постройки.

Вот всё, что могу Вам сказать. Мой совет – поручите землю Врангелям, они будут строить дачу зимой (свою, наконец, удалось продать), Н.А. – ваш сосед, я же скоро уеду и буду долго в отъезде.

Простите, что пишу скверно, рука еще болит. Целую Таню.

Ваша А. Швецова

### 23. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову

*8 августа 1938 г.*

Дорогие Татьяна Денисовна и Георгий Дмитриевич!

Жаль мне продавать в чужие французские руки Вашу землю, но соблюдая Ваши интересы, должна это сделать. Французы незнакомые, коммерсанты, черт их побери! А мы с Аполлинарией Алексеевной мечтали устроить на Вашем участке (2000 кв. м) кооператив молодежи, чтобы друзья Сережи и Вовы Швецова купили бы ее, но на это надо многое чего найти – нет ни времени для устройства, ни достаточно денег. Этот же француз – денежный и даст больше денег, чем молодежь.

Скоро пошлем Вам весть о нашей даче<sup>1</sup>.

Книга моя о Крыме идет лучше, чем мы думали. Скоро, вероятно, «Крым» выйдет на французском, а может быть, хотя весьма проблематично, и на английском языке. Нет ли у Вас талантливого переводчика?

Целую Т.Д. и шлю дружеский привет Вам.

Л. Врангель

1. В результате многолетних переговоров Врангели купили-таки треть участка Г.Г. и после продажи старой дачи «на горе» смогли выстроить себе новую – «у моря».

## 24. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову

17 ноября 1938 г.

Дорогие Татьяна Денисовна и Георгий Дмитриевич,  
Посылаю Вам вид нашей новой дачи, к сожалению, выстроенной уже после кончины нашей бесценной бабушки Людмилы Ивановны Елпатьевской<sup>1</sup>. Ей было бы так хорошо жить в ней – море под боком, народу кругом много, она любила людей.

Очень бы нам хотелось, чтобы Вы построились рядом с нами, выехали бы с Вами нашу беженскую жизнь до поры до времени. Надеюсь крепко увидеть родину и, может быть, там и сложить свои кости. А пока живем здесь. И всё же во Франции, думается мне, лучше, чем где бы то ни было в Америке. Говорят, в Канаде хорошо – просторно и красиво, как в Сибири, и никто не смотрит на тебя как на нежеланного пришельца. Но «хороши бубны за горами». Не знаю Канады и боюсь новой тоски в новых местах.

Тут не тоскливо, и, если бы не смерть мамочки, совсем было бы хорошо. Привызались к Фавьеру. Но хочется еще видеть другие страны, особенно Востока – колыбель человечества. Денег нет, если будут, тогда [поеду] на Анатолийское побережье Черного моря. Хочется порыться тоже в неведомых никому библиотеках греческих монастырей.

Коля работает по-прежнему днем в гараже, а вечером читает лекции в Высшем Техническом Институте (железные конструкции и математику). Сережа работает в «Service technique d'aéronautique». Каждый занят своим делом.

Швецовы, Оболенские, Гольде, Мечникова, Когбетлянц (проф. математики), Мосоловы, Грудинский, С. Крым зимуют в Фавьере. Днем работают, копаются в земле, вечерами читают или играют в бридж, живут уютно и тихонько. И мы тоже думаем на старости лет [там] пожить, если не будет счастья увидеть Россию.

Подготовила мой «Крым» к изданию по-французски. Нашелся издатель француз, очень крупный, издает по вопросам Востока. Только требуется, чтобы я ему доставила 200 подписчиков по 20 фр. Трудно это. Ну, увидим. Очень мне интересно знать Ваше впечатление от «Крыма». Идет книга хорошо. Если напишете рецензию, буду чрезвычайно благодарна, и она ценна будет для возможности издать ее в Англии по-английски.

Целую Татьяну Денисовну и шлю Вам вместе с Колей и Сережей горячий привет дружбы.

Л. Врангель

1. Л.И. Елпатьевская скончалась в Париже 26 мая 1937 года.

## 25. Л.С. Врангель – Г.Д. Гребенщикову

*15 декабря 1938 г.*

Дорогие Татьяна Денисовна и Георгий Димитриевич!

Получили ли Вы мою открытку, где я пишу Вам, как я рада была бы Вашему переезду в Фавьер? Зажили бы мы с Вами по-соседски отлично, ведь столько в прошлом соединяет нас. Так много... Надо бы нам с Вами завести общий электрический мотор, независимый ни от кого, и рассадить чудесные сады. К старости начинаешь обожать запах земли, цветы и многое другое, до этого момента далекое и не попадавшее в поле зрения. В Фавьере чудесная природа и, главное, близко сравнительно от России. Торопитесь переезжать, Фавьер Вас отлично прокормит. Отдохнете, наберетесь сил всяческих.

Целую Т.Д. Вам сердечный, дружеский привет.

Л. Врангель

## 26. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*12 февраля 1939 г.*

Дорогой Георгий Димитриевич,

Получила Ваше письмо в Париже, где я временно и скоро опять уеду в деревню в наш чудесный La Favière. Вполне понимаю Вашу грусть – Америка, да еще суровые зимы леденят душу. У нас печали и невзгоды смягчаются теплым солнышком, оно радует душу, успокаивает все жизненные тревоги. Как-то дальше от жизни, ближе к Богу.

Насчет коммерческих дел советовать Вам боюсь<sup>1</sup>. Вы знаете наш уголок. Жить везде можно, но как жить – это другой вопрос. Я сдала свой дом и землю с бельем и обстановкой дешево, потому что люди знакомые, хорошие и из расчета не имеют сторожа. Без человека нам не обойтись, стары мы все стали, а условия деревенские трудные. Теперь пусть уж внуки хозяйничают, одному 23, другому 21, пора им начать жить, а мне, бабушке, отдыхать.

Грудинский, который снимает наше имение, зарабатывает, главным образом, летом – лавочка на берегу. На зиму хватает плюс еще сдача комнат (летом все комнаты нарасхват, два месяца обеспечены клиентами), вино и овощи на огороде – жить можно. Летом еще сдает лодочки для катания. Лавочка, хоть слабо, но работает и зимой – мы, фермеры да другие русские. Но сколько чистого остается – не знаю. Зимой есть у него два-три частных пансионера, а в свободное от работ время умудряется ходить на мasonicкие<sup>2</sup> работы. У него живет и Лёва Оболенский с сыном, часто навещают родные. Мужичок он оборотистый, энергичный и живет с достатком.

М-ме Богданова работает лучше других [своим] пансионом и столовой на 50 обедов. На зиму у нее для житья в Париже хватает, да и в Париже имеет опять пансион, тянет до лета. Ей было очень трудно, так как она [после смерти мужа] строила в долг, первый год и провизия вся была в долг, и электричество. Но всё это она уже выплатила и теперь очистилась от долга (понемногу выплачивала каждый год). Самая у нас энергичная женщина и потому самая передовая.

Приедете, увидите сами, подходят ли Вам для жизни наши условия. Таня сможет продавать пирожки, давать обеды в разнос. Приходят брать суп, это тоже идет ходко летом, много камперов. На зимние заработки рассчитывать трудно. Сейчас идет еще стройка дач и можно работать на постройках, но это случайный заработок. На лекции, я думаю, трудно рассчитывать. На русском языке много не соберете, а французский язык у вас обоих, кажется, не силен, да и французы вряд ли заинтересуются Америкой. Но это, конечно, мое мнение.

Между прочим, я с удовольствием прочла советскую книгу «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова об Америке<sup>3</sup>.

Вчера я была у Востротиных, он не может найти издателя для своей книги о Сибири. Не посоветуете ли Вы что? Вы м.б. знакомы с Кулаевым<sup>4</sup> (в Калифорнии), как бы на него подействовать? Такой богатый материал у Востротина – вошел бы и Кулаев в историю Сибири, он богат, благотворительность его широкая. Если Вы увидите его или знакомых, убедите его сделать это хорошее дело для сибиряков. Здесь мы все без денег, тянем последнее.

Насчет автомобиля, конечно, он здесь необходим и на нем можно было бы и подработать. Но дороги тут неважные, не ваши американские. А жить хорошо у нас – благодать Божья! Когда же Вы думаете вспорхнуть из-за синего моря, когда Вас ждать? Целую Таню и буду очень рада увидеть вас обоих в наших краях.

Ваша Швецова

Тетя Катя живет хорошо, возится с цыплятами и вросла в землю, как пень, – сама уже покосилась, как старое дерево, но крепкая и душой добрая, кланяется Вам.

---

1. Пока рассматривая (теоретическую) возможность вернуться в Европу, Г.Г. просит подробно описать, как и на что живут обитатели колонии – торговля, пансионы, наемные работы...

2. от *maçon*, *maçonnerie* (*фр.*) – каменщик, каменная кладка (строительство).

3. В СССР книга вышла в 1937 году.

4. Кулаев Иван Васильевич (1857–1941) род. в Красноярске. Золотопромышленник, коммерсант и финансовый деятель. Сыграл значительную роль в торгово-промышленном развитии Сибири, Дальнего Востока и Маньчжурии. Эмигрировал в Китай, затем в США. Видный благотворитель. В Сан-Франциско основал Просветительно-благотворительный фонд (1930 – по

наст. время), оказывающий помощь нуждающимся русским эмигрантам в Русском Зарубежье.

## 27. А.А. Швецова – Г.Д. Гребенщикову

*15 февраля 1940 г.*

Милые земляки,

Спасибо Вам, за ласковое письмо и за статью о Б.А., которые получила сегодня<sup>1</sup>.

Конечно, пережитые семейные неприятности (ссора Б.А. с братьями), [связанные с ними] некрасивые процессы и европейские события до войны включительно – всё это было тяжело для его большого сердца. Последние годы Б.А. был неврастеник и жил у себя в деревне. Вместе читали, гуляли. 32 года прошли по одной дороге и в последние годы боялись даже разлучаться – не молодые, всё могло случиться.

Б.А. умер 26 октября в Борме, где мы жили временно в Hôtel у М-ме Красулиной (он женат на французской швейцарке). У нас в Favière в начале войны было неудобно, и после грустных дней отъезда наших мобилизованных внуков<sup>2</sup> мы хотели переменить обстановку.

Был солнечный день, яркий, какие бывают в Провансе, дул холодный мистраль. Я не пошла на послеобеденную прогулку, сидела в номере и вязала, а Б.А. пошел в кафе выпить кофе и купить конфетки, газеты, но не дошел и до café. На площади закружилась голова, упал, успел сказать подбежавшей даме: «Ma femme chez M-me Krassouline»<sup>3</sup>. Солдаты из кафе подняли его и привезли в Hôtel. Он был без сознания. Врачи (Бормский и из Лаванду) приняли энергичные меры. Было кровоизлияние в мозг.

Через двое суток пришел в себя и удивленно спрашивает: «разве я болен?» Не заметил, что рука и нога парализованы. Боялись, чтоб не было тромба в легких, но так и случилось. Всё лежал, дремал и утром в день смерти как-то ослабел. Я подошла, спросила его: «Как, Борюша, болит у тебя что?» «Нет...» – и опять задремал. Но я не сделала и двух шагов, как сестра милосердия окрикнула меня: «Madame, il veut dire quelque chose»<sup>4</sup>. Но это было рефлекторный взмах руки. Поник головой, мимолетное глухое «а», и всё кончено. Паралич сердца.

Послала за сирé. Прочел молитву, перекрестил. Позвать русского священника было невозможно из-за военных законов проезда из Тулона. Похоронил его наш старенький сирé на Бормском кладбище. Его все любили, было много народа (бормцы) и вся наша русская колония.

Лиля и Галя приехали в день похорон. Наш милый мэр принял участие и много мне помогает в наследственных делах. Его отноше-

ние к нам было всегда отеческое. Б.А. любил Борм и много гулял по живописной лесной дороге с дивным видом на приморские Альпы. И на кладбище ходил на могилу к О.В. Оболенской. Другие русские, как Саша Черный, Белокопытов, Гольде, худ. Середин – все похоронены на кладбище недалеко от Lavandou. А на Бормском – Оболенская, Волнухин (сын скульптора<sup>5</sup>) и Б.А. Там же рядом с ним купила и я себе местечко.

На 8-й день отслужили по-католически мессу, захали с Лилей на кладбище, и я уехала к ней в Ниццу на автомобиле. После смерти Б.А. образовался в душе какой-то провал. Было странно, почему же я не с ним, как он один? Ужасные часы пережила. М-ме Krassouline милая, сердечная, много помогла мне в тяжелые минуты.

Галочка живет в Тулоне, дает уроки во французских семьях, репетирует детей, занимается по-английски. Живет небогато, даже бедно, но энергию проявила долгожданную и теперь, я думаю, будет улучшение. Конечно, я ей помогаю. Лиля работает в военном госпитале, сейчас в отпуску, т.к. нездорова. Тоже жизнь трудовая, а здоровьем хрупкая. Внук старший в Париже кончает высшую школу, его отпустили (réformé) из-за слабых легких до марта. Второй в Альпийском полку солдатиком. Моя старушка верная т. Катя со мной. Пишу Вам, а она сидит рядом на кресле, вяжет носки. Спит рядом в комнате. Вечерами вспоминает старину, и я иногда засыпаю под ее рассказы о сибирской старой жизни. Ей 74 года, глаза всё еще живые, ласковые, а вся уже сморщенная.

В большом доме живут Оболенские и их зять Грудинский, у них дети, которые уже родились в нашем русском уголке. Сейчас зимой мы немногочисленны. М-ме Мечникова (80 лет), ее belle-sœur Белокопытова (68), жена Саши Черного (69), вдова Богданова (60) вдова Жукова (из морских), вдова Гольде, вдова Федорчук (сестра Б.А.) и старички Берберовы (дядя писательницы)<sup>6</sup>. Я называю наш уголок «вдовий».

Здесь же и молодые Метальниковы, [Алексей] Франк с женой (молодые из балета) и их родители – Франк, религиозный философ и друг о. Сергея Булгакова. Живут французы, семья англичан, один бактериолог из Пастеровского института.

Летом, конечно, нас много, тогда и жизнь веселее, иногда и доклады на разные темы. В прошлом году часто гулял у нас в лесу бельгийский король. Был слух, что хотел купить имение Алемани. Война всех разогнала. Участки земли Якова Рубинштейна, проф. Титова, Воейкова<sup>7</sup>, Винавер, Гольдрин, Козловского еще не застроены. Волкова свою землю продала Николаю Павловичу Милюкову – сыну П.Н. Милюкова. Проф. Безсонов тоже продает, так как живет и работает в лаборатории в Страсбурге. Наши постоянные гости весной Гречаниновы сейчас в Америке. Проф. Метальников живет

отдельно от сына и, вероятно, скоро приедет на Пасху. Летом много студентов, молодежи, устраиваем и концерты в русском ресторане Люси Крым (жена Соломона С.). Врангели выстроили дачу на вашем месте. Теперь за Вами дело. Пора, пора в теплые края.

Сам Favière изменился (для меня) к худшему. Уже ничего не напоминает прошлого уединения – никак не назовешь его «скит», когда летом от зари до зари, можно сказать, играет джаз в кафе Blanc, а на берегу давка шикарных автомобилей, в воздухе пыль и бензин. Теперь это – летнее веселое место. Весной, как сейчас, хорошо. Соседи Онора, две барышни, имеют вид паризыенок<sup>8</sup> с перманентной завивкой и в коротких шортах. Ничего похожего на старый уклад жизни. У всех фермеров свои автомобили, все тянутся походить на городских. Старик Труэн умер, сын его, художник, работает еще как фермер, а как будет там – неизвестно. Дочь его на зимнем спорте в горах. Жаль. Не вижу в этом прогресса. Всё внешнее, модное. Если материальная обстановка позволит и переживу эти тяжелые годы (в чем сомневаюсь), устроюсь уже иначе, а Favière'ский дом буду сдавать под летние дачи. Жизнь страшно дорожает.

Жестокий грипп, кругом многие уходят по ту сторону. Умер Кедров<sup>9</sup>, создатель знаменитого квартета. Умер Коровин<sup>10</sup>, которого знала в молодые годы. Умер художник Григорьев<sup>11</sup>. А сколько умирает простых смертных, наших эмигрантов! Молодежь вся на войне, кто вернется – неизвестно. И в мире политики хаос, и в природе хаос. Вчера любовалась небом, почти все планеты видны – редкое явление. Необычные солнечные пятна, ужасные землетрясения, война почти мировая – голова лопается от неразрешенных вопросов.

Из писателей раз посетил Favière де-Бунин, но ему не понравилась – нищенские виллы не в его духе, устроился в Монте-Карло. А наш милый покойник Алек. Ив. Куприн так хорошо и весело жил в «рабочем кабинете» на берегу моря. Какая разница вкусов!

Людмила Сергеевна опять пишет какую-то книгу, в Париже всё под рукой. Она по-прежнему весело щебечет, всегда юная душой.

Милюковых давно не видела, изредка получаю письма от Павла Николаевича. Работы у него много, а здоровье стало слабое. Когда бываю в Париже, всегда бываю у них. Хороший, интересный он человек. Сын его симпатичный, добрый, но, конечно, блекнет перед отцом. Он всегда лето проводит в La Favière. Профессия его шоферская. Женат на вдове проф. Соколова. У нее самой уже сыновья инженеры, оба красавца, в мать.

Каждое лето посещает Favière Таня Балашова<sup>12</sup> (из крестьянской среды Челябинска, отец привез ее девочкой) – знаменитая артистка драматическая во французских театрах Парижа, очень милая, культурная, молодая.

Булгакова (урож. Токмакова из Крыма) с сыном ежегодно прово-

дит лето в Favière. Последнее время стали ездить русские из Англии. Но живем все нервно, неуверенно, никуда поехать нельзя, нужно специальное разрешение, так что сидим на месте. Слушаем радио (уже почти у всех фермеров есть и в русской колонии). Обмениваемся книгами, журналами, есть и «бриджеры», но я не играю, не тянет.

Я постараюсь поехать в Париж, но мало шансов, т.к. старух не пускают<sup>13</sup>, а мне 66 лет. В бытность в Париже часто навещала старичков Востротинных, брала у них книги, читала биографию знаменитого Сан-Францисского сибиряка Кулаева, книги Серебрянникова<sup>14</sup>, которого знала еще юношей. Степан Вас. Востротин был здоров и по-прежнему всем интересен. Я встретила у Востротина добрую живую старушку Королеву<sup>15</sup> из Томска (театр Королева) – 80 лет.

От своих ничего не получаю. Знаю, что И.И. Попов жив<sup>16</sup>. Жив и мой брат художник, даже устраивает свои картины на выставку<sup>17</sup>. О других ничего не знаю.

Жаль, что Вы с Таней далеко от нас. Целую Танечку. Еще раз спасибо. Тетя Катя вас целует и благословляет.

Ваша А.Шв.

Пишу вам из La Favière, где уже золотится мимоза, цветет миндаль, голубеет небо, а в лесу так пахнет весенней сыростью. Лягушки еще не кричат, и соловей не поет, а солнце греет уже по-весеннему.

---

1. Б.А. Швецов скончался 26 октября 1939 г. в Борне (Вар, Франция). В январе 1940 года Г.Г. написал статью памяти Б.А. Швецова.

2. 3 сентября 1939 г. Франция объявила войну Германии и была объявлена мобилизация.

3. «Моя жена у Мме Красулиной» (*фр.*)

4. «Мадам, он хочет что-то сказать» (*фр.*)

5. Волнухин Сергей Михайлович (1859–1921) – скульптор, академик, автор памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве.

6. Берберов Рубен Иванович (1872/73–1942) – общественный, банковский и промышленный деятель, председатель Союза российских нефтепромышленников, в 1920 г. делегат армянского правительства на международную финансовую конференцию (Брюссель), впоследствии жил в Париже; член правления Англо-кавказского нефтяного общества (Лондон, 1928), председатель Армянского литературного клуба (1932–1933, Париж); дядя Н.Н. Берберовой (брат отца).

7. Воейков Сергей Сергеевич (1892–1969, Париж) – окончил Императорский Александровский лицей, служил в Государственной канцелярии. В Первую мировую войну командовал отрядом Красного Креста. В эмиграции с 1923 года. Работал бухгалтером, сотрудник Главного управления Русского Красного Креста; с 1958 г. председатель Союза русских дворян, член правления Общества помощи русским беженцам (1959).

8. от parisienne – парижанка (*фр.*), здесь используется с иронией.

9. Кедров Николай Николаевич (1871–1940, Париж) – оперный и камерный певец (баритон), композитор, музыкальный педагог.



10. Коровин Константин Алексеевич (1861–1939, Париж) – живописец, театральный художник, педагог и писатель.
11. Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939, Франция) – художник, представитель «левых» течений в авангарде, член «Мира искусства». С 1927 г. жил в Кань-сюр-Мер близ Ниццы, где и похоронен.
12. Балашова Татьяна Павловна (Tanja Balachowa, 1902–1973) – актриса, режиссер, театральный педагог, воспитательница целой плеяды французских актеров.
13. 5 июня 1940 г. немецкие войска вошли во Францию, 22 июня Франция капитулировала, и страна была разделена пополам демаркационной линией, для пересечения которой нужен специальный пропуск.
14. Серебрянников Иван Иннокентьевич (1882–1953) – сибирский областник, деятель Сибирского отдела Русского географического общества, этнограф, писатель, журналист.
15. Королёв Евграф Иванович (1823–1900) – томский купец первой гильдии, общ. деятель и меценат. В 1885 г. на свои средства построил первый каменный театр в Томске, известный как Королёвский театр (сгорел во время революции 1905 г.).
16. Попов Иван Иванович (1862–1942) – народоволец, в 1885 г. был сослан в Кяхту, с 1894 г. в Иркутске издавал газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник». Один из первых декабристоведов. Автор многих книг по истории России и Китая, а также автобиографической книги «Минувшее и пережитое». Жена – Вера Алексеевна Лушникова (1866–1927) – родная сестра А.А. Швецевой.
17. Лушников Александр Алексеевич (1872–1947) – художник, учился в Париже, работал во Всероссийском кооперативе художников в Москве. Старший брат А.А. Швецевой.

\* \* \*

Последнее письмо А.А. датировано февралем 1940 года. До осени 1942 года Фавьер оставался в так называемой «свободной зоне» коллаборационистского режима Виши. В ноябре 1942 г. итальянцы оккупировали Прованс, через год уже вся Франция была под немцами вплоть до августа 1944, когда Лазурный берег освободили англичане и американцы. Но Фавьер к тому времени уже погиб, разбомбленный и взорванный, опустошенный, вырубленный...

А.А. за это время пережила многое. Оказавшись в конце войны в Нормандии, она попала под бомбежку при высадке союзников, медицинская помощь ей была оказана поздно и безграмотно, в результате чего отказали обе ноги. В Фавьер А.А. вернулась инвалидом и не сразу, а вернувшись, оказалась одна на пепелище. Несколько лет снимала комнату в соседних городках и только после восстановления своего разрушенного дома перебралась в Фавьер.

Тогда и возобновилась переписка А.А. с Г.Г., не прерываясь уже до конца их земной жизни...

*Париж*

## Борис Чичибабин

### «Связать начала и концы»

*Из писем к Полине Брейтер 1977–1986 годов*

#### СЧАСТЛИВЫЙ, СВОБОДНЫЙ

Борис Алексеевич Чичибабин родился в 1923 году в Кременчуге и до начала войны не выезжал за пределы Украины. С самого раннего детства украинский язык был для него родным: бабушка пела ему колыбельные песни на украинском, рассказывала добрые, веселые, забавные украинские сказки... Но не менее родным был и русский, на котором говорила с ним мама, на котором она пела ему колыбельные и рассказывала русские народные сказки.

Когда началась война, Борису было 18 лет. В военные годы он служил в Закавказье. После демобилизации вернулся в Харьков, в июне 1946-го был арестован, осужден на пять лет за антисоветскую агитацию и отправлен в Вятлаг в Кировскую область. Освобожден только в 1951-м, в 28 лет. Вот и вся «география» молодости поэта.

Была ли она счастливой, эта молодость, на которую пришлось и война, и тюрьма, и лагерь? Он считал, что да, была, – как и вся его жизнь. «Мы с Вами – оба, и Вы, и я, и это, может быть, самая главная наша **одинаковость**, – родились **счастливыми**, – писал мне Борис Алексеевич. – Это не значит, что в нашей жизни не было горя, бед, утрат, унижений, страданий или что их было в нашей жизни недостаточно, – кто это может измерить?» (1984).

«Родился счастливым...» Бывший солагерник молодого Чичибабина рассказывал: когда Борис считался уже «доходягой» (он страдал тяжелой формой туберкулеза и едва мог передвигаться), однажды двое заключенных взяли его под руки и вытащили из барака на свежий воздух. Он долго смотрел, потрясенный, на северное сияние, которое увидел тогда впервые в жизни, а потом сказал: «Какой же я счастливый! Ведь мог умереть и не увидеть этого».

«Я по природе своей, по замыслу Божьему, Отцовому, по воле Его и дару Его – вот такой, какой я есть – счастливый, свободный, легкий, созерцатель, мечтатель», – писал он в другом своем письме (1985).

«Вы помните мое лицо, мои глаза, мой смех. Вы знаете, что я счастливый человек, по крайней мере, человек, хотящий, умеющий, любящий быть счастливым, любящий праздники, не стыдящийся

радости и счастья. Но ведь многие мои стихи, которые Вы любите, грустные или даже трагические. Вы же не берете под сомнение мою искренность в таких стихах. Вы понимаете, что мне присуще трагическое восприятие мира и прекрасно 'совмещаете' его с моей радостью, с моим счастьем... И оно не такое уж темное, в нем нет отчаяния, нет безнадежности, оно грустное. Но если Вы хорошо прислушаетесь, Вы услышите, что в нем есть и надежда, и вера, и уверенность в своей правоте, и задор» (1986).

Таким он был на войне и в лагере, таким он был в самые трудные послелагерные сталинские годы, когда, лишенный возможности продолжать учебу в университете, работал где придется, а потом учился на бухгалтерских курсах. Таким он был, когда уже в начале шестидесятых больше месяца прожил в Москве «у Юлика Даниэля и Лары Богораз где-то в районе Университета и вместе с ними ездил в подмосковную деревню к Андрею Синявскому, который жил в деревянной избе с женой, недавно умершим где-то там, в 'заграницах', Колей Кишиловым, реставратором икон в Московском Кремле, и его подругой – француженкой из Сорбонны; всё это в русской, праздничной, снежной зиме с лесным морозцем, с ночными разговорами в избушечном печном тепле за водкой со спорами и стихами» (1979). Таким он был, когда начал публиковать свои первые книжки (именно в Москве Борис Алексеевич познакомился с Маршаком, Эренбургом, Шкловским, и Маршак дал ему рекомендацию в Союз писателей). Таким он был, когда вел в Харькове литературную студию при ДК работников связи, просуществовавшую меньше двух лет, прежде чем была запрещена КГБ, но о которой по сей день вспоминают как о самом ярком эпизоде в культурной жизни Харькова того времени. Таким он был, когда встретился с Лилей<sup>1</sup>, с которой позднее объединил свою жизнь.

Именно с Лилей Борис Алексеевич начал путешествовать по стране. Каждый год они обязательно отправлялись в какую-нибудь поездку. Планировали заранее, задолго до отпуска, и уже само планирование превращалось в предчувствие праздника. Ездили по разным городам России, Украины, Прибалтики, Молдавии, Закавказья, а в годы перестройки Борис Алексеевич успел побывать и в Италии, в Германии, в Израиле. Но чаще всего – почти каждый год – Чичибабин ездил в Москву. Он так и не смог полюбить Москву, никогда не хотел переехать туда из милой его сердцу Украины, но радостью было встречаться там с людьми, дружбой с которыми он дорожил, и которые дорожили дружбой с ним, – Галичем, Шаровым, Гердтом, поэтами-шестидесятниками, Копелевым и многими другими.

Чичибабин никогда не отделял себя от России, хотя никогда и не идеализировал ее. Болью звучат его слова: «Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю, / Молиться молюсь, а верить – не верю». У поэта есть много строк, раскрывающих всю неоднозначную палитру его отношения к

России. Он писал о ней: «От плахи до плахи, по бунтам, по гульбам / Задор пропивала, порядок кляла, / И кто из достойных тобой не погублен, / О гулкие кручи ломая крыла». И в то же время: «И днем шепчу: Россия, будь – / И ночью: будь, Россия». Он писал о россиянах: «Гибли на плахе, катились на дно, звали в тоске зарю, / но не умели служить заодно Богу и Кесарю...» И в то же время: «Не верю в то, что руссы любили и дерзали. / Одни врали и трусы живут в моей державе...»

В этой небольшой подборке приводится, в основном, описание поездок Бориса Алексеевича в Москву, Петербург, Прибалтику, Суздаль, Псков, Новгород. Многочисленные поездки поэта в любимый им Крым или в не менее любимую Армению остались за рамками данной публикации. И, конечно, поэт рассказывает не только и не столько о красотах увиденных им мест, сколько о прекрасных людях, с которыми он там встречался.

*Полина Брейтер, Нью-Йорк*

\* \* \*

...Вот и отпуск прошел. Целый месяц событий, встреч, книг, настроений, мыслей, чувств, тоски, отчаяния, тревоги, света и тьмы, веры и пустоты; и сколько нужно рассказывать о Москве, где мы жили с Лилей у прекрасных и милых людей и встречались с удивительными, чудесными, разными людьми (например, с Копелевыми, с которым раньше не были знакомы), и о Пскове с его обилием церковей и неба (может быть, потому, что он стоит на холмах и в нем почти нет высоких зданий, в нем много неба, и оно близко к земле, его больше, и оно ближе, чем в Москве, Харькове или Одессе), с его малолюдностью и тишиной, с его старинным и духовным уютом, с его прекрасно сохранившимся Кремлем и серебряным храмом Троицы и милыми монастырями над рекой Великой, и о сказочно красивом монастыре в Печорах, и о Святых Горах с могилой Пушкина и простирающимися кругом, до его Михайловского, до его Тригорского, рощами и лугами, и о тоже его Крыме, куда мы с Лилей сбежали из холодной и суетной Москвы за теплом, за солнышком, за Вечностью и где всё это было у нас несколько дней у ласкового и вечного моря.

Начну понемногу рассказывать Вам о нашей поездке.

Она была такой: десять дней – с 28 августа по 6 сентября – мы были в Москве, четыре дня – с 7 по 10 сентября – в Пскове и у Пушкина, оттуда хотели (так был выписан Лилин бесплатный билет, Харьков – Таллин) на «ракете» по рекам и Чудскому озеру перебраться в Тарту и поехать по Эстонии, но нас подвела погода: когда мы приехали в Москву, там было совсем по-летнему жарко, мы оставили там свои пальто и уехали в Псков налегке, и вдруг похолодало, да еще как. Поэтому мы просто бежали из Пскова и 12-го уже были опять в

Москве, посидели там, дожидаясь тепла и рассчитывая еще съездить во Владимир, несколько дней, и Лиле вдруг захотелось настоящего южного тепла, за которым мы и поехали в Крым, в Алупку, где и пожили еще неделю – с 17-го по 24-е...

Москва. Вот город, о котором я ничего не могу сказать; город, в котором я бывал чаще, чем в других городах, в котором у меня живут очень дорогие и любимые люди, но о котором я совсем ничего не знаю.

Я могу сказать, что я не люблю его, но в этих словах нет никакой нравственной оценки, а просто констатация: не люблю, потому что не успел, не сумел, не захотел полюбить. Я, правда, могу еще сказать о Москве, что она – огромная, и вот тут как раз это будет не прилагательное, а нравственное определение, эстетическая категория: огромное – не большое, не великое, – огромное не может быть прекрасным.

Из-за метро я совсем не представляю расположения московских районов и улиц, я не могу почувствовать этот город, как чувствую Львов, Вильнюс, Одессу, Киев. В Москве я никогда не понимаю, где я нахожусь, как далеко это место от Кремля или от квартиры, где я остановился.

И она – такая разная. Если я начну кому-нибудь в запальчивости пытаться объяснять, за что я не люблю этот город (я иногда делаю это, потому что человеку присуще быть несправедливым) – ну за бездуховность, за отсутствие лица (а значит, и души), за оскверненную старину и т.д., – человек, влюбленный в Москву, просто возьмет меня за руку и ткнет носом в какую-нибудь улочку, церквушку, жилой дом, чтобы уличить в невежестве, слепоте, предвзятости.

Один из таких людей, влюбленных в Москву, – наш Юрочка<sup>2</sup>. Он поводил нас немного по разным улицам и закоулкам: по булгаковской (из «Мастера») Москве с Патриаршими прудами, с несколькими зданиями Шехтеля, его любимого архитектора нового времени, по Музею Рублева (который, в сравнении с собранием Третьяковки, на меня не произвел никакого впечатления), по Зарядью с целым комплексом красивых, славных, милых московских церквей, но совершенно бездуховных, – и всё равно Москва осталась для меня чужой и нелюбимой.

В Москве мы жили у Шаровых<sup>3</sup>, вернее, нам была предоставлена в полное распоряжение квартира сына Шарова<sup>4</sup>, который совсем недавно женился и получил эту квартиру – бывшую квартиру Войновича – в том же подъезде того же писательского дома, где живут Шаровы, выше их на два этажа. Сына этого зовут Володя, он от первого брака, то есть он сын Шеры Израилевича, но не Анны Михайловны, Анички, он – историк, его юную жену зовут Оля; когда мы приехали, они были в Молдавии, и квартира была пустая. Хотя жили мы совсем отдельно, но виделись с Шерой и Аничкой каждый день, вместе завтракали и ужинали, много разговаривали, точнее, слу-

шали Шеру, который говорит не очень умело, не очень гладко и складно, но всегда о значительном, всегда интересно и необычно.

Как всегда, когда мы встречаемся, он читал нам свою прозу, к сожалению, в ближайшие годы не подлежащую опубликованию, невероятно талантливую, настоящую большую прозу, вполне реалистическую, но не занудно-реалистическую, а в духе фантастического реализма Гоголя или Булгакова<sup>5</sup>.

Это роман, в нем рассказывается жизнь человека его поколения, то есть человека, детство которого совпало с революцией, человека обыкновенного, ни хорошего ни плохого, прошедшего через 37-й год, войну, послевоенное время; как все, делавшего подлости, предававшего друзей, но и какие-то добрые и благородные поступки совершавшего, любившего, воевавшего и т.д. Роман начинается со смерти этого человека, его хоронят, и тут начинается «страшный суд»: он, мертвый, в гробу, как живой, вспоминает всю свою жизнь, и об этой прожитой жизни идет спор – его и тех, кто имеет право судить, представителей «вечной жизни», которые одновременно и самые обыкновенные чиновники кладбищенской администрации. Весь роман – это и есть воспоминания и спор, это талантливо и жутко, и это – достоверная картина времени, как и полагается хорошей прозе.

Сам Шера Израилевич, по моему глубочайшему убеждению, не просто хороший, а очень хороший человек, я никого в жизни и никого на свете так не люблю.<...> Я не знаю никого, кто был бы так похож на Дон Кихота: он очень длинный, некрасивый, смешной, но – я не знаю, увидите ли Вы это из моих слов, – благородно, обаятельно, утонченно, прекрасно некрасивый и смешной. У него есть совершенно необыкновенная привычка, когда он сидит на стуле и что-то рассказывает или читает, как-то немисливо оплестать одной своей ногой другую, что может получиться только у очень длинного человека. Он очень добрый, скромный; может быть, как раз из-за своей долговязости стыдящийся или боящийся собственной «заметности», всем своим существом не хотящий ее, религиозно и застенчиво верящий, что «пока есть женщины и дети», всё еще не так плохо, и мир еще может спастись (это одна из его любимых идей – насчет детей и женщин).

Всё зло, грязь и ложь века и мира, в которых ему выпало жить, он воспринимает мучительно, болезненно и лично, как свою вину и ответственность, – собственно, об этом и вся его проза, главным образом «непечатная».

Шера Израилевич – один из самых последних сказочников на земле, он пишет прекрасные сказки, Вы сможете, если захотите, достать их в любой детской библиотеке. Из того, что у него печаталось и выходило, самое лучшее – это, безусловно, обе те книги, которые есть у Вас, – «Волшебники приходят к людям» и «Страна детства». По-моему, это очень хорошие книги.

Жена его, Анна Михайловна Ливанова, когда-то была физиком, а сейчас пишет книги о физиках и математиках, широко известна и несколько раз переиздавалась ее книга о творцах новой геометрии – Лобачевском и других. Сейчас в «Знании» должна выйти ее новая книга о Ландау, она кончила работать над ней как раз перед нашим приездом (а работала несколько лет) и наслаждалась отдыхом. Отношения в семье Шаровых мне почему-то не хочется назвать благополучными и гармоничными, но они больше чем благополучны и гармоничны: они прекрасны, в этой семье все любят друг друга и уважают друг друга.

Я так подробно (хотя, наверное, всё равно неумело и плохо) рассказал Вам об этой семье, потому что очень люблю ее...

У Померанцев на их даче в Кратово мы были два раза, и в первый раз с Шерой. Они встречаются редко, и перед тем, как мы привезли к ним Шеру, не виделись больше года. Очень интересны – для меня и, мне кажется, были бы для Вас – отношения этих дорогих мне (наверное, одинаково дорогих) и любимых мною людей. Померанцы о Шарове всегда говорят с любовью и сожалением, что редко видят-ся, но и всегда так, что остается ясным, что существует какое-то невысказанное «но» (Вы знаете, как это бывает: «Они, конечно, прекрасные люди, но мы же с Вами знаем...»), а что «знаем» – остается неназванным). Шера говорит о Померанцах с искренним уважением (всегда как к чему-то безусловно, заведомо высшему и достойнейшему), иногда с восторгом, но в этом уважении и даже восторге присутствует, во-первых, некоторая отчужденность (хороши, мол, но я далек от этого), а во-вторых, какая-то очень добрая (Вы хорошенько услышите это, это очень важно, что добрая, благожелательная, у Шарова не может иначе быть) чуть-чуть насмешка. Возможно, что он так же, как и Вы, угадал «привилегированность» их монастырского «избранничества» и не смог принять или даже посочувствовать, но мне кажется, при его скромности и боязни «заметности», при его душевном целомудрии, ему еще не совсем по себе от их разговоров о Боге, когда Зина иногда говорит о Боге, как Вы – о Саше или о Вове.

На этот раз главный разговор был о Гоголе в связи с недавно вышедшей на Западе книжкой о нем Синявского. Померанцы любят Синявского вообще, любят все его книги – и «Голос из хора», и «Прогулки с Пушкиным», и эту вот о Гоголе; Шаров же, влюбленный в Пушкина и Гоголя, того, что написал о них Синявский, активно не принимает.

Я не читал книжки о Гоголе и в разговоре почти не участвовал, но был на стороне Шеры, потому что прочел две другие книжки, и мне было противно их читать: это какое-то «сексуальное» (к чему у Синявского, очевидно, пристрастие) литературоведение; о Пушкине он, например, говорит, что тот «вбежал в русскую литературу на тонких эротических ножках».

Был момент, когда Шаров чуть не уехал домой, так обиделся за Гоголя, но мы его удержали, и всё прошло благополучно и окончилось мирным чтением стихов у их «камина-костра» (там в саду есть огромный ствол сосны, под которым разводится костер, и от костра загорается и красно светится и сама сосна).

В одном месте разговор коснулся темы «святости» и «можно ли хотеть быть святым». Оказывается, православная церковь не прочь объявить Гоголя святым, канонизировать, причислить к лику: если бы у славянофилов это выгорело, это был бы единственный случай святого – писателя, не духовного писателя, проповедника, псалмопевца (такие святые были), а светского писателя, художника слова; случай, единственный в истории всех мировых церквей, и нужно сказать, что основания к тому есть – подвижническая жизнь и мученический, причем добровольно-мученический конец Гоголя.

Зина сказала, что вся беда Гоголя в том, что он захотел быть святым, в то время как святым не был, и что вообще нельзя «хотеть быть святым». <...> Я, ухватившись за это «нельзя хотеть», стал возражать в том духе, что если действительно нельзя хотеть быть святым любому и всякому, первому встречному или встречной, Ивану или Джону, Марье Ивановне или Анне Безант, как нельзя хотеть любому и всякому быть настоящим поэтом или художником, или ученым, то, приняв как исходное, что «святость» так же таинственна, независима от личного желания или воли и дана человеку от рождения, как талант поэта или физика, можно хотеть быть святым носителем этой тайны или дара, почувствовавшему его в себе.

То есть, если обычный человек, ну вот я, скажем, вдруг с чего-то заблажит, что он хочет быть Кришнамурти, это будет так же смешно, дико и глупо, как если бы он, то есть я, ни с того ни с сего вознамерился бы стать Пушкиным или Эйнштейном. Но если человек уже родился Пушкиным, Эйнштейном или Франциском, Жанной, Кришнамурти, то этот еще не проявившийся в нем, в младенце, в дитяти, Пушкин, Эйнштейн или Кришнамурти, еще не проявившийся, но уже как-то им ощущаемый, чувствуемый, не только может, но и должен хотеть стать **собой** – Пушкиным, Эйнштейном или Кришнамурти. На этом мы, кажется, и согласились. <...>

Еще до кратовских встреч мы познакомились с одним Петей<sup>6</sup>, который сочиняет песни, он похож на артиста Куравлева, и не только внешне. У него жена татарка, и вдвоем они очень хорошо исполняют песню на слова «Баллады о прокуренном вагоне» Кочеткова. Песни на мои слова гораздо хуже.

Оба они были также на вечере работников детских садов у нашей с Вами общей знакомой<sup>7</sup>. Вы правильно сказали, что между детскими садами Москвы и Одессы (как и любого другого города) разницы нет никакой<sup>8</sup>.



Мы познакомились, правда, и это было гораздо интереснее и лучше, еще с одним человеком<sup>9</sup>. Меня привели к нему знакомиться, а он, оказывается, не только хорошо меня знает – заочно, разумеется, но и... виновник той «новости», которую Вы мне первая немного позже подарили<sup>10</sup>.

По размерам он огромен, но совсем не Дон Кихот (хотя это не исключает, что в нем, как почти в каждом хорошем человеке – а он хороший, – есть что-то от Дон Кихота), богатырь, умница, эпикуреец, искренно и грустно жалеющий о тех встречах с красивыми женщинами, которые не венчались достаточной близостью. Жена его, литературовед, сразу же взялась отстукивать на машинке стихи о Мыколе Руденко. Жаль, что эта встреча была единственной и длилась недолго, но он пока что не собирается уезжать из Москвы дальше, чем на дачу к друзьям-писателям, и мы еще, Бог даст, увидимся не однажды. <...>

Еще мы были в Музее Востока на выставке русских художников начала века, где я впервые в жизни видел две небольшие картины Филонова, да и другое там было интересно.

Я попробую немного рассказать Вам о нашей поездке в Москву и Ленинград. В Москву мы приехали в субботу утром, а вечером вместе с Шерой Шаровым выехали в Ленинград, потому что в воскресенье в Ленинградском ТЮЗе шла его пьеса «Девочка, которая ждет». Идет этот спектакль редко, не чаще двух дней в месяц, и поэтому я настоял ехать, с большим трудом уговорив Шеру. Я сделал это еще и потому, что в этот мой приезд физически почувствовал, какой страшный и чужой город Москва. Вот город, в котором я никогда не захотел бы жить.

В Ленинграде на перроне, хотя не было и пяти часов утра, нас ждали люди, сразу ставшие нам близкими и дорогими, – мужчина, мой тезка, и женщина по имени Мира. В такую холодину, в такую холодную рань она была в легком, чуть не летнем не то плаще, не то пальто и с открытой прекрасной седой головой. У нее и не было ни теплого пальто, ни чего-нибудь на голову; всё, что у нее есть, она отдаст другим людям.

Она одинока; кажется, была замужем, но сейчас ни мужа, ни детей; лет ей, наверное, около сорока, может быть, немножко больше. Когда-то она была одним из четырех или пяти энтузиастов-учителей,строивших педагогический эксперимент – интернат для трудновоспитуемых детей на «необитаемом» острове в Финском заливе. Энтузиастов этих всё время травили, несмотря на заступничество Шарова, написавшего о них в «Литературной газете» (с тех пор они дружат), и интернат в конце концов ликвидировали.

Сейчас она преподает историю в школе, во дворе которой и живет в почти нежилом здании. Мы полюбили ее сразу.

Борис<sup>11</sup> – совсем другой человек. Он – мой ровесник, тоже весь

седой, в свое время отсидевший за «детсадовскую» деятельность в Саратове, после этого жил в Петрозаводске, а сейчас в Ленинграде. Его любят женщины, и, что удивительно, совсем молодые женщины. Работает он лифтером, а больше всего любит русскую поэзию. У него на квартире два вечера для разных людей я читал стихи.

В этот приезд мы полюбили Ленинград – может быть, из-за контраста со страшной, суетной, бездушной Москвой – и нам даже подумалось, что в этом городе мы могли бы жить.

Как меняется чувство города. В свое время – для Достоевского, для Блока – Ленинград, тогда Петербург, в сравнении с живой, древней, домашней Москвой, был мертвым, искусственным, казенным городом, державной столицей Империи. Теперь же какой он живой, сколько души в его домах, церквах, улицах. Какой красивый город – почти как Одесса. Не хотелось уезжать, не хотелось возвращаться в Москву.

У нас появилось много друзей. По Эрмитажу нас водила женщина, которую зовут Эра, «настоящая женщина», умеющая и любящая быть женщиной. Но главное чудо были Друскины. Есть такой поэт, Лев Друскин, из маршаковских «вундеркиндов» (воспитанников). Он от рождения не может ходить, передвигается он в колясочке и всю жизнь лежит на левом боку. Его жену зовут Лиля, у нее тоже какая-то неизлечимая болезнь, а незадолго до нашего приезда она упала и сломала ногу. Мы очень боялись идти в гости к этим безнадежно больным людям, не знали, как себя вести. И вот в комнатке, оставленной книгами (какими книгами!), на двух кроватях, друг против друга, лежат два человека – мужчина и женщина, веселые, насмешливые, жизнерадостные, ни капельки не «взрослые» – и счастливые. У него огромная голова, кроме головы больше ничего и не видно, эта большая, смеющаяся, приветливая голова и есть Лев Друскин. Мы пришли с улицы, незнакомые (правда, мое имя и кое-какие стихи он знал), и сразу попали к людям, которых как будто сто лет знаем. «Приезжайте летом, мы на даче, а квартира будет вам.» Одарили нас книгами, позвонили насчет билетов в БДТ (мы смотрели «Цену» Миллера – ерунда). По комнате свободно ходят две сиамские кошки, необыкновенно красивые, и большой лохматый пудель.

Шерина пьеса прошла хорошо. Артистов вызывали шесть раз, а потом один из них, увидев в зале торопящегося скорее выйти Шарова, прыгнул со сцены, догнал его и привел на сцену – и Шера тоже стоял там и хлопал артистам, длинный, смешной и хороший.

Пробыли мы в Ленинграде четыре дня и в среду вечером, сразу же после стихов, уехали на «Стреле» в Москву. В четверг были у Померанцев и ночевали у них. Зина читала стихи. <...>

Еще мы пять минут рассматривали близко Беллу Ахмадулину. Она прибежала к Шаровым именно на эти пять минут познакомиться, спешила по каким-то суетным, но добрым делам.

Еще мы смотрели у Эфроса спектакль по Гоголю «Дорога» – на школьном уровне представлений о Гоголе и «Мертвых душах» – с Козаковым, которого нам стыдно было видеть и слышать в роли... Гоголя. Еще мы смотрели рязановский «Гараж» и немного поспорили о Рязанове.

Еще мы ходили по Кремлю и по многим московским улочкам: ночью в снегу они красивые, и мы даже любили их.

Еще мы были у одного очень умного, образованного, ученого человека, который переживает состояние страшной депрессии из-за того, что ему кажется, что мир стоит перед катастрофой, накануне своей гибели, «конца света». И мы не принимали и не понимали его депрессии, его ежедневного слушания радио, которое усиливает его болезнь, но без которого он не может жить, как без наркотика. И мы обрадовались, когда Гриша по этому поводу привел ответ одного индийского святого. Он играл в мяч – и вот в это время его спросили, что бы он сделал, если бы совершенно точно узнал, что через час погибнет мир. Святой задумался и ответил, что он продолжал бы играть в мяч. Это был настоящий святой – и **наш** святой...

По-настоящему о нашей поездке в Москву и Ленинград я Вам не рассказал. Я еще «при случае» буду перерассказывать. Я ведь, как всегда, пишу урывками. Отсутствие времени – не количественный фактор, а качественный. Я не могу писать, как хотелось бы, что-то рассказывая, развивая одну какую-то мысль, пишу «толчками», обрывками мыслей и чувств. <...> У нас был один вечер в Москве. Лиле захотелось в театр, я и Юрочка уговаривали ее, что ничего не получится, билетов не было, но Шере хвалили этот спектакль – «Дорогу» по Гоголю у Эфроса на Малой Бронной, и ей очень хотелось. К нашему удивлению, ей повезло, у какой-то девочки в последнюю минуту оказался лишний билет – и мы уже отпустили ее, но она, такая упрямая, сумела уговорить контролера, сунула ей трешку, и мы с Юрочкой тоже попали в театр. Спектакль был плохой, и я всё время тосковал и огорчался. И вот, наверное, за всю эту тоску и огорчение нам был подарок. Мы так не полюбили Москву в этот приезд, мы ее никогда не любили, но сейчас она почему-то была особенно чужой и страшной, столицей черни, городом без души, без духовности, без красоты, а вышли мы из театра и ахнули: шел снег, и всё было в снегу – деревья, улица, дома, всё было белым, тихим, нереальным, неземным. И так не хотелось, чтоб таял этот снег (он растаял к середине следующего дня), чтоб уничтожилось это неземное, эта тишина, нет ведь ничего тише снега и тише земли в снегу, так не хотелось весны, с ее шумом, когда всё шумит – капель, вода, весенний ветер, птицы – и открывается нагота земли, темная и сырая.

У Вас редко выпадает снег и если выпадает, то мало и ненадолго, и Вам, наверное, трудно представить, как это прекрасно и необычно-

венно – снег на земле, земля в снегу. Вы понимаете, в этом есть что-то нереальное, неземное, тут ни одним словом, ни десятком ничего не скажешь, не объяснишь. Вы понимаете, он же с Неба, с Высоты, он – тихий, белый, чистый, и он устилает всё земное, весь сор, мусор, грязь, трещины, ямы, приглушает все звуки, по нему ступаешь, как по облакам, но и в воздухе, непонятно почему, становится тихо-тихо.

А как тихо он падает! Конечно, бывают поземки, бураны, когда всё свистит и ревет, но это другое, это нам за грехи наши, а чаще всего он падает тихо, невесомо и всё – землю, и деревья, и все предметы на земле, и сам воздух – окутывает тишиной и красотой. Вы представляете – деревья в снегу, каждая веточка в пушистой, воздушной, тихой белизне? Это совершенно нереально. Идешь по земле, по улице, которую только что помнишь совсем другой, обычной, привычной, серой, безобразной – и не узнаешь ее: такой красоты, такой чистоты, такой тишины не бывает, не может быть на земле.

Несколько лет назад я оборвал свой рассказ о Пскове, я не успел рассказать Вам о нем, а заодно об очень важном и главном для меня – о моем чувстве России, о моем отношении к тому, что Вы восторженно и любовно назвали Русью. Это не большая беда, что не успел, потому что – стихами, репликами, какими-то кусочками в разговорах и письмах – суть этого я Вам передал, и Вы, в общем, знаете. Я и сейчас вряд ли сумею рассказать убедительнее и полнее.

До 1977 года я никогда не был в старых русских городах, то ли просто не хватало времени, то ли боялся, что не увижу и не полюблю, то ли, наоборот, боялся и не хотел полюбить, как что-то чужое и немилое. С этой землей меня связывают странные и мучительные отношения, не люблю ее страшной и нелепой истории, ее темного и во многом мнимого духовного превосходства.

Мое путешествие началось с Москвы, Владимира, Суздаля и окончилось Новгородом. Между ними была Эстония, о ней я расскажу потом.

Мне не везло, и я не видел рублевских фресок во Владимирском соборе и фресок Феофана Грека в Новгороде, я вообще не видел внутренности всех этих древних храмов, они были по разным причинам закрыты для обозрения, но Вы их тоже, кажется, не видели, иначе рассказали бы. Я видел, наверное, всё, что видели Вы и что еще помните, – поэтому называть и перечислять не буду. Я хочу, чтоб Вы услышали главное: кроме Суздаля, о котором скажу немножко позже и отдельно, я **не полюбил** русских городов. Не влюбился и не полюбил.

Господи, конечно, храм Покрова на Нерли – чудо, и оба белокаменных владимирских собора с фантастической полуязыческой резьбой, и владимирские Золотые ворота, и даже та совсем не старинная,

но славная церковь, что стоит возле них. И, наверное, чудо – новгородская София, хотя она, как и киевская, меньше тронула мою душу, чем белые владимирские храмы, и все древние церкви и церквушки, рассыпанные по кремлю и всем новгородским улицам, и самая дальняя – в скиту, к которой мы ехали сначала на автобусе, а потом шли пешком под проливным дождем, на берегу Волховы, впадающей в Ильмень.

Но ведь эти древние и прекрасные церкви не создают лица города, его души, души России. Не создают, не определяют.

Я на всю мою жизнь запомнил, как Вы показывали нам Одессу, совсем не старинный, совсем юный город, учили видеть «души домов» и душу города. И я видел эти души и эту душу. Я знаю лицо Одессы, ее душу, и я полюбил ее.

А любите ли Вы Москву? Можно ли любить Москву? Ведь в ней, наверное, древних и прекрасных храмов больше, чем в любом городе России, больше, вероятно, даже, чем во всех старинных городах вместе взятых. И разве не прекрасны Коломенское, Андроников и Новодевичий монастыри, церкви Замоскворечья, игрушечная церквушечка на Арбате? Да и Кремль разве не прекрасен и не свят? Можно как угодно относиться к Василию Блаженному, конечно, он не храм для молитвы, для медитации, для пребывания наедине с Богом, но ведь прекрасен же – веселый, радостный, сказочный, языческий. Бог и в такой красоте является, и в такой красоте живет.

А все-таки Москву полюбить нельзя, потому что даже все эти святыни и чудеса не создают ее лица, ее души. Она безобразна, поругана, изуродована, бездушна. В ней или совсем нет души, или очень страшная, неприятная, отталкивающая душа.

В первый же день моего приезда, накануне поездки во Владимир, я почему-то оказался в Филях, возле знаменитой древней церкви. Было очень странно и почему-то неприятно видеть эту церковь, отреставрированную и разукрашенную к олимпиаде, я ее так мысленно и окрестил – «олимпийской».

Но дело не в этом, в конце концов, надо же когда-то красить старинные здания, и я мог бы воображением снять с нее эту свежесть краски и увидеть ее в первозданном виде. Дело в том, что сразу же от нее начинается длинная, бесконечная улица с однообразными домами, из которых ни в одном нет души, ни один не радуется и не грустит, не улыбается и не задумывается, не спрашивает и не отвечает, они просто помещения для жилья, работы, торговли, суеты.

И тогда мне пришло в голову, что в таком государстве и должна быть такая столица, что другой и не может быть. Столица черни.

Я начал с Москвы, но почти все русские города такие. По крайней мере, те, которые я видел. Мы с Вами разошлись в оценке Пскова и Новгорода. Я не знаю – почему. Может быть, из-за того мужика или из-за скверной погоды. А я Псков, в общем, полюбил – не так, как

Львов или Вильнюс, не так, как Ленинград или Одессу, – он остался мне чужим, нежеланным, но из всех русских городов – до Суздаля или кроме Суздаля – это был единственный, который я полюбил. Полюбил его кремль, обнимающий почти весь город, его церкви, вписанные в улицы гораздо одухотвореннее и неотрывнее, чем в Новгороде, и обыкновенные дома и улицы, в которых увидел какую-то, пусть неродную, душу. Может быть, еще и потому он мне полюбился и запомнился, что связался в моей памяти и с Печорами, и с пушкинскими местами, и с городским музеем, где хранятся прекрасные картины, редкие даже для столиц – Шагал, Григорьев.

А Новгород мне не понравился. Не понравился его кремль, ни в какое сравнение с псковским не идущий. И кроме церквей, торчащих совершенно инородными сооружениями, ни одного запоминающегося дома, ни одной приветливой улочки. Обыкновенный райцентр, скучный, пыльный и душный (хотя, когда я там был, лил ливень). Может быть, Вы посмеетесь или огорчитесь, но мне понравился памятник Тысячелетию России. Больше, чем София, во всяком случае, не меньше – вот и всё в Новгороде.

Вы знаете, какой был самый первый русский город, не считая, конечно, Москвы, в котором я испытал это грустное чувство разочарования, неприятия, пасынчества? Тула. Это было еще до нашей с Вами встречи. Я заезжал в Ясную Поляну и сошел с поезда в Туле. Господи, как мне было неуютно, тоскливо, сиротливо в этом сером, хмурым, угрюмом городе с угрюмым и хмурым кремлем. И Владимир такой же, может быть, не такой угрюмый и серый, но хмурый, скучный, деловой, чужой.

Я не люблю России. Это – не вся правда, не полная правда. Я могу добавить к этому, что нигде, кроме России, я не мог бы и не хочу жить и что по доброй воле никогда не уеду из нее. И я тоже – до заморания, до муки люблю то, что Вам привиделось и послышалось Русью в позапрошломгоднем Вашем путешествии и совсем-совсем давних, но на всю жизнь памятных путешествиях: бескрайний зеленый луг под деревенским небом, с цветами, кустами, деревьями, пасущимися коровками, зеленый луг, по которому Вы шли к Белому Чуду.

Но та Русь кончилась, она была давным-давно, как Древняя Греция, а вернее всего, как мы с Вами уже почти выяснили о Греции, ее – такой – и не было никогда, а просто в душе нашей, отделенной столетиями, в которых высыхают и испаряются кровь и слезы и забывается все подлое, низкое, жалкое, безобразное, сложилась такая светлая сказка, такой прекрасный миф. <...> И может быть, вся наша страшная и бессмысленная (страшная – это куда бы ни шло, на то она и история, жестокости, ужаса, подлости хватало и в истории других народов, но – бессмысленная, до идиотизма бессмысленная) история – это урок человечеству, «как не надо на свете».

Когда у умнейшего Михаила Ромма молоденькая практикантка-француженка спросила, какого современного писателя ей почитать, чтоб лучше понять сегодняшнюю Россию, Ромм улыбнулся (должно быть, печально и горько) и сказал: «Читайте Щедрина». Один Щедрин на всю литературу! А все остальные, и писатели и не писатели: «Да, мы бедные, нищие, темные, отсталые (десять веков бедные и отсталые, при всех немеряных пространствах, неисчислимых богатствах!), злые, коварные, да, мы садисты, насильники, воры, лжецы, трусливые перед силой и смелые перед слабостью, но зато мы лучше Запада, в тысячу раз лучше, есть в нас какая-то тайна несказанная, есть в нас величие и святость».

Подождите не соглашаться со мной, убеждать в чем-то, может быть, и не надо убеждать. Я ведь и сам знаю, что есть тайна и что лучше, ну пусть не в тысячу раз, но лучше.

Но ведь, во-первых, это – чем лучше, в чем тайна – несказанное, его-то и почувствовать не всякому дано, а ведь – от гения, от великого грешника и святого грешника Достоевского до последнего дурака и подонка – все в России поголовно уверены, что мы лучше всех. А во-вторых, ну как же это можно, чтоб сам человек о себе такое говорил: «я дурак и подонок, кретин и убийца, но во мне великая душа и великая совесть, и я лучше всех на свете»? Да ты погоди, пусть о тебе другие это скажут, а то ведь никто почему-то не говорит. Разве можно **это** любить?

<...> Для меня Бердяев – самый близкий, самый родственный и родной из всех-всех русских мыслителей и чувствователей, его религиозные мысль и чувство просто несоизмеримо ближе мне, чем такие же мысль и чувство даже Достоевского и Толстого.

Когда я его узнал, это было для меня счастье – счастье встретить такого близкого, нужного и родного, такого друга, такого собеседника и сомышленника.

Для меня, хотя я этого никогда не подчеркиваю и специально об этом не думаю, дорого еще и то, что Бердяев – русский. Это такая редкость. Русскому уму, русской душе всегда свойственна какая-то ограниченность, какая-то узость – при всей безмерности. Вот именно какое-то странное сочетание безмерности и ограниченности: я не умею объяснить, но так и у Толстого, и, особенно, у Достоевского.

Бердяев, кажется, единственный, в ком нет этой ограниченности (зато, правда, нет и достоевски-толстовски-цветаевской безмерности, но философ, мыслитель и не может, и, наверное, не должен быть так безмерен, а может быть и то, что безмерность и ограниченность каким-то непостижимым образом, по крайней мере, в русской душе всегда связаны). Кроме Пушкина, который вообще божественное чудо...

Я уж думал, что никогда не полюблю России, никогда не открою

для себя в ней города, в котором хотел бы пожить, как хотел бы пожить в Таллине или Львове, в Вильнюсе или Одессе, если бы не Суздаль.

Суздаль была (я ее всё в женский род перевожу: девочка Суздаль) несомненным Чудом этой моей поездки. Я о ней предвзято и плохо думал и ничего не ждал. Я видел на фотографиях, на открытках, знал, что это город не древний, то есть древний, конечно, наравне с Владимиром, но древностей там не осталось, а все церкви сравнительно поздние: восемнадцатого, ну никак не старше семнадцатого века, и представлял ее этаким музейным, «олимпийским» городком для иностранных туристов.

И то, что Вы о ней писали, меня не очень убедило, потому что и ко всем Вашим восторгам перед Русью я относился, как Вы понимаете, с критическим холодком. Да и Вы – после Белого Чуда на Нерли – не нашли слов для Суздали, не сумели ее зримо и духовно описать: у Вас же в ту поездку еще и Ростов Великий был, и Ярославль: ну что перед ними маленькая Суздаль, и действительно музейная, и действительно не очень древняя.

А мне она сразу понравилась. Я не сумею, наверное, толком объяснить – чем. Как ни странно, тем же, чем сразу понравился Таллин, что я очень приблизительно попытался выразить в стихе «для жизни, а не красоты». Мне понравилось опять-таки, как ни странно, что в ней почти не осталось старины, истории, а то, что осталось – кремль – совсем не главное, не в нем душа города. А душа есть. Живая. Вот сейчас живая. Среди этих красивых, пусть «музейных», пусть «игрушечных» церквушек живут люди, копаются в огородах, украшают свои жилые, «мирские» дома деревянной резьбой, и всё это вместе – и церквушки, и огороды, и жилые дома – город, живой, с душой, веселой и приветливой.

И потом – пусть эти бесчисленные церквушки не те, какие мы любим больше всего, не такие, как на Нерли, как во Владимире, как киевская Кирилловская, как наша харьковская, не простые, не смиренные, не бессловесно-молящиеся, но ведь церквушки, ведь это город религиозный, монастырский, верующий. Пусть в этих церквях нет смирения и тишины (а нет ли? разве не может быть веселой тишины, нарядной тишины?), но в них ведь и гордыни нет: они красивые и добрые, маленькие, скромные.

Я жил в гостинице «Ризоположенской»; Вы не могли в ней жить, она совсем новенькая, только что открылась, потому что места были, в Ризоположенском монастыре, и из окна гостиничной комнаты (а скорее всего, она и всегда была монастырской гостиницей) было видно подворье, стена с воротами, ближние и дальние церкви с разноцветными, веселыми маковками и куполами – и сразу в душу нисходила веселая и добрая святая суздальская тишина, радость, умиление, благодать.

Мне легко объяснять Вам это. Ведь Ваши глаза на всё это смот-



рели. И прекрасный женский монастырь видели, внизу за речушкой, самое красивое и нежное, наверное, что есть в Суздали.

Я обратил внимание на то, что большинство суздальских церквей, основная их «масса», так сказать, именно всё, что видится глазами, построены в одно время: примерно с конца семнадцатого века, с 1680–1690-х годов, до середины восемнадцатого, до 1740-х. Это же время Петра. Мне придумалось, что вот, хоронясь от Петра, который, как известно, не любил богомольства, не жаловал храмов, и вопреки его воле, как раз в то время ломки и перемен, здесь, в тихом и укрытом месте, в крохотульной Суздали (к тому времени она уже была крохотной) верующие люди воздвигли эти красивые святыни. Мне хотелось бы написать когда-нибудь об этом.

И знаете – вот я только что, несколькими строками раньше, написал «для жизни, а не красоты», а ведь это неправда.

Для Таллина – правда, он ведь не красивый, эта красота, которую мы в нем видим, это уже **ставшая** красота, для нас, сегодняшних, ставшая, для тех, кто строил и жил в средние века, ее не было, они не думали о красоте, даже когда церкви строили. А для Суздали, для России – неправда. Тут – и жизнь, и красота.

Я знаю, почему я свой стих вспомнил, я хотел сказать, что не одни только церкви я полюбил в Суздали, а всю ее живую душу – и в улочках, в домах, во дворах, в огородах.

Но вот этого нельзя отнять у России – красоты. Я был в Таллине в их этнографическом музее «под открытым небом», видел их деревянные избы, сараи, риги, утварь, предметы обихода. Как все утилитарно, бедно, неразукрашено. Эстонцы ходят, умиляются, они ведь все из таких изб вышли, но как убого, как некрасиво.

А в Ленинграде я впервые побывал в тех залах Русского музея, что посвящены народному искусству. У меня так получилось, что каждый раз, как я приезжал в Ленинград, эти залы были закрыты – то ли на ремонт, то ли так просто: у нас же это бывает, – и я даже не знал, что в Русском музее есть такой огромный отдел, десятки залов.

Какая это красота! Какое чувство красоты было у моих предков – простых крестьян, мужиков. Ведь не просто же избы, ведь где только можно – петушки, коньки, узоры, орнамент. И не только избы – всё: дуги, веретена, ложки, – да всё-всё, Вы же знаете, Вы же, наверное, видели. И, наверное, помните глазами, какие красивые дома в Суздали, не те, что в специальном месте, перевезенные, а на улицах, где люди живут, с резьбой, со ставнями расписными, сегодняшние жилые дома.

Вот если бы вся Россия была такая, как Суздаль, я бы любил ее. Но такой я больше нигде не видел. Я шутил с ленинградцами, для них горько шутил (для Ленинграда, «потерявшего царство», не столичного, областного, провинциального), что в России есть два – известных для иностранцев – города-музея, где весь город со всеми улицами, домами,

даже воздухом стал музеем: Ленинград и Суздаль. И в обоих я хотел бы жить, хотя они разные, и России разные – петербургская и суздальская.

Я уже немножко начал об Эстонии, так что мне будет легко к ней перейти. Вы помните Таллин? Так вот, представьте себе, что он весь-весь, все дома, все здания – выкрашен свежей, еще не успевшей просохнуть краской, то есть разными, конечно, красками, но всё средне-вековье – новехонькое, с иголки, «олимпийское». Через год это будет, наверное, красиво, но сейчас непривычно и раздражает. И поскольку всё это еще делалось, ремонтировалось, подправлялось, красилось, то весь Таллин был в суете и азарте этого предолимпийского ремонта, весь перерыт, перекорежен и, пожалуй, так, как в первый раз, первым потрясением, сразу влюбившимся взглядом, я его уже никогда не увижу и к стихотворению моему ничего прибавить не смогу. Мы его помним и любим.

И я в этот раз не его полюбил, а Эстонию. Таллин ведь, в сущности, не эстонский город, им этого говорить нельзя и даже мысленно их у него отбирать нельзя, но строился он не эстонцами – датчанами, шведами, немцами, эстонского там почти и нет ничего. <...> Наш туристский лагерь был в самой серединочке, в самой настоящей Эстонии, и мы оттуда ездили в районные центры: в Тарту, в Кохтла-Ярве, в Раквере, в Нарву, еще куда-то, у них трудные названия, я не запомнил всего.

Мне нравится, как эстонцы любят свою страну, – без битья в грудь, без восторгов и умилений, без этого кретинского «мы лучше всех на свете». Просто любят, берегут землю, воздух, берегут свою страну, свои обычаи, традиции, свою культуру.

Я написал о бедности и скудости их народной архитектуры, старой, древесной. Зато их современные одноэтажные домики, которых полным-полно по хуторам и городкам, очень нарядны, привлекательны, уютны. Это европейский уют. И, вероятно, та часть их души, которой потребна красота, которая алчет красоты и выливает себя в красоту, вся ушла не в быт, не в строительство, а в песню. Их национальный праздник – певческий праздник. Он проходит не в один день, а на протяжении недель, может быть, месяца. Сначала празднуют в хуторах, поселках, городках, потом лучшие коллективы, лучшие хоры – в райцентрах и, наконец, в Таллине.

Таллинского мы не дождались, а видели сначала парад участников в Тарту, когда они – молодые, старые, дети, старухи в праздничных народных костюмах, некоторые даже почему-то в масках – шли через весь город на свое певческое поле, а потом в Тойла, где проходил районный праздник города Кохтла-Ярве. Вы понимаете, это их праздник, не по календарю, не официальный – от души праздник, каких у нас в России просто и нет ни одного (ну разве Новый год). Они добровольно идут, им весело и радостно праздновать, мы про такое забыли, не знаем. И участвуют в празднике, то есть в хорах,

сотни, тысячи, у меня такое впечатление, что больше, чем зрителей и слушателей.

Вы понимаете, что хочу сказать? Я не поклонник хорового пения, ничего в нем не понимаю, тем более на чужом языке, да и слушать почти не пришлось, нас привозили на открытие, а потом увезли, но, честное слово, слезы были на глазах. И Вы бы плакали. Это хорошо, это свято – так любить свое, так беречь, сохранять, передавать – без гордыни, без чванства, без навязывания. И так во всем.

Я немножко рассказал о певческом празднике, потому что тут есть за что ухватиться, есть что передать, но так – во всем. Я ведь написал Вам, что «люблю Эстонию», еще и не зная об этом празднике. И это я не могу рассказать. Ну, идет по улице эстонец или эстонка, и ты уже по тому, как они идут, понимаешь, что они любят свое и что это прекрасно. Не себя любят, а свое – это разница, хорошее свое, сбереженное, сохраненное. И при этом они вовсе не консервативны, не патриархальны, они очень современны. Совершенно случайно в том самом таллинском музее под открытым небом мы смотрели интересный спектакль. Это были артисты из тартуского знаменитого «Ванемуйне», но молодежная группа этого театра. То, что они показывали, был спектакль по мотивам их классической, изучаемой в школах пьесы в переводе на русский язык, «Оборотень», но – какой спектакль!

Представьте себе какую-то русскую известную пьесу, ну, скажем, «Грозу», – и артисты не разыгрывают пьесу, написанную Островским, а рассказывают ее хорошо известное и Вам, и всем содержание танцами, пантомимой. Катерину не играет актриса, а выносят ее чучело, куклу и, рассказывая содержание пьесы, с этой куклой делают то, о чем рассказывают: ласкают, проклинаят, обижают, убивают, хоронят.

Вот какой это был спектакль, и как они здорово «играли»: я и смеялся, и радовался, и плакал. Это была история, похожая на купринскую «Олесю», история девушки, которая не похожа на всех и которую поэтому считают «оборотнем», волком и доводят до смерти. Артисты выходили из какой-то музейной «экспонатной» избы (игравшей роль кулис, уборной) с песней и с куклой этой девушки – и так с куклой и песней и шли на площадку, где должно было быть представление. Зрители окружали их, кто на скамейках, кто на травке, а большинство стоя, и на площадке всё и происходило: очень здорово, талантливо, прекрасно. И, конечно же, это – «левое», современное искусство, чем-то напоминающее Таганку.

Девушка, объяснявшая нам пьесу, осталась очень недовольна: ей хотелось увидеть «настоящую» пьесу, так, как написано. Но ведь ее в Эстонии все знают – и артистам неинтересно ее играть «как написано».

Я, как Вы знаете, не приверженец «левых» экспериментов в искусстве и не хотел бы, чтоб весь театр был таким, но мне было интересно. И не просто интересно. Не зная содержания (это же потом та

неудовлетворенная девушка нам рассказала), я почти всё понимал: вот как это было талантливо и здорово! И я еще что-то об Эстонии узнал.

Мы еще обязательно – только не сейчас – поразговариваем с Вами о Прибалтике, о нашей маленькой, «захолустной» Европе, о том, что мы вынесли из встреч с Таллином, Вильнюсом, Львовом, Ригой, о России и Западе, о России и о нашем Западе – о Литве, Латвии, Западной Украине. Это интересно и нужно – и я много мысленно разговариваю с Вами обо всем этом. Сейчас я уже не успею.

Немного договорю об Эстонии. Это не сразу видно, а она не похожа на Литву и Латвию. Она гораздо беднее, она более «маленькая». Я Вам уже писал, что она чем-то похожа на Молдавию, причем вдвойне. Во-первых, Молдавия мне еще тогда, когда я ездил в Кишинев, напомнила Прибалтику – не обликом Кишинева, который не похож ни на Таллин, ни на Вильнюс (хотя, опять-таки, чем-то похож), а вот этой любовью к своему, бережением своего, маленького, но дорогого. Она вообще похожа на Прибалтику. Но из всей Прибалтики – это во-вторых, – на Эстонию в особенности. И Молдавия, и Эстония – крестьянские, деревенские, бедные страны.

В Молдавии, правда, нет моря и рыбаков, уходящих на дальние, к берегам Америки и Японии, промыслы, а в Эстонии не растет виноград. И сами молдаване говорливы и темпераментны, а эстонцы молчаливы и сдержанны. Но это – дело десятое. Похожего больше.

Литва, даром что маленькая, большую часть своей истории была объединена с Польшей, у нее была государственность, соборы, утонченная культура. Латвия не имела государственности, но Рига всегда была великим городом, из-за нее воевали, с ней торговали, ее называли «маленьким Парижем». И Литва, и Латвия – настоящая Европа, пусть и очень восточная, но такая же настоящая, как Польша, как Львов.

А об Эстонии можно с еще большим основанием и правом сказать то, что я сказал о Кишиневе: что это сестра европейских наций, затерявшаяся в скифской глуши и скуди. Потерянная, забытая и забывшая сестра – Чухляндия, чухонцы. И при Петре, и при Пушкине – «убогие чухонцы». Как и Молдавия – Европа только по территориальному признаку, а так – Азия, колония, захолустье, без истории, без культуры (у Молдавии была история, Вы же видели памятник Штефану Великому, но ее и сами молдаване забыли).

И Эстония, и бессарабская, кишиневская часть Молдавии только с 18-го года приобщились к европейской культуре, но приобщились и не хотят разобщаться. И этим они тоже похожи.

Напрасно Вы с собой Друзя не взяли. Может быть, я скажу ужасную глупость, но, по-моему, если не решающая, то одна из очень-очень объясняющих и важных причин нашей «русской судьбы» и того, что Россию невозможно или трудно любить – это ее огромность, пространственная, немислимая, несправедливая, безобразная

огромность. Трудно на таком пространстве сохранить душу. Вы знаете, я завидую нашим маленьким «европейским» народам – литовцам, латышам, эстонцам, молдаванам. Я в Эстонии понял, что хотел бы быть эстонцем. Бог с ними, с Пушкиным и Толстым! Зато не так стыдно было бы в Божьи глаза смотреть.

Все, что я написал – всё это «с одной стороны», и я чувствую, как Вам не терпится возражать, дополнять, спрашивать, не соглашаться. Я же сказал, что мы об этом поразговариваем...

<...> Когда я увидел Белую Ночь – впервые в жизни, потому что мои лагерные белые ночи «не считаются», да и как я их там видел! – я думал, что сумею рассказать Вам об этом. И так не терпелось, так думалось: «Вот только б дорваться до бумаги и скорей бы писать, скорей бы рассказывать». Это же самое главное – Белая Ночь... А рассказывать ничего не могу, не умею, слов нет: это же несказанное...<...>

Но Вы ведь сразу услышали. Вы знаете, что Белая Ночь – это та, что в раю была, всё время была в раю, пока они не ослушались и не предали Бога своего, святая, Божья Белая Ночь. Ночь без мрака, без бездны, ночь, полная света и тайны, ночь, полная Богом. Я сразу узнал... А какие они красивые, белые ночи! Разве можно рассказать словами? Эти цвета в небе, и в озере, и в воздухе – и серебряно-розовый, и серебряно-лазоревый, такие, как на иконах, как на фресках, как в Ферапонтове. Но разве у света есть цвет? Эти же слова ничего не говорят, ничего не передают...

...Когда я впервые в жизни увидел Белую Ночь на Чудском озере, мне так сразу «занетерпелось» рассказывать и делиться. И так мечталось, что вот только доберусь до листа бумаги, буду много и долго рассказывать о ней – какая она, каких оттенков ее Свет, ее Сияние, и какое чудо – это невозможное совмещение ночи и света, тайны и белизны, обнаженности и святости, того, что бывает ночью, должно быть ночью – исполнения желаний, греха, наготы, сладости, – и того, что может быть только при Свете, при Боге – открытости, безгреховности, нестыдьящести. Я сразу понял, что вот такая ночь была в раю, до грехопадения, до того, как они, бедные, ослушались и предали Бога, – и хотя я знал, что люди, сложившие рассказ про рай, не могли видеть северной Белой Ночи, – но только такая ночь, без тайны и страха, могла быть в раю, только такая, белая, сияющая, переливающаяся, полная светом зорь, текучих и переходящих одна в другую, серебряно-розовая, серебряно-лазорева, нежная, святая, живая Белая Ночь.

Я многое благодаря этой ночи понял. Понял совмещение несовместимого, чего никак не мог принять мой глупый разум: он же не видел, не помнил Белой Ночи, которая не была сфинксом, а была Божьим Творением, Божьим Совершенством, Божьим Чудом. Этот незакатный, несменяющийся серебряно-лазорево-розовый Свет, эта

Божья Белая Ночь – нарушение всех привычных, сложившихся, казавшихся абсолютными представлений.

В XIX веке не все верили, что «лед тронулся», и вот еще совсем чуть-чуть – и всё будет решено и устроено. И тогда были мудрецы, остро и мучительно знающие неизбежность и неустрашимость зла.

У одного из таких мудрецов, любимого поэта Толстого – Тютчева – была жестокая «концепция» дня и ночи: день, Свет – это обман, иллюзия, «покров, брошенный богами» на страшную и беспощадную Реальность, это, в общем, то, чего нет, а только кажется нам из-за этого «покрова», а Реальность – это то, что наступает, когда уходит день, сбрасывается обманывающий и утешающий «покров». Реальность – это ночь, тьма, хаос, бездна.

Стихи я Вам уже цитировал, но их без конца можно повторять: «И Бездна нам обнажена с своими страхами и мглами. И нет преград меж ей и нами. Вот отчего нам ночь страшна» (привожу по памяти, вряд ли там столько точек и заглавных букв).

А на Чудском озере мы встретили и эту тютчевскую Реальность, беспокровность, обнаженность светлой, сияющей, не угрожающей и не страшной: не было тьмы, не было бездны со страхами и мглами, были серебряные колокольчики и хрустальные воротца, было светлое небо над светлой водой, все обнимающее и заливающее. И был Свет. Вы понимаете, всю ночь был Свет – с неба, Божий Свет: можно было всю ночь читать книгу.

Кроме Белой Ночи, на озере были комары и чайки. Комары, в основном, жили в лесу, днем они затаивались где-то на верхушках сосен, и весь лес был полон их гудом, а на берег озера они прилетали только по вечерам. Это было не особенно противно и страшно: я только два первых вечера намазывался какой-то противокомариной жидкостью, а потом привык к их гудению и не таким уж частым и болезненным укусам. Чайки были несчастные, во всей Прибалтике они вымирают: у берегов Балтийского моря перевелась рыба, далеко в море, где рыба еще есть, эти красивые, бедные птицы, видимо, долететь не могут, а разлетаются в поисках пищи в города и селения, во дворы, на помойки, где видеть их невыносимо грустно и как-то неестественно. Таллинцы говорят, что скоро они все перемерут.

В Чудском озере, которое по внешнему виду от здешнего моря ничем не отличается (здешнее море, его мелководные, малосольные и не голубые, не зеленые, не темно-синие, а какие-то серые заливы не похожи на Ваше южное, одесское, крымское, древнегреческое Черное) – та же бескрайняя гладь, изредка пробираемая набежавшей рябью, так же не видно «того» берега, те же чайки, – рыба водится, и чайкам, вероятно, на его берегах привольнее и сытнее, чем на морских пляжах, но всё равно видно, что им голодно и унижительно, что жить всему их роду на этих берегах остаются считанные годы и что это грустно и гадко – не только для них, но и для всех нас.

Но Белая Ночь была так необыкновенна, была таким – и невероятным, небывалым, и явным и несомненным: вот же она, перед глазами! – Чудом, что даже мысли о вымирании чаек не могли омрачить ее красоты и святости. И еще – в этих Ночах на озере было что-то дзэнское. И не что-то, а эти Ночи были дзэнским богослужением в дзэнском храме. Богослужением без органа, без хора, без священника – в храме без стен, без иконостаса, без святых образов. Бессловесным богослужением, богослужением Тишины и Света. Само озеро, тихое и светлое, сосновые леса с редкими домиками дачников и хуторян, с коровками и лошадаками тех же хуторян, даже с гуденьем комаров и с тихой толкотней стрекоз и мошек – всё это было таким дзэнским – Вы бы сразу это увидели и поняли.

И читал я в тех Белых Ночах стихи старых китайских поэтов в переводах того же Гитовича, русского пьянчужки, веселого и грустного ленинградского еврея, которого Вы мне – видите! – так удачно подарили. Я их почти не знал раньше, очень мало и редко читал, а это такая красота, такое совершенство: Басе, которого мы с Вами так любим, живший после них через 11-12 столетий, без них был бы невозможен, он у них учился, у этих старых китайцев.

Когда они жили, такого слова – дзэн – наверное, еще не было, они были кто буддист, кто даосец, но это именно та религиозная ниточка, которая тянется через Индию и Китай в Японию, к Басе, к современному дзэн-буддизму. Очень простые, очень хорошие стихи, в которых сказано только главное, и то не всегда, а всё остальное можно додумывать, дочувствовать, довоображать. Они так прекрасно читались там, так падали в тишину и пустоту освобожденной, молящейся, любящей, влюбленной души: дзэнские стихи в дзэнских ночах на дзэнском озере.

И ведь я ничего хорошего не ждал от этой турбазы. Рейсовый автобус, который вез туда, выехал из Тарту во второй половине дня и приехал вечером, от автобусной остановки идти было недалеко, минут пятнадцать – двадцать, но всё это время надо было идти с двумя чемоданами в руках под сплошное комариное гудение, – в общем, хорошо было мало, и я ни на какой Праздник даже и надеяться не мог.

Но через несколько минут, уже «доложившись», оформившись и устроившись, вышел из палатки и – Белая Ночь. Нет, Вы только представьте, забраться в какую-то ничего хорошего не обещающую глушь, ничего не ждать, ни на что не надеяться, заранее смириться с самым грустным и тягостным, выйти из палатки, пройти несколько шагов до открывающегося берега озера – и увидеть святую и райскую, дзэнскую Белую Ночь!..

По идее, я должен был бы сейчас рассказать Вам о Ленинграде, связав этот рассказ с тем, о чем не успел, не сумел или не смог рассказать в марте, после первого «открытия» Ленинграда. Но на такой

рассказ у меня «не хватит пороху», который весь израсходовался на Белую Ночь.

Дело в том, что июньский Ленинград для меня был продолжением мартовского, продолжением отчасти разочаровывающим и неудачным, а о мартовском я многого, как сейчас понимаю, не сумел Вам рассказать. Например, того, что в нем было «много» женщин, то есть их было всего три, но я и «дома»-то уже сто лет не встречаюсь с новыми женщинами, которые заставляли бы думать о себе как о женщинах, а здесь за несколько дней – три, и были они очень разные, несовместимо-разные, они и между собой были плохо знакомы, почти не встречались, их, может быть, только мой приезд и свел на какие-то минуты или часы, и все три были в каких-то отношениях с тем человеком, Борисом Ямпольским, о котором я, может быть, успел Вам тогда немного рассказать, а кроме них была еще четвертая – Мирра (она пишется с двумя «р»), которая для Бориса и для Шеры, приехавшего тогда, в марте, с нами в Ленинград, и вовсе не была женщиной.

И обо всем этом непременно надо было подумать, а думать времени не было, потому что всё оно пролетело в чтении стихов, в разговорах, в пьянке, ну и в прогулках по городу, который я только в тот приезд и открыл, и полюбил, и так как времени не было, то я и не думал, а просто смотрел и впитывал. И когда приехал, не смог Вам рассказать, а потом всё оно отодвинулось, потускнело, забылось, и только в этот приезд опять вспомнилось и соединилось, но всё еще не осмыслено.

Поэтому подробный рассказ о моем «открытии» Ленинграда я оставляю за собой до какого-то времени, а пока вкратце, чтоб окончить мой отчет перед Вами о летней «отпускной» поездке, расскажу о тех немногих днях в Ленинграде, которые мы там провели перед возвращением в Харьков.

Разочаровывающие и неудачные эти несколько дней были по нескольким причинам.

Во-первых, в Таллине, отчасти из-за Юрочки, который разыскал нас и приехал к нам из Москвы, отчасти по собственной глупости и из-за завораживающего действия этого города-сказки и пустой квартиры, от которой нам были оставлены ключи, мы пробыли ненужно долго, целую неделю (или около того, я сейчас в точности не вспомню), хотя никаких свежих и запомнившихся впечатлений уже почти не было (кроме спектакля в этнографическом музее под открытым небом, о котором я Вам уже рассказывал), и для Ленинграда оставалось обидно мало времени, а нам еще в Новгород нужно было съездить. Квартира, в которой мы жили, принадлежала Марлениной знакомой, которой в городе не было, и была расположена действительно далеко от центра и Вышгорода.

Во-вторых – и это самое важное обстоятельство, – когда мы приехали в Ленинград, Бориса Ямпольского там не оказалось, а это был



для меня «главный человек» в Ленинграде (и где ж, Вы думаете, он был? Конечно, в Одессе!), без которого я сам – по причине моей стеснительности, как «не имеющий права», – не смог бы зайти – и так и не зашел! – к прекрасному человеку, поэту Друскину, об обыске у которого я знал еще в Харькове.

Остановились мы втроем – Лиля, Юрочка и я – в маленькой Мирриной комнатке в коммунальной квартире старого, почти нежилого дома, зато на самом Невском, недалеко от вокзала, в комнатке, не имеющей замка и на ключ не закрывающейся (что очень тревожило Лилю). Сама Мирра ночевала где-то в другом месте.

Ленинград был прекрасен. В этот приезд я не был в музеях, потому что сам город – улицы, Нева, здания, дворцы, церкви, каналы, мосты, скверы, памятники, парки – был прекраснее всех музеев и всего, что там можно увидеть.

Вы были возле Смольного? Я впервые увидел его в этот приезд. А на Волковом кладбище были? Там похоронен Блок, там могилы почти всех русских классиков – Тургенева, Гончарова, Щедрина, могила Надсона, могилы композиторов, ученых, артистов, художников, запомнившиеся совсем недавние могилы Берггольц, Пановой, Козинцева.

Вы походите по Ленинграду, когда в следующий раз приедете туда. Походите по Волкову кладбищу, постоите возле Смольного, возле Николы Морского, где Ахматову отпевали, посидите возле памятника Крылову или возле верблюда (это памятник Пржевальскому, но Пржевальский – бюст его – высоко и неинтересный, а верблюд – внизу, и на него дети взбираются), просто по улицам походите. А много я в нем и сам еще не видел, не узнал.

Три дня в Ленинграде была хорошая погода с ясными, синими, солнечными днями и сиянием белых ночей. А когда Лиля и я поехали на автобусе в Новгород, погода испортилась, и только мы дошли до Софии, до площади, где стоит памятник Тысячелетию России, полил дождь. И, может быть, поэтому я не увидел Новгорода Вашими влюбленными глазами. Ведь я полюбил Псков, а Новгород, по Вашим описаниям, представлялся мне лучше, краше Пскова. Но мои глаза не увидели, как, помните, Вы научили увидеть в Одессе, души улиц, души города. Они увидели бедный, скучный городок деревенского вида (это не обидно, что деревенского, Вы же помните мои стихи про деревенское небо, – и если бы он был такого деревенского вида, как Суздаль!) с множеством древних и красивых церквей, которые стояли сами по себе, не сливаясь с улицами в одну душу, в одно лицо.

Может быть, не состоялось, не произошло какой-то ничтожной малости: может быть, по одной какой-то единственной улочке, из-за которой Вам и открылся, и полюбился этот город, его душа, не прошли мои ноги, может быть, одного-единственного храма, который Вы видели, я случайно не увидел – и только поэтому я не полюбил Новгорода,

как Вы, – но я не полюбил его, и мне жалко и грустно. Под дождем, совсем мокрые, не успев обсохнуть за обратную дорогу, вернулись мы в Ленинград и под дождем уезжали из него на следующее утро.

Зато каким хорошим и памятным остался предпоследний вечер в Ленинграде – перед поездкой в Новгород. Мирра повела нас – Лилию, Юрочку и меня – в один дом, где собирались картины (это не было долго собираемой и всё время пополняющейся коллекцией, это одной женщине досталось по завещанию от умершего учителя, профессора, и почти так и осталось, может быть, совсем немножко добавилось от подарков художников: когда коллекция есть, она уже неизбежно будет и «дальше жить»).

Я не ждал радости от этого посещения, но хозяйки дома – мама и дочь, совсем юная, за ней сразу стал Юрочка ухаживать, – оказались не снобами и не «привилегированными», а очень простыми и милыми людьми, встретившими нас «как родных», настолько, что Лилия осмелела и позвонила Эре – одной из тех «трех женщин», с которой мы в этот приезд до этого вечера не виделись.

Эта Эра – женщина из тех, какие нравятся мужчинам, и знают про это, и умеют это – работает в Эрмитаже, водит экскурсии, рассказывает про картины, и ей, конечно, должно было быть интересно увидеть такую частную коллекцию. Она была замужем, потом разошлась, за «секретарем Ахматовой» (так нам сказали, чуть ли не она сама, и хотя я с трудом представляю, в какое время у Ахматовой мог быть секретарь и для чего он ей был нужен, но, вероятно, что-то вроде этого было), сама была вхожа к Анне Андреевне, и вообще человек интересный, умный, знающий.

Она обрадовалась Лилиному звонку, немного поломалась и приехала. Картин в самом деле было много, и многие из них были прекрасны: Петров-Водкин, Серебрякова, Бенуа, Добужинский, Сомов, Шагал, даже Репин, даже Бурлюк, современные художники, уже уехавшие и еще здешние.

А потом я читал стихи, и – это очень редко бывает, кажется, после Вашей Одессы у меня такого не было – они очень хорошо, очень благодарно слушали. Они любили меня, понимаете? И эта Эра любила, и говорила много хороших слов, которые мне было стыдно слушать, и стала «как родная» на тот вечер. Это был очень хороший вечер...

Самые лучшие и самые любимые люди, которых я любил в этой поездке, – совсем не знаменитые, никому не известные. Ну Шаровы – те хоть писатели, книги у них выходят, хотя кто ж их знает? А остальные и совсем неизвестные.

Это – Иосиф Гольденберг, «граф», «графчик» (не знаю, откуда эта кличка, но так его звали еще в мой долагерный студенческий год – вот с каких пор мы дружим) в Пушкино, книжник, собиратель, пропаган-

дист и даритель книг, маленький – почти как Вы, картавый, уже седой, добрый-добрый. У него мечта – собрать в Пушкино всех добрых и хороших людей. Пушкино того стоит: это биологический центр Академии наук, окруженный лесами и полями, на Оке.

Когда я вернулся из лагеря, Иосиф и его жена – Вера Алексеевна, старше его лет на пятнадцать, если не больше (и как прекрасно они жили, вот у них, вероятно, был «Дом»), – были единственными людьми, которые «не отказались» от меня. Оба они – педагоги по призванию и, наверное, талантливые (как Вы увидите из дальнейшего рассказа), он учительствовал в средней школе, преподавал русский язык и литературу (естественно!), она работала методистом в районе (знаете, что это такое? – я не очень). Уже тогда у него была уникальная библиотека – сколько книг и какие книги я у них прочитал!

Когда в Новосибирске организовался Академгородок, его взяли туда, и он там (это случай редчайший, я не знаю, сколько на весь Союз было таких единичных) преподавал литературу по своей методе, не по казенной, а по своей собственной, им самим еще в Харькове придуманной и разработанной программе. Дружил с академиками, пользовался их уважением и любовью, кроме учительства, организовал в Академгородке книжный магазин на общественных началах, завязал связи с московским и другими книготоргами, – тогда новосибирский Академгородок «был в моде» и в славе, и книги – какие книги! – шли к нему «навалом»: он всех знакомых одаривал Пастернаком, Цветаевой, Ахматовой. Потом возникли неприятности, похожие на Ваши Кировоградские<sup>12</sup>, но сложнее и похуже, связанные с «детсадовской» деятельностью, хотя, как Вы сами понимаете, у него совсем другой профиль. Если бы не академики, всё могло бы кончиться гораздо хуже, но из школы ему пришлось уйти и из Академгородка уехать.

В Пушкино для него нашли должность. Пушкино – это биологический центр Академии наук, это очень приятный, очень ухоженный (в самом хорошем смысле этого слова, с любовью, с умом и вкусом ухоженный) зеленый городок, где при не очень активном жилищном строительстве умудрились сохранить все рельефы и впадины земли, овраги, посадки, заказники. Они гордятся этим. Там, например, в сквере, который отделяет институтские корпуса от жилых домов, идут слюями аллея елок, аллея берез, еще какие-то аллеи. И много густой, по пояс, по плечи, некошеной травы с белыми цветами таволги. Они очень сильно,пряно пахнут. Я всегда знал эти цветы и их резкий, чувственный запах, не зная, что они называются таволгой.

Пушкино окружают леса, настоящие русские леса с елями, соснами, березами, с ягодами (им еще было не время, но несколько земляничников мы собрали и съели) и грибами. И вот в эти леса граф каждый вечер, сколько мы жили в Пушкино, водил нас на прогулки, каждый раз в разные стороны, в разные места. А вечер – это только по часам.

Там не бывает белых ночей, то есть считается, что не бывает, и не называется это белой ночью, но вечера светлые необыкновенно, до десяти часов светло как днем.

На лесных лужайках я находил ландыши. К сожалению, их пора уже отошла, и они не были теми ландышами, какие Вы любите, а были перестоявшиеся, – видно, цветы созданы для того, чтобы их рвали, но я нашел несколько еще красивых стебельков с белыми чашечками ландышей. Еще в лесу были синие, вернее, лиловые колокольчики: мелкие, гроздыми и крупные, очень красивые, отчетливые, с белыми и желтыми язычками внутри. И в лесу, и в лугах, и прямо на тропках, по которым ходили, я видел много ромашек, тоже очень разных, и совсем мелких, наверное, лечебных, и крупных, почти как садовые. Я очень люблю ромашки, они связаны у меня с памятью о детстве, о школе, о ромашках моего детства. А в поле, в хлебах, росли васильки, самые настоящие, каких я не видел уже сто лет, – Вы знаете, какие они красивые: сердце замирает от этой синевы, голубизны полевой. И всё это – вместе с тишиной и шумом леса, с бабочками и кузнечиками, с безымянными травяными лесными цветочками, с лесными ключами, с ручьями, с лугами.<...>

Не знаю, кем он числится, не спрашивал, должности библиотекаря, во всяком случае, в Институте белка нет, но выделили оклад (думаю, что не очень большой, «граф» всю жизнь был бессребреником) и сказали, что он может делать всё, что хочет.

Он организовал библиотеку – не научную, которая в институте, конечно, имеется, а обыкновенную, «читательскую» библиотеку, за короткое время (еще оставались старые связи с Москниготоргом) собрал прекрасные книги, научился переплетать – не только книги, пришедшие в негодность, но и всякие институтские материалы: диссертации, отчеты, доклады и пр., – и стал необходимым и уважаемым человеком. Еще он готовит к экзаменам по русской литературе в вузы, только «не по советской», честно предупреждает.

Вера Алексеевна несколько лет назад умерла, мы ходили на ее могилу на лесное кладбище, и наш «граф» опять женился – на Маше, хирурге, и тоже уже со взрослым сыном (у Веры Алексеевны тоже был сын, почти ровесник «графа», от первого мужа). Вот какой «граф».

А в Ленинграде – Борис Яковлевич Ямпольский, тоже человек необыкновенный, но о нем я знаю гораздо меньше, потому что познакомился – через Шаровых – совсем недавно и в этой поездке видел его второй раз в жизни. Насколько я знаю, по призванию он тоже филолог и тоже когда-то, в незапамятные времена, был учителем, а потом попал в лагерь, где провел много лет, гораздо больше, чем я, и ко времени нашего знакомства работал дежурным по ремонту лифтов, что очень его устраивало, он даже меня сманивал переехать в Ленинград и устроиться возле лифтов ради «кучи свободного време-

ни». Питался на свою зарплату он, в основном, горохом, и насчет этого ценного продукта у него разработана целая теория.

Как раз в то время, когда мы познакомились, выяснилось, что он является единственным наследником какой-то богатой дальней заграничной родственницы: ну, миллион не миллион, но многими тысячами пахло, – это при его гороховом режиме! – и тогда это наследство было поводом для всяких обсуждений и шуток. Но Борис Яковлевич почему-то не торопился с хлопотами по предъявлению своих прав, видимо, ему было просто заранее противно и скучно, и он проворонил нужные сроки, – так и остался при лифтах.

Несколько лет назад он женился на молодой и красивой женщине, которая, не задумываясь, ушла к нему от мужа с прелестной девочкой, и сразу же лег в больницу с какой-то страшной, не оставляющей никаких надежд на спасение, болезнью, с какой-то опухолью в мозгу. Лечащие врачи считали, что он безнадежен, а он выжил.

Когда я познакомился с ним, женщина (как же ее зовут? чуть ли не Алла) уже была возле него, но еще был ее муж, и они все дружили, и мне эти отношения, – а где-то поблизости были еще какие-то другие женщины, – не очень нравились. Вообще, при всей моей влюбленности в этого человека, в нем было и остается что-то «чужеватое» для меня. В нем, несомненно, есть что-то от «человека Возрождения», какая-то авантюристическая жилка, – но прекрасный же человек!

Ему тоже не до меня – с только что пережитой чуть ли не смертью, с молодой женой, с друзьями и корреспондентами чуть ли не со всего света, – но, если бы мы часто виделись и больше были вместе, он, наверное, любил бы меня. Я его люблю, – разумеется, не за это.

<...> Я уже не успею дать Вам сколько-нибудь связный и подробный отчет о моей недавней московской и ленинградской поездке. Попробую рассказать о том, о чем сейчас хочется рассказывать, то есть, как мне кажется, о самом лучшем, что было в ней.

Спектакль, на который так приглашал нас Гердт, к сожалению, меня разочаровал. Мне писать об этом больно, потому что Гердт прекрасный человек, и я его люблю, как, кажется, и он меня, и он очень дорожит этой своей ролью – единственной ролью на сцене театра за все послевоенные годы, и играл он правда, наверное, очень хорошо, но не гениально, не настолько, чтобы это потрясло или, еще лучше, без потрясения, тихо вошло в душу и память на долгие годы.

Его лучшие роли в кино – в «Фокуснике», в «Золотом теленке», закадровый голос в «Короле Лире» – запомнились мне и помнятся и сейчас больше и безоговорочнее, чем то, что я увидел на сцене; впрочем, может быть, потому, что я – не «театрал».

И пьеса, наверное, хорошая, но не великая и, по-моему, «не наша».

В Москве ничего, стоящего рассказа, не было. Зато в Ленинграде, кроме самого чудного и красивого города, была выставка в Эрмитаже

французских художников прошлого века из американских музеев, а на этой выставке, кроме очень хороших портретов и пейзажей Коро, была невозможно прекрасная картина Ренуара, – простите меня, но я не могу сказать иначе: моцартовской красоты, изящества и гармонии. Женщина у рояля, в длинном, закрывающем ноги синем или голубом платье, вся голубая, воздушная, светящаяся, и этот свет льется, клубится и поет, – чудо! Рядом с ней висели другие картины Ренуара – портреты, натюрморт, и они тоже были прекрасны, но та – чудо!

Остальное, хотя там были и Мане, и Моне, и Ван Гог, и, кажется, Матисс и Пикассо, и уж точно Сезанн – мне не запомнилось.

Еще там была большая, по-моему, самая большая на выставке и, наверное, самая известная картина Курбэ «Женщина с попугаем»: обнаженная и красивая, с красивым телом, женщина лежит на кушетке и, веселая, играет с попугаем, сидящим у нее на руке, и, хотя всё на этой картине было красиво, от нее сильно пахло телом.

А потом, кажется, в этот же день, – нет, вру, на следующий, последний, перед поездом, Стелла Абрамович водила нас по последней квартире Пушкина на Мойке, и мы плакали. И в нашей душе запутывалась та самая «путаница любви», и я не знал, кого я люблю: Пушкина, или ту голубую ренуаровскую женщину, или самого Ренуара, или просветлевший и потеплевший на прощание ленинградский день с кусочками небесной синевы, или весь Божий мир, или самого Бога...

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лилия Семенова Карась-Чичибабина (1938), жена поэта.
2. Юрий Тамойко – друг Чичибабиных.
3. Александр Израилевич Шаров (1909–1984), прозаик, журналист, военный корреспондент. Анна Михайловна Ливанова (1917–2001), физик и писатель.
4. Владимир Александрович Шаров (1952–2018), писатель, историк.
5. Речь идет о книге «Смерть и воскрешение А. М. Бутова (Проишествия на Новом кладбище)». Она была окончена в 1984 году незадолго до смерти Шарова и опубликована гораздо позднее, в 2014 г., его сыном Владимиром.
6. Петр Старчик – московский композитор и правозащитник.
7. Ася Великанова – правозащитница, сестра Татьяны Великановой.
8. Борис Алексеевич находился в то время под надзором КГБ и знал, что все его письма цензурятся, поэтому он старался хоть немного «прикрывать».
9. Со Львом Копелевым.
10. По «Голосу Америки» прозвучали стихи Б. Чичибабина и передача о нем.
11. Борис Яковлевич Ямпольский (1921–2000), прозаик, автор мемуаров, романист, диссидент.
12. В 1973 году по инициативе КГБ и его непосредственном участии Полина Брейтер была уволена из Кировоградского педагогического института, где работала тогда старшим преподавателем. Ей пришлось подписать предупреждение о том, что, если она не прекратит антисоветскую деятельность, против нее будет возбуждено уголовное дело.

*Публикация и комментарий – П. Брейтер*

# КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Сергей Коневский

## «Лермонтов по-французски»\*

*О забытом поэте и переводчице Ольге Гутвейн*

Французской читающей публике имя Михаила Юрьевича Лермонтова стало известно в начале 1840-х годов, вскоре после гибели поэта. Первый перевод «Героя нашего времени» был выполнен родственником Лермонтова Алексеем Столыпным, известным как Монго<sup>1</sup>, и опубликован между 28 сентября и 4 ноября 1843 г. в Париже на страницах газеты «La Démocratie pacifique»<sup>2</sup>. После второго перевода, выполненного в 1845 г. французом Луи-Антуан Леузон Ле Дюком (Léouzon Le Duc)<sup>3</sup> и изданного под весьма своеобразным названием «Une saison de bains au Caucase. Extrait de Lermontoff» («Купальный сезон на Кавказе. Из Лермонтова»), вскоре последовал третий, опубликованный между сентябрем и декабрем 1846 г. в недавно начавшем издаваться журнале «L'Illustration»<sup>4</sup>, предположительно в переводе Луи Виардо (Louis Viardot)<sup>5</sup> совместно с Иваном Сергеевичем Тургеневым<sup>6</sup>. Двенадцать лет спустя преподавателем Московского Екатерининского института Пеланом д'Анжером (Pelan d'Angers) был выполнен первый перевод поэмы «Демон», который до настоящего времени считается одним из самых удачных. В 1866 году им же был выпущен сборник, в который вошли биографический очерк о Лермонтове и семь его стихотворений и поэм, среди которых «Ангел смерти», «Хаджи Абрек», «Мцыри» и заново отредактированный перевод «Демона». Здесь надо заметить, что за два года до этого, в 1864 г., И.С. Тургенев, будучи неутомимым пропагандистом русской литературы за рубежом и, прежде всего, во Франции, не удовлетворенный художественным уровнем перевода «Мцыри», к пятидесятилетию со дня рождения Лермонтова способствовал появлению нового перевода этой поэмы. К сожалению, после смерти Тургенева в 1883-м не нашлось никого, кто бы захотел продолжить популяризацию произведений Лермонтова во Франции, чем, вероятно, и можно объяснить отсутствие новых изданий, приуроченных к практически совпавшему (15 октября 1914 г.) с началом войны столетию поэта. Впрочем, даже в России центральное событие празднеств,

\* Здесь использовано название статьи поэта и литературного критика Юрия Мандельштама (1908–1943), о которой речь пойдет ниже.

предполагавшее открытие памятника поэту при петербургском Николаевском кавалерийском училище, выпускником которого Лермонтов являлся, было отложено до 9 мая 1916 года, в канун 75-летия со дня его смерти. В том же году Ново-Петергофский проспект был переименован в Лермонтовский.

Послереволюционная эмиграция принесла с собой всплеск интереса к жизни и творчеству Лермонтова. Первой была небольшая статья П.Б. Струве, появившаяся в 1919 году в «Mercure de France» и напечатанная более шестидесяти лет спустя в авторском переводе под названием «Из заметок писателя. Предсказание М.Ю. Лермонтова, которое должен знать всякий русский человек»<sup>7</sup>. В ней Струве отмечает:

Первая часть этого стихотворения – именно теперь, после революции 1917 и последующих годов, – производит огромное впечатление как историческое прозрение, потрясающее своей правдой. В целом стихотворение Лермонтова есть все-таки изумительное поэтическое «предсказание», знать которое – так же, как образ самого Лермонтова, этого «неведомого избранника» и «гонимого миром странника с русской душой», – должен всякий русский человек.

Здесь хотелось бы напомнить начало стихотворения «Прозрение», написанного 16-летним поэтом в 1830 году:

Настанет год, России черный год,  
 Когда царей корона упадет;  
 Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
 И пища многих будет смерть и кровь;  
 Когда детей, когда невинных жен  
 Низвергнутый не защитит закон.  
 Когда чума от смрадных, мертвых тел  
 Начнет бродить среди печальных сел.  
 Чтобы платком из хижин вызывать,  
 И станет глад сей бедный край терзать.

О Лермонтове писали многие представители эмиграции, люди подчас с диаметрально противоположными взглядами, среди которых правый философ Иван Ильин, монархист Иван Тхоржевский и либерал, «западник» Георгий Адамович. Лермонтов, как, вероятно, никто другой из русских писателей раскрывший в своих произведениях собственную биографию, для представителей «незамеченного поколения» явился своеобразным противопоставлением прежнему канону русской классики, сформированному старшим поколением литераторов-эмигрантов, для которых культурным центром был Пушкин.



Наиболее острая дискуссия о первенстве двух гениев русской поэзии развернулась на страницах журнала «Числа», где Борис Поплавский, выходя за рамки «литературного приличия» писал:

Стремлением к интересной жизни, к описанию всяких увязок и злоключений полон <...> Пушкин, хотя начинался уже девятнадцатый век, век очищения, век раскаяния, век трагической честности. Какой болтовней кажутся всякие повести Белкина. Пушкин – последний из великолепных мажорных и грязных людей Возрождения. Лермонтов огромен и омыт слезами, он бесконечно готичен<sup>8</sup>.

И еще более категорично:

А все удачники жуликоваты, даже Пушкин. А вот Лермонтов – это другое дело. Пушкин – дитя Екатерининской эпохи, максимального совершенства он достиг в ироническом жанре (Евгений Онегин). Для русской же души всё серьезно, комического нет, нет неважного. Пушкин гораздо проще России.

Белеет парус одинокий  
В тумане моря голубом...

А рядом – Граф Нулин и любовь к Парни! Как вообще можно говорить о Пушкинской эпохе? Существует только Лермонтовское время<sup>9</sup>.

Подобные высказывания были восприняты многими как «поход» против Пушкина, против «русской культуры, русской государственности, против всей новейшей истории России». В сознании «нового человека» существует что угодно, но только не Пушкин, – с иронией и горечью одновременно констатировал Георгий Иванов<sup>10</sup>. Тем не менее и он в опубликованном через двадцать лет своем последнем из эссе мемуарного характера отмечал удивительный дар прозорливости Лермонтова:

...В семнадцатом году, еще не понимая,  
Что с нами будет, что нас ждет,  
Шампанского бокалы поднимая,  
Мы весело встречали Новый Год –

тот самый год, о котором пророчествовал Лермонтов:

...Настанет год, России страшный год,  
Когда царей корона упадет...<sup>11</sup>

В 1930–1933 гг. в журнале «Числа» печатались избранные главы, а в 1935 г. издательством Парижского Объединения Писателей была издана отдельной книгой повесть Юрия Фельзена «Письма о

Лермонтове»<sup>12</sup>. Содержанием повести являются письма героя к покинувшей его женщине, благодаря которым он добивается ее возвращения. Первая рецензия была написана Владиславом Ходасевичем, который предостерегал читателей, что они «ошибутся, если предположат, что это – сборник статей о Лермонтове. <...> Тем не менее страницы, посвященные Лермонтову, составляют едва ли не самое удачное и ценное, что есть в книге»<sup>13</sup>. Как и Поплавский, Фельзен не избежал противопоставления Лермонтова и Пушкина, устами героя повести называя, среди прочего, прозу Пушкина «тускло-серую». Ходасевич справедливо замечает, «что если бы Пушкин действительно был таков, каким он представляется герою Фельзена, то его не любил бы так Лермонтов, о котором сам Фельзен с такой проницательностью говорит, что его главной любовью был Пушкин, а не Байрон».

Тем не менее безусловное поклонение творчеству Лермонтова как представителей «незамеченного поколения», так и их старших товарищей, за почти двадцать лет не вызвало желания донести его произведения до французского читателя. Впрочем, это не совсем так – попытка была, хотя и не совсем удачная.

Здесь хотелось бы заметить, что прошедшее без больших торжеств в октябре 1914 г. столетие со дня рождения поэта во многом оказалось схожим со столетием со дня его смерти, выпавшим на июль 1941 года. Несмотря на это, подготовка к юбилею началась за несколько лет до памятной даты.

В Болшево, под Москвой, на служебной даче НКВД 29 июля 1939 года, спустя сорок дней после приезда из Парижа в Москву, Марина Цветаева под своим французским переводом лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...» написала: «Кажется, хорошо». Переводить поэзию двух русских гениев с надеждой на публикацию, приуроченную к столетним юбилеям со дня их смерти, Цветаева начала во второй половине 1936 г. в Фонтенбло, под Парижем. Ни один из переводов во Франции опубликован не был.

В главе «Цветаева – до Елабуги» в книге «О поэтах и поэзии» историк культуры и филолог Владимир Вейдле писал:

...По моей рекомендации журнал доминиканцев с улицы Латур-Мобур («La Vie Intellectuelle») напечатал несколько ею переведенных пушкинских стихотворений (как раз и «Песня Председателя» была среди них). Я хотел их устроить в «Nouvelle Revue Française», но это мне не удалось. Дело в том, что Цветаева невольно подменила французскую метрику русской. Для русского уха переводы эти прекрасны, но как только я перестроил свое на французский лад, я и сам заметил, что для французов они хорошо звучать не будут. Не сказал я об этом Цветаевой, да и о неудаче в N.R.F.<sup>14</sup> не сообщил. Довольно было у нее обид и без того. Трудно ей жилось и в Париже, и в русском Париже...<sup>15</sup>

Впрочем, в беседе с Надеждой Городецкой<sup>16</sup> Марина Ивановна сама бросает вызов французскому уху:

Вот вам одно из основных правил французского стихосложения, в каждой грамматике найдете: нельзя, чтобы встречались две гласные, так, например, нельзя написать «tu es». Скажите на милость, почему «tuer» можно, а «tu es» – слово, которым Бог человека утвердил: ты еси, – сказать нельзя? Я с этим не считаюсь. Пишу, как слышу<sup>17</sup>.

Судьба переводов двенадцати стихотворений Лермонтова, выполненных в июле-августе 1939 г., сложилась ненамного удачнее: только три из них – «Предсказание», «И скучно, и грустно» и «Нет, я не Байрон...» – были опубликованы к 125-летию со дня рождения поэта в октябрьском номере журнала *Revue de Moscou*<sup>18</sup> в 1939 году; в этом журнале до своего ареста 27 августа того же года работала Ариадна, дочь Цветаевой. Полной же публикации переводов Пушкина и Лермонтова пришлось ждать почти три четверти века<sup>19</sup>.

И всё же для французского читателя, в массе своей не знакомого с журналом, рассказывавшим о победных достижениях страны Советов, лермонтовская юбилейная дата не осталась незамеченной. 25 сентября 1938 г. в литературном разделе газеты *L'Œuvre*<sup>20</sup> за подписью *L. Dx.* была опубликована небольшая статья под названием «Une traduction des poèmes de Lermontof» («Перевод стихотворений Лермонтова») с портретом поэта, выполненным художником Жаном Стараче (*Jan Starace*)<sup>21</sup>, которая начиналась следующими словами:

За три года до столетия со дня смерти знаменитого русского писателя Михаила Лермонтова (*Michel Lermontof*) Жерар де Лаказ-Дютье (*Gerard de Lacaze-Duthiers*)<sup>22</sup> попросил *Mme Olga Goutvein* перевести *Poèmes Liriques* (лирические стихи) этого автора для их издания в «*Bibliothèque de l'Artistocratie*»<sup>23</sup>.

Далее следовала краткая биография с анекдотичными подробностями хорошо известной «Маловской истории»<sup>24</sup>, якобы в результате которой Лермонтов был исключен из Московского университета, и приводился сказанный «не без ехидства» вывод Леона Шилера (*Léon Schiler*)<sup>25</sup>:

Любая карьера, для которой было необходимо университетское образование, была закрыта для Лермонтова. Что он должен был делать? У него был единственный выход – поступить на военную службу.

В действительности, 1 июня 1832 года Лермонтов сам написал заявление об увольнении из числа студентов, а затем уехал в Санкт-Петербург с намерением снова поступить в университет. Там ему отказали засчитать два года, проведенных в Московском университе-

те, предложив поступить снова на 1-й курс. Лермонтова такое долгое студенчество не устраивало, и по совету Алексея Столыпина-Монго он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Здесь надо заметить, что статья появилась за пять дней до Мюнхенского соглашения о разделе Чехословакии, и остается только надеяться, что у большинства читателей возникло желание дойти до напечатанного на шестой странице обзора литературы, увидев на первой странице сообщения о прошедшей там «с большим энтузиазмом» мобилизации, ультиматуме Гитлера и фотографии толпы резервистов перед зданием Восточного вокзала Парижа.

Впрочем, эта рецензия на книгу, изданную в 300 экземплярах более полугода назад, в феврале 1938 года, была не первой. Выход книги не остался незамеченным ведущими литературными критиками русской эмиграции. Первым был Юрий Мандельштам, который 27 мая в еженедельной газете «Возрождение» опубликовал небольшую статью под названием «Лермонтов по-французски»<sup>26</sup>. Вероятно, Мандельштаму не были известны переводы многих лермонтовских произведений, опубликованные за прошедшие сто лет, если он мог написать, что «до недавнего времени существовал лишь один, очень посредственный перевод ‘Героя нашего времени’», к которому в виде дополнения был приложен прозаический пересказ «Демона». Его же замечание, что «об ознакомлении французов с лермонтовской лирикой не приходилось и мечтать», совершенно справедливо. Отмечая «смелую инициативу» издателя и «исключительную добросовестность переводчицы», которая «собрала свыше пятидесяти»<sup>27</sup> стихотворений Лермонтова разных периодов», Мандельштам тем не менее удивлен присутствием «эпиграмм, набросков, место которым лишь в очень полных собраниях сочинений». Несмотря на то, что, по его мнению, в некоторых переводах Гутвейн попытка сохранить стихотворные особенности подлинника не удалась «даже в виде намека», критик с удовлетворением заключает, «что и достигнутым результатам можно удивиться». В тех же случаях, когда Гутвейн «сознательно отступает от размера подлинника и обращается к свободному стиху», как, например, при переводе «Паруса», несмотря на смысловое соответствие, «лермонтовский дух» был «совершенно искажен».

Опубликованная две недели спустя в «Последних новостях» рецензия Георгия Адамовича была безапелляционно резкой:

У французов прочно установилась традиция переводить стихи прозой. Читая переводы Лермонтова, идущие вразрез с этой традицией, убеждаешься, насколько она основательна! Впрочем, г-же Гутвейн недостает и добросовестности, не говоря уже о чувстве стиля. В том же «Выхожу один я на дорогу» текст настолько грубо искажен, что Лермонтову приписаны как раз те мысли, от которых он отказывается<sup>28</sup>.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что критику, вероятно, не понравился ни один из переводов, если в начале той же статьи, говоря о попытке «создать Пушкину широкую популярность на Западе» в прошедшем году (столетие со дня смерти поэта), он с грустью замечает, что «никакими юбилеями и чествованиями, к сожалению, не устранить того факта, что Пушкин непереводим».

Тридцать пять лет спустя на конференции славистов в Киеве французский переводчик Жан Бессон<sup>29</sup> (Jean Besson) во многом повторил критику того же перевода, выполненного без соблюдения установленной «традиции»:

Столкнувшись с неизбежными трудностями, переводчик должен попытаться разрешить их, сохраняя единство тона каждого переведенного стихотворения: принятый ритм, система рифм... Здесь, как пример, которого следует избегать, перевод знаменитого стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Начинается с четырех строк именно рифмы (route, lui, écoute, nuit), затем рифма становится редкой, даже исчезает, для того, чтобы вновь появиться в конце в плоских, во всех смыслах этого слова, рифмах (jour, amour, verdure, mixture). Либо рифмуется, либо не рифмуется – надо выбирать. Что же касается ритма (хорейный пятистопный в русском языке), во французском он не имеет аналога. Так какую пользу может извлечь из такого прочтения сбитый с толку читатель?<sup>30</sup>

Плоские рифмы или же «*тишу, как слышу*» французское ухо принять не может?.. В адресованной уже французскому читателю статье в разделе обзора иностранной литературы издававшегося в 1921–1939 гг. журнала *La Revue de France*<sup>31</sup> Юрий Мандельштам, вероятно, зная о «традиции переводить стихи прозой», тем не менее отмечает, что некоторые переводы «очень хорошо используют оригинальный ритм и стиль Лермонтова». Ольга Гутвейн «сумела сохранить во французском стихе многие особенности русской метрики, на первый взгляд, непримиримые с принципом силлабической просодии». Здесь Мандельштам «не мог удержаться от того, чтобы полностью не процитировать» особенно удачные, с его точки зрения, примеры переводов образцов поэзии «романтического вдохновения» («Когда волнуется желтеющая нива...») и «пессимистической и скептической философии» («Чаша жизни»).

В рецензиях как для русского, так и для французского читателя наиболее слабым местом Мандельштам считает «отсутствие более или менее серьезного биографического и литературоведческого исследования, которое помогло бы французскому читателю понять произведения Лермонтова». Мандельштам полагает, вероятно справедливо, что редактор Лаказ-Дютье, написавший предисловие, «подлинника не знает и судит о Лермонтове с чужих слов, чем и хочется объяснить некоторые его большие промахи. Если бы предисловие написала переводчица, их, вероятно, было бы меньше».

2 августа 1939 г. в письме Игорю Стравинскому Мандельштам писал:

Очень мне тяжело, что я до сих пор не вижу возможности поехать к Киттиньке<sup>32</sup>. Надеюсь, что книга о Лермонтове с моим участием даст мне возможность осенью – в конце сентября или октября...<sup>33</sup>

К счастью, вторая книга переводов лирики Лермонтова, в которую вошли 38 стихотворений поэта, была опубликована не «слишком поздно, в 1942 году», а в 1939 году<sup>34</sup>, как и указано в выходных данных. Это удалось подтвердить после запроса в Национальную библиотеку Франции, которая сообщила, что 1942-й является лишь годом внесения книги в картотеку<sup>35</sup>.

В предисловии, которое более уместно назвать эссе, на пятнадцать страниц Мандельштам не только подробно рассказал о жизни и творчестве Лермонтова, но и вновь отметил, насколько трудно переводить его произведения на французский язык. Мандельштам писал:

...сами принципы двух стихосложений совершенно разные – одно силлабическое, основанное исключительно на счете слогов, а другое тоническое, имеющее в своей основе сочетание ударных или безударных слогов, <...> многие переводчики обходили эти ловушки, прибегая к прозе или свободному стиху <...>, но в этих случаях неизбежно исчезновение поэтического дыхания оригинала, этого «духовного трепета», который всегда остается признаком подлинного поэта.

И далее задает вопрос: «...должны ли мы поэтому отчаиваться, что русские поэты когда-либо будут прочитаны и оценены во Франции?», – на который сам же и отвечает: «у нас возникло бы сильное искушение поверить в это, если бы несколько счастливых исключений не удержали нас от таких чересчур пессимистичных выводов».

Одним из таких исключений Мандельштам считает вошедшие в книгу переводы, являющиеся, по его мнению, «отличным началом работы по сближению двух стихотворных стилей». При этом критик сожалеет, что Ольга Гутвейн ограничилась переводом «лирических произведений (и даже с некоторыми досадными упущениями), оставив в стороне великие романтические поэмы, среди которых есть и 'Демон' и особенно 'Мцыри'».

Вступление к книге было написано в декабре 1938 года Марком Шено (Marc Chesneau)<sup>36</sup>, который на тот момент был вице-президентом Общества Поэтов Франции (Société des Poètes Français, SPF), основанного к столетию со дня рождения Виктора Гюго еще в 1902 году. Он, в отличие от Лаказ-Дютье, не только знал творчество Лермонтова, но, судя по всему, был также хорошо знаком с современной русской поэзией:

Как справедливо заметил молодой русский писатель большого таланта, пишущий на французском языке, Dorian Raitzун<sup>37</sup>, страшная судьба преследует русскую поэзию. После Пушкина и Лермонтова Блок, певец прекрасной незнакомки под снежной маской, трагически погиб. Есенин, видя бедствия своей страны и моральное рабство, в отчаянии покончил с собой. Его нашли повешенным в маленькой комнате. Маяковский, который «пригласил солнце на обед, на чашку чая»... застрелился, оставив короткое стихотворение «Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид».

Бальмонт еще жив<sup>38</sup>, но голодает. Я бы не хотел закончить этот славный и печальный список, не упомянув замечательного Николая Гумилева, погибшего в 1921 году в подвале под ударами прикладов чекистов, который сказал, что «русскому поэту не приличествует жить дольше Пушкина»<sup>39</sup>.

Как и Мандельштаму, Марку Шено понравились переводы «родившейся в России, подданной Польши» Ольги Гутвейн, которая, «не будучи профессиональным переводчиком», сумела передать «все нюансы» поэзии Лермонтова.

Почему же после всех, во многом довольно полярных оценок переводов Лермонтова как русской, так и французской критикой, имя Ольги Гутвейн оказалось прочно забытым? Единственное упоминание о ней можно найти в списке имен первого тома литературной критики Юрия Мандельштама в связи с вошедшей туда статьей «Лермонтов по-французски»<sup>40</sup>:

Гутвейн, Ольга (отчество неизвестно, фр. Olga Gutwein, 1896–1942) – известна как переводчица Лермонтова на французский язык. Жила и похоронена во Франции.

К сожалению, здесь есть неточности, которые мне бы хотелось исправить, а также поделиться некоторыми подробностями биографии Ольги Гутвейн. В отличие от безрезультатного поиска имени по-французской транслитерации *Goutvein*, немецкое *Gutwein* дало результат в базе данных французского Портала Центра Документации Памяти Жертв Катастрофы (Portail du Centre de Documentation du Mémorial de la Shoah)<sup>41</sup>.

Prénom, nom (имя, фамилия):	Olga GUTWEIN
Date de naissance (дата рождения):	23/02/1896
Année de naissance (год рождения):	1896
Lieu de naissance (место рождения):	PETROGRAD
Nationalité (гражданство):	Polonais
Ville (город):	PARIS
Arrondissement (район):	15
Département (отделение):	75
Pays (страна):	FR
Numéro de convoi (номер конвоя):	№ 15
Date de départ du convoi (дата отправления конвоя):	05/08/1942

Lieu de départ du convoi (место отправления конвоя): Beaune la Rolande  
Camp de destination (место назначения): Auschwitz

Поиск подошел к концу на сайте конвоев, в составе которых несчастных отправляли на Восток в лагерь уничтожения<sup>42</sup>.

Olga GUTWEIN est née BERNSTEIN, en 1896 à Saint-Petersbourg (Russie). Elle est venue avec sa famille en 1920. Elle habitait 2 Square Desaix, Paris 15 (Paris). GUTWEIN Olga n'a pas survécu. (Ольга Гутвейн, урожденная Берштейн, 1896 г.р., Санкт-Петербург: Приехала с семьей в 1920 году. Проживала по адресу 2 Square Desaix, Paris 15 (Париж). Гутвейн Ольга не выжила.)

Адресная и справочная книга «Весь Петроград» на 1917 год сообщает только об одной Ольге (Григорьевне) Бернштейн, проживающей в построенном тремя годами ранее (по проекту архитекторов Л.Н., А.Н., Ю.Ю. Бенуа и А.И. Гунста) доме 26-28 по Каменноостровскому проспекту (Дом трех Бенуа) вместе с родителями – отцом Григорием Абрамовичем Бернштейном, директором правления акционерного Общества «Строитель», и матерью Софьей Николаевной.

В первом томе «Российское Зарубежье во Франции, 1919–2000»<sup>43</sup> сведения об отце Ольги Бернштейн несколько дополнены, а его имя изменено на Георгий, вероятно потому, что в эмиграции он стал Georges Bernstein.

БЕРНШТЕЙН Георгий Абрамович (1862 – 21 октября 1938, Франция, пох. на клад. Пер-Лашез в Париже). Инженер путей сообщения, коммерции советник. Бывший директор правления акционерного Общества «Строитель», член правления акционерного Общества механических и жестяных заводов и правления Общества финляндского легкого пароходства. Домовладелец в С.-Петербурге (К тому же – владелец типографии, член хозяйственного правления Петроградской синагоги. – С.К.). С начала 1920-х обосновался в Париже. Работал инженером. Погиб в результате несчастного случая.

В 1905 году по заказу Григория Абрамовича было закончено строительство доходного дома по 2-й Рождественской, 106 / 3-й Рождественской, 9, спроектированного одним из лучших архитекторов петербургского модерна А.С. Хреновым. В этом же доме располагались акционерное Общество «Строитель» и типография – «Печатня ленточных контрольных билетов». Федор Грибков, петербургский филолог, краевед и экскурсовод, автор книги о парадных эпохи модерна, говорит:

Перед тем, как завести своих экскурсантов в этот дом, я всегда предупреждаю: когда зайдете внутрь, вы, так сказать, пересечете экватор и ничего более красивого в петербургском модерне не найдете. И действительно:



парадная поражает своим великолепием и сохранностью всех без исключения элементов<sup>44</sup>.

Мне неизвестно, какое образование получила Ольга Бернштейн, но смею предположить, что родители сделали все для того, чтобы оно было достойным детей ее круга. Хорошо знавший Ольгу Гутвейн поэт, писатель и журналист Эмиль Муссе (Émile Moussat) писал<sup>45</sup>, что ее французский был настолько хорош, что, не достигнув и пятнадцати лет, она делала переводы популярного в то время в России, а теперь совершенно забытого Франсуа Коппе (François Coppée)<sup>46</sup>. В той же небольшой статье памяти Ольги Гутвейн Муссе сообщал, что она получила польское гражданство в результате замужества.

Зная это, не составило труда найти в базе данных Портала проживавшего по тому же адресу Georges GUTWEIN, которого постигла та же трагическая участь.

Prénom, nom:	Georges GUTWEIN
Date de naissance:	07/07/1881
Année de naissance:	1881
Lieu de naissance:	VARSOVIE
Nationalité:	Polonais
Profession:	Chef de contentieux (главный юрист компании)
Adresse:	2 square Desaix
Ville:	PARIS
Arrondissement:	15
Département :	75
Pays:	FR
Numéro de convoi:	N°50
Date de départ du convoi:	04/03/1943
Lieu de départ du convoi:	Drancy
Camp de destination:	Sobibor

Тот же «Весь Петроград» сообщает о Гутвейне Георгии Яковлевиче, присяжном поверенном и стряпчем, проживающем по Захарьевской улице, дом 16.

Вероятнее всего, их брак был заключен еще в «красном» Петрограде, до эмиграции во Францию в 1920 году. Получение же гражданства молодой польской республики<sup>47</sup> уроженцем Варшавы и его женой было вполне логичным (что, безусловно, выгодно отличало их от подавляющего большинства русских эмигрантов, проживавших во Франции десятилетиями по «нансеновским паспортам»).

Первый сборник любовной лирики, вышедший в конце 1926 года под несколько выпяренным названием *Rapsodies d'un cœur slave* («Рابسодии славянского сердца»)<sup>48</sup> и посвященный «памяти ушедших», не остался незамеченным, и менее через год был переиздан<sup>49</sup> с добавлением новых стихов и вступительной статьей поэта,

автора песен и искусствоведа Алькантер де Брама (Alcanter de Brahm)<sup>50</sup>, которого спустя сорок лет после первого знакомства с русской литературой, вероятно, заинтересовал молодой автор-эмигрант, пишущий по-французски. Де Брам был руководителем основанного в 1920 году бывшей художницей театра *l'Odéon (Одеон)* Джейн Хайрем (Jane Hugem) «Кружка искусств и литературы» (*Cercle Arts et Lettres*), собрания которого, в большинстве своем, проходили в Латинском квартале (*Le Quartier Latin*) на бульваре Сен-Жермен (*Boulevard Saint-Germain*) в Каво дю Роше (*Le Caveau du Rocher*). В газете *Comœdia*<sup>51</sup>, регулярно сообщавшей о заседаниях Кружка, нередко встречается имя Ольги Гутвейн, принимавшей в них самое активное участие. По случаю юбилейного, трехсотого собрания Кружка в мае 1938 года Джейн Хайрем, которая являлась его президентом, была вручена большая золотая медаль *La Renaissance Française* (Французский Ренессанс)<sup>52</sup>.

В 1928 году Ольга Гутвейн стала членом Общества Литераторов Франции (*Société des gens de lettres de France, SGLDF*)<sup>53</sup>. В том же году ее первая публикация в журнале *Poésie* («Поэзия»)<sup>54</sup> заканчивается на оптимистичной ноте: «Je regarde le monde avec des yeux nouveaux!» (Я смотрю на мир новыми глазами!). Вскоре после этого следует перевод английского сборника сонетов религиозной эротики Люцио Дорнано (Люцио Дорнано) *Étreintes sacrilèges (messes païennes)* («Кошачьи объятия (языческие мессы)»)<sup>55</sup> и начало работы над переводами лирики Лермонтова, о чем сообщает «Ежегодник Общества Литераторов» за 1931 год<sup>56</sup>. Из того же «Ежегодника» становится известно, что Ольга Гутвейн была сотрудником выходившего в Париже ежемесячного журнала *Le Foyer des Arts* («Очаг искусства»). В 1932 году она становится членом Общества Поэтов Франции и Общества музыкальных авторов, композиторов и издателей (*Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SACEM*)<sup>57</sup> и Союза журналистов и писателей (*Le Syndicat des journalistes et écrivains*)<sup>58</sup>.

Думаю, с определенной долей уверенности можно сказать, что в отличие от значительной части русских эмигрантов, намеренно отгородивших себя невидимой стеной от повседневной жизни французского общества и мечтавших лишь о скорейшем крахе большевистского режима и о возвращении в Россию, семейная чета Гутвейн сравнительно быстро нашла в межвоенной Франции свою вторую родину. Но, к сожалению, судьба приготовила им страшный удар. 30 ноября 1930 года не стало их дочери Антуанетты (*Antoinette*), которой за неделю до этого исполнилось всего десять лет. В предисловии к сборнику стихов «Памяти Антуанетты Гутвейн»<sup>59</sup>, который безутешные родители издали через два года, М. Delavigne<sup>60</sup> писал:

Какое горе для отца и матери, безмерно любивших тебя, знать, что их дорогого ребенка больше нет! Ты, которая приходила в свой класс всегда первой, с радостью в глазах и улыбкой на устах, была прилежной в учебе, хорошим другом для своих маленьких товарищей, оставила после себя аромат прекрасной детской души. Не потому ли Бог, наш Отец, хотел, чтобы ты была рядом с ним?... Пути Господни неисповедимы... Да будет воля Твоя! Прощаясь, мы просим тебя, милый малыш, береги своих родителей, всех тех, кто любил тебя и собрал здесь дань живых воспоминаний о твоей прекрасной, но слишком короткой жизни.

Из двенадцати человек, оставивших стихи в этом сборнике, мне удалось идентифицировать лишь семерых. Из них членами «Кружка искусств и литературы» были только трое: почетный президент (président honoraires) Алькантер де Брам и исполнительные секретари (comité d'action) поэты Мариус Брубач (Marius Brubach) и Огюст Юге (Auguste Huguet). Известный скульптор и художник Жан-Жорж Ашар (Jean-Georges Achard)<sup>61</sup>, хорошо знавший Ольгу Гутвейн и ее семью, также оставил очень трогательное четверостишие. Во второй части книги – стихи глубоко скорбящей матери, которые невозможно читать без слез.

Новый сборник стихов Ольги Гутвейн *Sommets et Rivages* («Вершины и берега»)<sup>62</sup> вышел после ее путешествия по департаменту Савойя (Savoie), французским и итальянским кантонам Швейцарии и северной Италии, тиражом 500 экземпляров с иллюстрациями Жана Стараче, который, начиная с этой книги, иллюстрировал все последующие ее сборники. Книга начинается с признания: «Je laisse un peu de mon cœur / Par les chemins où je passe» («Я оставляю частичку своего сердца на дорогах, по которым прохожу»).

Альпийские пейзажи и разбросанные в них горные деревушки, Шильонский замок, Женевское озеро, города кантона Тичино, Милан с его знаменитым собором, – всё нашло свое отражение. Несколько в стороне, и не только географически, стоит путешествие на берег Ла Манша, где «La mer est agitée, et la vague écumante!...» («Море бушует и пенится волна!...»).

Имеющийся у меня экземпляр книги был подписан автором в июне 1936 года в Париже поэту Люсьену Банвиллю д'Хостелу (Lucien Banville d'Hostel)<sup>63</sup>.

В то же время Ольга Гутвейн регулярно печатала свои стихи в издававшемся в 1930–1935 годах литературном журнале *La Parenthèse*, редактор которого поэт Али-Берт<sup>64</sup> включил три из них и краткую биографию автора в «Антологию поэтов-неоклассиков»<sup>65</sup>, и в журнале *Corymbe*, который издавала Ноэль Сантон (Noël Santon)<sup>66</sup> и редактировал Пьер Лепроон (Pierre Leprohon)<sup>67</sup>. В юбилейном Пушкинском году номер журнала за июль-август-сентябрь 1937 года открывался переводом шедевра русской поэзии стихотворения

«Зимний вечер» («Soir d'iver») <sup>68</sup>. В том же выпуске редакция журнала поздравляет автора перевода с выходом новой книги *Lumière dans le Temple* («Свет в Храме») <sup>69</sup>, удостоенной награды «фиолетовой ленты» (le ruban violet).

Во вступительной статье к книге «принц баллады» Эрнест Риу (Ernest Rieu) <sup>70</sup> писал:

Несмотря на то, что некоторые стихи в «Рапсодии...» и «Новой рапсодии...», написанные верлибром, нельзя назвать удачными, мы должны восхищаться выбором г-жи Гутвейн классической формы в то время, когда многие следуют расслабленной просодической. Наиболее естественной формой является сонет, который, как мы знаем, ограничен очень строгими классическими правилами. В этих двух сборниках мы чувствуем пылкое сердце автора, подлинный накал страстей. Также талантлива ее описательная поэзия, открывшаяся нам после поездки автора по разным странам в сборнике «Вершины и берега», где в очаровательных коротких рассказах даны впечатления от встреч с новыми местами. Гутвейн посещает ряд поэтических обществ, где читает свои стихи, которые всегда вызывают положительный отклик. Многие из этих стихов были опубликованы в ежедневных и периодических изданиях и удостоены призов на поэтических конкурсах.

...И вот, наконец, четвертая книга стихов г-жи Гутвейн «Свет в Храме». Это блестящая серия сонетов, в которой она возвращается к теме любви. Любовь – вечная тема в поэзии, к которой всегда можно обратиться, если добавить немного личного. В этих сонетах, так удачно названных «Gemmes» <sup>71</sup>, мысль поднимается до высоты Автора «des Nuits» <sup>72</sup>. Сердце автора «Рапсодии...» здесь изливается то криками радости, то болью одиночества и предательства. Эта книга понравится не только женщинам, которых завораживает все, что связано с любовью, но и мужчинам. Разве мы не знаем королей, предпочитающих престолу любовь к женщине? <sup>73</sup>

...Да, Любовь преобладает над всем. И это ли не убежище от пошлости жизни, особенно в такие времена, как наши! Итак, я повторяю слова персонажа из [пьесы] Мюссе <sup>74</sup>: «Все мужчины лжецы... все женщины вероломны, хитры... но самое святое и возвышенное в мире – это союз двух таких несовершенных существ. Мы часто обманываемся в любви... несчастны, но любим. И когда, находясь на краю могилы, мы оборачиваемся, чтобы оглянуться назад, мы говорим себе: я часто страдал, иногда ошибался, но я любил...»

Здесь надо заметить, что цикл сонетов *Gemmes* является лишь второй из трех частей книги. Начинается же она с поэмы *Les Heures* («Часы»), положенной на музыку Commandant Auguste Dupuy-Albarède <sup>75</sup>. В первой части автор посвящает три стихотворения трагедиям, постигшим бельгийскую королевскую семью: гибели короля Альберта I (Albert I) 17 февраля 1934 года во время одного из его высокогорных восхождений в Арденнах (Ardenne) близ деревни Марш-ле-Дам (Marche-les-Dames) в провинции Намюр (Namur) и жены его сына короля Леопольда III (Léopold III), королевы Астрид Шведской (Astrid de Suède), погибшей 29 августа 1935 года в резуль-

тате падения автомобиля королевской четы в овраг близ деревни Кюснахт-ам-Риги (Küssnacht am Rigi) на берегу Фирвальдштетского озера (Vierwaldstättersee), известного также как Люцернское, в Швейцарии. Стихотворение «Возвращение хризантем» – к «первой годовщине со дня смерти моего большого друга скульптора Жан-Жорж Ашара» как «свидетельство искренней братской дружбы» и «благодарности за его очаровательное гостеприимство», проявленное 14 июля 1936 года, в день взятия Бастилии; одно из стихотворений посвящено поэту Люсьену Банвиль д'Хостелу. Завершает первую часть книги стихотворение, посвященное памяти «первой жертвы войны» капралу Пежо<sup>76</sup>. Третья часть сборника под названием *Poèmes d'Italie* («Стихи из Италии») является поэтическим отчетом о посещении в августе 1936 года Итальянской Ривьеры, Венеции и Вероны.

В коротком предисловии к вышедшей в 1939 году книге любовной лирики *Fresques lumineuses* («Легкие фрески»)<sup>77</sup> поэт и искусствовед Айванго Рамбоссон (Yvanhoé Rambosson)<sup>78</sup> писал, что ее автор

...раскрывается нам во всей пылкости и остроте чувств. Эта женщина, которая любила и страдала, нашла отголоски, соответствующие ее душевному состоянию, в природе. Именно эти лишенные высокопарности стихи она представляет нам сегодня. Мы будем их читать, наблюдая за ручьем в лесу, проплывающим по небу облакам.

*Fresques lumineuses* оказалась последней книгой Ольги Гутвейн. Последнюю же свою публикацию, стихотворение *Dans la Forêt (forêt Fontainebleau)* («В лесу (в лесу Фонтенбло)»), в ежегоднике журнала поэзии *Les Cahiers poetiques de Corymbe* за 1942 год, ей увидеть не довелось. В том же году ее имя вошло в изданную в Нью-Йорке библиографию женщин-поэтов Франции 20-го века<sup>79</sup>, в которой, к сожалению, отсутствуют упоминания о первой и последней книге стихов и о переводах лирики Лермонтова. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Ольге Гутвейн было бы приятно узнать об этом издании, открывшем ее имя англоязычному читателю.

В уже упоминавшейся короткой статье памяти Ольги Гутвейн в «Антологии писателей, погибших в войне 1939–1945 гг.» Эмиль Муссе писал:

...она, которая была совершенно чужда политике, тяжело переживавшая происходящее вокруг, сделала поэзию своим убежищем. Но она была еврейской, родившейся в России, замужем за поляком, и это стало известно немцам. Они пришли арестовать ее 15 июля 1942 года в пять часов утра и увезли.

Муссе, вероятно, не знал, что, согласно приказу немецких вла-

стей от 21 сентября 1940 года, еврейское население оккупированной территории было обязано пройти процедуру регистрации в префектурах полиции. Около 150000 евреев было зарегистрировано в департаменте Сена, включая Париж и его пригороды. 110 человек создали картотеку – на синих карточках заносились данные о евреях, родившихся во Франции, на оранжевых – за границей. Руководил этим глава службы по «иностранным и еврейским делам» при префектуре полиции Парижа Андре Тюлар (André Tulard)<sup>80</sup>. У него уже был опыт по созданию до войны картотеки членов французской компартии. Детально спланированная генеральным секретарем полиции режима Виши Рене Буске (René Bousquet)<sup>81</sup> и его подчиненными, операция по аресту евреев-иностранцев, в которой приняли участие около 5000 полицейских, началась не 15, а 16 июля 1942 года в четыре часа утра и продолжалась два дня. В результате было арестовано 13152 человека, 8160 из которых – 4115 детей, 2916 женщин и 1129 мужчин – были доставлены на зимний велодром Вель д'Ив (Vél d'Hiv – vélodrome d'Hiver)<sup>82</sup>, имевший стеклянную крышу, выкрашенную в синий цвет для маскировки от налетов авиации союзников. В условиях июльской жары за закрытыми окнами, при отсутствии работающих туалетов – из десяти половина была затоплена, а другая – заблокирована, и был лишь один кран питьевой воды, некоторые покончили жизнь самоубийством, а по тем, кто пытался бежать, огонь открывался без предупреждения. Волонтеры Красного Креста, которым было разрешено пройти на велодром, принесли с собой немного еды и воды, а несколько врачей и сестер милосердия старались, по мере возможности, оказать первую помощь. Через три дня на тех же зеленых и бежевых автобусах Рено (Renault), которые доставили несчастных на велодром, их начали вывозить на вокзал Аустерлиц, а затем отправлять в пересыльные лагеря Питивье (Pithiviers), Бон-ла-Роланд (Beaune-la-Rolande) и Дранси (Drancy). Ольга Гутвейн была депортирована из Бон-ла-Роланд в Аушвиц 5 августа 1942 года конвоем, состоявшим из 1014 человек – 425 мужчин и 589 женщин, включая подростков обоого пола старше 15 лет. По прибытии конвоя 704 человека были сразу отправлены в газовые камеры; из этой тысячи только шестеро дожили до окончания войны.

Ровно шесть лет спустя, 5 августа 1948 года, в газете *Les Lettres Françaises*<sup>83</sup> появилось сообщение о том, что президент Ассоциации писателей ветеранов войны Пьер Шолен (Pierre Chaulaine) прислал в редакцию список погибших на войне писателей, чьи имена будут высечены в мраморе в здании парижского Пантеона. Читателям предлагалось «указывать на возможные упущения и ошибки». В списке из 115 человек рядом с именами известного писателя и военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери, Рене Блюма (René Blum), одного из основателей и художественного руководителя Русского балета

Монте-Карло, поэта и художника Макса Жакоба (Max Jacob), трое были русскими эмигрантами – Владимир Былинин (Wladimir Bylinine)<sup>84</sup>, автор единственного романа «Антихрист» (*L'Antéchrist*) (который, хотелось бы надеяться, когда-нибудь дойдет до русского читателя), Ирина Немировская (Irène Némirowski)<sup>85</sup> и Ольга Гутвейн (Olga Goutwein). Транслитерация фамилии Гутвейн стала представлять нечто среднее между французской Goutvein и немецкой Gutwein. Здесь надо заметить, что по непонятной причине составители списка решили придерживаться немецкой транслитерации, использовавшейся в документах нацистов (Например, Ирина Немировская до войны издавала свои книги под именем Irène Némirovsky). Позднее список был дополнен 82 именами, включая еще трех русских эмигрантов – участников Сопrotивления Борис Вильде (Boris Vildè)<sup>86</sup>, Анатолий Левицкий (Anatole Lewitzki) и Валентин Фельдман (Valentin Feldmann)<sup>87</sup>. 2 июля 1949 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски как «дани уважения всем писателям, павшим за Францию во время войны 1939–1945 гг.» Список разделен на три части – *morts au champ d'honneur* (погибшие на фронте), *morts pour la France* (павшие за Францию), *morts sous les drapeaux* (умершие, находясь на службе в армии)<sup>88</sup>. Раздел «погибших за Францию», в котором 154 человека, включает писателей, погибших в Сопrotивлении и при депортации. Если первые активно боролась за скорейшее освобождение своей страны, то вторых она предала. Первым президентом республики, признавшим это в своем выступлении 16 июля 1995 года, в 53-ю годовщину трагедии, вошедшей в историю современной Франции под названием *rafle du Vél'd'Hiv* (облава Вельд'Ив), был Жак Ширак, которому в 1942 году было всего 11 лет.

Франция, родина Просвещения и прав человека, гостеприимная страна, дающая убежище страждущим, в тот день совершила непоправимое. Нарушив свое слово, она передала палачам тех, кто находился под ее защитой. Франция в неоплатном долгу перед жертвами.

Знал ли Георгий Адамович о трагической судьбе автора так не понравившихся ему переводов лирики Лермонтова? Вряд ли. Но смею предположить, что если бы знал, то скорбный список, которым начинается написанная с большим душевным теплом статья «Смерть и время», опубликованная вскоре после окончания войны в первом и единственном выпуске «Русского сборника»<sup>89</sup>, был бы дополнен и ее именем среди имен русских эмигрантов, оставивших свой след во французской литературе:

Юрий Фельзен – в Германии, пропал без вести.  
И.И. Бунаков – в Германии, пропал без вести.  
Мать Мария – в Германии, пропала без вести.

Юрий Мандельштам – в Германии, пропал без вести.

Борис Вильде – расстрелян.

Мих. Горлин – в Германии, пропал без вести.

Раиса Блох – в Германии, пропала без вести...

Обрываю список, не закончив его.

Все эти люди, наши друзья или наши литературные товарищи, – настоящие мученики. Мученики. Слово, которое еще недавно казалось отжившим и выветрившимся. Слово из каких-то баснословных далей: львы, арены. Слово, требовавшее усилия воображения. Слово, которому наш век – в числе прочих своих достижений – полностью вернул значение и смысл.

К сожалению, многое в биографии Ольги Гутвейн остается неизвестным. Пережил ли войну кто-нибудь из ее родственников? Сохранился ли ее литературный архив? Мне не удалось найти и ее фотографию... Безусловно, лучшей памятью об Ольге Гутвейн было бы издание книги ее стихов, выполненных профессиональным переводчиком французской литературы.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Столыпин Алексей Аркадьевич (май 1816, Санкт-Петербург – октябрь 1858, Ливорно). Лермонтову, который был на два года его старше, приходился двоюродным дядей. В 1835 г. выпущен из Школы юнкеров в Лейб-гвардии гусарский полк. Вместе со своим однополчанином Лермонтовым в 1835–1836 годах и 1838–1839 годах жил в Царском Селе. Был секундantom Лермонтова на дуэли с сыном французского посла Эрнестом де Барантом 18 февраля 1840 года. Вместе с Лермонтовым участвовал в экспедиции в Малую Чечню, а с 20 мая 1841 года жил вместе с ним в Пятигорске. Столыпин был негласным секундantom на дуэли поэта с Н.С. Мартыновым. В Крымской войне принимал участие в обороне Севастополя, где встречался с Л.Н. Толстым.
2. «La Démocratie pacifique» («Мирная демократия») – «журнал, представляющий интересы правительств и народов», выходивший с 1 августа 1843-го под разными названиями до 1870 года, являлся продолжением журнала *Le Phalanstère*, основанного в июне 1832 года с целью распространения идей французского философа, «социалиста-утописта» Charles Fourier (Шарля Фурье).
3. Луи-Антуан Леузон Ле Дюк (Léouzon Le Duc, 1815–1889), французский журналист, писатель, историк и дипломат. Первый переводчик финского народного эпоса «Калевала». В 1846 г. по заданию французского правительства помог найти на берегу Онежского озера порфиновый камень для саркофага Наполеона в Доме Инвалидов.
4. «L'Illustration» – первый издававшийся во Франции еженедельный иллюстрированный журнал, который, начиная с 1906 года, стал распространяться во многих странах мира. Первый номер журнал вышел 4 марта 1843 года, его издание, продолжавшееся во время оккупации, было остановлено 6 мая 1944 года.
5. Луи Виардо (31 июля 1800, Дижон – 5 мая 1883, Париж), французский писатель, переводчик, искусствовед, театральный деятель. Он внес большой



вклад в популяризацию русской и испанской литературы во Франции, автор перевода «Дон-Кихота». Будучи человеком либеральных взглядов, Виардо совместно с Жорж Санд и философом Pierre Leroux (Пьер Леру) в 1841–1848 гг. издавал политический и литературный журнал социалистической направленности «La Revue Indépendante».

6. *Карбоне, А.* Три французских перевода «Героя нашего времени». Лермонтовские чтения. Санкт-Петербург: АНО Россия «Лики». 2020. С. 31-46.

7. *Струве, П.Б.* Дух и Слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж: YMCA-Press, 1981. С. 166-167.

8. *Поплавский, Борис.* По поводу... Париж: «Числа». 1931, № 4. С. 171.

9. *Поплавский, Борис.* О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции. Париж: «Числа». 1930, № 2/3. С. 309-310.

10. *Иванов, Георгий.* О новых русских людях. Париж: «Числа». 1933, № 7/8. С. 186.

11. *Иванов, Георгий.* Закат над Петербургом. Париж: «Возрождение». 1953. № 27. Цитируя, вероятно, Лермонтова по памяти, Иванов ошибочно заменил «черный» на «страшный» год.

12. *Фельзен, Ю.* Письма о Лермонтове. Издательская коллегия парижского объединения писателей, 1936. Фельзен Юрий (наст. имя Фрейдентштейн Николай Бернгардович. 24 октября 1894, Санкт-Петербург – 13 февраля 1943, Освенцим). Незадолго до его рождения отец, который был врачом в Риге, получил разрешение на проживание с семьей в Петербурге, вне черты еврейской оседлости. После окончания гимназии поступил на юридический факультет Московского университета, а с началом войны – в Михайловское артиллерийское училище. В октябре 1918 года эмигрировал с женой в Латвию, в конце 1921 года – в Берлин, а в 1924 году переселился в Париж, где прожил до начала немецкой оккупации. Работал в банке, активно участвовал в литературной жизни русского Парижа – посещал кружок «Кочевье» и участвовал в заседаниях литературного клуба «Зеленая лампа» в доме Мережковских. В 1935 году был избран председателем Объединения писателей и поэтов. После оккупации Парижа скрывался от депортации, арестован в начале февраля 1943 года при попытке перехода швейцарской границы и отправлен в лагерь Дранси, из которого 11 февраля 1943 года депортирован конвоем № 47 в Аушвиц, где сразу по прибытии был отправлен в газовую камеру. Поскольку в творчестве Фельзена преобладала техника «потока сознания», в литературных кругах его называли «русским прустинцем».

13. *Ходасевич, Владислав.* Книги и люди. Париж: «Возрождение». 26 декабря 1935, № 3858. С. 3-4.

14. *La Nouvelle Revue française* – французский литературный журнал, основанный в 1906 г. и пользовавшийся огромным влиянием, особенно в период между мировыми войнами. Не издавался в годы Первой мировой войны, а также после освобождения Франции в 1944 г. до 1953 г., в связи с обвинениями в коллаборационизме. С 1999 г. выпускается ежеквартально.

15. *Вейдле, Владимир.* О поэтах и поэзии. YMCA-Press, Париж, 1973. С. 72.

16. Городецкая Надежда Даниловна (28 июля 1901, Москва – 24 мая 1985, Витни, Англия). Писатель, философ, журналист. В 1919 через Константинополь эмигрировала в Югославию. Училась в Загребском университете. В

1924 переехала во Францию. Защитила диссертацию по богословию в Оксфорде. Доктор философии (1944). Профессор Ливерпульского университета (1956–1968).

17. *Городецкая, Надежда*. В гостях у Марины Цветаевой. «Возрождение», №2104. Париж, 7 марта 1931 года. С. 4. «Tu es» – «ты есть», «tu es» – «убить» (фр.)

18. *Клюкин, Ю.П.* Иноязычные произведения Марины Цветаевой. М.: «Филологические науки». 1986, № 4. С. 66-73. В обзоре «Ариадна Эфрон в *Revue de Moscou*» научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Е.Б. Коркина указывает лишь на «три фрагмента стихотворений». [https://dommuseum.ru/revue\\_de\\_moscu.pdf](https://dommuseum.ru/revue_de_moscu.pdf)

19. *Цветаева, Марина*. Свободная стихия. Стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова в переводе на французский язык. Составитель Валерий Босенко. М.: Киновек. 2013.

20. Тираж основанной в 1904 г. *L'Œuvre* в 1939 г. составлял 274 тысячи экземпляров. Первой напечатанная в 1916 г. антивоенный роман Анри Барбюса «Огонь», а в 1936 г. поддерживавшая политику Народного Фронта, газета во время немецкой оккупации встала на позиции коллаборационизма. После освобождения Франции ее выпуск был остановлен.

21. Жан Стараче (1888–1947) был сыном известного художника и графика, создателя образа Фантомаса Джино Стараче (Gino Starace. 1859–1950).

22. Жерар де Лаказ-Дютье (26 января 1876, Бордо – 3 мая 1958, Париж), французский писатель, художественный критик, пацифист и анархист. С 1896 г. до начала Первой мировой войны сотрудничал во многих периодических изданиях. Был художественным критиком символистского журнала *La Plume*. Опубликованная им в 1906 г. книга *L'Idéal Humain de l'Art* положила начало движению *Artistocracy*, лозунгом которого было «Все люди должны быть художниками». В 1913-м стал одним из основателей анархистского журнала *L'Action d'Art*. В основанной им в 1930 г. *Bibliothèque de l'Artistocratie* за 32 года было издано 140 книг. До Второй мировой войны был активным членом Международной лиги борцов за мир, а после войны – Партии пацифистов-интернационалистов.

23. *Lermontoff, Michel*. Poèmes lyriques. Traduit du russe par Olga Goutvein. R. Debresse, Paris, 1938. Collection: Bibliothèque de l'artistocratie, 86.

24. *Герцен, А.И.* Былое и думы. Берлин: «Слово». 1921 г. Том 1. С. 166-172.

25. Леон Войцех Ежи Шиллер де Шиндельфельд (14 марта 1887, Краков – 25 марта 1954, Варшава), польский театральный режиссер, сценарист, композитор. Во время войны после репрессий, вызванных убийством в марте 1941 года актера-коллаборанта, был арестован и отправлен в Освенцим, откуда через два месяца после продажи семейных драгоценностей выкуплен сестрой. После подавления Варшавского восстания отправлен в концлагерь Мурнау, откуда был освобожден Американской армией. В 1946 году организовал театральную школу в Лодзи, с 1951 года руководил отделом театра Государственного института искусств в Варшаве, редактировал журнал «Театральный дневник», был председателем Союза польских артистов театра и кино.

26. *Мандельштам, Юрий*. Лермонтов по-французски. Париж: «Возрождение». 27 мая 1938, № 4133. Париж. С. 9. Издававшаяся ежедневно с 3 июня 1925 года газета «Возрождение» выражала настроения правомонархической части

русской эмиграции. В результате всеобщей забастовки, организованной Народным фронтом (Front populaire) в июне-мае 1936 года, сопровождавшейся захватом многих предприятий, в числе которых оказалась и типография Navarre, где печаталось «Возрождение», начиная с 18 июля 1936 года до своего закрытия 7 июня 1940 года выходила еженедельно, сначала по субботам, затем с 28 мая 1937 года – по пятницам.

27. В книге опубликован перевод 66 стихотворений.

28. *Адамович, Георгий*. Литературные заметки. 3. Гиппиус. «Сияния» (Париж, 1938). М. Lermontoff. «Poemes lyriques». Traduit du russe par Olga Goutvein (P.: Debresse, 1938). Париж: «Последние новости», 9 июня 1938, №6283. С. 3.

29. Jean Besson (род. 1927) совместно с Ефимом Григорьевичем Эткиндо подготовил к изданию книгу переводов русских поэтов, за которую получил премию Французской академии (вышла уже после смерти Эткинда). – *Russie profonde de Pouchkine à Okoudjava – Poèmes et chansons russes*. Édité par Jean Besson, Efim Etkind. Institut d'études slaves. Paris, 2001.

30. *Besson, Jean*. La traduction des poètes russes classiques à l'intention du grand public français. In: Revue des études slaves, vol. 55, fascicule 1, 1983. Communications de la délégation française au IXe Congrès international des slavistes (Kiev, 7–14 septembre 1983). P. 239-250. В цитате: *route, nuit, écoute, nuit* – «дорога, блестит, слушать, ночь», *jour, amour, verdure, murmure* – «день, любовь, зелень, ропот». (*фр.*)

31. La Revue de France / La Renaissance du Livre, Paris, V18, 1938 Octobre, P.566-570.

32. Дочь Юрия Мандельштама и внучка Игоря Стравинского Екатерина (Китти) (1937–2002) находилась в санатории швейцарской альпийской деревни Лезен (Leysin), бывшей в то время одним из центров лечения туберкулеза.

33. *Мандельштам, Ю.В.* Эссе. Литературная критика. Письма. 1932–1941. Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания Е.М. Дубровиной. М.: «Русский путь». 2022. С. 437.

34. *Poèmes lyriques de Michel Lermontoff*. Vol. II / Traduit du russe par Olga Goutvein. Paris, Chanth, 1939. Юрий Мандельштам был арестован 10 марта 1942 года, погиб в концлагере Явожно (филиал Освенцима) 15 октября (по другим данным – 18 октября) того же года.

35. В картотеке 1942-й указан годом D.L. = «Dépôt légal» (обязательный экземпляр). По указу 1537 года император Франциск I (François I) повелел вносить в каталог Библиотеки каждую издаваемую во Франции книгу. <https://www.bnf.fr/en/missions-bnf>

36. Марк Шено (15 июня 1899, Руан – 8 декабря 1980, Стокгольм), поэт, профессор университета.

37. Райцин (Райцын) Дориан Иосифович (12/25 мая 1910, Ростов-на-Дону – 24 сентября 2005, Париж). Инженер-химик, прозаик. Окончил Химический институт в Руане. Работал инженером-химиком в Обервиле (под Парижем). В Париже посещал литературные собрания и вечера. Автор нескольких романов, среди которых «Mentir» («Ложь»), «Le désertions d'Éliane» («Разочарование Элианы», 1939), «Contes ironiques» («Иронические истории», 1948).

38. К.Д. Бальмонт умер в «Русском Доме» в Нуази-ле-Гран (восточный пригород Парижа) 23 декабря 1942.

39. Непонятен источник фразы, подтверждение ее подлинности не найдено.

40. *Мандельштам, Ю.В.* Статьи и сочинения. Том 1. О русской литературе. Составители Е. Дубровина и М. Стравинская. М.: Юрайт. 2018. С. 422.
41. <https://ressources.memorialdelashoah.org>
42. <https://convoisduloiret.org/deporte/gutwein-olga-23-02-1896>
43. Российское Зарубежье во Франции, 1919–2000 / L'Émigration russe en France, 1919–2000: Биограф. слов. В 3 тт. Под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. Дом-музей Марины Цветаевой. М.: «Наука». 2008–2010.
44. *Грибков, Федор.* 20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна. СПб: Издательство Сергея Ходова, 2019. <https://www.sobaka.ru/city/city/100412>
45. Эмиль Муссе (26 июня 1885, Алжир – 5 августа 1965, Исси-ле-Мулино, департамент О-де-Сен). После окончания лицея Генриха IV работал учителем средней школы, с началом Первой мировой войны попал в плен, где находился до ее окончания. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме его литературные работы были представлены на «соревнованиях по искусству». Во время Второй мировой войны Муссе был участником Сопротивления; после войны – президентом и вице-президентом многочисленных ассоциаций журналистов и писателей-фронтовиков. См.: *Anthologie des écrivains morts à la guerre 1939–1945.* Éditions Albin Michel, Paris, 1960. P. 303-306.
46. Франсуа Коппе (26 января 1842, Париж – 23 мая 1908, там же). После обучения в лицее Сен-Луи служил чиновником в военном министерстве; начал писать стихи, присоединившись к группе «парнасцев». В 1869 году проявил себя как драматург, успешно дебютировав пьесой «Прохожий» (*Le Passant*, русский перевод в 1892-м). В 1878 г. был назначен архивистом Комеди Франсез и занимал этот пост до избрания во Французскую академию (1884). В последние годы жизни присоединился к движению французских националистов (в 1899–1902 гг. возглавлял организацию «Лига французского отечества»), поддерживал позицию обвинителей в дискуссиях, вызванных делом Дрейфуса. Произведения Коппе многократно издавались в России в конце XIX века (Переводы П. Вейнберга, О. Чюминой и др.).
47. Независимость Польши (Вторая Польская Республика) была провозглашена 7 октября 1918 года.
48. *Goutvein, Olga.* *Rapsodies d'un cœur slave.* Paris: Radot. 1926.
49. *Goutvein, Olga.* *Nouvelles Rapsodies d'un cœur slave.* Paris: Eugène Fuguière. 1927. К сожалению, экземпляр этой книги найти не удалось, она отсутствует даже в Национальной библиотеке Франции.
50. Алькантер де Брам (наст. имя Марсель Жан-Батист Бернар, Marcel Jean-Baptiste Bernhardt. 3 мая 1868, Мюлуз, департамент Верхний Рейн – 4 ноября 1942, Париж). Во время учебы на факультете права лицея Кондорсе в 1887 году начал сотрудничать с *La Revue de Paris et de Saint-Petersbourg* (с июля 1888 – *La Grande revue...*), а затем с *La Vie franco-russe* (с ноября 1890 – *La Vie franco-russe illustrée*). Создал множество поэтических произведений, исследований по искусству и истории Парижа. В 1902 стал соучредителем Общества поэтов Франции, в том же году был назначен членом временной комиссии с целью «создания модели Парижа будущего», а в следующем – секретарем по сохранению музея истории Парижа Карнавале.
51. *Comædia* – журнал культурной жизни, принадлежавший основателю велогонки Тур де Франс (Tour de France) Анри Дегранжу (Henri Desgrange), выходил с 1 октября 1907 года по 6 августа 1914 года и с 1 октября 1919 года

по 1 января 1937 года как ежедневная газета. В выходившем два раза в месяц в 1908–1936 г.г. художественном журнале *Comœdia illustré* подробно освещались «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Под давлением обвинений в коллаборационизме издававшаяся в оккупированном Париже *Comœdia* прекратила свое существование 17 августа 1944 года.

52. *Journal du Lot*, 78 année, № 5. Paris, Juin 1938. P. 1.

53. Основан в 1838 году Оноре де Бальзаком, Виктором Гюго, Александром Дюма и Жорж Санд.

54. *Poésie: cahiers mensuels illustrés / Octave Charpentier, rédacteur en chef*. Paris, vol. VI, 1928, P. 98.

55. К сожалению, биографические данные Лусио Дорнано найти не удалось. Есть лишь портрет, выполненный бельгийским художником Luc Lafnet (Люк Лафнет), который иллюстрировал «Кошунственные объятия (языческие мессы)». Lucio Dornano в 1920-х годах издал несколько поэтических сборников, иллюстрации одного из них, *Trois ballades de la faune humaine* («Три баллады о человеческой фауне»), были выполнены известной австрийской художницей Hedi Schick (Хеди Шик), которая, будучи еврейкой, после аншлюса в марте 1938 года эмигрировала в Англию, где и прожила до конца своих дней.

56. *La Presse*, 93 année – № 33.763. Paris, 8 Décembre 1928/ P. 2.

57. *Annuaire général des lettres*. Paris, 1931. P. 558, P. 386.

58. Основанная в марте 1847 года французская профессиональная ассоциация по сбору платежей для авторских гонораров и защите авторских прав музыкальных авторов, композиторов и издателей. Информацию см.: *Annuaire général des lettres*. Paris, 1932. P. 723.

58. Основан в 1841 г. Жорж Санд, Пьером Леру (Pierre Leroux) и Луи Виардо.

59. *Souvenir d'Antoinette Goutvein*. Paris, 1932.

60. К сожалению, не удалось идентифицировать, кем был М. Delavigne.

61. Жан-Жорж Ашар (13 марта 1871, Абзак, департамент Жиронда – 23 сентября 1934, Бордо), сын скульптора Жана-Ашиля Ашара (Jean-Achille Achard). Выставлялся в Салоне французских художников (Le Salon des artistes français) с 1891 года, получил медаль 3-й степени в 1903 году и серебряную медаль в 1922 году. Автор памятника президенту Южно-Африканской республики в 1883–1900 годах Паулусу (Паулю) Крюгеру; бронзового бюста (1911) и мраморной статуи (1929) лауреата Нобелевской премии по литературе 1904 года Фредерика Мистрала (Frédéric Mistral); монументов, посвященных памяти павших в годы Первой мировой войны; портрета Эмиля Золя и других.

62. *Goutvein, Olga*. *Sommets et Rivages*. Paris: Revue des Indépendants. 1934.

63. Люсьен Банвиль д'Хостел (наст. Арсен Люсьен Банвиль – Arsène Lucien Vanville. 16 декабря 1877 года, Руан – 8 июня 1956 года, Эрбле департамент Валь-д'Уаз). Вместе с Жераром де Лаказ-Дютье и др. принимал участие в движении *l'Action d'Art*, известном как «Визионерское движение» (*Mouvement Visionnaire*) и в журнале *La Foire aux Chimères* («Ярмарка химеры»), который был его органом. Сотрудничал с анархистскими периодическими изданиями, такими как *L'Idée libre*, *l'Action d'Art*, *Avenir International* и др. Издавал журнал «Эзоп» (*Esope*), изд. Международной федерации искусств, литературы и науки (*Fédération Internationale des Arts, des Lettres et des Sciences*).

64. К сожалению, биографических данных Ali-Bert найти не удалось.

65. *Anthologie des poètes neo-classiques: morceau choisis, précédés de notices bio-bibliographiques*. A. Messein, Paris, 1932–1934, vol. I. P. 153–155.

66. Ноэль Сантон (наст. Ноэла Ле Гиастрэннек – Noëla Le Guiastrennes, 23 мая 1900, Сен-Жюльен-де-л’Эска – 4 января 1958, Сен-Жан-д’Анжели), писательница, поэтесса, художник и создатель литературного журнала. Автор около пятидесяти работ, опубликованных под многочисленными мужскими псевдонимами (Ноэль Сантон, Ноэль де Ги, Жюльен Лескап, др.), под псевдонимом Жан Клерсанж были опубликованы ее переводы Эмилио Сальгари и Луиджи Могга с итальянского и Фенимора Купера и Томаса Майн Рида с английского. Считала себя «свободной женщиной» – курила, водила машину и оставалась незамужней. В сентябре 1936 г. основала журнал поэзии *Corymbe*, выходявший до июня 1939 года раз в два месяца, в 1942-м было издано два выпуска. Вскоре под тем же именем было создано издательство, работавшее и после закрытия журнала. Всего было опубликовано 260 произведений, некоторые Ноэль Сантон иллюстрировала своими гравюрами по дереву.
67. Пьер Лепроон (3 сентября 1903, Авен-сюр-Эльп, департамент Нор – 23 декабря 1993, Канны), французский писатель, критик, киновед. Автор многочисленных работ, посвященных истории кино и Италии. В 1928 году вышла его первая книга, посвященная немецкому кино. В 1941–1944 гг. сотрудничал в еженедельнике *Ciné-Mondial*, единственном киножурнале, издаваемом во время оккупации. Советскому читателю стал известен в 1960 г. после издания перевода его книги «Современные французские кинорежиссеры».
68. *Corymbe: cahiers littéraires*. Dir. Noël Santon. 7 année, # 37-38 (juillet/août/septembre 1937). P. 1.
69. *Goutvein, Olga*. Lumière dans le Temple. *Corymbe*, Paris, 1937. In *Corymbe: cahiers littéraires*. P. 38.
70. Эрнест Риу был президентом общества Друзей Академии Монтеня (Les Amis de l’Académie Montaigne), литературным критиком журнала ассоциации певцов, поэтов и композиторов *La chanson de Paris* и помощником казначея (trésorier-adjoint) Кружка искусств и литературы.
71. драгоценные камни (*фр.*)
72. «Ночи» – четырехтомник стихов Альфреда де Мюссе, написанных в 1835–1837 гг., в которых он эмоционально описал свою любовь к Жорж Санд, принадлежит к лучшим творениям французской любовной лирики.
73. Здесь явный намек на отречение от престола 11 декабря 1936 года короля Эдуарда VIII (Edward VIII), который «нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую он любит». Возлюбленная короля Великобритании американка Уоллис Симпсон (Wallis Simpson) была до того дважды разведена.
74. «On ne badine pas avec l’amour» («С любовью не шутят») – пьеса Альфреда де Мюссе в трех действиях была впервые опубликована в 1834 году в «Revue des deux Mondes»; первое представление состоялось 18 ноября 1861 года в театре «Комеди Франсез».
75. Огюст Дюпюи-Альбаред (Auguste Dupuy-Albarède) (16 января 1868 – 22 августа 1953), офицер французской армии, историк, музыковед, композитор.
76. Это не совсем точно: 21-летний капрал французской армии Жюль Андре Пежо (Jules André Peugeot) был смертельно ранен при попытке ареста немецкого конного патруля, нарушившего границу в 6 часов утра 2 августа 1914 года, приблизительно за 30 часов до «официального» объявления войны. Выстреливший в него немецкий лейтенант Альберт Майер был убит, а капрал Пежо умер несколькими минутами позже.

77. *Goutvein, Olga*. *Fresques lumineuses*. Paris: Chanth. 1939.

78. Айванго Рамбоссон (Yvanhoé Rambosson. 3 марта 1872, Антони, департамент О-де-Сен – 1943, Париж), почетный куратор Музеев города Парижа (Musées de la Ville de Paris), эксперт Гражданского суда департамента Сена (Tribunal Civil de la Seine), генеральный секретарь Федерации художественных обществ (Fédération des sociétés d'art). После состоявшейся в 1925 году в Париже Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (*Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes*), давшей имя течению арт-деко (в результате сокращения слов *arts décoratifs* в названии выставки), Рамбоссон совместно с художественным редактором Артуром Гольдшайдером (Arthur Goldscheider) выпустил в 1926 году несколько каталогов под названием *L'Evolution Artistique* («Художественная эволюция»), в которых выступил за широкое вовлечение художников в процесс серийного промышленного воспроизводства произведений искусства.

79. *Burnham Cooper, Clarissa*. *Women Poets of the Twentieth Century in France. A Critical Bibliography*. New York: King's Crown Press. 1942. P. 157.

80. Андре Тюлар (1898–1967) после войны не только не получил никакого наказания, но даже сохранил звание рыцаря Ордена Почетного Легиона.

81. Рене Буске (1909–1993) организовал в Марселе 22-24 января 1943 года арест и депортацию в лагеря смерти 1642 человек, в том числе 782 еврея. В апреле того же года после встречи с Гиммлером последний был «впечатлен личностью Буске» и назвал его «очень ценным сотрудником». Закат карьеры Буске начался после попытки ареста виновников убийства журналиста и политика Мориса Сарро (Maurice Sarraut), совершенного 2 декабря 1943 года членами воссозданной «французской милиции» (*milice française*). Буске был вынужден уйти в отставку, а в июле 1944 года, незадолго до освобождения Парижа, был обвинен коллаборационистской прессой в том, что вся его работа в полиции Виши служила лишь прикрытием помощи движению Сопротивления (*la Résistance*). В 1949 году Буске был предпоследним французом, дело которого рассматривала специальная комиссия, созданная 18 ноября 1944 года по решению Верховного Суда (*Haute Cour de Justice*). Он был признан виновным лишь в факте нахождения на службе режиму Виши и получил минимальный пятилетний срок, который, ввиду его «активного участия в движении Сопротивления оккупантам», был сразу же отменен. Став членом административного совета газеты социалистов *La Dépêche du Midi*, активно поддерживал Франсуа Миттерана (François Mitterrand) в президентских кампаниях 1965 и 1974 годов и после избрания последнего в 1981 году. В результате разоблачения в 1989 году «охотником за нацистами» Сержем Кларсфельдом (Serge Klarsfeld), Буске должен был предстать перед судом, но за несколько недель до этого, 8 июня 1993 года, был застрелен в своей квартире французом Кристианом Дидье (Christian Didier), обвиненного еще в 1987 году за попытке убийства «лионского мясника» Клауса Барби (Klaus Barbie).

82. Точное число арестованных неизвестно. Эти числа высечены на мемориальной доске, установленной на месте велодрома, окончательно снесенного в 1959 году после пожара. Надо заметить, что после войны здание велодрома продолжало использоваться по своему прямому назначению. Последние соревнования в нем состоялись 7 ноября 1958 года.

83. Газета, основанная писателями Жаком Декурмом (Jacques Decour) и Жаном

Поланом (Jean Paulhan), первый из которых не дожид до выхода в свет ее первого номера 20 сентября 1942 года, издавалась нелегально во время оккупации, а после войны стала финансироваться советским правительством. В 1949 году, после публикации книги невозвращенца Виктора Кравченко «*I Chose Freedom*» («Я выбрал свободу»), *Les Lettres Françaises* обвинила последнего во лжи. Кравченко подал на газету иск о клевете и выиграл. Когда Луи Арагон (Louis Aragon), главный редактор газеты (1953–1972), писатель, член французской компартии, резко выступил в 1966 году против приговора писателям Синявскому и Даниэлю, а через два года – против ввода советских войск в Чехословакию, финансирование газеты было прекращено. В настоящее время *Les Lettres Françaises* является ежемесячным литературным приложением газеты коммунистов *L'Humanité* (*Юманите*).

84. Владимир Былинин (10/23 марта 1911 года, Санкт-Петербург – 14 июня 1940 года, ферма Бонне, департамент Марна). Окончил Институт политических исследований (*L'Institut d'études politiques de Paris*, обычно называемого *Sciences Po*), темой его диссертации была история германо-советских отношений 1917–1931 гг. (*L'histoire des relations germano-soviétiques 1917–1931*). В 1937 году выиграл конкурс на должность редактора в Министерстве обороны Франции. В день объявления войны, 3 сентября 1939 года, мобилизован в 80-й пехотный полк, где служил в штабе офицером разведки. Погиб 14 июня 1940 года на ферме Бонне в восьми километрах к северо-западу от Фер-Шампенуаз. Посмертно награжден крестом Ордена почетного легиона. Остались неизданными один роман и рассказы. *Bylinine, Wladimir. L'Antéchrist. Éditions «Liberté», Paris, 1935*.

85. Немировская Ирина Львовна (11/24 февраля 1903, Киев – 17 августа 1942, Освенцим). После эмиграции во Францию в 1919 году закончила Сорбонну, до войны написала и издала несколько романов, в наши дни три переведены на русский. После гибели Немировской ее имя было забыто. В конце 1990-х годов дочь писательницы Дениз (Denise) обнаружила в архиве три новеллы писательницы о войне, которые были изданы под названием *Suite française* («Французская сюита»); книга переведена на 38 языков мира.

86. Борис Вильде (25 июня/8 июля 1908, Санкт-Петербург – 23 февраля 1942, Форт Мон-Валерьен), поэт (литературный псевдоним *Дикой*), лингвист и этнограф, работавший в Музее человека в Париже. После начала войны был мобилизован во французскую армию, попал в плен в Арденнах. В начале июля 1940 года бежал из плена, вернулся в Париж, где вместе с сотрудниками музея – антропологом, специалистом по сибирскому шаманизму Анатолием Левицким (22 августа 1903, Москва – 23 февраля 1942, Форт Мон-Валерьен) и главным библиотекарем музея Ивонн Оддон (Yvonne Oddon) (18 июня 1902, Гап, департамент Верхние Альпы – 7 сентября 1982, Сен-Манде, департамент Валь-де-Марн) организовал одну из первых групп французского Сопротивления. Эта группа нелегально издавала газету *Résistance*, название которой стало символом всего движения. В марте 1941 года одним из соратников, оказавшимся двойным агентом, был выдан нацистам, расстрелян вместе с Анатолием Левицким и пятью товарищами 23 февраля 1942 года.

87. Валентин Фельдман (23 июня 1909, Санкт-Петербург – 27 июля 1942, Форт Мон-Валерьен), философ-эстетик, автор книги *L'Esthétique française contemporaine* (Librairie Félix Alcan, Paris, 1936). В 1937 году вступил в компартию Франции, в том же году перевел на французский роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Во время немецкой оккупации получил



работу учителя философии в городе Дьерре (Дьеп) в Нормандии, откуда вскоре после принятия Второго антисемитского закона 14 июня 1941 года, был уволен. Участник Сопротивления, арестован в феврале 1942 года после неудачной попытки диверсии на фабрике. После пыток и суда немецкого военного трибунала расстрелян 27 июля 1942. Перед расстрелом крикнул своим палачам: *Imbéciles, c'est pour vous que je meurs!* (Дураки, это за вас я умираю!). В 1988 году режиссер Жан-Люк Годар (Jean-Luc Godard) снял короткий фильм *The Last Word* («Последнее слово»), посвященный памяти Валентина Фельдмана.

88. <http://www.lesecrivainscombattants.org/pantheon.pdf>

89. *Адамович, Георгий*. Смерть и время. «Русский сборник». Книга 1. Париж: «Подорожник». 1946. С. 171-182.

Марианна Тайманова

## Как я переводила Милана Кундеру

*«Если бы каждое мгновение нашей жизни бесконечно повторялось, мы были бы прикованы к вечности, как Иисус Христос к кресту. Вообразить такое – ужасно. В мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности. Это причина, по которой Ницше называл идею вечного возвращения самым тяжким бременем (das schwerste Gewicht)... абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны.... Так что же предпочтительнее: тяжесть или легкость?..» – так писал в своем знаменитом романе «Невыносимая легкость бытия» известный чешско-французский прозаик Милан Кундера, – в романе о Пражской весне, о вторжении СССР в Чехословакию; о вечных проблемах, сопряженных с существованием человека на земле: добра и зла, предопределенности и случая, времени и бытия; ответственности, имморализма, любви.*

*Милану Кундере (1929–2023) 1 апреля исполнилось бы 95, он скончался в Париже в прошлом году. Чешский эмигрант, писатель, переводчик, поэт, драматург; автор романов «Книга смеха и забвения», «Бессмертные», «Невыносимая легкость бытия» – на чешском, на французском – «Неспешность», «Подлинность», «Неведение»; книг эссеистики, статей и пр. пр. Он был участником Пражской весны и его книги были изъяты из библиотек социалистической Чехословакии; с 1970-х гг. ему запретили публиковаться; в 1975-м он иммигрировал во Францию; в 1979-м за четвертый роман «Книга смеха и забвения» его лишили гражданства ЧССР (и вернули гражданство Чехии лишь в 2019-м). В каком-то смысле, его жизнь и была воплощением «философии случая» – произошедшего однажды и которого вовсе могло не быть, но в судьбе самого Кундеру «невыносимая легкость бытия» оказалась тесно связана с главными трагедиями XX века.*

*Мы предлагаем читателям НЖ эссе переводчика французской литературы Марианны Таймановой, много лет преподававшей русский язык и литературу в Даремском университете в Англии, о ее работе с Миланом Кундерой над переводом на русский язык его книги «Нарушенные заветания», о творческой мастерской знаменитого писателя, о его отношении со словом.*

Мы уже пятнадцать лет жили в Англии, и я ничего не переводила, кроме скучных технических текстов с английского на русский<sup>1</sup>, когда вдруг летом 2002 года судьба с голливудской щедростью прислала мне письмо из петербургского издательства «Азбука» с предложением перевести с французского книгу-эссе Милана Кундеру «Нарушенные заветания» (1993). Я была потрясена, что кто-то еще

помнит мои переводы, к тому же предлагают перевести книгу всемирно известного писателя, потенциального Нобелевского лауреата, как все тогда считали. Разумеется, я ответила утвердительно. Но я не знала предысторию – как впоследствии написала редактор этой книги Галина Соловьева: «Кундера отбирал переводчиков, будто им предстояло отправиться в космос»... Его главным требованием было дословное, слепое следование тексту, об этом он подробно говорил в четвертой главе книги, которую мне предстояло перевести, но я тогда еще ее не читала...

Пятнадцать лет эмиграции и вынужденного молчания сделали свое дело: потеряв легкость обращения с текстом, я, действительно, перевела присланный на пробу отрывок почти дословно, сохранив даже редкие в русском языке авторские точки с запятой. Но тем самым, как выяснилось, и подкупила писателя. Оказалось, он уже отверг нескольких достойных кандидатов («за самоуправство»), и ко мне обратились только потому, что иссяк запас переводчиков. Не зная всего этого, я храбро взялась за дело, отослала пробный отрывок и стала ждать с замиранием сердца...

Сначала пришло письмо, напечатанное на машинке:

Дорогая Марианна Тайманова! Благодарю Вас за полученный мною перевод. Он мне нравится – посылаю Вам свои замечания (абсолютно нормальные по количеству; не существует перевода без недопонимания или проблем). Вы прекрасно поняли, что пунктуация требует от переводчика той же верности оригиналу, что и выбор слов. Также прошу Вас ни в чем не нарушать разбивку на главы и абзацы. В главе «Фраза» Вы можете прочесть мою своего рода «теорию перевода». Прежде всего, прошу Вас не менять употребленные мною слова, даже если они повторяются, то есть не заменять их синонимами – это особенно важно, когда текст касается теории.

Небольшой вопрос: *sovremenij vek*<sup>2</sup> по-русски означает Новое время? Как концепт? Средние века – Новое время?

Дорогая Марианна Тайманова, если моя манера вторгаться в вашу работу Вас устроит, я буду рад, если Вы ее продолжите. В этом случае я прошу посылать мне текст порциями, я буду посылать Вам свои замечания, а Вы – сообщать мне, что Вы решили на этот счет.

Если вы возьметесь переводить мою книгу, то можете обращаться к прекрасному английскому переводу, в котором я проверил каждое слово. Я Вам его пришлю.

Вот мои ремарки по поводу первого переведенного фрагмента.

С искренней симпатией

*Милан Кундера.* (Подпись от руки. – М.Т.)

Когда я, разумеется, ответила согласием, он устроил мне второй экзамен – позвонил по телефону (переводчик должен свободно владеть разговорным языком, чтобы общаться с автором устно). Говорил Кундера хотя и на безупречном «классическом» французском (как

кто-то сказал: как у учителя лица), но с сильным чешским акцентом, поэтому я не слишком робела и экзамен выдержала.

Он придавал очень большое значение этой книге, требовал от издательства, чтобы ее напечатали первой при переиздании его сочинений. «Нарушенные завещания» – это философско-литературоведческое эссе, история происхождения романа в контексте его связи с музыкой. Кундера выделяет три основных этапа («тайма») развития романа: первый связан со свободным творчеством Рабле и Сервантеса, Стерна и Дидро. Второй – с формированием жанровых, композиционных, тематических границ (19 век), и современный «тайм», в котором соединяется и то, и другое.

Наверное, если бы я сразу же прочла главу о его понимании работы переводчика, я бы с перепугу отказалась... Вот что он писал в главе «Фраза» «Нарушенных завещаний» (по иронии судьбы привожу эту цитату в моем переводе):

Признаем безо всякой иронии: положение переводчика очень щекотливо: он должен быть верным автору и одновременно оставаться самим собой: как быть? Он хочет (сознательно или бессознательно) внести в текст собственное творческое начало; словно приободряя себя, он выбирает слово, которое, по всей очевидности, не является изменой по отношению к автору, но тем не менее относится к личной инициативе переводчика. Я констатирую это именно сейчас, когда пересматриваю перевод небольшого текста, написанного мною: я пишу «автор», переводчик переводит «писатель»; я пишу «писатель», он переводит «романист»; я пишу «романист», он переводит «автор»; когда я говорю «стихи», он переводит «поэзия»; когда я говорю «поэзия», он переводит «поэмы». Кафка говорит «идти», переводчики – «шагать» <...> Эта практика создания синонимов выглядит невинно, но при систематическом употреблении неизбежно притупляет изначальную мысль автора.

Эта тенденция тоже психологически понятна: по каким критериям оценивают переводчика? По верности авторскому стилю? Вот как раз судить об этом читатели его страны и не имеют возможности. И напротив, богатство словаря автоматически будет воспринято читающей публикой как достоинство, как достижение, свидетельство мастерства и профессионализма переводчика. Однако само по себе богатство словаря не имеет никакой ценности. Объем словаря зависит от эстетических целей, которые организуют произведение. Словарь Карлоса Фуэнтеса богат до головокружения. А словарь Хемингуэя крайне ограничен. Красота прозы Фуэнтеса связана с богатством, а прозы Хемингуэя – с ограниченностью словаря.

Короче говоря, переводчик не должен «высовываться», шаг вправо, шаг влево карается автором... Хотя нас всегда учили, что нельзя буквально «перевозить» текст слово за словом, что нужно средствами своего языка, то есть зачастую, именно *отступая от оригинала*, передать мысль и стиль автора. Но Кундера отсылал к труду переводчика иначе, считая, что чересчур ретивые переводчики только ухудшают текст... И мне предстояло долгие месяцы противостоять

непоколебимому в этом своем убеждении всемирно известному писателю.

Началась работа над книгой по предложенной им схеме. Для этого мне даже пришлось раскошелиться и купить так больше и не пригодившийся факс. Через какое-то время Кундера начал звонить мне, и это вошло в привычку: он звонил по несколько раз в неделю, но предупредил, что сам к телефону (видимо, в целях конспирации) никогда не подходит: когда я захочу с ним поговорить, то должна оставить сообщение на автоответчике, и, если он в этот момент его услышит, то снимет трубку, если нет, то перезвонит. Днем он обычно сидел в своем рабочем кабинете в маленькой квартирке (такие в старинных парижских домах предназначались для прислуги) на верхнем этаже того же дома, где внизу находилась их с женой просторная квартира.

Мы подолгу разговаривали – и не только о его книге: он интересовался мною, выяснял, почему я уехала из России. Эта тема возникла часто и казалась очень личной и болезненной, как и тема «малых наций». Еще он часто говорил, как об огромном достижении, о способности литератора писать на языке новой родины. Вот как он говорит об этом в своей книге:

Жизнь эмигранта – это вопрос арифметики: Юзеф Конрад Коженевски (известный под именем Джозеф Конрад) прожил семнадцать лет в Польше (точнее, в России со своей изгнанной оттуда семьей), остальную часть жизни, пятьдесят лет, – в Англии (или на английских судах). Таким образом, он смог сделать английский языком, на котором писал, и его тематика тоже была английской. Только его аллергия на всё русское (бедняга Жид, так и не сумевший понять необъяснимое отвращение Конрада к Достоевскому!) выдает следы его польского происхождения...

Гомбрович прожил тридцать пять лет в Польше, двадцать три в Аргентине, шесть во Франции. Однако свои книги он мог писать только по-польски, и герои его романов – поляки. В 1964 году, находясь в Берлине, он получает приглашение посетить Польшу. Он колеблется и, в конце концов, отказывается. Его тело погребено в Вансе.

Владимир Набоков прожил двадцать лет в России, двадцать один год в Европе (Англии, Германии, Франции), двадцать лет в Америке, шестнадцать в Швейцарии. Он сделал английский языком, на котором писал, но в меньшей мере воспринял американскую тематику; в его романах действует много русских персонажей. Однако недвусмысленно и настойчиво он называл себя американским гражданином и писателем. Его тело покоится в Монтрё, в Швейцарии...

Этот краткий обзор, прежде всего, выявляет творческую проблему эмигранта: количественно равные блоки жизни имеют разный удельный вес для молодости и зрелости. Если зрелость важнее и богаче как для жизни, так и для творчества, то в отместку подсознание, память, язык, весь фундамент творчества формируется очень рано; для врача это не станет проблемой, но для романиста, для композитора удалиться от мест, с которыми связаны его

Chère Marianna.

1) "time" - c'est beaucoup mieux que le mi-temps. D'ailleurs, je parle à la fin de trois temps. O.K. !

2) partout, où le mot "moderne" a le caractère d'un concept - les Temps modernes - l'art moderne (=l'art qui a une autre, une nouvelle esthétique, esthétique moderne) il faut garder le mot moderne; (c'est la raison pourquoi on peut parler de l'art "post-moderne" qui est contemporain mais n'a plus rien à voir avec l'esthétique moderne, née vers le commencement du siècle et proscrite ensuite dans les régimes que vous connaissez)

3) je m'excuse devant vous, mais gardez le mot "russe"; je n'utilise pas le mot "soviétique"; vous trouverez cette terminologie dans tous mes livres...

Chère Marianna, vous avez parlé avec Vera qui vous a expliqué notre programme...

Cordialement -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milan', written in a cursive, flowing style.

воображение, его одержимость и, отсюда, его главные темы, – это может стать причиной своего рода душевного разлома. Он должен мобилизовать все свои силы, всё свое хитроумие художника, чтобы превратить недостатки данной ситуации в преимущества.

Кундера очень гордился тем, что после отъезда из Чехии, когда его книги с 1979 года были запрещены там к изданию, он писал только по-французски. Расспрашивал меня о сыне, о муже; у меня вообще сложилось ощущение, что он настолько изолирован от жизни, что общение со мной было для него немного даже прорывом в реальность.

В нем было что-то от большого ребенка – он всегда хотел получить желаемое. Если меня не было дома, то он звонил по несколько раз и общался с моим мужем, который прекрасно говорил по-французски. Как-то, когда тот подошел к телефону то ли в третий, то ли в четвертый раз подряд, а я еще так и не приехала из университета, Кундера галантно полюбопытствовал: «Мсье, Вы, вероятно, принимаете меня за полного дурака?» (фр. «сop»). Муж вежливо ответил: «Что вы, мсье, ни за что на свете»...

Всеми делами ведала его жена Вера: договаривалась с издательствами, следила абсолютно за всеми аспектами переводческого процесса – вплоть до публикации книги и выплаты авторского гонорара. Ее незримое присутствие ощущалось постоянно.

Я посылала по факсу готовые главы, а он очень быстро читал их и присылал мне свои замечания, сделанные уже не в рукописи, а напечатанные на отдельных листах с транслитерацией от руки русских слов. Поскольку эта книга была так для него важна, он был особенно придирчив. Я всё время должна была помнить, что главное – не отступать от текста и повторять, как мантру, что переводчик – тень автора и должен слепо следовать за оригиналом.

Он с большим рвением обсуждал со мной устно и письменно принципиальные для этой книги понятия.

Большую сложность для перевода вызвало слово «temps» – отрезки, на которые он делит историю романа. Это французское существительное очень полисеманлично, оно может значить: *время, срок, эпоха, период, времена, погода, ритм, темп, такт, ход*. Кундера решительно отверг подходящие по смыслу «период» и «этап», и тут мне неожиданно пришел в голову спортивный термин «тайм», который показался ему удачным. Вот что получилось:

История европейской музыки насчитывает примерно тысячелетие (если ее истоками я буду считать первые опыты примитивной полифонии). Истории европейского романа (если я буду усматривать его начало в произведениях Рабле и Сервантеса) примерно четыре века. Когда я думаю об этих двух историях, то не могу освободиться от впечатления, что они разворачивались в схожих ритмах, если так можно выразиться, в двух таймах, в двух

половинах. Но цезуры между таймами в истории музыки и в истории романа не совпадают.

Говоря об использованном им литературоведческом понятии «roman à clé»<sup>3</sup> (роман с ключом), он пояснял мне:

Роман-ключ, роман с ключом. По-французски это небольшой каламбур. Возможно, Ваш перевод вполне хороший, даже если он и не передает этот каламбур. Но Вы должны подумать вот о чем: в главе 11 последней части книги я несколько раз использую термин «роман с ключом»; поэтому Вы должны выбрать его именно сейчас и отказаться от игры слов, а просто сказать: «Это роман с ключом / роман-криптограмма...»<sup>4</sup>

Я в ответ – показать, что мы тоже не лыком шиты, – рассказала ему о «Святом колодце» Катаева.

Moderne-contemporain; я вижу, что в русском такая же ситуация, как и во французском. Эта терминологическая проблема существует во всех языках; Повсюду, где слово «moderne» является концептом – les Temps modernes – l'art moderne (искусство с новой эстетикой) нужно сохранять слово модерн; именно поэтому можно говорить об искусстве, которое является современным, но не имеет ничего общего с эстетикой модерна, появившейся в начале века и затем изгнанной из известных вам режимов.

Нужно различать les Temps modernes (по-немецки Neuzeit, по-английски Modern Era), означающее период, продолжающийся несколько веков, от Возрождения до наших дней (есть Средние века, а потом Новое время), и понятие «современное искусство» и стиль «модернизм», относящиеся к 20 веку.

Большой контекст – малый контекст; эта терминология не претендует на научность, это моя собственная терминология, скорее, метафорическая. В другом эссе (не в этой книге) я говорю о большом контексте, малом контексте, а также и о срединном (между мировой литературой и норвежской существует скандинавская литература); в нашем случае я говорю о микроскопическом, а в 12 главе последней части снова о малом контексте, а дальше о мини-мини-мини биографическом контексте. Мы решим эту проблему по ходу.

Марианна, внимание! Я разделяю понятия «поэтический» и «лирический». Поэтому «лиризация террора».

Еще одна сложность: «penser la vie humaine» (Буквально: обдумывать/мыслить человеческую жизнь – *М.Т.*). Это подразумевает – делать из жизни человека объект своей мысли. Я знаю, что по-русски, наверное, нельзя сказать «мыслить что-то», но может быть, Вы осмелитесь перевести: «мыслить жизнь»?

Всё же сошлись на более традиционном: «размышлять о жизни человека».



Несмотря на то, что, как он мне сказал, русский и немецкий он старался забыть по политическим соображениям, свой текст он чувствовал очень хорошо, поскольку знал его почти наизусть, и сразу видел расхождения или переводческое самоволие. Правда, иногда доходило до забавного: «Почему Вы дважды пишете 'лет', а в третий раз – 'года'? Пишите одинаково, я же по-французски употребляю одно и то же слово». «Почему вы пишете: 'Она была хороша'? Недопустимо заменять слово 'красивая' словом 'хорошая'»... Иногда он предлагал слова, которые существуют в чешском и, по его мнению, должны широко употребляться в русском («дефинировать» вместо «определять», «интенции» вместо «намерения», «эйфоричная» (вместо «ликующая») свобода. «Почему Вы пишете: 'Давайте'? В прекрасном английском переводе сказано – 'Let us'»... «Почему 'запредельный'? Пишите 'экссессивный'». Не «порочное», а «перверсное» и т. д.).

Мне приходилось очень деликатно, чтобы не упрекнуть его в недостаточном знании языка, объяснять, что нельзя сказать «инквизиции пора вершить свой трибунал», а нужно – «суд», потому что «трибунал», как, скажем, и «госпиталь», в русском языке – военные термины, а не буквальные синонимы слов «суд» и «больница» (Увы, прожив в Америке, я так часто слышу «госпиталь», что перестала возмущаться, хотя и не могу привыкнуть). Но зато сам он очень точно и неизменно подмечал мои ошибки.

Иногда, увидев по его замечаниям, как сильно я, как теперь говорят, «накосячила», я буквально готова была застрелиться: «Строчка 13 снизу. Шопен, а не Бах!»; «И в другом месте: 'Не Шуберт!' Шуман!» Рациональному объяснению это не поддается... Наверное, он решил, что я полная кретинка и в жизни не слышала классической музыки... Бывали ошибки посущественнее: *pastichier* – «имитировать», не «пародировать». «Хоровое пение» вместо «пения хоралов»... Или, например, я неправильно прочла и, соответственно, перевела глагол *descriaient* (осуждать) как *descrivaient* (описывать). «... 'Брод опубликовал три своих романа...' Нет! Три *его* романа». Боже, дикая ошибка, как у моих английских студентов! Да, Кундера почище любого редактора выверил все мои погрешности и недочеты. Наверное, не случайно он с таким подозрением относился к переводчикам...

Вот что он писал мне, например, о включенных в его книгу фрагментах рассказа Эрнеста Хемингуэя «Холмы, что белые слоны», в ответ на мое предложение процитировать их в неоднократно переиздававшемся классическом переводе А. Елеонской:

Я не использую перевод на французский, давно опубликованный моим же издателем Галлимаром, а привожу очень точный, сделанный специально по этому случаю перевод Соллерса<sup>5</sup> (который тот сначала опубликовал в своем журнале). И хотя во Франции этот рассказ известен под названием

«Потерянный рай», я везде привожу оригинальное заглавие Хемингуэя. Исходя из сказанного, я не вижу никаких оснований цитировать русский «официальный» перевод – там есть места, которые не кажутся мне удачными: например, «Would you please please please stop talking»<sup>6</sup> или «No, you would not have»<sup>7</sup>, или вставленное посреди реплики «сказал мужчина» (что полностью противоречит стилю автора). Таким образом, я думаю, что именно Вы, дорогая Марианна, должны перевести небольшие процитированные мною отрывки рассказа Хемингуэя. Можно указать на это в сноске.

Некоторые его замечания были всё же достаточно вкусовыми. «Я не знаю слово ‘заветные’ – лучше ‘интимные секреты’»; «‘Покончив счеты с жизнью’. Я всегда избегаю клише. А можно просто – ‘он покончил с собой’?»; «‘Чистой душой’ – лучше ‘невинной душой’».

«Марианна, выбросите Ваш Словарь! Нельзя пользоваться для перевода французско-русским словарем, а только подлинным Словарем французского языка ‘Le Robert’!!!<sup>8</sup> В данном контексте ‘curieux’ – странный, необычный»; «‘Говорит’ или ‘поговорит’ лучше, чем ‘коснется темы’, этот отрывок должен звучать очень лично, а не по-профессорски...» Иногда он обращал внимание совсем на какие-то мелочи: «Стр.3 строчки 8-9, прошу Вас сохранить точку с запятой».

Как я уже упоминала, он не допускал замены повторяющихся у автора слов синонимами («В одном случае, Вы говорите ‘суждения’, в другом ‘оценки’, прошу Вас используйте один и тот же термин, синонимы недопустимы!»). Он также непременно хотел, чтобы одно и то же слово переводилось одинаково на протяжении всей книги («Внимание! Слово ‘peronne!’ всегда должно переводиться одним и тем же прилагательным. Вы же иногда используете ‘личный’, иногда ‘собственный’»... Честно говоря, не всегда точно помнишь, как именно ты перевел такое слово на сто страниц раньше, а больше полагаешься на контекст. «Вы переводите слово ‘relativisé’ один раз – ‘относительен’, а другой раз – ‘условен’. Нужно сохранять один и тот же термин, мне кажется, ‘относительность’ лучше».

Больше всего споров у нас вызвало сочетание «русская армия» и «русская оккупация» по отношению к вторжению в Чехословакию в 1968 году. Я полагала, что разумнее сказать «советская», в крайнем случае, «российская», что больше соответствовало действительности. Я писала ему – напомним, что это было в 2004 году: «Для Ваших русских читателей, которые в массе своей осуждают это вторжение, существует большая разница между понятиями ‘русский’ и ‘советский’. Советское вызывает негативную реакцию и может быть поводом для критики, ‘русское’ – это национальная идентичность и в сочетании со словом ‘армия’ может вызвать обиду». Но он не слушал никаких возражений. «Приношу свои извинения, но сохраните, пожа-

*луйста, слово 'русская', я не использую слово 'советский'; подобную терминологию вы найдете во всех моих книгах».*

Если я понимала, что у меня «перелет» или «недолет», а он предлагал всё же какое-то неприемлемое решение, я находила третий, более удачный вариант, на который, надо отдать ему должное, он сразу же соглашался, если чувствовал или я могла убедить его, что так лучше: «переплетение» у меня – «перекресток» у него, и в результате – «скрещение». «*'Идущие из глубины души' – я бы такое выражение никогда не употребил, напишите 'интимные'*»... Сошлись на «задушевных».

И вот дело дошло до главы 4 «Фраза», практически полностью посвященной его пониманию перевода, которое я цитировала выше. Кундера подробно говорит в ней о повторах и синонимах, роли метафор и даже типографского воплощения текста (о шрифте и абзацах). Она начинается так:

В главе «Кастрирующая тень святого Гарты» я приводил фразу Кафки, одну из тех, в которых, по-моему, сконцентрированы вся оригинальность его поэзии романа: фразу из третьей главы *Замка*, в которой Кафка описывает сон К. и Фриды. Чтобы правильно показать специфическую красоту искусства Кафки, я предпочел сам сымпровизировать как можно более точный перевод, вместо того, чтобы воспользоваться существующими. Различия между фразой Кафки и ее отражением в зеркале переводов навели меня затем на следующие размышления...

И дальше Кундера излагает свое видение перевода. Он приводит этот фрагмент по-немецки, цитирует три французских (неудачных, на его взгляд, перевода) и свой собственный (по его мнению, совершенный). И дальше разбирает каждый перевод в отдельности и сравнивает их между собой, указывая на ошибки. Приведу небольшой фрагмент этой главы:

Вся фраза – лишь одна длинная метафора. Ничто не требует от переводчика большей точности, чем перевод метафоры. Именно здесь затрагивается самая суть поэтической оригинальности автора. Слово, где Виалатт допустил ошибку, – это, прежде всего, глагол «углубиться»: «он углубился так далеко». У Кафки К. не углубляется, он «есть». Слово «углубиться» искажает метафору: оно слишком визуально ясно связывает ее с реальным действием (тот, кто занимается любовью, углубляется) и, таким образом, лишает ее степени абстрактности (экзистенциальный характер метафоры Кафки не претендует на материальное, визуальное воспроизведение любовного движения). Давид, исправляя Виалатта, сохраняет тот же глагол: «углубляться». И даже Лортолари (самый точный из всех) избегает слова «быть», заменив его на «продвигаться вперед».

У Кафки К., предаваясь любви, находится «in der Fremde», «в чужом мире»; Кафка повторяет это слово дважды, на третий раз он использует производное «die Fremdheit» (чуждость): «в воздухе чужого мира задыхаешься»

от чуждости». Все переводчики испытывают неудобство от этого тройного повтора; именно поэтому Виалатт лишь один раз использует слово «чужбина», а вместо «чуждости» выбирает другое выражение: «где он должен был задохнуться от изгнания». Но у Кафки нигде не говорится об изгнании. Изгнание и чуждость – разные понятия. Занимаясь любовью, К. не был удален из какого-либо пристанища, он не был выгнан (значит, он не нуждается в жалости); он находится там, где оказался по своей воле, он там, потому что посмел там находиться. Слово «изгнание» придает метафоре ореол мученичества, страдания, оно вносит сентиментальность и мелодраматизм.

И затем Кундера подсчитывает, сколько раз и какие ошибки допустил каждый переводчик...

Когда я закончила главу 3, он сразу же сообщил, что считает главу 4 в принципе непере译имой и разрешает мне, как до того и многим другим переводчикам на самые разные языки, ее пропустить. Меня почему-то это задело... И я рискнула. Получилось не сразу – очень трудно было точно воспроизвести те же ошибки, что и переводчики в его анализе, и я изрядно помучилась. Но заслужила похвалу: «Bravo! Parfait!» (Браво! Превосходно!)<sup>9</sup>.

Но Кундера был требователен не только к переводчику, но и к себе. В двух или трех местах сокращал или менял собственный текст, уже неоднократно переизданный и переведенный на разные языки. И тогда просил меня что-то вычеркнуть или перевести заново.

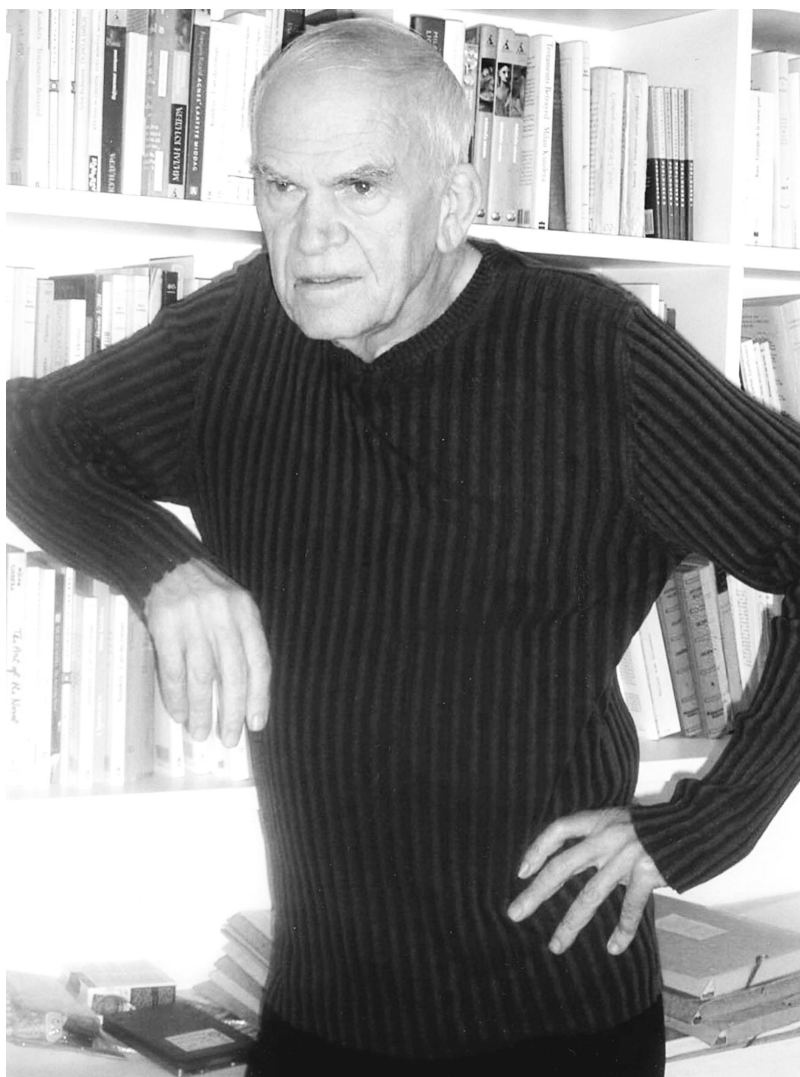
Я закончила перевод, и неожиданно он предложил, чтобы готовую рукопись мы посмотрели вместе в Париже и устранили все оставшиеся шероховатости. Я была потрясена, поскольку знала, что он никогда не дает интервью, не ходит ни на какие публичные собрания, живет отшельником. Узнав об этом, очень прижимистая директриса нашего отделения иностранных языков сообщила мне, что университет оплатит мою поездку. Так в Англии ценили творчество Кундеры!

Я полетела в Париж, замирая от страха, не спала всю ночь в маленьком гостиничном номере возле церкви Св. Роха. Утром 31 октября 2003 года Кундера встретил меня около своего дома на улице Рекамье, недалеко от бульвара Распай. Честно говоря, я представляла его как-то крупнее и выше и немного боялась, сумеем ли мы общаться вживую, хотя по телефону явно установилось взаимопонимание. Но он смотрел такими добрыми и дружелюбными глазами, что сразу стало как-то необыкновенно легко. Особенно поражал его интерес к собеседнику, он слушал так внимательно, был настолько увлечен разговором! Наверное, так должны держаться исповедники, чтобы было не страшно распахнуть им душу. Такой же талант общения я встречала только у одного человека, близкого знакомого нашей семьи, – у актера Михаила Александровича Ульянова, – они с Кундерой даже внешне чем-то похожи.

Огромная прихожая с пола до потолка была заставлена высокими стеллажами с его книгами, переведенными на все существующие языки. Я как-то мгновенно ощутила себя каплей в этом океане Кундеры. Потом втроем с Верой пошли в ресторан Le Recamier в соседнем доме, где, как он мне объяснил, обедает всё издательство Gallimard, в котором он печатался, – и даже кому-то из начальства меня торжественно представил. Во время обеда у меня зазвонил мобильный, вместо звонка он играл российский гимн (это была инициатива моих английских студентов, наделенных чувством юмора, и двадцать лет назад это никого не напрягало...). Тут же с криками: «Хоккей, хоккей!!!» сбежались официанты, а Кундера долго хохотал. Потом мы вернулись к работе. Когда мы просмотрели всю рукопись до последней точки, он сказал, что надо отметить завершение книги – долго искал припрятанную бутылку, но так и не нашел и огорчился. Сын моей подруги мечтал об автографе Кундеры. Я попросила, и он охотно подписал. Я ужасно жалею, что не попросила книгу для себя, как-то было неловко. В результате у меня остались только факсы, а оригинал его почерка – мой и его адреса, написанные им на присланном мне большом картонном конверте.

Неожиданно для себя я вторично «столкнулась» с Кундерой уже заочно, когда через несколько лет после выхода книги стала ежегодно ездить в Чехию в Оломоуцкий университет, с которым мой Даремский университет в Англии заключил соглашение по обмену студентами, за который я отвечала. Наверное, не без влияния Кундеры я очень любила и Чехию, и Прагу, и средневековый маленький Оломоуц. Когда там узнали о моем переводе и общении с ним, то даже взяли интервью для чешского литературного журнала<sup>10</sup> и попросили выступить в университете. Мне ни разу не приходилось выступать перед такой огромной аудиторией – актовъый зал был набит битком. На меня смотрели как на особо избрannую, увидевшую великого писателя лично. Невольно я как бы попала в отсвет его славы...

Отношение к Кундере в Чехии было тогда, да, наверное, остается и сейчас, двояким. С одной стороны, им страшно гордились и уважали как всемирно известного писателя. По словам американской писательницы Ольги Карлайл (внучки Леонида Андреева): «В 1980-х годах Милан Кундера сделал для своей родной Чехословакии то же, что Габриэль Гарсиа Маркес сделал для Латинской Америки в 1960-х и Солженицын для России в 1970-х. Он привлек внимание западной публики к Восточной Европе и сделал это благодаря идеям, универсальным в своей привлекательности»<sup>11</sup>. А с другой стороны – ему не могли простить то, что последние сорок лет он писал только по-французски и после 1989 года несколько раз приезжал на родину только инкогнито, хотя в 2019 году ему вернули чешское гражданство. По



На фотографии на первой верхней полке слева – книга с надписью «Милан Кундера», – первое издание «Нарушенных обещаний» («Азбука», 2004). Более позднее издание:  
<https://www.litres.ru/book/milan-kundera/narushennye-zaveschaniya-68346859>

словам журналистки и коллеги Катерины Микешовой, бравшей у меня интервью, в последние годы жизни Кундеры это отношение немного изменилось – на него все-таки уже стали смотреть как на живого классика. Особенно в Брно, где он родился, его любят и хранят память о его известном отце Людвиге Кундере, пианисте, музыковедом и ректоре местного университета. Говорят, Кундера хотел быть похороненным в Брно. 1 апреля 2023 года в день рождения Кундеры в Моравской краевой библиотеке в Брно было открыто специальное пространство, посвященное его литературному творчеству. Подтверждая интерес к Кундере как к живому человеку со всеми его слабостями, в 2020 году вышла первая на чешском языке биографическая книга Яна Новака: «Кундера: чешская жизнь в те времена», где он рассказывает о жизни писателя вплоть до 1975 года, до отъезда из Чехословакии. Эта книга стала сенсацией. Новака критиковали за его монографию, поскольку образ писателя в ней выглядит достаточно неоднозначно, и биограф не выказал должного пиетета к классику чешской литературы. Он старался показать противоречивого человека, который пытался «отредактировать» свою жизнь, по мнению Новака, забыть всё спорное и заставить других это забыть. В 1995 году президент Вацлав Гавел наградил Кундери медалью «За заслуги». Эту же медаль получила и его жена Вера.

Но вернемся к 31 октября 2004 года. Я собралась уходить, на улице было довольно холодно, осень, а его пальто висело в нижней квартире; но он не стал за ним спускаться, вышел из дома в пиджаке, накинув на шею теплый шарф. Я очень волновалась, что он простудится, однако ускорить шаг не решалась – он немного прихрамывал. Ему было тогда 74 года, но стариком он в памяти не остался. Скорее, очень мудрым и, казалось, крепким и вечным. Он, действительно, прожил еще целых двадцать лет после нашей встречи, до глубокой старости, ушел в 94. Говорят, умирал долго и тяжело.

Когда мы начали прощаться у остановки метро, мне вдруг стало ужасно грустно, до слез, я понимала, что больше никогда его не увижу. Я не спустилась в метро, а долго ходила пешком, наверное, только тогда осознав, с личностью какого масштаба мне посчастливилось так тесно общаться почти целый год: как оказалось, этих воспоминаний хватило на всю жизнь.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. До 1990 г., пока я жила в СССР, я перевела с французского на русский произведения Ж. де Нерваля, А. Дюма, Жюль Верна, Ж. Сименона, Г. Аполлинера и др.
2. Здесь и далее он транслитерировал русские слова от руки латинскими буквами, остальной текст печатал на машинке, компьютером он не пользовался.
3. «Роман с ключом» (фр. roman à clef), разновидность романа биографиче-

ского характера с «зашифрованными» прототипами. Сформировался к началу 17 в., получил значительное развитие во французской литературе. Роман с ключом вышел из моды в 19 в., но пережил бурный всплеск в 1920-е годы.

4. В результате долгих обсуждений я перевела по его настоянию «зашифрованный роман», что не кажется мне удачным.

5. Соллерс Филипп (1936–2023) – французский писатель, эссеист, возглавлявший интеллектуальное направление литературы во Франции в 1969–1970 гг., основатель журнала «Tel Quel», муж знаменитого философа Юлии Кристевой.

6. В переводе А. Елеонской: «Так вот, я тебя очень, очень, очень, очень, очень прошу замолчать». Я, по его просьбе, перевела дословно: «Тогда пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста: не мог бы ты замолчать?»

7. В переводе А. Елеонской: «Где уж тебе видеть!»

8. Le Grand Robert – «Толковый словарь французского языка» (его электронная версия, порядка 100000 статей; печатный аналог состоит из шести томов по 2240 стр. каждый) предусматривает включение в свою структуру порядка 86000 слов и содержит около 800000 семантических значений и порядка 325000 различных речевых примеров, фраз/выражений. При переводе он незаменим для уточнения значения слов, но без французско-русского словаря при переводе на русский язык обойтись невозможно.

9. Закончив перевод Кундеры, я дала себе слово иметь дело только с покойными авторами, но всё же взялась переводить книгу молодого талантливого писателя Давида Фонкиноса. Он сказал мне, когда мы встретились в Париже перед началом работы: «Если что-то вам не понравится в тексте, выкидывайте всё без сожаления». Я чуть не подавилась кофе...

10. *Mikešová, Jekatêrina. Překladatelka ve stínu... Rozhovor s Mariannou Tajmanovou o překladu Kunderových Zrazených testamentů do ruštiny.* In: Host, 2006, № 10. P. 34-36.

11. <https://literaryreview.co.uk/interview-milan-kundera>

*Georgia, USA*



# КНИГА И СУДЬБА

Ирина Муравьева

## Треск хвороста

*Франсин дю Плесси Грей*. Они. Воспоминания о родителях (*Francine Du Plessix Gray. Them. A Memoir of Parents*). Москва: Изд-во АСТ.

Несколько лет назад в издательстве АСТ (Москва) вышла книга Франсин дю Плесси «Они». В Америке она не имела большого успеха, хотя Франсин дю Плесси неоднократно выступала перед читателями и рекламировала содержание этих автобиографических глав, посвященных в основном ее матери Татьяне Яковлевой дю Плесси-Либерман и отчиму Александру Либерману, который, женившись на вдове барона дю Плесси, заменил девятилетней девочке отца. Попав на одно из таких чтений, высидев его от начала до конца, я почувствовала, что автор путается в своих рассказах, как неумелый свидетель в показаниях. Под утрированной нежностью и тоской по умершим чувствовалось глухое раздражение и не смягченная временем ярость. Это заинтриговало меня, и я прочла книгу. Капсула чужой жизни лопнула. Мне захотелось провести что-то вроде психологического эксперимента над текстом, столь искренним на поверхности и тем не менее оставившим впечатление подлога.

Я опиралась на сведения из разных источников, оставляя за читателем право на его собственную интерпретацию изложенных фактов.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАЯКОВСКИЙ

*Не будь Татьяна Яковлева одной из возлюбленных Маяковского, вряд ли книга ее дочери «Они» вызвала бы к себе такой интерес. О судьбе Александра Либермана, скульптора-монументалиста, художника и редактора знаменитого нью йоркского Издательского дома Конде Наст, вспомнили бы, наверное, только те, кто интересуется глянцевыми журналами. Ну, и добавили бы, что он был женат на Татьяне Яковлевой, русской эмигрантке. В Нью-Йорке она оказалась в сорок первом, была хороша собой, успешна, трудолюбива, неплохо образованна; водила дружбу с самыми знаменитыми людьми своего времени, как в Америке, так и в Европе; придумывала фасоны изысканных головных уборов, прославилась как хозяйка по-русски щедрого салона... Да, Бродский бывал там. Барышников. Ну мало ли кто где бывал? Нет, что-то другое... «Ужель та самая Татьяна?»*

Париж, 25 октября, 1928 год. В приемной врача на Монмартре встречаются двое: высокий, с нахмуренным взглядом исподлобья, одетый по последней английской моде пролетарский поэт и русская

барышня, эмигрантка. Она пришла с бронхитом, бледная, горло закутано кроличьим мехом. При этом – красавица, статная блондинка с подведенными глазами. Маяковский сопровождал свою бывшую пассию, а теперь почти родственницу, Эльзу Триоле, сестру Лили Брик. Золотоволосая барышня с бронхитом работала модисткой в шляпной мастерской и часто снималась в рекламах: красивые ноги, фигура богини.

Делаем паузу, поскольку, как всегда, когда доходит до романтических отношений, сплетни сыпятся, как спелые сливы с ветвей. Осыпались и стали гнить. Татьяна оказалась в городе художников, томных кокоток, новейших течений в поэзии, музыке и жгучих соблазнов благодаря своему дяде Александру Яковлеву, художнику, очень способному, к тому же еще путешественнику, а главное, другу-приятелю многих: Шаляпина, Ларионова, Гончаровой, Коко Шанель, Прокофьева, Кокто. Всех не перечислить. Великая балерина Анна Павлова была его любовницей. Связь, правда, выматывала. Они изменяли друг другу, то мстили, то вдруг становились нежны, всё прощали. Он был рисовальщиком и живописцем, энергия в нем клекотала. После нескольких экспедиций по Эфиопии он долго блуждал по Монголии, потом очутился в Китае, Японии, которая очень ему понравилась. Яковлев долго жил на острове Осима и учился у тамошних рыбаков подводному плаванию. В 1919-м на выставке в Шанхае он представил свои подводные снимки. Семья между тем оставалась в России, куда он уже не вернулся. Маленький сын вскоре умер, а жена, актриса, покончила с собой. Судейкин, наблюдая за той скоростью и легкостью, с которой работал Яковлев, назвал его в шутку «нашим Леонардо да Винчи». Об отношении друзей и знакомых к русскому «Леонардо» можно судить по отрывку из письма художника Бориса Григорьева: «Какой ужас, нету больше нашего Саша Яковлева, он умер так неожиданно, говорят, от рака прямой кишки. Он, бедный, никому об этом не говорил и сам поехал в клинику, на своей машине, сказав консьержке, что скоро вернется. Ему сделали операцию, но нечего было уже вырезать, потому что вырезать нужно было всё. Тогда ему зашили рану и начали впрыскивать морфий, чтобы он умер спокойно. Подумай! Вот воля! Самого себя повез оперировать! Перед смертью он пожелал, чтобы его сожгли и прах его развеяли около Капри над морем. На днях в какой-то якобы масонской ложе с нелепыми бархатными занавесками, со скамейками и сидящими на них людьми в черном, с органом под сурдинку сожгли нашего Сашу. И вынесли показать кучку праха. А был ведь героем. Каким был героем...»

Оказавшись в Париже после Пекина, Яковлев затосковал по домашнему теплу. Сперва к нему приехала мать, вскоре сестра. Свояченица, живущая в Пензе, написала ему, что ее старшая дочь Тата подхватила туберкулез. В начале 1925-го, при содействии хорошо знакомого ему наркома Красина, Яковлев выхлопотал для племянни-

цы парижскую визу. И она приехала. Пережившая голод, торговавшая на толкучках всем, что можно было продать или обменять на продукты, переболевшая тифом, певшая романсы в госпиталях раненым красноармейцам за пайку хлеба, «немая красавица», как выразился дядя в одном из писем, оказалась в парижском раю. «Здесь рай, чистый рай, – писала она матери в Пензу. – У нас большая квартира, пять комнат, вид из окна чудесный. Я уже перезнакомилась со всеми. Вчера Прокофьев уговорил меня сыграть с ним в четыре руки... Со мной все ужасно мило и приветливо... Дядя носит на руках...»

Далеко не многим прибывшим из России барышням так повезло, как ей, но у нее была «судьба», и эта «судьба» столкнула ее с Маяковским. Если верить слухам, пролетарский поэт влюбился сразу. Сидел на кушетке в приемной врача и сразу влюбился. Так сильно и так беззаветно, что, провожая ее на такси домой, спросил, не холодно ли ей, и тут же сорвал с себя пальто, закутал барышне ноги. Она, кстати, в этом такси тоже кашляла. А он всю жизнь боялся заразиться. Сам рассказывал, что страх наступил после отцовской смерти. Отец поцарапался булавкой и умер от заражения крови.

Итак, они стали встречаться. Октябрь, в Париже тепло. Листва засыпает бульвары. Запах свежего хлеба, горячего шоколада, запах корицы. Она рассказывает ему о богатом дворянском детстве, о потрясении революцией, о страхе, о тифе, о разлуке с матерью и сестрой. Она не скрывает того, что во сне к ней часто приходит кошмар: ее возвращают обратно в Россию, и всё начинается заново. А он говорит о свободной, великой, в плакатах и флагах Москве. Какое строительство! Сколько свершений! А люди! Гуляя под ручку, они очень часто читают стихи. Карабчиевский, автор безжалостной книги о Маяковском, уверял, что пролетарский поэт был дурно образован и чужих стихов не помнил. Ну, значит, чужие читала Татьяна. Она их любила и помнила. А он ей читал всё свое. Она восхищалась. И тут, если, конечно, верить тому, что пишут, Маяковский предложил ей руку и сердце. Опустился на колени в своем английском пальто, спугнул голубей и спросил: «Ты согласна?» Они, разумеется, были на «ты». Она отказала. Решительно, сразу же. Ведь это же сон ее, сон, самый страшный. Россия, Москва, голод, тиф... К тому же нельзя забывать, что в Москве его ждала Лиличка. И как ни сжимал он Татьянины пальцы, и как ни заглядывал ей под ресницы, о Лиличке помнил, как пес о хозяйке. В кармане широких английских штанин хрустел длинный список: «рейтузы синие и розовые, чулки подороже, иначе быстро порвутся, платье черное, и еще одно, крепдешинное, пестрое, бусы зеленые, потемнее, какие Эля скажет, если еще носят, платье нарядное, с большим вырезом, для встречи Нового года, перчатки разных цветов». Странностью его характера было то, что каждой из своих новых возлюбленных он первым делом рассказывал о Лиличке. Татьяне – и той рассказал. Не

только стихи они читали, не только обнимались в темном синема, но часами слонялись по самым дорогим магазинам: изящная и красиво одетая барышня помогала пролетарскому поэту в выборе розовых чулок и пестрых платьев.

Незадолго до отъезда Маяковский написал два любовных послания, и оба обращены к Татьяне. То ли надеялся, что перед искусством она не устоит, то ли плохо соображал в любовной горячке. Первое он прочел ей в ресторане, и она удивилась, огорчилась, а главное: попросила *не* печатать. И можно понять: выставлять напоказ свои отношения с Маяковским не одними только прогулками по Елисейским Полям, где того гляди наткнешься на Шаляпина, не совместными обедами, не поцелуями в такси, а вот так, безбоязненно, провокационно, странным каким-то стихотворением, она не хотела. «Письмо Татьяне Яковлевой» ей совсем не понравились. И неслучайно, поскольку это мучительно-фальшивое, неудачное сочинение.

В поцелуе рук ли, губ ли,  
В дрожи тела близких мне  
Красный цвет моих республик  
Тоже должен пламенеть.

Данное условие Маяковского – шоковое, абсурдное – трудно поддается расшифровке: это что? Революционные страсти переполняют влюбленных, но дрожь потных тел – не любовная, а лишь отголосок тяжелой борьбы, опять-таки классовой. «Пламенеющий» цвет далеких Парижу «республик» есть цвет их соития. И дальше опять очень-очень невнятно. Настолько невнятно, что даже ошибка допущена: в пять часов вечера Париж оживает, а не стихает:

Пять часов, и с этих пор  
Стих людей дремучий бор,  
Вымер город заселенный,  
Слышу лишь свисточный спор  
Поездов до Барселоны.  
В черном небе молний поступь,  
Гром ругней в небесной драме, –  
Не гроза, а это просто  
Ревность двигает горами.

Но ревность отнюдь не мужская, привычная, а классовая. Угрюмая ревность скопца, следящего, чтобы султанские жены вели себя как полагается. «Я не сам, а я ревную за советскую Россию..»

Широкоплечий Маяковский пригнулся и спрятался. Советская Россия – это не его английское пальто, не его добротный парижский пиджак. Бушлаты матросиков да телогрейки, пропахшие горькой

махоркой. За ними он спрятался, наш пролетарский и, вроде, влюбленный поэт: «...ты НАМ и в Москве нужна, не хватает длинноногих». Ничего личного. Ты НАМ нужна – нам, а не мне одному. Но вот «длинноногих» его выдает: не глаза он видел перед собой, не губы и даже не брови, *своим бровям вровень*, а ноги – высокие, сильные, с выпуклыми, как раковины, коленями. Не случайно Татьяна Яковлева рекламировала чулки на подвязках.

Не тебе, в снега и в тиф  
Шедшей этими ногами,  
Здесь на ласки выдать их  
В ужины с нефтяниками.

Чувственная страсть набрасывалась, как львица, стоило ему вспомнить ее ноги да еще и написать про них. Мерзавцы-магнаты, которые будут «ласкать» эти ноги... Поэтому он и зовет: «Иди сюда, иди на перекресток / Моих больших и неуклюжих рук...» Но опоминается сразу же. Она отказала, а он унижается.

Не хочешь?  
Оставайся и зимой.  
И это оскорбление на общий счет нанижем...

Отказывали ему многие. Счет общий. Но ей не уйти: «Я всё равно тебя когда-нибудь возьму / Одну или вдвоем с Парижем». Что значит: «вдвоем с Парижем»? Да так, ничего. Прорвалось. Поскольку Париж тоже очень хорош. Татьяну – уж если и «брать» – так лучше с Парижем. Но есть и угроза в последних словах, отчаянье в них, застаревшее, жалкое: «Мария, не хочешь?» Мария ведь тоже ему отказала.

Вряд ли Лиля Юрьевна всерьез ревновала его к Яковлевой, поскольку, гуляя днем с Татьяной, Маяковский вечерами писал Лиличке о том, как «невозможно, до отвращения надоел Париж»). Кому верить? Да проще сказать: никому. Стихи – и те путаются. Однако же страсть в самом деле была. Но он проглотил эту страсть. Он с ней *справился*.

Приторная легенда о цветах, которые по заказу Маяковского каждую субботу приносили Татьяне Яковлевой на протяжении многих (!) лет, не стоит того, чтобы о ней вообще упоминать, но я все-таки упомяну. Звучит эта легенда так: Маяковский заплатил большие деньги за невиданное количество корзин с живыми цветами, когда покидал Париж. И эти корзины регулярно доставляли на квартиру Яковлевой. И так долго доставляли, десятилетиями, что во время оккупации, продавая их на бульваре (!), она спаслась от голодной смерти. Ну, тут комментировать нечего. Беда, что Татьяна ни разу не воспрепятствовала распознанию этой нелепости. То ли она с годами прочно срослась со своей ролью роковой последней любви Маяков-

ского, то ли к старости ей показалось, что и она, наподобие Элизы Дулитл, торговала на бульваре цветочками. А что? Оккупация. Могло ведь такое случиться? Корзины-то были. Красивые, в лентах.

Маяковский дарил цветы каждой своей женщине. Элли Джонс проводила его на пароход и, вернувшись домой, обнаружила, что вся ее постель густо устлана незабудками. В Одессе вот тоже был случай. Едучи в пролетке с Софьей Шамардиной и заметив цветочницу, Маяковский резко остановил пролетку, выскочил, схватил в охапку всё, что было в корзине, расплатился, не считая, и тут же всучил эту кучу букетов вконец растерявшейся Софье. Вероника Полонская не знала, куда поставить розы, которые получала от Маяковского, а главное, как объяснить своему мужу, актеру Яншину, происхождение ежедневных роз... Любопытная, кстати, штука – эти его цветочные порывы. Мне кажется, что не только в поведении, но глубоко в сознании Маяковского была болезненная механистичность. Он не был склонен к экспромтам... Неподвижные идеи вживлялись в душевную ткань и ороговевали. Идея пролетарской революции оказалась особенно сильной. Понимал ли он, что происходит на самом деле? Почему он не ужаснулся? Почему просил, чтобы ему *указывали*, о чем и как писать? Чтобы ЧК взяла на себя этот труд? А всё потому, что как вспыхнула в его голове абстрактная «правота» большевизма, так и продолжала гореть. А когда первый раз, увидев Лилю Брик, он содрогнулся от ее черных зрачков, так и остановилось внутри него, так и окаменело это содрогание, как молния останавливается внутри картины или фотографическом снимке. Да, были другие, жениться хотел. Но чтобы ничто не мешало ни Лиле, ни этому чувству. Цветы – это маленький штрих, но всё же вполне выразительный. Когда рядом женщина – дари ей цветы. Вот он и дарил. Благоухающие корзины доставляли на квартиру Яковлевой, но недолго. Все деньги, заработанные во время поездок по Америке, ушли на покупку серого «Рено» для Лили Юрьевны. Она там, в Москве, извелась: «Телеграфируй автомобильные дела. Целую. Киса».

Привязанность Маяковского к «Кисе» описана многими. Сама она утверждала, что «страдать Володе полезно, он тогда напишет хорошие стихи». Серебряный век, сговорившийся с дьяволом, был строгим учителем. Убей, отрави, укради, хоть повесься, но только пиши, музицируй, рисуй. Слезами пиши. Своих нету? Чужими. Однако ни одна трагедия не обходится без комических абсурдов. Вознесенский сообщил, что сама – сама! – Лили Юрьевна однажды сделала ему такое признание: «Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали его на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал». Речь, скорее всего, шла не о Маяковском, а о щенке, которого они подобрали под дачным забором в подмосковном Пушкино. Собаку называли Щен. Но и Владимира Владимировича Лилия и Ося стали называть так же: Щен. Этим именем Маяковский почти всегда подписывал свои к

ним письма. То ли Киса решила не уточнять, кто именно царапался в дверь, будучи запертым на кухне, то ли Вознесенский, человек с воображением, искажил факты, не заметив подвоха.

Вернувшись в Москву, Маяковский не стал ничего скрывать. Сказал Лиле Юрьевне, что встретил барышню и даже желает жениться. Хотел вызвать ревность? А как ее вызовешь? Она и про Элли всё знала. И даже про дочку. Однако стихи, посвященные Яковлевой, на Кису подействовали: «Ты предал меня!» И разбила посуду. Не целый сервиз, одну чашку. А может быть, тоже схитрила. Семья «Лиля-Ося-Володя» свою жизнь налаженную продолжала. Володя работал, Брик, вроде, служил, а Лиля меняла любовников, снималась в кино и машину «Рено» водила сама с недозволенной скоростью. Огонь была женщина. Домработница Бриков оставила устный рассказ, где утверждала, что никаких близких отношений ни у кого ни с кем не было. «У каждого было по комнате. Владимир Владимирович в Лилиной комнате по ночам не бывал, даже не заходил никогда. А когда собирался куда-то уезжать, стучал ей в дверь: ‘Лиличка! Деньги’. Всегда перед отъездом оставлял ей много денег. Он же у нас хорошо зарабатывал.»

До наступления сталинских репрессий Татьяна Яковлева регулярно писала матери в Пензу. Но насколько подлинными были те ее письма, в которых упоминался Маяковский, никто не знает. Как только за «добровольно ушедшим из жизни» закрепилось место «первого, самого талантливого поэта революции», так каждое упоминание о нем стало достоянием цензуры. Всё, что можно было вычистить, вычистили. Всё, что можно было сфальсифицировать, – сфальсифицировали. Работали грубо и грязно, до конца не доводили, не отшлифовывали. Звучат ее письма фальшиво: «Дорогая мамулечка! Маяковский меня изменил. Он заставил меня мыслить, и теперь я мучительно скучаю по России. Ей-Богу, чуть-чуть не вернулась. Всё здесь кажется таким мелким и жалким. Он такой большой человек – и морально, и физически – и первый мужчина, оставивший след в моем сердце». Слова про «мучительную» тоску настораживают. В старости Татьяна от этих писем отреклась: «Да не писала я ничего подобного! И как я могла стремиться обратно в Россию?» Но то, что Маяковский писал ей в Париж из Москвы, сфальсифицировать невозможно. Письма его Яковлева сохранила. Однообразно-страстные, механически-бодрые, иногда слишком литературные. Всегда короткие. К тому же писал он нечасто, одно-два письма в месяц. Иногда посылал телеграммы. По-прежнему уговаривал вернуться, но декоративно и неискренне: «Горы и тундры работы. Доработаю и рванусь видеть тебя. Если мы ото всех этих делов повалимся (разнесчастный случай), ты приедешь ко мне? Да? Да? Ты не парижанка. Ты настоящая рабочая девочка. У нас тебя должны все любить и все должны тебе радоваться. Я ношу твое имя, как праздничный флаг над городским зданием». Чем

могла «настоящая рабочая девочка», парижская модель, закутанная в белую кроличью шубку, надушенная, с подведенными глазами, ответить на эти слова? Сразу после самоубийства Маяковского Лиля Юрьевна вынесла из его опечатанной квартиры чемодан писем и сожгла их. Шкловский уверял, что жгла она эти листочки в своей ванне, а потом, раздевшись догола, легла в серый стынущий пепел...

Вернувшись из Парижа в уютно-богемный дом Лили и Осипа – свой дом! – Маяковский Татьяну, скорее всего, быстро вытеснил из памяти, но пару раз в месяц спохватывался:

«Милый! Мне без тебя совсем не нравится. Обдумай и собери мысли ( а потом и вещи!) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам, к себе в Москву. Давай об этом думать, а потом и говорить. Сделаем нашу разлуку проверкой. Когда я совсем устану, я говорю себе ‘Татяна’ и опять вперяюсь в работу. Ты и другое солнце – вы меня потом выласкаете. Обнимаю тебя всю, люблю и целую, твой Вол.»

При этом он пару раз щедро помог деньгами ее матери и сестре. Слова «целую тебя всю» заставляют предположить, что их отношения были близкими не только душевно. Но и это вызывает сомнения: «Разумеется, – поясняла в старости Яковлева, – ничего *такого* между нами не было. Я ведь была все-таки барышней из приличной семьи. Да он это понимал, не настаивал. Мы только обнимались». Маяковский нисколько не преувеличивал, когда писал, что близость с любой «разряженной» парижской «самочкой» ему не нужна: кроме того, что «самочка» не пламенела красным цветом республик, он брезговал случайными связями, боялся болезней. Короткие адюльтеры не привлекали его, и то, что он каждую женщину, в которую был влюблен, звал именно *замуж*, говорит о многом. Татьяна ему отказала. Ей было проще кокетничать, но не рисковать. Летом 1929-го Татьяна писала в Пензу:

«Я еще не решила наверняка, что приеду в Россию и ‘брошусь на него’, как ты выражаешься. А он едет в Париж не для того, чтобы ‘подцепить меня’, а просто увидеть и по своим делам. Не забывай, что девочке твоей уже 22 и что немногих женщины за всю жизнь любили так сильно, как любят меня. Меня тут считают ‘роковой женщиной’. Кроме того, я вообще не хочу сейчас замуж. Я слишком привязана к своей свободе и независимости. Множество кавалеров хочет отвезти меня путешествовать...»

Странные для влюбленных отношения, страннейшие письма. Маяковский, ревность которого только что «двигала горами», не задает Татьяне ни одного «человечьего» вопроса, не интересуется даже ее ужинами с «нефтяниками». Шестнадцатого июля 1929 года накануне отъезда в Крым, где он должен был встретиться с Норой Полонской, еще одной предполагаемой будущей женой, Маяковский вдруг пишет в Париж «роковой женщине»:



«Таник, я по тебе совсем затосковал. Ты замечаешь, что ты мне почти не пишешь? Надоело? Детка, напиши, пожалуйста, и пообещай меня навестить, если будет до последнего надо. Ты меня еще помнишь? Я такой высокий, косопалый и антипатичный. Сегодня еще и очень хмурый. Таник, родной и любимый, не забывай, пожалуйста, что мы совсем родные и очень друг другу нужные. Обнимаю тебя, люблю и целую. Твой Вол.»

Что-то есть в этом внезапном письме трогательное. Какое-то даже отчаяние. И на остальные бодрые письма оно не похоже. Он словно смертельно чего-то боится. Так сильно боится, что Таня Яковлева, заслоненная его новой страстью, милой и наивной Норой Полонской, опять появляется на горизонте. Не получится с Норой, ни с кем ничего не получится, и давит страх смерти, страх старости, давит, и даже стихи стали словно чужими, но есть этот самый Париж, и бульвары, и запах корицы, и «Таник», Татьяна. Она, если «будет до последнего надо», приедет к нему и обнимет.

Лиля Брик, не спускающая с милого друга своего хозяйского взгляда, с удовольствием заметила, что «когда Володя садится рядом с Норой, чувствуется, как ему хочется к ней притронуться». И вот сейчас, когда он ехал в Крым к женщине, вызывающей в нем чувственное желание, он зовет к себе Татьяну. Не думаю, что то, что я сейчас скажу, прозвучит как произвол: Маяковский бредил словами, их ток пробегал по его позвоночнику; они созревали в нем, словно в саду, разросшемся, но без садовника. Его обвиняют во лживости, в трусости, но ведь и поэмы-плакаты, и эти стихи, наподобие лозунгов, написаны мальчиком, *не* повзрослевшим. В период, когда эти самые мальчики грубят и бунтуют. Сбегают из дома.

Чтобы завершить историю любви пролетарского поэта и Татьяны Яковлевой, приведу его последнее письмо, написанное в октябре 1929 года:

«Прости, что так зачастил письмами. Видишь, я не считаюсь с тем, что ты молчишь. Чего же ты, родная, считаешься с моими письменными принадлежностями. Детка, у нас сейчас лучше, чем когда-нибудь и чем где-нибудь. Такого размаха общей работищи не знала никакая человечья история. Таник! Ты способнейшая девушка! Стань инженером. Ты, право, можешь. Не трагься целиком на шляпья. Так бы этого хотелось! Танька-инженерица где-нибудь на Алтае! Давай, а?»

И замуж уже не зовет? Не зовет. Нет, лучше давай на Алтай, на Алтай! Там «шляпья» не носят. И будешь ты там «инженерицей». Какой мрачный бред. Узнав из письма Эльзы Триоле, что «инженерица Танька» выходит замуж за барона дю Плесси, Маяковский разозлился. Но не на нее, а на этих «баронов», на «аристократов», в адрес которых он на своих выступлениях начал отпускать шпильки. «Мы не французские аристократы, мы работаем...», «мы не бароны...»

Франсин дю Плесси, дочь Татьяны и того самого барона, которого за глаза возненавидел Маяковский, утверждала, что ее мать только одного Маяковского и любила всю жизнь, только его одного и оплакивала. Тут я позволю себе сказать, что ничего подобного не было. Одновременно с Маяковским она крутила романы с другими. Так и не добравшись до Алтая, в том же 1929-м «способнейшая девушка» вышла замуж и ждала ребенка. Главное: Татьяна Яковлева никогда не собиралась возвращаться в Россию.

Франсин дю Плесси настаивает на легенде: ее мать была единственной любовью пролетарского поэта. И пролетарский поэт был единственной любовью ее матери. Да и доказательство есть. Мать, с которой Франсин никогда не была близка (об этом речь тоже пойдет), вдруг призналась ей, что она и «замуж вышла, чтобы развязать узел. Осенью 1929 года дю Плесси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было выбора... Я думала, может быть, он просто испугался. Я себя почувствовала свободной. Мы с дю Плесси ходили в театры, я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского... Он бывал у нас в доме открыто, мне нечего было его скрывать. В конце концов, он был француз, холостяк, ему было далеко до Маяковского, но я вышла за него...» В другом разговоре она была еще категоричней: «Ну, уехала бы я с ним, вернулась бы. Его бы в тридцать седьмом посадили. А я? Погибли бы оба».

Опасная штука: слова. То так вспомнит стареющая женщина, то эдак. Какой с кого спрос? Верно заметил булгаковский Коровьев: «А где свидетели? Где они, я вас спрашиваю?» Есть еще одна чудесная история, еще один яркий пример того, как работает самовнушение и сколько неизбежного романтизма прячется в душе человека. В 1926 году у американки Элли Джонс (по-русски: Лизы Зиберт), переводчицы Маяковского в Нью-Йорке, родилась дочь. Когда после трех месяцев встреч, разговоров, выступлений, поездок и любви огромный пароход, на борту которого стоял поэт в английском кепи, отчалил от берега, и большеглазая Элли вытерла слезы, она пообещала себе, что этот невыносимо притягательный человек обязательно встретится со своим ребенком. Маяковский о ее беременности не знал. Элли и в мыслях не допускала аборта, была очень верующей. Свое обещание она выполнила. Увиделись они в Ницце через три почти года. Двухлетняя Хелен Патрисия Джонс, чертами похожая на мать, но крупная, в отца, была привезена из Нью-Йорка во Францию. Маяковский гостил в Париже, прибыл в Ниццу ночным поездом. Встреча оказалась напряженной, и расстались они совсем не так, как мечтала Элли. Но, может быть, что-то и дрогнуло в его сердце, раз фотографии девочки хранил

он в своей московской комнате и, кроме того, существует письмо: «Две милые мои Элли. Я по вам уже соскучился. Мечтаю приехать к вам. Напишите, пожалуйста, быстро-быстро. Целую вам все восемь лап».

Но вот коварный вопрос: представьте, что вы – дитя Маяковского. Внебрачное, встреченное им один-единственный раз за полтора года до самоубийства. Станет ли факт этого высокого родства главным содержанием всей вашей жизни? Франсин дю Плесси никак не могла претендовать на дочерний статус (по времени не получалось!) и потому пришлось довольствоваться тем, что мать ее всю жизнь любила *одного* Маяковского, а она – единственный ребенок у своей горящей матери. Так что не совсем, конечно, дочь, но все-таки и не чужая. Хелен Патрисии Томпсон повезло гораздо больше. Во-первых, она – настоящая дочь. Во-вторых, на протяжении всего детства она впитывала рассказы Елизаветы Петровны о Маяковском. На этих рассказах и выросла, как Пушкин на сказках Арины Родионовны. Неважно, что еще до родов Элли вышла замуж за достойного человека и сменила фамилию Зиберт на Джонс, и Джонс ее девочку удочерил. Но все-таки Элли хотела, чтобы крошка, еле-еле лепечущая по-русски, узнала своего *настоящего* отца. Зачем? Ей виднее. Прошло много лет. Отцовская кровь ударила в голову доктора психологии миссис Томпсон, и вскоре после перестройки, уже ничего не боясь, она прилетела в Москву вместе со своим сыном Роджером, названным в честь вырастившего ее отчима. Высоченная, широкоплечая, скулы высокие, как у матери, взгляд исподлобья, как у отца, Хеллен Патриция была сражена наповал тем, как почтительно и великолепно ее приняли. В Нью-Йорк она вернулась другим человеком. Незадолго до своей кончины заявила о желании немедленно выучить русский язык и принять российское гражданство. А имя сменила еще даже раньше. Не Хелен Патрисия Томпсон, а просто: Елена Владимировна. Фамилия, как у отца: Маяковская.

Он выстрелил в сердце и не промахнулся. Бедная Нора, которую он пытался удержать, все-таки вырвалась, выбежала, но, услышав выстрел, вернулась, и увидела, что Маяковский лежит на полу, еще дышит, еще пытается приподняться. Через пять минут приехала «скорая», его уже не было. После кремации Пастернак, всем сердцем жалеющий тех, кому плохо, сказал: «Как много было огня и как мало тепла». Поползли слухи, попозили сплетни. Кроме странностей, сгустившихся вокруг этой смерти, была еще одна. Цитирую по книге Быкова: «В 18 часов 15 минут в доме 20 по улице Гороховской в квартире 38 Елизавета Александровна Антонова, домашняя хозяйка двадцати шести лет, застрелила свою четырехлетнюю дочь и застрелилась сама. На столе остались две записки: ‘В смерти своей никого невеню. Алек прости не вини. Елизавета’, ‘Прошу любопытных не пускать глазеть на нас. Похороните по граждански. Если можно в кремацию. Елизавета’. Соседка по квартире домохозяйка Филитис спросила на

кухне Антонову, читала ли она о самоубийстве Маяковского. Та сказала, что нет, и пошла к себе в комнату. Филитис заглянула к ней и увидела, что Антонова держит револьвер. 'Я сказала, что ты делаешь, и в это время она повалилась на диван.'».

«Тут какая-то тайна, – пишет Быков, – лишний раз доказывающая его скрытность, тайна, едва ли не самая жуткая в его биографии...» В записной книжке Маяковского стоит слово «дочка». Запись предположительно сделана в 1926 году, то есть тогда, когда в Нью-Йорке на свет появилась Хелен Патрисия. Кого он обозначил этим словом? Безымянную девочку полуграмотной домохозяйки с соседней улицы или того младенца, которого родила далекая Елизавета Зиберт? Трудно представить себе, что московская домохозяйка, услышав о смерти известного поэта, так проникнется этим известием, что убьет и себя, и ребенка. Настораживает и то, что Лиля Брик была осведомлена об этом самоубийстве и знала, что двадцатипятилетнюю Антонову кремировали тогда же, когда и Маяковского. Сначала поэта, потом молодуху с ребеночком. Но Лиля смолчала. Да, много огня, мало пепла.

Итак, была одна женщина, предположительно связанная с ним, которая ушла из жизни сразу же, узнав о его смерти. Одна не пережила. А Лиля, Татьяна и Нора остались. И каждая стала жить дальше.

## ГЛАВА ВТОРАЯ. БЕРТРАН ДЮ ПЛЕССИ

Если у Маяковского одновременно с Татьяной была и Лиля, теперь уже платоническая, но по-прежнему сильнейшая его привязанность, и Нора, нерешительная, мягкая, в том же 1928 году сделавшая от поэта аборт, то у самой Татьяны было одновременно с ним по крайней мере три претендента на руку и сердце. Дю Плесси, потомок знатного рода, сделал ей предложение в начале октября 1929-го. Тогда же она и получила последнее письмо Маяковского, а вслед за письмом телеграмму, на которые не ответила. Письмо кануло в Лету, а телеграмма вернулась к адресату. Виконт ухаживал за ней и раньше, но она разрывалась между поклонниками и никак не могла решить, кого предпочесть. Маяковский всё еще темнел на горизонте, и страстные его письма, в которых нелепость, вроде Алтай, чередовалась с нежностью («детка, поверь, мы совсем родные с тобой»), нарушали четкий рисунок ее жизни, а Татьяна была безукоризненно четким и прагматичным человеком. Венчание состоялось в Париже 23 декабря. Эльза сообщила сестре Лиле, а Лиля – Маяковскому, что невеста была в белом длинном платье с флердоранжем. Через несколько дней молодые отправились в путешествие по Италии. Франсин дю Плесси с пеной у рта утверждает, что мать ее выходила замуж девственницей, но вовсе не потому, что недостаточно любила Маяковского, а потому что так сильно его любила, что каждую секунду, проведенную с ним, переживала как последнюю, ибо каждую секунду помнила, что он совсем скоро уедет. Сохранилась фотография: высокая, с

тонкой талией Татьяна в открытом, на бретельках, длинном белом платье, с флердоранжем. Флердоранж ведь то же самое, что и фата: символ девственности. Виконт дю Плесси, стоящий рядом, не столь высок, как Маяковский, но строен и красив. Семья его, как это часто бывало с аристократическими семьями, почти разорилась, и незадолго до свадьбы барон получил назначение на должность торгового атташе в Варшаве. Он заступил на новый пост, нужны были деньги. Польский язык он знал, русский – нет. Молодожены общались на французском. Судя по фотографиям, он был похож на звезду немого кино Рудольфо Валентино, но в отличие от капризно-чувственного актера, дю Плесси выбрал одну из самых опасных и мужественных профессий: стал летчиком. Бóльшего контраста с Маяковским трудно себе представить: Маяковский, как писал Пастернак, был «мрачного вида юношей с басом протодиакона и кулаком боксера, который садился на стул, как на седло мотоцикла», а милый виконт играл на рояле, легко, плавно двигался, был мягок, внимателен и осторожен. В апреле 1930-го громкоголосый Маяковский поставил последнюю точку, а чувственно-нежный француз прожил еще десять с половиной лет и погиб так, как гибнут герои. Франсин, его дочь, была уверена, что мать ее не любила отца, и обиду на мать Франсин пронесла сквозь всю жизнь. В некоторых репликах Татьяна Яковлевой действительно сквозит иногда легкое пренебрежение к мужу. Вот, например, как она подписала фотографию 1931 года: «Бедный Бертран на заднем плане и потому вышел таким маленьким. Очень красивые мои собственные волосы, намазанные белой мастикой, присланной из Парижа». Однако три первых года замужества Татьяна ценила его. «Он был, – писала она в Пензу, – бесконечно заботливым, нежным мужем и восхитительным попутчиком.» Любопытно, что, оставшись вдовой, она никогда не вспоминала барона и никогда не говорила о нем с дочерью, в то время как влюбленность в Маяковского, в сущности недолгая, начала разрастаться в ее сознании и безжалостно опровергать факты. Лет через пятьдесят после смерти Маяковского она уже откровенно запуталась: «Если бы он вернулся в октябре 1929-го, я бы уехала с ним. После его смерти я не могла читать его стихи. До сих пор не в силах... Это больше, чем печаль. Это невыносимое горе».

Вернемся, однако, к виконту дю Плесси. Франсин говорит, что брак ее родителей держался на том, чтобы как можно удачнее обмануть тех, кто наблюдал их со стороны. Вернувшись из свадебного путешествия, они перебрались в Польшу, где Бертран начал свою службу. Татьяна ждала ребенка, заботилась о своей внешности и много гуляла. То, что ее мужу приходится служить и зарабатывать деньги – да к тому же не во Франции, а в небогатой и провинциальной Польше, – поначалу не беспокоило ее. Бертран не старался поддерживать близких отношений со своей семьей, живущей в полураз-

рушенном замке в Венде, недалеко от Нанта, где появилось на свет пять поколений дю Плесси. Замок был осколком той гордой и упрямой Франции, которая не принимала никаких новшеств, стоически справлялась со своими болезнями и детскими многочисленными смертями, ревностно соблюдала все церковные празднества, и открытки, подаренные на конфирмацию, десятилетиями хранила между крошащимися от старости страницами молитвенников. Всего этого Татьяна не переносила, и муж, щадя ее чувства, старался, чтобы соприкосновений с его родней было как можно меньше. Но капризная и властная натура урожденной Яковлевой требовала многого, не только разрыва с французской родней. Польша частично возвращала ее память в советский кошмар, из которого она с таким трудом всё же вырвалась. По сравнению с блестящим и праздничным Парижем здесь было тускло и однообразно. Ее любовь к роскошной жизни высасывала из Бертрана дю Плесси всё, что он зарабатывал. Наконец, во время одного из официальных приемов мадам дю Плесси произнесла по-французски: «О Господи! Как я ненавижу поляков!» Это было и оскорбительно, и крайне странно. Положение Бертрана дю Плесси, который, как утверждали сплетни, пытался всеми правдами и неправдами заработать на своих дипломатических привилегиях и уже был на плохом счету у начальства, пошатнулось после безобразной выходки жены так сильно, что ему не оставалось ничего другого, кроме как подать в отставку. Они вернулись в Париж, где Татьяна, поручив маленькую дочку няне и гувернантке, снова принялась за свою прежнюю работу, сняла небольшую мастерскую, наняла ассистентку и с новым рвением погрузилась в изготовление шляп. Они были не только ее страстью – эти изделия, то причудливые, с цветами, перьями, вуалетками, из фетра, бархата, замши и кружев, то веселые и легкомысленные, то строгие и темные, которые должны были неузнаваемо изменить и украсить любую женщину, – они открывали ей дорогу в тот большой, благоухающий мир праздности, сплетен, искусства, мир самых богатых людей, к которому она чувствовала неудержимое влечение и не представляла себе жизни вне его. Она умела заводить близкие знакомства среди влиятельных клиентов, которые не смотрели на нее как на модистку, а видели в этой беглянке из окровавленной России существо романтическое, одаренное и, кроме того, самого что ни на есть высокого и благородного происхождения. Парижский свет распахнул навстречу супругам дю Плесси свои объятия особенно широко, когда Татьяна заключила сделку с одним из самых известных кутюрье Парижа Робертом Пиге, который одевал ее бесплатно – при условии, что она будет носить только его платья. Отношения Татьяны с мужем между тем день ото дня становились всё холоднее. Ее отлакированная внешность перестала привлекать его, и однажды, вернувшись домой в неурочное время, Татьяна, как

это бывает в бульварных романах, застала виконта в постели с Катей Красиной, своей подругой и одной из дочерей умершего советского дипломата. Разразился скандал. Татьяна, в которой ее славянский темперамент дремал до поры до времени, швырнула в неверного спутника жизни каким-то предметом, но он, нарочито смеясь, увернулся. После чего она с огненным и искаженным лицом вырвалась из дома, громко хлопнув дверью. Развестись они, однако, не решились, но зажили параллельными жизнями, переоборудовав одну из комнат в дополнительную спальню. Татьяна перестала обращать внимание на измены мужа и погрузилась в ту деятельность, которая засасывала ее: она изучала законы высшего света, стремилась в него всеми силами и в нем растворялась. Быть близким приятелем «графини» дю Плесси было лестным для тех, кто считал, что, кроме этого высшего света, ничего не существует. А жизнь между тем накалялась, бурлила. Страну раздирали тревоги. Запахом войны, тоскливым и горьким, пропитывался воздух. Антисемитизм, которым тяжело болела старая Франция, со всем пылом разделял и изысканный виконт дю Плесси. Франсин вспоминает, как, катая ее по Парижу на автомобиле и развивая немислимую скорость, отец ругал евреев: «У твоей матери все друзья и знакомые – только евреи» или: «Подлец Леон Блюм! Очередной еврей во главе моей родины!» Его французский патриотизм страдал от тяжелых националистических комплексов. Однако и здесь всё не просто. Виконт, не задумавшись, встал под флаг генерала де Голля, оказавшись среди тех, кто думал иначе, чем он, и понимал, какая опасность скрывается за любой пропитанной кровью идеей.

Погиб он над Средиземным морем летом 1940-го года. Самолет дю Плесси сбита немецкая артиллерия. Виконт стал одним из четырех кавалеров Ордена Освобождения, величайшей награды своего генерала.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. АЛЕКСАНДР ЛИБЕРМАН

Роман Татьяны с Александром Либерманом начался, как утверждает ее дочь, в 1938 году. К этому времени супругов дю Плесси объединяла только любовь к восьмилетней Франсин и общая квартира. Они уже не устраивали скандалов, не следили друг за другом, а изредка даже навещали вместе родственников или ходили в театры. На людях их взаимное раздражение пряталось под маской приветливого снисхождения, и кто знает, не случись виконту стать летчиком и умереть геройской смертью в горящем самолете, его жену и дочь ждала бы совсем другая судьба. Впрочем, «другой судьбы» у человека не бывает. Бертрана дю Плесси мало заботили отношения Татьяны и Александра Либермана, которого он знал как бывшего ученика ее дяди-художника. Если верить Франсин, она однажды услышала отзыв отца о новом поклоннике матери: «Грязные евреи, – воскликнул ее отец. – Вся семья Либерманов – грязные евреи!»

Последнее предвоенное лето Франсин провела в поместье Ла Кроз, диком живописном месте, куда можно было добраться только на лодке. Отец через две недели уехал в Париж, чтобы, как была уверена Франсин, повидаться со своей любовницей. Мать приехала из Парижа за день до его отъезда, и каждое ее утро начиналось с того, что она писала письмо тосковавшему без нее Либерману. Часть этих ежедневных писем сохранилась: «...здесь всё так дико и красиво. Удобств никаких, ни электричества, ни дорог. Утешаюсь только обеществом Франсин и окружающей красотой. Я люблю тебя нежно и берегу твой образ в душе, как свою собственную жизнь...»

23 августа 1939-го был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией. Бертран дю Плесси сказал, что теперь надо готовиться к войне. 1 сентября немецкая армия вторглась в Польшу, 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. Виконт дю Плесси уехал на польский фронт. В Париже почти каждую ночь была воздушная тревога.

Мемуары Франсин дю Плесси-Грей, вышедшие увесистой книгой с настораживающим названием «Они», не отличаются ни психологической достоверностью, ни стройностью изложения. Они интересны лишь бытовыми подробностями. В мою задачу никак не входит попытка психоаналитического разбора, однако уверенность, что в этой книге почти ничего, кроме бытовых подробностей, нельзя принимать за чистую монету, не оставляет меня. Я отнюдь не хочу сказать, чтождавшаяся смерти Либермана, своего отчима, и Татьяны, своей матери, Франсин дю Плесси взялась за подтасовку их биографий, но то, что в ее воспоминаниях основной целью была с трудом сдерживаемая месть умершим, мне очевидно. Вот один из многочисленных тому примеров:

«Никто не защищал неприкосновенность частной жизни моей матери более яростно, чем мой отчим Алекс Либерман. Он заявлял, что страстно любит ее даже спустя полвека совместной жизни, он растил меня с моих девяти лет, когда отец мой погиб во Второй мировой войне. Карьера Алекса, как и мамина, представляет собой типичную американскую историю успеха. Когда в 1941 году мы перебрались в Америку, он устроился на мелкую должность в отдел искусств журнала *Vogue*, а уже через полтора года возглавил этот отдел. Два десятилетия спустя он стал шеф-редактором всего издательского дома *Conde Nast*. Мой отчим сделал из маленького элитарного издательского дома настоящую империю, его считали отцом современной глянцевої журналистики. Так говорилось в его некрологе в *New York Times*, вышедшем в 1991 году, озаглавленном весьма броско 'Медийный мир оплакивает легенду'. Как и моя мать, Алекс родился в России, но образование получил во Франции и Великобритании. Это был высокий темноволосый, неизменно элегантный человек со стальной волей и восхитительными манерами. Мне вспоминаются его аккуратно подстриженные усики, добродушная и слегка загадочная улыбка и легкий британский акцент, который он при-



обрел еще в детстве. Он в совершенстве владел тремя языками, круглый год носил изысканные темно-серые костюмы и черные или темно-синие галстуки. Прожив в Нью-Йорке всего несколько лет, он прослыл воплощением космополитизма и аристократических европейских манер. Сорок лет он шагал по коридорам *Conde Nast* и блистал в нью-йоркских салонах – обаятельный, настойчивый, искусный льстец. В течение пятидесяти лет Алекс полностью соответствовал сложившемуся образу: любящий отец семейства, раболепно прислуживавший своей блистательной, но нарочито беспомощной супруге... С первых же месяцев нашей совместной жизни именно Алекс был мне и отцом, и матерью, с бесконечным терпением возился он с моими брекетами, записками из школы, беседовал с учителями... Позже именно он вел меня к алтарю, утирал мне слезы и был самым нежным дедушкой».

Чем он заслужил упреки в лицемерии – этот идеально воспитанный, образованный и щедрый по отношению к окружающим человек, вырастивший чужого ребенка как родного? Почему падчерица, внешне привязанная к нему как к отцу, вдруг говорит, что Алекс Либерман – «коварен, как Макиавелли»? Вина за это, как ни странно, падает на Маяковского. Вернее, на письма Маяковского, а еще вернее, на то, что каждое слово Маяковского, оставшееся на бумаге, то есть *вещественное* присутствие Маяковского в чьей-то жизни (в данном случае, в жизни Татьяны Яковлевой), обладает большим денежным весом.

«Мама скончалась в 1991 году. Хотя она и завещала мне все документы и письма Маяковского, найти их оказалось непросто. К изумлению друзей Алекс вскоре после смерти Татьяны женился на ее медсестре и в течение восьми лет отказывался отдать мне эти письма, ссылаясь на плохое самочувствие или усталость. ‘Ты что, не видишь, мне плохо, я не могу об этом думать’, – говорил он. Или: ‘Я слишком устал, чтобы их искать’. Он всегда умел избегать прямых столкновений, но если его всё же загоняли в угол, был беспощаден. Летом 1999 года мое терпение лопнуло. Сотрудники московского Музея Маяковского пригласили меня в Москву изучить архив Татьяны Яковлевой. Однако я понимала, что перед этим мне необходимо прочесть письма Маяковского, которые мать завещала мне. Я решила потребовать у отца, чтобы он вернул мне мое наследство.»

Ах, какой осторожностью, какой осмотрительностью нужно обладать, чтобы, увлекшись мстью, не запятнать самую себя! Бедняжка Франсин дю Плесси достаточно осмотрительной не оказалась. И именно это превратило ее мемуарное повествование «Они» в неловкий и, благодаря этой неловкости, ставший драматичным материал.

«Августовским днем 1999 года Алекс Либерман лежал в постели в своей нью-йоркской квартире. Ему было восемьдесят шесть, он был очень болен и почти всё время спал.

– Алекс, дорогой, где письма Маяковского? – спросила я.

– Где-то там, – и он качнул седой головой. – Забери их.

С этими словами он снова заснул.»

«Я вернулась домой в Коннектикут. Но, посоветовавшись с мужем и *юристом*, несколько дней спустя я вернулась в квартиру отчима и принялась осматривать двухметровые стопки конвертов в углу комнаты. Через час я прервалась, понимая, что меня ждет работа на несколько дней. Интуиция заставила меня подойти к прикроватной тумбочке и открыть верхний ящик. Там, подписанное маминой рукой, лежало то, что она завещала мне: двадцать семь страниц писем поэта и двадцать четыре телеграммы. Только тогда, читая эти письма, я поняла, почему мой ревнивый и властный отчим, который столько лет внушал окружающим, что именно он – смысл жизни Татьяны, так долго отказывался отдать эти письма их законной наследнице, якобы любимой приемной дочери. Только тогда я поняла, почему он готов был *нарушить закон*, лишь бы скрыть их от мира. Два месяца спустя я навестила его во Флориде. Это было за десять дней до его смерти, он уже почти не говорил. *Обливаясь слезами*, я последний раз поцеловала его в лоб и мысленно поблагодарила за мое спасенное детство. Вместе с тем меня восхищало его *коварство*.» (Весь курсив – мой. – *И.М.*)

Не стоит судить ее строго. Франсин дю Плесси – не Федор Достоевский, и в книгах, подобных этой, слезы благодарности вполне могут бурно смешаться с неуместным восхищением: «...меня восхищало его коварство».

Трудно представить, что этот «коварный» утонченный европеец происходил из среднеобеспеченной еврейской семьи, живущей на Украине. Глава рода изучал Талмуд и носил длинные одежды, как полагается еврейским ученым-самородкам, хозяйством не интересовался, но, слава Богу, у него был жизнерадостный и практичный сын Семен. Блестящие способности в науках, быстрое постижение польского, украинского, древнееврейского и русского языков, необычайная живчивость и доброжелательное терпение к людям сделали свое дело. Семен Либерман в молодом еще возрасте перебрался в Киев, где окончил гимназию; затем, не теряя времени, отправился в Вену, там увлекся делом социализма, поразившего его романтическое воображение шаткой идеей всеобщего равенства. Подпольная революционная работа привлекала его до тех пор, пока не пришло время заняться чем-то настоящим и, покрутившись в либеральной Вене, он вернулся на родину, уйдя с головой в изучение лесной промышленности. Опять-таки не обошлось без романтики: бескрайний русский лес завладел его воображением острее, чем женщина завладевает мыслями и чувствами молодого человека. «Ел я, одевался, дремал, прогуливался, говорил с кем – все мои мысли были только о лесе», – писал он в своих воспоминаниях. В 1914 году он так стремительно продвинулся по службе, что был назначен членом экспертной комиссии лесного департамента министерства земледелия. И тут его, как это часто случается, когда молодая душа особенно страстно и чутко на всё реагирует, – тут его настигла любовь. К счастью для биографов, Генриетта – ее сценическим псевдонимом стала фамилия Паскар – не уступала жениху ни в

живости воображения, ни в талантах. Театр с младенчества был ее страстью. Родившись в семье богатого лесопромышленника, цыгана по происхождению, женившегося на еврейке и родившего с ней двенадцать детей, она с ужасом вспоминала, что цыган-отец питал садистическое пристрастие к порке своих многочисленных наследников. Доставалось и ей. Вполне вероятно, что истерические наклонности были прямым следствием этого своеобразного отеческого внимания. В семнадцать лет, скрутив кудрявые волосы под видавшей виды шляпкой, Генриетта сбежала из отчего дома и два года жила в Одессе вместе со своей красочной цыганской родней. Попутно она, как и большинство молодых людей, увлеклась революционным делом и зачастила на подпольные собрания. И там в тесноте, в громких спорах судьба свела ее с невысоким, подвижным Семеном Либерманом. Привлекательная черноглазая девица отличалась повышенной влюбчивостью. Она очень быстро с готовностью отозвалась на пылкие чувства Семена и сразу приняла его предложение. Их единственный сын Александр родился в Киеве через три месяца после свадьбы. Детство его прошло в Петербурге. Семья, зажившая на широкую ногу, сняла шестикомнатную квартиру недалеко от Исаакиевского собора, и причудливый вкус Генриетты подсказал ей, что всё, окружавшее ее сына, должно быть белоснежным: не только кровать и полог, но и бюро, и ковер на полу, и стены, и даже игрушки. Снежная белизна стала любимым цветом Александра на всю жизнь. Благополучное детство было нарушено революционными потрясениями. Нет, его родители не пострадали: в 1917-м близкий приятель Семена Либермана Леонид Красин представил его самому Ленину, и тот, удивленный знаниями лесопромышленника, предложил ему возглавить Центральный лесной комитет Советской республики. Либерман согласился. Одновременно с этим, расцветая жгучей красотой и меняя любовников, его жена открыла с помощью Луначарского, равнодушного к ее прелестям, первый советский театр для детей. Оба родителя были заняты до предела. Улица распахнула навстречу Шурику свои объятия, и там, на улице, было веселее, чем в белоснежной детской. Ребенок научился воровать и ругаться; друзья, которых он приводил домой, были сомнительного происхождения. Наконец, отец встрепенулся. Умом он понимал, что всё это – начиная с накаленной революционной атмосферы и кончая смещением сословий – не доведет до добра. Сына надо было спасать. Родительские увещевания и крики заканчивались нервными припадками Шурика, и врачи пугали Семена и Генриетту психической нестабильностью отпрыска. Красин, которого только что назначили послом в Лондоне, предложил Либерману перевезти «птенчика» в Англию и отдать в одну из престижных частных школ. Судьба ребенка решалась на самом высоком уровне: за его выезд с отцом за границу голосовали Ленин, Рыков и Каменев, против – Дзержинский и Зиновьев.

В конце 1921 года Семен Либерман с девятилетним сыном приземлились в лондонском аэропорту. Через три месяца отец вернулся в Советскую Россию, а быстро взрослеющий мальчик был определен в дорогой интернат, где за него взялись строгие британские педагоги. На глазах у семьи Красиных, где Александр проводил каникулы, происходило быстрое превращение худого и дурно воспитанного еврейского ребенка в твердого характером, независимого, образованного, знающего себе цену подростка. Мать приехала в Лондон через год. Она тосковала по сыну, и, кроме того, затея с детским театром провалилась. Ее отстранили от занимаемой должности, и ничто не удерживало больше в большевистской России эту взбалмошную красотку, ученицу Мейерхольда, «актрису и педагога», как она с гордостью говорила о себе. В Лондоне ей было нечего делать, но Париж... Париж, где до глубокой ночи гуляли, сидели в кафе, целовались и ссорились люди особой породы – *французы*, где на каждой новой постановке в театре, опере или балете яблоку было негде упасть, где сам язык напоминал томный и картавый голубиный клетот, а на уличных холстах рождались шедевры... Тут, в Париже, Генриетта умудрилась так страстно влюбиться в художника Александра Яковлева, что чуть было не отвлеклась от своего наблюдательного и строгого мальчика. Здесь, кстати, его перестали называть Александром, как в Лондоне, и имя звучало свободнее: «Алекс». «Шурик», «Шурочка» остались родителями для сугубо домашнего пользования.

Генриетта не меньше мужа заботилась об образовании сына, и школа Ле Рош, элитарный пансион неподалеку от Парижа, со спартанскими порядками, приглянулся ей по многим причинам: кроме обширных знаний, в школе давали серьезное религиозное воспитание. Заполняя анкету для поступления сына в Ле Рош, Герриетта, не моргнув глазом, указала, что Александр Либерман – протестант. Мать и сын зажили каждый своею жизнью. У Генриетты пылал роман с Яковлевым, который не отличался большим постоянством и время от времени возвращался к Анне Павловой, а ее сын, первый и единственный еврей в пансионе Ле Рош, горячо привязался к своему наставнику-священнику, кальвинисту из Швейцарии, разговоры с которым стали его первым духовным опытом. Особенно поразила Либермана идея непорочности. Поразила настолько серьезно, что когда его веселые шестнадцатилетние однокашники отправились в местный бордель «Сфинкс», стремясь как можно быстрее потерять осточертевшую невинность, он, который из гордости последовал за ними, уклонился от настойчивого приглашения ласковой проститутки и сохранил свою непорочность. Его изобретательный ум проявился вполне: ни один из друзей не заподозрил надувательства, и ловкий мальчишеский план раскрылся спустя много лет, когда всё окрасилось умиленным смехом.

Отношения с матерью складывались мучительно. Генриетта тре-

бовала от сына обожания и, не получая его, бунтовала. Вполне вероятно, что частые мигрени и срывы не были вызваны четырнадцатилетним Шуриком, а лишь отражали ее недовольство мужчинами в целом. Убедившись в том, что хрупкая, как лунный свет, Анна Павлова то и дело возникает в жизни Яковлева, мадам Паскар всеми силами пыталась вызвать ревность ускользающего живописца и этим привязать его к себе. Сильно разбогатевший на лесопромышленных сделках, покинувший СССР Семен Либерман, теперь переименованный в Саймона, в конце концов добрался до Парижа, и семья воссоединилась. Один Бог знал, чем обернулось это воссоединение для их сына, зеленоглазого отрока с его отшлифованными манерами, кодексом чести и привычкой сдерживать чувства. Мать, ярко, по-театральному накрашенная, с расширенными от вечного возбуждения зрачками, пыталась с помощью денег продвинуться как можно выше по карьерной лестнице. Марк Шагал, смастеривший для соотечественницы дивы соблазнительный костюм, в котором она предстала в спектакле, название которого утрачено, был одним из самых близких людей, и он объяснил Либерману, что лучше бы ей не перечить: пусть уйдет с головой в эту новую роль. Спектакль был полностью оплачен из семейных денег и состоялся весной 1929 года на Елисейских полях. Шестнадцатилетний Александр, сгорая от стыда за полуголую мать на сцене, досидел до середины первого акта и покинул зал.

Знакомство с художником Яковлевым открыло ему одну истину: скульптура и живопись есть то, чему он готов посвятить свою жизнь. В доме опять начались скандалы. Генриетта целиком и полностью встала на сторону сына и свободного искусства, а новоиспеченный французский буржуа Саймон Либерман настаивал на том, что у мужчины должна быть настоящая профессия. Стараясь утихомирить обоих, сын пошел на компромис, поступив в школу Изыщных искусств на архитектурное отделение. Очередной поклонник Генриетты Рудольф Кассандр, известный своими плакатами и рекламами, предложил молодому человеку стать его ассистентом. В мастерской Яковлева Александр впервые увидел Татьяну. Ей исполнилось двадцать лет, ему пятнадцать. Никакого внимания на напряженного, аккуратно причесанного подростка она не обратила. А он был повержен. Глаза, блеск волос, а ноги!.. И смех, громкий, низкий. В преклонных годах Либерман рассказывал своим будущим биографам, что весь его интеллект «целиком основан на протестантской кальвинистской этике», которая предполагала сексуальную воздержанность, аскезу в быту и почти монашескую скромность облика. Образ русской барышни с вытравленными до белизны локонами, тонко очерченными бровями и яркой помадой на полных губах сокрылся во тьме полудетской души и там затаился.

Прошло десять лет. За эти годы мягко, почти бесшумно распался его первый неудачный брак (Либерман презирал выяснение отноше-

ний), он чуть было не умер от язвенной болезни, потеряв катастрофически много крови; научился зарабатывать деньги, создавая обложки для знаменитого журнала *VU*, писал театральные рецензии, подписывая их псевдонимом, – он хватался за самые разные вещи, и всё получалось профессионально, умно, даже красиво, особенно женские портреты маслом, но что-то постоянно ныло в сердце, и ощущение, что он никогда не найдет себя и никогда не узнает счастья, накатывало всё сильнее. Герои Набокова, только-только появившиеся в литературе, еще бледные, с недостаточно выпуклыми судьбами, кажутся списанными с Александра Либермана, а может быть, наоборот: это он, Александр Либерман, улавливал их к себе близость и жил в соответствии с нею. Заметив, что бывший «Шурик» вполне пригодится на роль импозантного мужа, Люба Красина, та самая, с которой он играл в детстве, так быстро вошла в его жизнь, что он вдруг решил связать себя опасными узами брака.

Стояла поздняя осень 1938 года. Люба, у которой глаза были цвета лаванды, сообщила жениху, что пригласила на обед Тату Яковлеву с каким-то русским доктором по фамилии Савич. Он произвел на Татиной правой руке несколько операций после автомобильной аварии. Теперь он влюбился в свою пациентку, зовет ее в Штаты.

Обед состоялся. Татьяна, как показалось ему, почти не изменилась, лишь похорошела, как хорошеют молодые женщины, пользующиеся неизменным мужским вниманием. То, как бешено заколотилось сердце, Либерману удалось скрыть. Через пару недель он пригласил ее в свою мастерскую. Ну, это логично: она ведь племянница Яковлева, который недавно скончался. «Я испытал ужас и восторг, – рассказывал он своему биографу. – На ней было не то черное, не то темно-зеленое платье и меховая шапочка на белокурых волосах. Это было самое удивительное переживание в моей жизни. Когда мы провели вместе первую ночь, я понял, что жизнь моя изменилась навсегда.»

Пожениться они не могли, Татьяна не была разведена. Началась война. Саймон Либерман, отец семейства, оставив свою капризную жену на попечении взрослого и умного сына, отбыл в Нью-Йорк. Вот, что писал ему сын из Франции:

«Я раньше боялся войны – не физически, а потому, что не испытал еще счастья. Но всё изменилось. В этом году я испытал любовь. Она сделала меня мужчиной, научила меня творить. Я нашел свой путь, свое вдохновение, свою истину. Таня всегда рядом, мы неразлучны. Всё гораздо проще, когда рядом любимый человек. Хочу сказать тебе только одно. Это я могу рассказать только тебе. Я никогда не был счастливее, чем теперь, с Татьяной. И я никого так не любил, и меня никогда так не любили. Помни, мой родной, что бы ни случилось, душа моя спокойна, потому что я поделился с тобой, с настоящим моим другом.

Целую тебя нежно.

Твой Шура».

Франсин дю Плесси, девятилетняя, темноволосая, настороженная, запомнила свою первую встречу с Либерманом. В доме не было еды, и тут почти незнакомый господин принес ей на завтрак кукурузные хлопья, молоко и свежее яблоко. Отец был уже направлен в Польшу и собирался принять в первых военных действиях самое активное участие. Она боялась за отца и молилась за него. Начавшаяся во Франции неразбериха то разлучала, то вновь соединяла Татьяну с маленькой девочкой на руках и Александра Либермана с матерью, которая в частых капризах своих была потруднее, чем девочка. Их письма летали, как голуби. Когда, похоронившая сначала Татьяну, умершую в 1991 году, а потом отчима в 1999-м, миссис дю Плесси-Грей уверяет, что эти двое с самого первого дня пытались представить свой брак как обложку глянцевого журнала, она забывает о ранних, восторженно-искренних письмах, ни на кого другого, кроме них самих, не рассчитанных.

«Любовь моя, снова пишу тебе и не знаю, получишь ли ты мое письмо. Жизнь моя, мы сейчас пытаемся уехать в наш дом на юге и будем там ждать новостей. Где ты? Что с тобой? С тех пор, как мы расстались, жизнь моя остановилась. Если со мной что-то случится, всё, что мне принадлежит, – картины, книги, мебель, все средства, – должны остаться тебе во имя того счастья, которое ты мне подарила. Молюсь за тебя, за нас. Твой навеки Александр Либерман.»

Отданная войне человеческая судьба, не единичная, а общая: женская, детская, судьба солдат, судьба евреев, инвалидов, беженцев – дрожала потерями, мучилась страхами. Самой яркой краской на этом живом полотне стал «пламенеющий» цвет крови. Разумеется, Татьяна дю Плесси и Александр Либерман были не единственной парой, которая страстно ждала одного: воссоединения. «Любовь моя, жизнь моя, – писал Александр на следующий день после того, как Франция была поделена на две части: оккупированную территорию и Вишистскую республику, возглавляемую коллаборационным правительством Петена. – Не знаю, где ты, что с тобой. Но верю, что Господь смилостивится над нашей великой и верной любовью...»

#### ГЛАВА 4. НЬЮ-ЙОРК

Утром 8 января 1941 года яхта, на которую с огромного парохода переместилась семья, состоявшая из высокой, в меховом жакете и замысловатой шляпке женщины, девочки с испуганными глазами и элегантного господина, выбритого до блеска и пахнущего английским одеколоном, – такая вот маленькая семья прибыла в бруклинский порт. Путешественников, пересекших зимний океан, приняла старомодная, простодушная, непредсказуемая Америка. Франсин дю Плесси целиком сосредоточивается на своих детских переживаниях

и только вскользь говорит о том, как трудно было на первых порах Татьяне и ее жениху – официально они еще не были женаты – начать жизнь с нуля в этой новой стране, которая, словно избушка из сказки на тощих курьих ножках, всё вертится, вертится: к вам, дама, передом, а к вам, господин, исключительно задом.

После известия о гибели Бертрана дю Плесси они официально поженились. В семье росла истеричная, с бурными фантазиями дочка, которая «запретила» им даже думать об общем ребенке. Мать осторожно спросила, как бы она отнеслась к этому событию, и «Фросенька», как ее звали по-русски, в ответ разрыдалась. Рыдала весь вечер, с трудом успокоили. Говорить о полувековом американском периоде, не учитывая того, что каждый из этих троих обладал «особенной статью» и каждый был сильным характером, нельзя. Нельзя перечислять, какие знаменитости слетались на огонек в этот гостеприимный и щедрый дом, не заглянув в глубокое, темное и дрожащее от напряжения нутро этого дома. Двум взрослым нужно было не просто считаться с маленькой «самодуркой», но и смириться с тем, что она внимательно следит за ними обоими, ревнует мать к доброму и внимательному отчиму и сладострастно подмечает любые шероховатости, любые ошибки, допущенные по отношению к ней. «Я ощущала опасность того мира, в котором жили мама с Алексом, – мира бездушной красоты, постоянного соблазнения всех вокруг и губительных страстей, в котором на протяжении десятилетий разыгрывались наши драмы.» Разумеется, краски сгущены до предела. Франсин дю Плесси, заявившая о себе как о писательнице, не обладала талантом и вынуждена была то здесь, то там плеснуть из большого котла мелодрамы. Никто никого не соблазнял и никаких губительных страстей не было. Шла трудовая, выжимающая все силы ежедневность.

Воплощением американской элегантности был один из самых ярких магазинов Манхэттена Saks Fifth Avenue. В 1942 году Татьяна Либерман начала работать в отделе шляп дизайнером. Ее маленькое царство занимало кусок третьего этажа, и она, как это было и в Париже, мастерила на заказ свои замысловатые – в единственном экземпляре – женские шляпы. Эта мастерская, из которой даже полуживые, согнутые артритом старухи уходили с раздумными лицами, летними днями была невыносимо жаркой. Двенадцать швей за двумя длинными столами воплощали в жизнь фантазии и требования русской искусницы. Сама же искусница, вся в черном, с ярко-красной помадой, с ярко-красным маникюром, сидела во главе одного из столов, зажав во рту булавки. Всмотриваясь в свое отражение в огромном зеркале, она укладывала, загибала, подрезала фетр на белокурых волосах, прикладывала к гладкому лбу куски кружев. Пальцы ее двигались быстро и точно, словно она была хирургом и не смела ошибиться. В одной из газетных заметок того времени



отметили, что Татьяна Либерман часто вдохновляется испанскими мотивами и цветочными орнаментами русского народного искусства. Нью-йоркские модницы затрепетали.

Она была очень проста и открыта, хотя по-английски едва говорила. Но в этом была своя прелесть. Ее сладкий русский акцент, улыбка и смех завораживали. С этой изящной русской француженкой можно было отвести душу. Знакомства и необременительные дружбы росли, как сугробы в деревне.

В отличие от жены, Александр Либерман не стремился к панибратству. В новых знакомых он ценил прежде всего профессионализм. Работая над глянцевыми оформлениями журнала *Vogue*, он не вкладывал души в то, что делал, но то, что он делал, было безукоризненным. Татьяна никогда не интересовалась, что происходит в престижном издательском доме, которым руководил ее муж, и только однажды, когда ей шепнули, что некая мисс Тиченор, англичанка, редактор отдела, неважно какого, буквально впилась в ее Александра, мадам Либерман, взволновавшись слегка, устроила так, что теперь ее муж не знал, куда спрятаться от Тиченор. Татьяна ее приглашала обедать, любезничала, показала все шляпы, и та очень быстро сдалась. Уехала в Англию, вышла там замуж.

Гости в особнячке на 70-й улице случались так часто и так, скорее всего, осточертели Александру, который играл роль любезного, внимательного, всегда умеющего поддержать разговор хозяина, что ядовитая Франсин не пропустила мимо ушей вырвавшееся из глубины души восклицание ее овдовевшего отчима: «Клянусь, ни одного проклятого гостя в моем доме больше не будет!» Но это восклицание принадлежит человеку, которому перевалило за восемьдесят, а тогда, в пору своего расцвета, в годы, когда он набирал и набирал скорость, продвигаясь по карьерной лестнице, тогда и речи быть не могло, чтобы провести вечер наедине с женой и девочкой. Нет, либо они шли к кому-то, либо к ним приходили те, кто составлял цвет послевоенного Нью-Йорка.

Какую подчас тягостную, а подчас восхитительную власть имеет над нами прошлое! Сколько книг обращено именно туда, в сквозящую неровным светом, проваливающуюся тьму! Либерману было о чем вспомнить. В те годы посторонним людям казалось, что он достиг всего, о чем можно мечтать. На дружеской ноге со всем артистическим Нью-Йорком: то вечер, то премьеры в опере, то дружеская вечеринка, то, в конце концов, праздники, которых великое множество. Кого только не приглашали на Рождество к графине дю Плесси-Либерман! А какая елка переливалась огнями в гостиной! Какие подарки! Каждый был собственноручно завернут хозяйкой в золотую бумагу и перевязан белыми шелковыми лентами. Говорят, жестокий Дали даже всхлипнул, когда развязал эти белые ленты... Что было внутри, мы не знаем, но знаем, что всхлипнул от чистого сердца.

Злючка Франсин утверждает, что беседу в гостиной зажигала Татьяна. Не интеллектом, не захватывающими душу рассказами. А вот такими маленькими, оброненными между делом провокационными вопросами: «Но ведь Достоевский был не более чем журналист средней руки! Вы со мной не согласны?» Или чуть более опасными шутками: «Какой вы оргазм больше любите? Клиторный?» Муж ее в подобных беседах не участвовал, улыбался тонко и добродушно, следил, чтобы гости попробовали блюда настоящей русской кухни: котлеты, к примеру, и кашу с грибами, икру. И водку на корочках и на смородине. Устрицы, разумеется, тоже подавались. Вкусы разные. А как только праздник заканчивался, и слегка захмелевшая Марлен Дитрих закутывалась в белый мех и уходила последней, хозяин немедленно удалялся в свою комнату.

Вот только тогда, когда эта роскошная жизнь, на которую он продолжал зарабатывать ежедневной службой в издательстве, стала устойчивой, Александр вспомнил свое петербургское, а позже московское детство. В нем проснулся тот необузданный ребенок, который убегал бить стекла с ватагой уличной шпаны, не слушался ни учителей, ни родителей, пока домашний доктор не произнес твердо: «Сменить обстановку немедленно». Этот необузданный малец прокрался в его мастерскую, обрядился в перепачканную красками блузу и начал пробовать разнообразные техники, пытаясь пробиться к той прежней свободе, которая не подчиняется ни посторонним вкусам, ни новым тенденциям. Поиски привели его к абстрактному экспрессионизму. Первая выставка этих по-новому раскрепощенных работ состоялась в 1963-м и не имела успеха. Ни широкая публика, ни знатоки-критики не приняли его как серьезного художника. Отмечали профессионализм, отмечали богатство красок, высказывая, однако, сдержанные упреки в «пустоте». Теперь он писал в романтическом стиле. На место обезличенных кругов, оставшихся в парижском прошлом, пришли широкие неровные мазки, кляксы, размытые цветные полосы... Иногда на лежащий холст выплескивалось целое ведро краски, которое он размазывал шваброй. Но у Поллока получилось, у Либермана – нет. Он не опустил руки и переключился на монументальные скульптуры. Они показались многообещающими. В 1966 году Еврейский музей устроил ему персональную выставку. Однако и самая неистовая преданность искусству нуждается в людской поддержке, и без нее ни один художник не чувствует себя счастливым. У Либермана этой поддержки не было. Была репутация одного из самых умных людей Нью-Йорка; была жена, стареющая, но еще «икона стиля» в своих шелковых пиджаках и тяжелых украшениях; был чудесный дом на 70-й улице, но не было того, без чего ни один талант не может состояться: той самой пресловутой Божьей искры, которая непонятно почему вспыхивает у одних, не таких умных, не

таких образованных, а других, преданных до боли в груди, обегает стороной.

С молодости он страдал тяжелой формой язвенной болезни, но работоспособность и выносливость его были невероятными. Пришел бы к нему черный пудель, как к доктору Фаусту, и мягко спросил бы: «Александр, готов ли ты отдать имущество, жену, профессиональный авторитет за то, чтобы прожить оставшиеся годы так, как живет, скажем, Поллок, босяк, алкоголик, который в своем магазинчике местном расплачивается холстами?» Сказал бы он: «Да, черт возьми! Согласен!»? Или покачал бы головой отрицательно? С женой они этого не обсуждали. То ли он был слишком сдержан, то ли Татьяна слишком эгоистична. Каждый из них неуклонно погружался в свою собственную жизнь. У каждого накапливалась горечь.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОТЕРИ

В конце шестидесятых закончилась эпоха шляп. Сто раз был прав Маяковский, который уговаривал «Таньку-инженерицу» не «трагиться целиком на шляпья». В магазине Saks Fifth Avenue закрылся отдел, где почти тридцать лет царила «русская графиня» Татьяна дю Плесси. Ей предложили просто уйти на пенсию. И графиня растерялась. Нужно было срочно заполнить жизнь. Она через день ходила в парикмахерскую на укладку, часами разговаривала по телефону со своими русскими подругами, к ней постоянно приезжала Марлен Дитрих, и они с Татьяной удалялись в библиотеку на втором этаже с парой бутылочек виски, которые незаметно выпивали за вечер, громко смеясь и перебивая друг друга. Неукротимая Франсин, к этому времени уже вышедшая замуж, родившая двух детей и внушившая себе, что в ней того и гляди погибнет незаурядный литературный талант, не выпускала мать из вида. Она и сообщила Либерману, что Татьяна «начала пить». Более того: поставив Татьяне диагноз «алкоголизм», она подробно рассказала, как это происходило: «Я приезжала в Нью-Йорк почти каждую неделю и вскоре заметила, что она превратилась в одну из тех профессиональных пьяниц, которые используют массу хитростей, чтобы скрыть свое пристрастие. Многие уловки она переняла у Марлен, которая начала серьезно пить с 1960-х годов... Она бродила по дому, нечесаная, в халате, с лейкой в руках и притворялась, что строит планы на день. Если я видела, как она украдкой выпивает из стакана, она говорила: 'Я только чуть-чуть! Помогает от артрита'...»

В Нью-Йорке начали мелькать первые приезжие из Советского Союза. Попасть в число приглашенных в гости к супругам Либерман было так же важно, как увидеть Бруклинский мост или Статую Свободы. В просторной гостиной со множеством живых цветов оказывались то вместе, то порознь Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская. В семидеся-

тых появились Барышников и Бродский. Потом вслед за ними – Лимонов с Еленой. Хозяевам упрямый харьковчанин не приглянулся: манер никаких, много ест, усмехается. И всё же Татьяна смягчилась. Лимонов сидел без копейки. Елена всё время грозилась уйти. Графиня начала отдавать Лимонову свои старые вещи для перделки. Но Эдичка не был бы Эдичкой, помни он добро. А вставил ее в свою «Книгу мертвых». Очень броско написал, как они вышли вместе из особняка на 70-й и остановились под солнцем. И вдруг она произнесла: «Берегитесь Елены!» Лимонов признался, что даже сейчас он слышит всё это и видит: стоит старуха с сигаретой, «тряпки свисают с костяка», и синие веки, и рот, как у клоуна...

Либермана неблагодарный Эдичка раздавил одной фразой, заметив, что, хоть его имя мелькает в числе всяких разных художников, в истории культуры он останется *только* мужем Татьяны Яковлевой. А всё почему? Отгадка проста: Маяковский...

Гостей становилось всё больше и больше. Их принимали уже не на 70-й, а в в недавно купленном загородном доме. Два часа на машине от Манхэттена, штат Коннектикут, полевые просторы, озерные запахи. Поместье назвали исконно русским словом «Косогор». Бродский и Барышников полюбили эту почти чеховскую атмосферу: ленивое время, пирог, разговоры... Читали стихи. Кто что помнит. И Бродский читал. У «хищной», как сказала Франсин, парочки был нюх на талант. И доброжелательность – вместе с желаньем помочь, поддержать. Это относилось не только и не столько к Бродскому и Барышникову, сколько к Геннадию Шмакову, ставшему для них почти родственником, приемным сыном Татьяны. Он был выходцем из Ленинграда, знатоком мировой литературы, исследователем балета, оперы, переводчиком и поэтом. И женщин, пусть даже красивых и юных, он не замечал. «Шмаков вовсе не был по-настоящему активным гомосексуалом, – говорил Бродский. – Ничего подобного. Он был, если уж говорить об этом, бисексуален. Разумеется здесь, в Нью-Йорке, ему уже не нужно было скрывать то свойство натуры, которое предпочитало мужчин. Но и это мое заявление до известной степени является преувеличением. Потому что дело не столько в ограничениях, накладываемых социальной структурой, сколько в самоограничении человека определенной культуры. А мы с ним, наше поколение, в общем-то были продуктами пуританской культуры. Соответственно, Шмаков не был тем человеком, который на каждом углу кричит о своих предпочтениях и привязанностях. Не забывайте, что он обожал Пруста, много переводил его. То есть он был пленником культуры, а не пленником своих эротических предпочтений.» (Цитирую по книге Соломона Волкова. – *И.М.*) Пока в доме не появился Геннадий Шмаков, Татьяне было одиноко. Иногда, когда она с мужем приезжала в гости к Фросеньке и любимым внукам, ей

давали почувствовать, что она лишняя. Фросеньке была отвратительна не только материнская праздность, но и материнская энергия. Однажды, когда никого не было дома, графиня решила освежить ковры. Она намела в гостиную снега с крыльца и принялась яростно чистить ковер веником. Вернувшаяся дочь пришла в ужас.

– Что ты, Фросенька! – жалобно воскликнула мать. – Да мы в России только так и чистили!

Нелегко было Либерману смотреть на увядание его «великой и верной любви», но позволить дочери унижить жену, намекнув на ее склонность к спиртному, он не мог. И так же, как прежде, когда он защищал Татьяну от любого испытания и осаждал любого, кто мог обидеть ее, так и теперь он стоял на страже ее репутации и покоя. Франсин уверяет, что она слышала, как иногда он, не сдержавшись, говорил по-русски: «Ну, хватит тебе надираться, Танюша!» И та опускала глаза и бледнела.

Марлен уехала в Париж, и, лишившись своей закадычной подругисобутельницы, Татьяна поначалу разделяла компанию с Жаком Тиффо, знаменитым в Нью-Йорке кутюрье и бывшим любовником Кристиана Диора. Родившись во Франции в простой крестьянской семье, Тиффо был не дурак выпить, прекрасно готовил французские блюда, и уши его ярко краснели, когда он сидел рядом с изящным и вежливо отстраненным хозяином «Косогора». Татьяна всеми силами старалась заполнить Тиффо в гости, с восхищением ела запеченную им баранью ногу с фасолью и крем-карамель. Только бы он остался погостить, только бы не улизнул обратно к нью-йоркской богеме! Но Тиффо устал от Америки и вернулся в родную Францию.

К графине дю Плесси приближалась старость, и нечем было отогнать эту ведьму, которая подкрадывается по ночам к мирно спящей женщине и острым ножиком рисует на ее лице морщины. Муж был по-прежнему ласков с ней, но его выматывали работа и жажда успеха на поприще живописи. Он пропадал в своей мастерской, он бился, как рыба об лед, заводил полезные знакомства, присматривался к тому, что делают другие художники, чья слава растет, и не понимал, не мог понять, что с ним не так. В 1989 году он поместил на первой полосе журнала *Yogue* фотографию обнаженной Деми Мур на восьмом месяце беременности. Понимающий Нью-Йорк заплодировал его смелости. Но в живописи... Чего ждали от него эти люди, которые снисходительно качали головами и, переглядываясь, повторяли: «Хорошо, но... пустовато... А так – хорошо». Либерман был готов трудиться днем и ночью, но он отвечал за жену, а жена всё глубже погружалась в печаль. Подруги появлялись и исчезали. Да и не назовешь эти легковесные отношения истинной дружбой. Ближе, чем с другими, она была одно время с леди Абди, урожденной Ге, племянницей художника, которую неугомонный Алексей Толстой вывел в романе

«Аэлита». Заезжала на огонек балерина Наталья Макарова, про которую говорили: «тяжелый характер»; Шмаков, задумавший писать о Макаровой, со своей задачей не справился. Куда, право, легче писать мемуары, когда никого нет в живых. После отъезда Тиффо в загородный дом пригласили двоюродного брата Набокова, Николая, композитора, который к тому же прекрасно готовил. Николай в чужом доме жить отказался, но приезжал часто, проводил там целые дни, а иногда и недели, представил Либерманам французженку-жену, и сердце Татьяны растаяло: в рот ей смотрела, ловя каждое слово, хорошенькая Доменик Набоков, с радостью переходившая на родной французский, поскольку так же, как Татьяна, плохо знала английский. Идиллия продолжалась около двух лет, пока Николай Набоков чуть было не отправился на тот свет после сильнейшего сердечного приступа. Либерман обзвонил всех русских нью-йоркских знакомых. «Читателя, советчика, врача! На лестнице колючей разговора б!» Вот в таком человеке нуждалась его жена. Но где взять такого? И вдруг настоящее чудо! Бродский привел в гости красивого, широкоплечего, черноглазого Геннадия Шмакова. Татьяна опять стала Татой. Шмаков так только и называл ее. «Мы с Татой...», «мы с Таточкой...» Она расцвела. Рядом был настоящий русский интеллеktуал, знаток литературы, языков и музыки, любящий стихи, помнивший наизусть всего «Онегина», всего «Мцыри», Фета и Тютчева, легко цитирующий то Вергилия, то Овидия, обладатель феноменальной музыкальной памяти. А какие кушанья он готовил! Муж поначалу не только не разделял ее восторгов, но с трудом справлялся с собой, чтобы она не заметила, как сильно раздражает его этот «компаньон» с легкой походкой и ярко-черными подкрашенными волосами. Да не в волосах дело! Либерман искренне не понимал, почему жена его так замирает от стихотворений Кавафиса в переводе Шмакова?

Он сказал, что споткнулся о камень, упал, расшибся.  
Но не в этом, наверное, была причина  
Его забинтованного плеча.  
От неловкой попытки снять с полки пачку  
Фотографий, давно его занимавших,  
Повязка ослабла, и струйка крови  
Потекла по руке.  
Я принялся поправлять бинты:  
Я поправлял их медленно, неторопливо.  
Ему было не больно, и мне нравилось созерцание крови.  
Эта кровь была кровью моей любви.  
Когда он ушел, я нашел на полу под стулом  
Алый клочок ваты, оставшийся от перевязки,  
Ваты, чье место – мусорное ведро.

И я прижал эту вату к моим губам,  
И стоял так, держа ее, долго-долго –  
Прижимая к губам моим кровь любви.

Франсин дю Плесси уверяет, что зависть была основной чертой «деспотического» характера Либермана: в данном случае «он завидовал интеллекту Шмакова и его таланту». Если согласиться с этим, то нужно признать, что именно зависть (а что же еще?) заставила Либермана снимать для Шмакова квартиру в Гринвич Виллидж, зависть заставила его выделить Шмакову средства на лечение от СПИДа и на путешествия, и, разумеется, зависть привела к тому, что последние месяцы жизни Шмаков провел в его доме под присмотром опытных сиделок, а не в хосписе, где его кровать была бы рядом с кроватью такого же неимущего, погибающего от коварной болезни. Ну а то, что в журнале *Vogue* печатались английские стихи Бродского и отрывки из работ Шмакова, ничем другим, кроме зависти, разумеется, не вызвано.

Для Татьяны смерть ее дорогого друга была долго не заживающей раной, и после этой смерти она с трудом пришла в себя. «Алкоголизм», в котором упрекала ее дочь, загадочно растворился в воздухе, а вот огорчения, доставляемые самой дочерью, стали зловещими. Фросенька заделалась писательницей. Первый роман, как это часто происходит с пишущими женщинами, был насквозь автобиографичен. Десятилетняя Стефани приплывает в Нью-Йорк на корабле после того, как ее отец героически погибает за Францию. «Я писала мягко, но очень иронично, доходя порой до беспощадной сатиры», – откровенно сообщает Франсин дю Плесси. Мать малолетней Стефани не вызывает большого сочувствия: замкнутая, с твердым характером женщина, всё поставившая на карту успеха и забросившая единственного ребенка. Отчим, до малейшей черточки списанный с Либермана, такой же седовласый, с небольшими усами, властолюбивый и коварный, полностью под каблуком у жены. Усы у него то и дело «дрожат от избытка чувств». Сама же девочка бредит погибшим отцом и через тридцать лет после его смерти разыскивает в семейном склепе в Бретани его могилу. Именно так и произошло в жизни: Фросенька отправилась в Бретань и могилу дю Плесси отыскала. И там, на могиле, долго плакала, стоя на коленях и пачкая щеки о ржавчину старой ограды. Дальше – хуже: в журнале *New Yorker* опубликовали отрывок. Мать и отчим, ежась от неловкости за новоиспеченную писательницу, отрывок прочли, и Татьяна слегла. Когда возбужденная Фросенька навестила ее после своего триумфа, мать только смогла прошептать: «Да как ты могла?»

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

В 1981 году графиня два с лишним месяца провела в больнице.

Сначала вырезали желчный пузырь, потом началось воспаление легких, мигрени, и врачи прописали ей демерол (петидин), часто применяемое болеутоляющее наркотическое средство. С тем же пылом, с которым Франсин уверяла, что мать была алкоголичкой, она принялась уверять, что последние десять лет жизни мать была наркоманкой. Муж, находившийся, как известно, под каблуком, делал всё, чтобы скрыть ее «пристрастия». Кроме того, по свидетельству всё той же Франсин, оба они полюбили смотреть порнографические фильмы. Татьяна жила на от укола до укола, поэтому вечер заканчивался быстро: укол полагался перед самым сном. Итак, сперва ужин, потом «эти девочки по телевизору», как их называла Татьяна, потом демерол, а потом сновидения. Внешность ее изменилась до неузнаваемости; прежняя длинноногая блондинка превратилась в сухую старуху, которая, однако, по-прежнему ездила в салон красоты и ярко красила губы. Судя по всему, дочери не терпелось превратить мать-алкоголичку в мать-наркоманку, но ради восстановления справедливости я сделаю пару уточнений. Франсин дю Плесси ссылается на слова медсестры-сиделки, которая якобы сказала так: «Я ушла в 1982-м, тогда она получала двадцать пять миллиграмм каждые четыре часа. Когда я вернулась в 1987-м, она получала пятьдесят миллиграмм каждые два часа. Заправляющий всем Алекс вечно уступал ее просьбам дать побольше лекарства». Неловко читать. Сегодня считается, что обычная доза при сильных болях – «от 50 до 150 мг каждые четыре часа», – вопреки утверждению дочери, что за это время больная стала получать *лошадиную дозу* наркотика. Трудно поверить и в то, что мягкотелый супруг сам, не будучи врачом, увеличивал дозы губительного опиоида, поскольку не мог отказать потерявшей всякий контроль и остатки здравого смысла жене! Любопытно было бы узнать и то, где же этот седовласый пожилой господин добывал неограниченные дозы демерола?

...Как грустно всё это читать. И неприятно. Хотела женщина оставить дочернюю память о нелюбящей матери и сатанинском отчине и сделала всё, что смогла. Зачем? Для кого? Какой развернулся «шекспир» в этой книге, какие скелеты скакнули из пыльных шкафов! Франсин уверяет, что за время болезни Татьяны их семья, так ловко замаскированная под истинно добродетельную и уважаемую, превратилась в «настоящую американскую» семью: «Спид, наркотики и прочее в этом духе».

Бедный отчим, который сам то и дело попадал в больницу то с обширным инфарктом, то с раком простаты, жаловался ей, что не может видеть жену в таком состоянии: «...она словно вышла из Бухенвальда! Кто же будет заботиться о ней, если я не смогу!» Слыша это, «крупная американская писательница» пронизательно расшифровывает слова отчима: «Всё пропало, я в ловушке, *она* убивает меня!» – «он был коварен, скрывал свои мысли».



Когда Татьяну перевели в отдельную спальню, поскольку она беспокойно спала, эта исхудавшая до неузнаваемости женщина садилась вечерами перед зеркалом, накручивала поредевшие волосы на электрические бигуди, старательно подводила глаза, красила губы, одевалась то в шелковую пижаму от Шанель, то в атласный костюм от Диора, и, тяжело опираясь на палку, брела в комнату мужа, где Либерман медленно восстанавливался после очередной болезни, лежа на их прежней огромной кровати. Она подходила, отставляла палку и тихо ложилась с ним рядом. И так же тихо муж брал ее высохшую руку и гладил ее. Они оба молчали.

Татьяна умерла в 1991 году, в апреле.

#### ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ. СИЯЙ, СИЯЙ, ПРОЩАЛЬНЫЙ СВЕТ...

Второго декабря 1992 года состоялась скромная свадьба Александра Либермана и Мелинды Печангко, филиппинки, медсестры и одновременно сиделки Татьяны, несколько лет прожившей с ними под одной крышей. Франсин дю Плесси, узнав о предстоящей свадьбе, пришла в ярость. Она не любила свою мать, но была уверена, что на такое предательство Либерман никогда не решится. К тому же наследство... Этот щекотливый момент Фросенька пытается обойти, но всё-таки... Ведь деньги, архив, Маяковский особенно! Одни его письма должны стоить миллионы! Потомки не станут рабироваться, была ли Татьяна самой сильной и последней любовью классика или не была. Им наплевать, потомкам. Письма переполнены страстью и сколько в них нежности! А как обращается к ней? «Милый Таник...» «Теперь мы родные с тобой...» Маяковский, конечно, самый крупный бриллиант в наследстве, но есть еще Поллок, Шагал, есть Пикассо. И чтобы всё это зажал кулачок филиппинки? «Пока я писала эту книгу, – откровенничает дочь, – мне пришло в голову, почему Алекс не хотел отдавать мне письма Маяковского. Помимо его желания остаться в истории единственной любовью легендарной женщины, он мог спрятать их еще и потому, что они представляли изрядную ценность. Когда мама умерла, меня потрясло превращение некогда открытого и щедрого человека в мелочного скупца. Ему хотелось оставить себе всё ценное, что принадлежало маме...»

Да, свадьба была скромной, но очень продуманной, и Александр Либерман стал мужем Мелинды Печангко.

«По утрам она шнуровала ему туфли, завязывала галстуки, руководила невероятно сложной системой приема лекарств, нарезала ему мясо, завязывала вокруг шеи салфетку, если видела, что перед обедом у него сильнее обычного дрожат руки.

– Как прекрасно, когда тебе по утрам шнуруют туфли! – восклицал он. – Я мечтал об этом всю жизнь!»

В фотоальбоме «Then», антологии его фоторабот с 1925-го по 1995-й, изданной в 1995 году, он написал о Мелинде: «Ее близость, смех, любовь дарят мне волю к жизни. Она прекрасна, точеная красота, смягченная нежностью и мудростью...» Этой нежностью был наполнен каждый день.

У Мелинды не было своих детей. Ее материнское чувство досталось старому человеку. Одному из своих парижских знакомых, приехавшему в гости из Франции, Либерман представил Мелинду так: «Позволь познакомиться тебя с любовью всей моей жизни». И когда удивленный приятель вскинул брови, добавил, нахмурясь: «Да, да, это так». Татьяна напоминала ему, что он один из смертных, который рано или поздно разделит судьбу всех остальных смертных, но близость конца вызывало в нем панику. С маленькой, изящно одетой Мелиндой, которая заменила его настоящее имя на «милого зайку», душа разжималась, и было легко. Теперь и постаревшая Франсин не имела в дом прежнего доступа: жена заслонила его от целого мира. Но этот покой, этот свет продлились недолго: семь лет. Хотя кто может ответить с определенностью: долго ли это или нет? Ведь и время, так же, как и любовь, как и память, – понятия хрупкие, ломкие. Кому суждено... Что кому суждено...

Когда Мелинда почувствовала, что дни его сочтены, она позвонила Франсин в Коннектикут и сказала, что Либерман в больнице и можно приехать. Она успеет попрощаться. Он лежал на кровати, похудевший и прозрачный, на его лице была кислородная маска. Когда Франсин взяла его руку в свою, он еле заметно усмехнулся. Вошедшему доктору прошептал: «Это моя дочь».

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сказано в Экклезиасте о человеческой жизни: «треск верескового хвороста под кипящим котлом... И это тоже суета». Тресцало звонко, горело долго – сколько людей, сколько перемещений, сколько имен и событий! Война, революция, снова война. Большой пролетарский поэт в начищенных башмаках, в розовато-бежевой рубашке, купленной в Париже на Елисейских полях, спускает курок – и кончается жизнь. Но, зацепившись за его письма и пару не самых удачных стихов, вересковый хворост вспыхивает в другом краю, с другой, новой силой, закручивая, привлекая, отшвыривая и обугливая. И тоже трещит, и пылает, и гаснет.

*Бостон*

# ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Генрих Зиновьевич Иоффе

27.03.1928 – 04.03.2024

4 марта на девяносто седьмом году жизни скончался Генрих Зиновьевич Иоффе, доктор исторических наук, один из российско-советских зачинателей изучения истории Белого движения, эмигрант т.н. «четвертой волны», член редакционной коллегии «Нового Журнала» в 2001–2018 годах.

О себе он писал так: «Москвич. Школу закончил в 1945 году. На истфак в МГУ не приняли. Приняли на ранг ниже – в Пединститут им. Ленина. Окончил его с отличием, но в аспирантуру не послали. Послали подальше: преподавателем в педучилище городка Кологрив Костромской области. Отработал там три года. Вернулся в Москву в плохое время. Более года безработствовал, перебивался. Потом был учителем в школе рабочей молодежи, работал в Библиотеке им. Ленина. Перелом наступил в конце 1950-х. Журнал ‘Новое время’ стал печатать мои писания. Приняли редактором в издательство ‘Наука’, откуда перешел в Институт истории СССР (Отечественной истории) АН СССР (РАН). Прошел там путь от младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника, профессора».

В России Г.З. Иоффе был членом Научного совета РАН, с 1980 г. – генеральным секретарем Международной комиссии по истории Российской революции при Международном Комитете исторических наук (МКИИ). Он автор многих научных и научно-популярных трудов, получивших признание в академическом сообществе и у широкого читателя.

В 1995 г. Г.З. Иоффе иммигрировал в Канаду, жил в Монреале. Там он продолжил изучение русской истории XX века. За почти два десятилетия сотрудничества с редакцией НЖ на страницах журнала вышло более тридцати статей и очерков Иоффе по истории Октябрьского переворота, Гражданской войны и Белого дела, в том числе материалы, посвященные А. Колчаку, В. Шульгину, Л. Корнилову, А. Солженицыну. Г.З. Иоффе – автор книг «Семнадцатый год. Ленин, Керенский, Корнилов», «Белое дело. Генерал Корнилов», «Революция и семья Романовых», «Волчий камень. Урановые острова архипелага ГУЛАГ» и др. Уже отойдя от дел, Генрих Зиновьевич продолжал поддерживать добрые дружеские отношения с редакцией НЖ.

Мы искренне соболезнуем родным и близким Генриха Зиновьевича Иоффе.

*«Новый Журнал»*

**The New Review / Novyi Zhurnal** is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

*Patrons:* Russian Nobility Association in America;

*Benefactors:* Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;

*Sponsors:* Eli & Ludmila Flam Living Trust; American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. Vitaliy Pavlyuk;

*Fellows:* Mr. A. Nemirovsky; Mr. A. Moussaian;

*Friends:* Ms. C.Raef; Ms. R.Nuzhdenko; Mrs. Z.Sergeeva; Mr. G.Cheron.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2024:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

**THE NEW REVIEW**

**1216 Broadway, 2nd floor**

**New York, NY 10001**

Additional information: [https://newreviewinc.com/podpiska\\_subscription](https://newreviewinc.com/podpiska_subscription)

**НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

**Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61**

**Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421**

**Израиль: Марина Кособок-Полонски: [Polonskybooks@gmail.com](mailto:Polonskybooks@gmail.com)**

**«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2024 году можно купить:**

*Polonsky Books:* Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;  
+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: [www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (Подписка)

Вся информации об авторах НЖ – на сайте The New Review Inc.:

[https://newreviewinc.com/avtori\\_ng\\_1/](https://newreviewinc.com/avtori_ng_1/)

## НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА LIBERTY PUBLISHING HOUSE



### ПОЭЗИЯ

Татьяна Ананич – поэт оригинального интуитивного мышления, требующий вдумчивого чтения. «Изнанка культуры» – вторая книга Татьяны. Её первую книгу «АнтиУтопия» высоко оценили Д. Бобышев, Т. Венцлова, Даниил Чкония и Андрей Грицман. Автор получила за нее Серебрянный Приз «Эмигрантской Лиры, 2017».

### ЛИТЕРАТУРА

«Письма из мнимого путешествия» Леи Гольдберг вышли в 1934 г. на иврите и были переведены на немецкий язык. Данный роман о любви и о культуре, – непобедимых и неподвластных смерти. Перу автора принадлежат многие переводы европейской классики на иврит. В их числе произведения Толстого, Чехова, Горького, Шекспира, Петрарки, Ибсена. Лея Гольдберг – Лауреат Госпремии Израиля (1970).



### ИСТОРИЯ

Книга известного израильского историка Я. Фалькова «Между Гитлером и Черчиллем» впервые проливает свет на самые таинственные страницы начального этапа Второй мировой войны – закулисные контакты и острую борьбу дипломатов и спецслужб нацистской Германии, Великобритании и польского правительства в изгнании, а также попытки британской контрразведки предотвратить тайный сговор польского эмигрантского правительства с Третьим рейхом.

### ЛИТЕРАТУРА

Татьяна Успенская (Ошерова) «Украли солнце» родилась в доме, где жил мальчик, который впоследствии написал: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я». Роман посвящен двум типам власти – власти жестокой, где человек и его жизнь ничего не стоят, где его ум и совесть молчат, и другой власти, основанной на любви к человеку, стремящейся сохранить и выявить в нем светлое начало.



Приобретайте книги издательства LIBERTY в бумажном и электронном форматах.

**LibertyPublishingHouse.com 212-679-4620**

